

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

2

Н О В Ы Й
М И Р

2

1983

1983



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1983 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЛАДИМИР ЦЫБИН — Из цикла «Пробуждение», стихи	3
ФЕЛИКС ЧУЕВ — Награда, стихи	7
АЛЕКСАНДР КРОН — Капитан дальнего плавания, повесть о друге	9
ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ — Два стихотворения	138
В ПУТИ — Юрий Поляков, Виктор Крючков, стихи	139
А. ПРИСТАВКИН — Городок, роман. Окончание	141
ЕВГЕНИЙ ЕЛИСЕЕВ — Шиповник, стихи	194
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
Н. ЭЙДЕЛЬМАН — «Последний летописец», главы из книги	195
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ — Самая трудная должность	221
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СЕРГЕЙ БЕЛОВ — Невольные откровения. Западный образ жизни и «массовая литература»	238

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
	253
А. Алексин. «А у нас сегодня гость. А у вас?».	
Ирина Гитович. Навстречу самому себе.	
<i>Политика и наука</i>	
	263
Сергей Абрамов. Елка для всех.	
Евгений Павлихин. Теоретик и пропагандист марксизма.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Игорь Тарасевич.— Иван Третьяков. Цветы и мины. ◆	
Александр Лаврин.— Кирилл Ковальджи. Кольца годовые. Стихотворения. ◆	
Эдуард Пронилов.— Петерис Зирнитис. Сентябрьская лирика. .	
Петерис Зирнитис. Сон в тысячу колоколов. Петерис Зирнитис. С совой за окном ◆	
Б. Багаряцкий.— П. В. Московский, В. Г. Семенов. Ленин во Франции, Бельгии и Дании	
	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

Я встал напротив них, чтоб не пустить
к опушке, в лес, под теплые сосенки,
но просквозили сны за нитью нить,
переплелись — где ручки, где ножонки?

— Куда вы? — закричал я в дым живой. —
Меня вы не бросайте, обождите!.. —
И самый малый, с белой головой,
не сон — соненок, тоненькие нити,

смешливо оглянулся и упал
с разбегу, не помявши и травинки,
упал — и тут же вдруг из глаз пропал.
А сны еще сильнее бежали к дымке,
где ждали их услада, и покой,
и главный Сон,
Сон-дедушка, к застолью.
— А где малыш, а где внучонок мой?
— Да бегает еще по белозорью.

В тот миг,
когда мой Млечный Путь — мой брат
погладит мои волосы тихонько,
Сон-дедушка придет, чтоб наугад
отыскивать в глазах моих внучонка

И, слыша эхо лиственной возни,
скажу, чтобы его утешить в горе:
— Я здесь один остался, ты возьми
меня к себе на травы, в белозорье.

* * *

Когда, любя, сказала мне ты: «Будь!» —
то стал я жить, твоей подвластный воле,
мне ничего не надо стало боле —
и отклонился на тебя мой путь.

Когда сказала ты: «Меня забудь!» —
меня пустое обступило поле,
но все же мне другой не надо доли.
Два этих слова — жизни моей суть.

Переплелись мы, как с лозой лоза,
как со сказаньем древнее сказанье.
Продолжатся в моих глазах глаза,
любимая. гвои. гвое дыханье
в мой вздох перетекает. как роса,
и вдаль продлится вечное свиданье

Баллада молчания

Однажды миг раздвинулся — и вдруг
все звуки сразу вымерли вокруг,
все голоса, все шелесты. все вздохи,
и вещей. и глагольный отнял дух
все имена, все песни у эпохи..

Ушли с земли все голоса земли,
свой стрекот в травы сбросили стрекозы,
встывали в тишь беззвучные шмели,
беззвучные гремели в небе грозы.

Хотел позвать любимую свою,
но немотою затянуло губы.
Прислушался к зеленому ручью,
к реке — куда же подевались гуды?

Вот напряглась взметенная волна
среди океанской синевы раздольной
затем, чтоб мир безгласный, безглагольный
язык обрел
и вспомнил имена.

Но немоты необорима власть
над этим миром грозным и великим,
и лишь немая чайка поднялась,
хоть грудь ей в клочья разрывало криком.

Тогда гора ввысь тополь подняла,
чтоб он шумел, вдаль простирая руки.
Но умер тополь, серый как зола,
листва бессильно вспоминала звуки.

Все звуки в землю вмялись,
все рои,
все ноты отданы немому миру.
Радиоволны, словно муравьи,
сновали тоже молча по эфиру.

Беззвучный мир я слышу как в бреду,
умолкли самолеты и метели.
Хочу сказать: «Любимая, я жду», —
но на губах слова все затвердели.

Среди оглохших улиц,
среди верст
глухонемых — без отзыва, без зова
никто не слышал,
как с далеких звезд
на землю грозно нисходило слово.

И разомкнулся миг — времен основа.

Отраженье

Вот пробежали звоны по озимым,
а там мерцает в поле борозда,
и вязы, запеленатые дымом,
застыли и заслушались дрозда,
а еще выше, в небе нерушимом,
зеленая нетленная звезда
зовет открыть в пыланье негасимом
в зазвездье путь, в неведомо куда...
в провал, в безвестность, к раскаленным зимам,
в пылающие жаром холода.

Войдешь ты в жерло, выйдешь невредимым
к обратной мира стороне, туда,
в пылающие жаром холода,
в провал, в безвестность, к раскаленным зимам,
откроется в пыланье негасимом
в зазвездье путь, в неведомо куда,
ожжет тебя зеленая звезда,
а еще дальше, в небе нерушимом,
застыли и заслушались дрозда
деревья, запеленатые дымом,
а там мерцает в поле борозда,
и пробежали звоны по озимым...

.

Вытекая в поля, в раздолье,
облака распрямив, как льны,
просыпается белозорье
на окраине тишины.

И, озвучив сквозное лето
и полей и густых лесов,
просыпается эстафета
птичьих радостных голосов.

Возжигается звук от звука,
рассыпается звень окрест.

Ах вы, зяблики, ну-ка, ну-ка
щебетней пересыпьте лес.

Просыпайтесь быстрее, туманы,
просыпайтесь быстрее, леса,
И веселые на полянах
собираются голоса,

чтоб надежды в душе
воскресли
и сама растворилась боль,
просыпаются мои песни,
просыпается белозорь.

.

Выпали в смелом разбеге,
в март роковой снесены,
ветром набрякшие снега —
мертвые крылья весны.

Крылья легли по болотам,
в поле легли.
возле хат,
их разогрело полетом
так, что и ныне горят.

Снеги — замолкшие птахи,
крыльями в март снесены,

и на застывшем размахе
искрятся капли весны.

Радостный возраст метели,
гнущейся, как ковыли.
Снеги, куда вы летели,
что вы с собою несли?

В эти спокойные веси,
в этот увядший мороз
словно бы тихие весты
от неродившихся гроз...

.

Легла твоих забот граница,
легла по сердцу наугад.
Вот день — он радостно

как будто спрашивает:
— Рад?

О как я рад сквозному свету,
стрекозам синим над травой,
вот потому-то землю эту
я берегу в себе живой,

живой, в дымах домашней рани,
в росе,
бегущей по лугам.

Она вся в розовом светанье
приписана
к моим годам.

И все, что ты держал под
спудом
среди сомнений и забот,
сравнишь ты беззаветно
с чудом
тем, что вовеки не пройдет.

Средь золотого непокоя
листвы, раскрывшейся на свет,
вот это утро молодое
в тебе продолжится весь век.



ФЕЛИКС ЧУЕВ

★

НАГРАДА

Когда возникает червонная осень,
когда разливается золото лесов,
мне жить хорошо и мне хочется очень
найти сокровенные россыпи слов.

Я всюду искал их с недавнего детства,
я видел их часто в мальчишечьих снах,
на Млечном Пути, где от звездочек тесно,
на белых и робких тетрадных листах.

И счастья другого мне больше не надо,
а ради такого и стоит пожить.
Мне эта отрада дана как награда,
которой уже невозможно лишить.

* *

Вот просека как мостовая,
а дальше по гляncy травы
шеренгой лесов наступает
гвардейская осень Москвы.

Глазами космической сказки
прозрачные звезды горят,
и камни блестят, словно каски
погибших за это солдат.

* *

...И летит снежок обыкновенный,
а бои под Яхромой уже.
Вдоль Кремля гремит парад военный,
первый без военных атташе.

Позабудут люди «Дранг нах остен»,
зарастут орешниками рвы,
к нам приедут западные гости —
дети не дошедших до Москвы.

Звезды белой вьюги Подмосковья
по Кремлю стекают вдоль стены,
где снежком, гвоздиками, любовью
лепестки Огня озарены.

И летит ноябрь обыкновенный,
и снежинки в пламени горят,
и сквозь них
в цветной парад военный
входит черно-белый тот парад.

*
*
*

Засыпаю —
отец наяву
созерцает ночную Москву.
А потом целый день не живу,
эти чувства бессонные рву.

Не могу отойти от себя,
успокоиться, что ли, любя,
все сравненья смешались, кипя,
облик твой из металла лепя.

из металла — как память,
медаль,
как латунная звездная даль...

Обменяю медаль —
и не жаль
мне свою трудовую регаль.

Это все никому не в пример.
Пусть меняльщик-коллекционер
откровенно, без лишних манер
бросит доблесть мою в секретер.

Но зато получу, как решил,
боевую — отец заслужил,
заслужил, только мало пожил,
мало пожил, да жизнь совершил.

Женщина

Девчонка на нехоженой дорожке
пускает одуванчики в полет.
Животное таинственное — кошка
доверчиво к девчонке подойдет.

Рукой над розой женщина
проводит,
не прикасаясь к тонким лепесткам,
и чувствует по трепету в природе,
что тянутся цветы к ее рукам.

Ладонями она их различает —
ромашки, георгины, васильки,—
не глядя гладит добрыми лучами,
нечаянностью зрения руки.

Есть разный дар.
И можно невесомо
засыпать землю гучами лучей,

людей перетравить, как
насекомых,—
и шар земной останется ничей.

Но женщина — иное излученье,
летающее от смелой доброты,
пока ее настигнет изученье,
она растит здоровье, как цветы.

Но женщина — спасение от боли,
когда ланцету в тайну не
пролезть,
она своим выдергивает полев
занозю застрявшую болезнь.

Теплом лучей
врачуя от пожара
усталый мир,
она,
пока он жив,
стоит над головой земного шара,
ему на темя руку положив.



АЛЕКСАНДР КРОН

★

КАПИТАН ДАЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ

Повесть о дружге

Прошло почти сорок лет со времени январского похода подводной лодки «С-13», и сегодня еще яснее чем когда-либо видно значение подвига экипажа корабля и его отважного командира. Дело не только в потопленном тоннаже, хотя и его нельзя сбрасывать со счетов. Дело в том, что в критический для фашистского государства момент германскому флоту был нанесен мощный удар, один из тех, от которых он уже не смог оправиться. Вместе с «Густловом» и «Штойбенем» отправились на дно не только отборные гитлеровские войска, но и десятки экипажей для новейших субмарин, рассчитанных на продолжение морской блокады союзников. Недаром блестяще проведенную капитаном 3 ранга А. И. Маринеско атаку на грандиозный лайнер «Вильгельм Густлов» во многих печатных откликах называют «атакой века».

Свой подвиг, или, вернее сказать, свой главный подвиг, Александр Иванович Маринеско совершил не в одиночку. У него были достойные соратники. В конце 1945 года мне довелось быть начальником штаба, а затем и командиром бригады, в состав которой входила краснознаменная «С-13», этих людей я знал. Это были настоящие герои и большие мастера своего дела.

Но душой всех атак, человеком, сплотившим боевые коллективы «М-96», а затем и «С-13», был Александр Иванович Маринеско. С этим смелым и талантливым паренком я в юности был знаком, оба мы плавали на черноморских судах, оба учились в мореходных училищах, он в Одессе, я в Херсоне, оба стали подводниками, только служили, а затем и воевали на разных флотах. То, что я знал об Александре Ивановиче, тогда еще Саше, а впоследствии слышал о нем от друзей, полностью сходится. Среди моряков он остался в памяти как человек мужественный, всей душой преданный морю и своей советской родине, как добрый товарищ и талантливый командир. Характер у него был непростой, были в его жизни и ошибки, но было в нем и подлинное величие.

Повесть Александра Крона «Капитан дальнего плавания» мне кажется очень правдивой. О Маринеско как о бойце написано немало, а вот настоящей попытки разобраться в нем как в человеке, в его душевном мире я до сих пор не встречал. И я не знаю писателя, которому эта задача была бы больше по плечу, чем А. А. Крону. Мне нет необходимости представлять его читателю — он широко известен и как драматург и как прозаик. Но я хочу подчеркнуть, что он при этом и настоящий маринист писатель, знающий и любящий флот, человек, слову которого привыкли доверять подводники. Всю Отечественную войну А. А. Крон провел на воюющей Балтике был и редактором многотиражной газеты подводников, и фронтовым корреспондентом участвовал в боевых операциях флота. В условиях осажденного Ленинграда написал «Офицера флота», пьесу, поставленную многими театрами страны У нас на Северном флоте спек-

такль и пьеса горячо обсуждались во флотской печати, в кают-компаниях и матросских кубриках — речь шла о самом главном, о том, что касалось всех. Большой популярностью среди моряков пользуется до сих пор написанный уже после войны роман «Дом и корабль». Но, как видно, море и военные моряки продолжают и теперь быть близки его таланту, и доказательство тому — многолетняя борьба за доброе имя Маринеско, завершившаяся повестью о дружбе — книгой, которая с моей точки зрения никого не может оставить равнодушным.

Г. И. ЩЕДРИН,
вице-адмирал, Герой Советского Союза.

В этом здании в 1930—33 годах

учился

МАРИНЕСКО

Александр Иванович

капитан дальнего плавания

командир подводной лодки

«С-13»,

потопившей в годы

Великой Отечественной войны

вражеские суда общим

водоизмещением 52 884 тонны.

Мемориальная доска на здании
Одесского мореходного училища.

I «СПОСОБЕН НА ПОДВИГ»

Эту повесть я начинал много раз. Бросал и принимался писать заново. Ни одна из моих книг не давалась мне так трудно.

Изменялись обстоятельства, изменялся я сам. Неизменным оставалось только мое отношение к герою.

Об Александре Ивановиче Маринеско и бессмертном подвиге балтийской подводной лодки «С-13» я писал и раньше. Писал бегло, от случая к случаю. Мысль о книге пришла позже, когда Александра Ивановича уже не было в живых, и пришла она не мне, а Ивану Степановичу Исакову. Эту книгу мы должны были писать вместе.

Иван Степанович Исаков, прославленный флотоводец и выдающийся ученый, обладал незаурядным литературным дарованием. Об участии Исакова в судьбе Маринеско, о заочной дружбе, связывавшей этих замечательных людей в последние годы их жизни, я расскажу дальше. Сперва — о книге.

У меня сохранился составленный Иваном Степановичем и подписанный нами обоими проект, состоящий из десяти пунктов и дающий исчерпывающее представление об отношении Исакова к личности и подвигу Маринеско. Приведу только первый пункт:

«Чего мы добиваемся (разрядка И. С. Исакова.— А. К.) при разборе и анализе материалов и человеческих свидетельств о героической жизни и судьбе Александра Ивановича Маринеско:

1. Чтобы ярче заблистал и стал доступным для всего советского народа один из замечательных подвигов экипажа балтийской подводной лодки «С-13» под командованием капитана 3 ранга Маринеско. К сожалению, несмотря на истекшие 20 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, мало кто знает о той роли, которую сыграла «С-13» для ускорения морального и физического разгрома гитлеризма».

На последней странице рукой Ивана Степановича: «Принято условно, в качестве отправного пункта для начала работы, в процессе которой будет проясняться не только ее содержание, но и цель».

Подписи и дата: 2/3 июня 1965 года. Такая датировка может показаться необычной. Я нахожу ей только одно объяснение: проект

был написан ночью. Мучительные боли в ампутированной ноге часто не давали Ивану Степановичу заснуть. В таких случаях он вставал и, преодолевая боль, садился за пишущую машинку.

Итак, подвиг, ускоривший моральный и физический разгром гитлеризма. Это очень ответственные слова, а Иван Степанович слов на ветер не бросал. В главе, посвященной боевому походу, я, опираясь на свидетельства участников, постараюсь подробнее рассказать об этом подвиге, а пока ограничусь краткой справкой.

30 января 1945 года подводная лодка «С-13» под командованием капитана 3 ранга А. И. Маринеско потопила в районе Штольпмюнде гигантский лайнер фашистского флота «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25 484 тонны, на борту которого находилось свыше семи тысяч эвакуированных из Данцига под ударами наступающих советских войск фашистов: солдат, офицеров и высокопоставленных представителей нацистской элиты, палачей и карателей. На «Густлове», служившем до выхода в море плавбазой для школы подводного плавания, находилось свыше трех тысяч обученных подводников — примерно семьдесят экипажей для новых подлодок гитлеровского флота. В том же походе Маринеско торпедировал большой военный транспорт «Генерал Штойбен», на нем переправлялись из Кенигсберга 3600 солдат и офицеров вермахта. «За один этот боевой поход, — пишет в своей статье «Боевая деятельность подводных лодок КБФ в 1944—1945 гг.» кандидат военно-морских наук В. А. Полещук, — Маринеско по существу отправил на дно целую дивизию». Из этой же статьи я взял основные цифры.

С небольшими разночтениями сведения о подвиге «С-13» сегодня можно найти в других трудах советских военных историков и в общей печати; в имеющемся у меня далеко не полном списке публикаций последних лет свыше ста названий — от научных трудов до детского журнальчика и отрывных календарей. С более существенными разночтениями — в книгах наших бывших противников. И бывших союзников. Уточнить все, что касается класса и водоизмещения потопленных кораблей, а также кораблей конвоя, численности и характера находившихся на борту контингентов — задача специалистов. Она решена еще не полностью. И. С. Исаков всячески подчеркивал, что позднейшая советская версия должна быть наиболее достоверной и обстоятельной, подвиг «С-13» сам по себе настолько значителен, что не нуждается в преувеличениях и украшательствах. Это дело ближайшего будущего, а пока читателю достаточно знать: на исходе войны фашистскую Германию постигла катастрофа, перед которой бледнеют все сохранившиеся в памяти человечества морские катастрофы.

«Расплата за войну» — так назвал автор вышедшей в 1959 году в Гамбурге книги, немецкий историк К. Беккер, ту главу, где он описывает гибель «Густлова».

А наш советский историк И. С. Исаков в статье, посвященной двадцатилетию Победы и опубликованной в журнале «Советский Союз», отвечая на вопрос, что ему особенно запомнилось из боевых действий в последний период войны и что наиболее воздействовало на фашистов, ускорив их разгром, писал: «...пришел к убеждению, что таким героическим подвигом, потрясшим фашистов, начиная с самого Гитлера, является беспримерный успех атак подводной лодки „С-13“».

Этим авторитетным суждением я на первых порах и ограничусь. Иван Степанович считал, что любое повествование о боевых походах «С-13» было бы неполно без правдивой характеристики ее отважного командира. Поэтому он предложил оригинальную и в то же время устаревшую его форму соавторства. Исаков, никогда не встречавшийся с Маринеско, брал на себя всесторонний анализ документов о боевой деятельности командира «С-13»; я должен был

рассказать о человеке, которого знал и любил. Два пеленга — аналитический обзор и психологический портрет. Предполагалось, что повествование пойдет двумя равноправными, но несливающимися потоками, возможно различными шрифтами. Или даже так: нечетные страницы пишет военный историк, четные — мемуарист. В заключительной главе оба потока должны были слиться воедино. Работа нас увлекла, но вскоре застопорилась из-за резкого обострения болезни Ивана Степановича. Незадолго до своей кончины он писал мне: «Кажется, придется Вам писать эту книгу одному».

И я остался один. Взять на себя обе задачи было мне явно не по силам. Не обладая авторитетом и специальными знаниями Исакова, я не мог быть судьей походов Маринеско, не будучи их участником — не мог быть летописцем. Прекратить работу? Но это было бы предательством, забвением своего долга перед светлой памятью Александра Ивановича и Ивана Степановича, перед экипажем корабля, перед всеми, кто помогал мне по крупицам восстанавливать живые черты героя и события, уже покрывшиеся патиной времени, наконец, перед читателями, которые уже многие годы не перестают интересоваться личностью Маринеско, пишут мне письма и задают вопросы на читательских конференциях. Число их с годами не уменьшается, а растет. У меня, как у всякого действующего литератора, есть своя особая читательская почта. В это понятие не входит обычная дружеская переписка, хотя друзья — это тоже читатели. Речь идет о письмах, которые приходят от людей совершенно незнакомых. Писем, так или иначе касающихся подвига «С-13» и личности Маринеско, за двадцать лет накопилось множество, они уже не уместятся в ящиках стола. Из этих писем самые дорогие — сообщения из школьных читательских клубов, поисковых групп, отрядов красных следопытов и созданных ими музеев. С некоторыми из них я переписываюсь и глубоко убежден, что дело, которым занимаются рассеянные по всей стране ревнители воинской славы Маринеско, есть дело в высшей степени полезное и имеет самое прямое отношение к тому, что мы называем военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Есть еще одна причина, почему я не вправе молчать. Нетрудно догадаться, что имя Маринеско достаточно известно и на Западе. О писаниях К. Беккера, Г. Шена и других западногерманских военных историков покойный И. С. Исаков отзывался с иронией. «Все они, — говорил Иван Степанович, — на разные лады пытаются принизить значение потопления «Густлова» и «Штойбена» для разгрома фашистского рейха, всячески подчеркнуть, что на борту «Густлова» были гражданские лица и семьи военнослужащих, а при этом умалчивают, почему спаслись от гибели многие бразы вояки, в том числе и авторы воспоминаний».

Не без греха в этом отношении и более серьезный историк германского флота Ю. Ровер. Но он хотя бы отдает должное бывшему противнику. «Мы видели, — писал Ю. Ровер в 50-х годах, — что советские подводники — люди высокого порыва, доблести, упорства, хорошо обучены, обладали необходимым опытом, а также хорошими морскими качествами и тактической подготовкой». Самым значительным успехом балтийских подводников он признает январский рейд «С-13».

В своей книге «На флотах боевая тревога» (1971) Н. Г. Кузнецов пишет: «Потопление «Вильгельма Густлова» явилось значительным событием даже на фоне наших крупных побед в те дни». Однако за последние годы в западной печати все чаще встречаются попытки ревизовать значение атак «С-13».

Передо мной лежат два солидных тома в гляцевых суперобложках. На обоих изображено одно и то же — погружающийся в холодные балтийские волны гигант. Сходны и названия. Одна книга, немецкая, называется «Nackt in den Tod» («Голыми в смерть»). Другая,

английская, — «The Cruellest Nacht» («Ужасная ночь»). Написаны они в разных жанрах, на разных языках и разными людьми. Одна — бывшим противником. Другая — бывшими союзниками.

Книга Иоахима Брока «Nackt in den Tod» — роман. Выбор жанра поначалу удивляет, и не потому, что автор, по профессии дантист, взялся за эту труднейшую форму. Пути в литературу никому не заказаны. Обращает внимание другое. Лайнер, на котором происходит действие романа, называется «Вильгельм Густлов», а автор — свидетель и участник разыгравшихся на его борту событий, в описываемое время — лейтенант гитлеровского флота, командир взвода 2-го отряда 2-го учебного дивизиона. Из тех самых подводников, чьей плавучей базой был «Густлов». Из всех прав, которые предоставляет автору свободная романная форма, он воспользовался только одним — правом на вымысел. Задача автора ясна — доказать, что лайнер был не плавучей казармой подплава, где нашли ненадежный приют удиравшие от справедливого возмездия фашистские бонзы, палачи и каратели, а почти беззащитным прибежищем невинных жертв, не беглецов, а «беженцев». О Маринеско ни слова, но нетрудно понять, кого Брок считает своими заклятыми врагами.

Но довольно о Броке. Брок — неразоружившийся гитлеровец, сменивший кортик на бормашину, но не усвоивший уроков поражения. Его книга любопытна как показатель растущей за последние годы в странах НАТО тенденции исказить историю второй мировой войны и опорочить подвиги наших героев. Гораздо интереснее другая книга, написанная и изданная в стране, которая в битве с фашизмом была нашим союзником.

Книга выпущена совсем недавно, в 1979 году, солидным издательством «Хэддер и Стоунтон» (Лондон, Сидней, Окленд, Торонто) и рассчитана на все англоязычные страны. Авторы книги — английские журналисты Кристофер Добсон, Джон Миллер и Рональд Пэйн. В отличие от Брока авторы не были и не могли быть свидетелями описываемых событий. Тем не менее книга претендует на документальность. Использованы десятки свидетельств, интервью взято даже у гросс-адмирала Деница, командовавшего в годы войны фашистским флотом, того самого отсидевшего срок военного преступника, кого Гитлер перед смертью назначил своим преемником. Книга иллюстрирована фотографиями. На одной вклейке «Густлов» и гросс-адмирал Дениц в полной парадной форме, на другой — «С-13» и портрет Маринеско. Так что книга претендует на объективность. Авторы пишут не только о гибели «Густлова», но и об атаке «С-13». Впрочем, претензии эти не способны обмануть самого доверчивого читателя. Не в том дело, что о «Густлове» в книге написано много, а о подвиге «С-13» — мало. И большая часть книги, где описывается катастрофа, и немногие страницы, посвященные «С-13» и ее командиру, в одинаковой мере служат единой цели: дискредитировать подвиг «С-13», изобразить «Густлов» как спасательное судно и легкую добычу, а успех атаки «С-13» — случайной удачей. О «Штойбене» в книге, конечно, ни слова. Еще бы, вспомогательный крейсер с целой дивизией на борту. Тут уж никакие ухищрения не помогут.

Как ни близка «концепция» трех авторов к свободному творчеству Брока, они временами проговариваются. В погоне за сенсацией они подробно излагают свою беседу с высокопочитаемым гросс-адмиралом, который не скрыл, что 21 января, всего за несколько дней до гибели «Густлова», он передал в эфир кодовый сигнал «Ганнибал», предписывающий всем подводникам обучавшимся в районе Данцига, срочно возвратиться на главные базы, в Киль и Гамбург. Нужны были команды для лодок нового типа, нацеленных на коммуникации союзников, и прежде всего на морскую блокаду Великобритании. Вот эти-то команды и должен был доставить «Густлов».

Самое постыдное в книге — то, как изображен в ней Александр

Иванович Маринеско. Собирая материал для своей книги в ФРГ, авторы еще соблюдают приличия, ссылаются на документы, называют людей, от которых они получали сведения. В части, касающейся советской подводной лодки и ее команды, мы сталкиваемся только с необузданной, и притом весьма дурно пахнущей, фантазией. А ведь известно, что один из авторов, Джон Миллер, дважды приезжал в СССР со специальной целью добыть интересующие его данные из биографии Саши Маринеско (Александра Ивановича г. Миллер и К° с непонятной для меня фамильярностью именуют Сашей; впрочем, развязности им не занимать). Кто же такой, судя по книге английских журналистов, Саша Маринеско? В юности — мелкий воришка, малограмотный и циничный удалец, связанный с блатным миром, усвоивший правила жизни на одесских базарах и до конца жизни изъяснявшийся на полублатном портовом жаргоне. В зрелые годы — пьяница и бунтарь, за отчаянную смелость стяжавший славу «подводного аса», а затем разжалованный и высланный на рабский труд в ужасный советский лагерь на Колыме. Авторы намекают, что Миллеру удалось «приоткрыть завесу тайны», тяготевшей над судьбой Маринеско, на какой-то политический скандал, в котором был якобы замешан командир «С-13», чем и объясняется длительное молчание вокруг имени Маринеско. Авторы утверждают также, что не в пример западным немцам, охотно сотрудничавшим с ними, русские официальные лица всячески «отводили» вопросы г. Миллера. Не знаю, к кому из официальных лиц обращался Миллер, их он не называет. Очевидно, он предпочитал пути неофициальные. Опубликованные в советской печати материалы его не заинтересовали. В книге глухо говорится о каких-то пожелавших остаться анонимными источниках. Прием знакомый. Я что-то не верю, что среди соратников и друзей Маринеско нашлись люди, которые наболтали весь этот вздор, да еще просили не называть имен. Но зато я определенно знаю людей (к ним принадлежу я сам), не захотевших встречаться с г. Миллером. Разгадать его намерения не представляло большого труда.

Я рассказал об этих книгах не для того, чтобы с ними полемицировать. Они этого не заслуживают. Но само существование подобных книг — лишний аргумент, доказательство того, как нужна именно теперь полная и неприкрашенная, не оставляющая почвы для лукавых домыслов правда о Маринеско.

* * *

Итак, мне предстояло принять решение. Далось оно нелегко.

Одно было для меня ясно с самого начала — никакой беллетристики. Никакого сочинительства, ни малейшей попытки создать собирательный образ. Александр Иванович Маринеско такой, каким он был в жизни и каким его знали друзья, со всеми его достоинствами и недостатками, гораздо ярче и интереснее того, что я мог бы про него выдумать.

Напрашивался вывод — надо писать нечто строго документальное. Пусть документы говорят сами за себя.

Я вооружился ножницами и клеем — и потерпел крах. Документы говорили сами за себя, но говорили разное.

От мысли получить и использовать материалы, собранные Иванов Степановичем, я очень скоро отказался. В моем распоряжении оказалось достаточно документов другого рода — музейных и, так сказать, человеческих: собственноручные записи и письма Александра Ивановича, мои собственные дневники, куда я по свежей памяти заносил рассказанное им во время наших встреч, письменные и запечатленные на магнитофонной ленте свидетельства соратников, фотографии и выписки из опубликованных в печати материалов.

Во всех этих документах нет ничего секретного, но много зага-

дочного и противоречивого. И больше всего противоречий в материалах опубликованных. Несколько первых газетных публикаций, относящихся к началу шестидесятых годов, по праву носили заголовок «Неизвестный подвиг». С годами подвиг из неизвестного превратился в легендарный.

Здесь я позволю себе сделать некоторое отступление. Мы не всегда правильно пользуемся эпитетом «легендарный». Зачастую мы делаем его синонимом слова «прославленный» (или «знаменитый») и упускаем важный оттенок. Народной молве, устному эпосу, легендам, мифам и сказкам мы обязаны тем, что до нас; «как свет потухших звезд», доходит весть о делах наших далеких предков. Там, где есть документы или живые свидетели, мифы и легенды отступают и если рождаются, то как следствие недостаточной или искаженной информации.

А впрочем, документальность еще не дает патента на бесспорность. Документы пишутся людьми. Документы можно отбирать и монтировать. Иногда в результате такого отбора и монтажа рождается искусство.

В моем случае этого не произошло. Все, взятое порознь, было как будто и достоверно и интересно, а живший в моей памяти сложный и привлекательный образ не складывался. Каждая страница требовала сносок и пояснений; то, что для меня имело цвет, вкус и запах, для читателя восьмидесятых годов может оказаться попросту непонятным. Этот читатель не обязан знать ни устройства подводных лодок, построенных в тридцатые годы, ни привычных для моряков военного поколения сокращенных обозначений, ни особенностей военно-стратегической обстановки на Балтике. Никакие подстрочные примечания не спасали положения. Не хватало чего-то самого существенного.

А время шло. Количество публикаций, в том числе зарубежных, росло. Моя рукопись устаревала, не сходя с письменного стола. И я понял: от меня ждут не информации, а жизнеописания.

Тогда я бросился в другую крайность. Начал писать биографический очерк. Несколько традиционный, в подчеркнуто спокойной, объективной манере («Александр Иванович Маринеско родился в Одессе 2(15) февраля 1913 года в семье рабочего...») — так, как пишутся многие биографии для серии «Жизнь замечательных людей». И вновь потерпел неудачу. Не потому, что мой герой — человек несомненно замечательный — того недостоин, а потому, что его образ, так сказать, еще не созрел для бронзы, споры вокруг личности и подвига Александра Маринеско не умолкают до сих пор. Откуда взяться эпическому спокойствию? К тому же очень скоро я заметил, что неотвратимо скатываюсь к самому чуждому мне жанру — обезличенному, слегка беллетризованному очерку, из которого невозможно понять, откуда автор почерпнул свои сведения, что видел сам, о чем знает с чужих слов и откуда ему ведомы мысли и чувства участников описываемых событий.

Таким образом, я вновь пришел к тому, от чего пытался уйти, — к воспоминаниям. Пришел, обогащенный опытом своих неудач.

Отдаю себе отчет, что мои личные воспоминания недостаточны, во время войны я с Александром Ивановичем почти не встречался, и сблизилась мы только в последние годы его жизни. На помощь мне придут собранные мной сведения, в первую очередь свидетельства соратников. Кому-то мои воспоминания покажутся субъективными. Иными они и не могут быть, от субъективности не спасает и документальность, но я обещаю читателю нигде не злоупотреблять его доверием. Расскажу только о том, что видел и слышал. Источники — назову. Свои догадки оговорю. Из несходных версий постараюсь выбрать наиболее надежную. Конечно, возможны ошибки. Я готов их исправить.

Свой рассказ я привычно поведу от первого лица. Это позволит мне попутно поделиться с читателями некоторыми накопившимися у меня в ходе работы соображениями, не выдавая их за истину в последней инстанции. Надеюсь, читатели не воспримут это как нескромность. Для доверительного разговора «я» удобнее, да, пожалуй, и скромнее, чем «мы».

Кстати, о названии. Александр Иванович много раз говорил мне, а однажды написал в письме, что не считает себя героем. Больше того, никогда, даже в детстве, не стремился им стать. Пределом его мечтаний с самых ранних лет было стать капитаном дальнего плавания. Он и стал им, хотя жизнь внесла в его мечту свои жесткие поправки. Об этом повесть.

* * *

Память бывает двух родов — логическая и образная. Память ума и память сердца.

Конечно, я упрощаю — одна не существует без другой. И все-таки гораздо легче восстановить в памяти то, что ты когда-то знал, чем то, что ты некогда чувствовал. Нужен толчок, приводящий в действие механизм нашей образной памяти. Происходит он самым неожиданным и не всегда подвластным нам способом. Его может вызвать самый простенький сувенир, пожелтевшее от времени письмо или даже нечто менее вещественное: знакомый запах, чем-то памятный пейзаж и особенно звуки — музыка, песня...

Я прижимаю к уху «микрорекордер» — маленький репортерский магнитофончик — и слышу звуки духового оркестра, гул военного плаца, согласный топот сотен ног, усиленные мощными репродукторами голоса ораторов на трибуне и в моей памяти оживает весь тот день, в котором для меня смешались радость и горечь, торжество и боль.

7 мая 1978 года. Солнечное, но еще прохладное ленинградское утро. Просторный, как городская площадь, плац Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. На празднично украшенной трибуне командование училища и почетные гости — двадцать пять членов экипажа краснознаменной подводной лодки «С-13», приехавших на традиционный сбор ветеранов-подводников Балтики. Двадцать пять — это больше половины команды, в таком полном составе рассеянные по всей стране участники походов «С-13» собрались впервые. И чувствуют их так тоже впервые. Впервые перед командой «С-13» во главе с помощником командира корабля Львом Петровичем Ефременковым проходит церемониальным маршем, рота за ротой, все училище. Впервые имя покойного командира грохочет в мощных динамиках на весь огромный плац так, что слышно на прилегающих к плацу улицах.

От всего этого радостно на душе. А горько оттого, что командир всего этого не слышит.

Гул плаца и звуки оркестра резко обрываются. Тихий щелчок, и вновь возникает гул, но уже другой — запись сделана в закрытом помещении. Голоса отражаются от стен и потолка, и слова разобрать трудно. Зато ясно слышатся шорохи и дыхание сидящих рядом со мной людей, и в моей памяти мгновенно возникает просторный кубрик, ставший тесным от набившихся в него курсантов, а затем я узнаю слегка скандирующую речь штурмана «С-13» Н. Я. Редкоборова. Он рассказывает о походах корабля и отвечает на вопросы молодежи. Мы с Николаем Яковлевичем старые друзья, и я имел возможность записать его драгоценные для меня рассказы в более подходящей обстановке, этот же кусочек магнитной пленки имеет для меня совсем другую ценность — ассоциативную. Теперь в моей памяти отчетливее всплывают впечатления того дня — и обед в кур-

сантской столовой, и с оглядкой выпитые в чем-то кабинете праздничные пятьдесят граммов спирта, и веселый гомон в заказном автобусе, везущем ветеранов «С-13» и немногих приглашенных гостей команды через Неву на Биржевую площадь в Центральный военно-морской музей. Там мы почтительно, но торопливо проходим через храмовой вышины экспозиционные залы, где привольно, как под открытым небом, расположились многомачтовые модели старинных кораблей, бронзовые статуи флотоводцев и огромные, вырубленные из цельных стволов весла галер и галионов. У подводников мало времени, они полны впечатлениями дня, а впереди еще посещение Богословского кладбища, где похоронен командир. Надолго задерживаются они только у небольшой витрины, где под стеклом выставлена знакомая фотография Александра Ивановича, его ордена (орден Ленина без муаровой ленточки, значит, получен в самом начале войны) и очень краткая справка о потоплении «Густлова». Более чем скромно. Но восемнадцать лет назад, когда я впервые пришел в музей, не было и этого.

Здесь запись кончается — не записывать же на пленку молчание. Вместе со всеми я смотрю на это прекрасное, полное жизни, все еще мальчишеское лицо и не в первый раз задаю себе вопрос: в чем его неотразимая привлекательность? Вряд ли найдется кинорежиссер, который взял бы на роль главного героя актера с такими данными. А если б и взял, его не утвердил бы худсовет. Круглое лицо, нос картошкой. Ни глубокомысленной складки между бровями, ни изобличающего железную волю квадратного подбородка. А в итоге — ощущение силы. Силы, которая себя прячет, а не демонстрирует. Прячет до поры.

Я выключаю магнитофон и раскидываю по столу свое богатство — десяток три фотографий Александра Ивановича, подаренных мне или переснятых, и вновь вглядываюсь в эти любительские снимки. Маринеско на мостике подводной лодки, Маринеско в центральном посту у перископа, Маринеско в кругу команды. И более поздние, снятые уже в мирное время во время Кронштадтских сборов. Веселая церемония на пирсе учебного отряда: Александр Иванович принимает в дар от начальника отряда, своего бывшего комдива Евгения Гавриловича Юнакова, живого поросенка. Этим традиционным подарком подводники встречали возвращающихся из боевого похода победителей. Александр Иванович и адмирал В. Ф. Трибуц, командовавший Балтийским флотом в годы войны. Они курят и о чем-то мирно беседуют. Александр Иванович в «комнате славы» учебного отряда отвечает на вопросы молодых моряков. Впечатление такое, что все снимки сделаны скрытой камерой. Абсолютная естественность, полное отсутствие позы. Не хочу сказать, что на всех тридцати снимках он одинаков. Сказываются и годы, и настроение, в котором его захватил объектив. Но он везде верен себе. Один и тот же с матросом и адмиралом. В центре дружеского внимания и наедине со своими мыслями.

Особенно дорога мне одна фотография. Ее подарил мне председатель Совета ветеранов-подводников Балтики вице-адмирал Лев Андреевич Курников, во время войны начальник штаба нашей бригады. На фото мы сняты вместе с Александром Ивановичем. Третий в кадре — наш общий друг, бывший флагманский штурман бригады, ныне покойный Н. Н. Настай. Настай в морской форме, Александр Иванович в пиджаке и белой рубашке с галстуком, через руку переброшен легкий плащ. На лацкане пиджака только один орден Ленина, тот самый, без ленточки, что выставлен теперь в музейной витрине. Мы стоим у гранитного парапета, сзади широкая Нева, горизонт закрывает мост Лейтенанта Шмидта. По этим признакам легко угадываются и место и дата. Июнь 1963 года. Университетская набережная. Раннее утро. Скоро должны подать «плавсредства», которые

перевезут ветеранов-подводников из Ленинграда в Кронштадт на традиционную встречу. Дата и место не вызывают сомнений, а вот о чем мы трое говорили за несколько секунд до того как возникла эта уловленная чьим-то объективом тревожная пауза, восстановить уже невозможно, и мне все чаще приходит в голову, что я ошибаюсь: это не встреча, а расставание. Мы стоим на фоне светлого неба, но Ленинград — город белых ночей, и в июне вечера там почти неотличимы от раннего утра. А если так, то все становится на свои места: сбор уже позади, нас привезли в Ленинград, остались считанные минуты до последнего рукопожатия, понятны и плохо скрытая тревога на наших с Настаем лицах, и невеселое раздумье на еще недавно оживленном лице Маринеско. На этой фотографии он уже немолод, все мальчишеское куда-то ушло, на лбу залегли морщины, но и до старости ему еще далеко, в темных волосах не блестит седина, а от всей его невысокой, но крепкой, нерасплывшейся фигуры по-прежнему исходит ощущение сдержанной силы. И трудно поверить, что этому поразительно жизнестойкому и жизнелюбивому человеку осталось жить всего несколько месяцев.

Знали ли мы, его друзья, что страшная болезнь уже проникла в него? Не знали, как не знал до конца и сам Александр Иванович, но нас уже точила тревога. На сборе ветеранов он был, как всегда, оживлен, дружелюбен, открыт, но покашливал странно, не попростудному, и тогда лицо его сразу старело и становилось таким, каким его запечатлел объектив на этом, вполне вероятно, последнем по времени снимке.

Не перестаю огорчаться, что среди множества магнитофонных записей у меня не записан голос Александра Ивановича: когда мы с ним встречались, у меня еще не было портативного магнитофона. Но я и так помню его голос. То же ощущение сдержанной силы, что и от внешности. Говорил он всегда негромко, но так, что хотелось слушать. Подводники вообще народа не шумный, в центральном посту и в рубке подводной лодки принято говорить вполголоса и обходиться без лишних слов. Эта привычка сказывается и на берегу. Даже в возбуждении Александр Иванович редко возвышал голос. Разве только когда пел. Петь он любил, пел хорошо, по-русски и по-украински и даже под хмельком не фальшивил. Как, впрочем, и в быту. А чужую фальшь угадывал мгновенно, и это наводит на мысль, что музыкальность слуха — качество не только физиологическое. Слух у Александра Ивановича был тончайший.

Прошло то время, когда подвиг Маринеско оставался неизвестным народу, теперь никто не спорит, что он — настоящий герой. Но ведь не единственный же. Я знал и знаю многих не менее отважных. «Рядом с героями» — так называлась вышедшая в шестидесятых годах книга воспоминаний писателей-фронтовиков Ленинграда и Балтики. Название очень точное. И по долгу службы и по характеру своей профессии военные литераторы оказались летописцами героического времени, пройдя за годы войны сложный путь от фронтового репортажа к первым, еще несовершенным попыткам понять и осмыслить природу массового героизма советских воинов и приблизиться к первым художественным обобщениям. От поступка найти ход к побуждению, от побуждения к характеру. Так было уже тогда, и нет ничего удивительного в том, что сегодня меня интересует не тоннаж потопленных Маринеско вражеских судов, а в первую очередь героический характер. Яркий, самобытный, знавший и взлеты и падения, но при этом удивительно цельный. Уязвимый, но в своей основе негиббемый и бескомпромиссный. Способный возвышаться над обстоятельствами и подчинять их себе. И наконец, что немало важно, — отмеченный печатью таланта. Талант и героизм — понятия сопряженные. Талантливому человеку для того, чтобы полностью осуществить заложенные в нем возможности, необходима воля, за-

частую героическая воля. Точно так же человеку героического склада для совершения выдающегося подвига в большинстве случаев необходимо высокое профессиональное мастерство, доступное только людям одаренным.

Героический характер. Чтобы пояснить, что я подразумеваю под этими словами, мне придется сделать некоторое отступление и попытаться определить содержание, которое мы привычно вкладываем в ставшие расхожими слова герой, героизм, подвиг. В годы войны мы столько раз сталкивались с этими понятиями в жизни, что почти не испытывали нужды в теоретических определениях. Вместо определений мы приводили примеры, десятки, сотни свежих ошеломляющих фактов. И факты говорили сами за себя.

Но время идет. На смену воинскому подвигу пришла героика созидательного труда. Возникла потребность глубже осмыслить духовный опыт войны, внести необходимые поправки в некоторые сложившиеся представления, все чаще возникают споры и происходят переоценки людей и событий на основе новых данных. Наряду с этим растет потребность в уточнении нашей привычной терминологии.

Итак, что же такое герой и героизм? Для объяснения слов существуют толковые словари. Снимаю с полки третий том «Словаря современного литературного русского языка» (1954) и раскрываю на слове «герой». Полных четыре столбца убористого текста. С научной тщательностью собраны все возможные оттенки слова — от героя в понимании древних эллинов, полубога, наделенного сверхъестественной силой и способностями, до «героя дня» — человека, на короткое время обратившего на себя всеобщее внимание; от героини как театрального ампула до пишущегося с прописной буквы почетного звания Матери-героини. Все эти исторически сложившиеся понятия не тождественны, и о каждом из них стоит поразмыслить. Выделим сразу в самостоятельную категорию Героя с большой буквы, Героя как звание, как высшую правительственную награду, она дается за особо значительные заслуги и по существующему статуту может быть присвоена не единожды. Героем со строчной буквы можно быть лишь однажды, это скорее характер человека, чем оценка его деяний, и нередко, называя человека героем, мы имеем в виду не столько объективную значимость совершенного им деяния, сколько те черты личности, которые подвиг и его на вызывающий наше восхищение поступок. Я нарочно употребил этот прекрасный древний глагол, потому что он многое проясняет в более привычном слове «подвиг». В своем основополагающем определении толковый словарь говорит: «Герой — человек, совершающий подвиги» — и хотя слово «подвиг» тоже многозначно и многооттеночно, в нем как бы закапсулированы два составляющих единство, но находящихся в сложном взаимодействии элемента: высокая общественная ценность поступка, дающая ему право называться подвигом, и те высокие нравственные качества, подвигнувшие человека преодолеть все трудности и опасности на пути к его свершению. В каждом подвиге объективный смысл деяния и субъективные человеческие побуждения находятся в сложных, разнообразных, зачастую противоречивых отношениях. К этой теме я еще неизбежно вернусь, а пока признаюсь, что наряду с объективным смыслом подвига Маринеско меня не в меньшей мере увлекают те стороны его личности, которые я расцениваю как героический склад характера. И то, что сам Маринеско и на словах и письменно заявлял, что никогда не считал себя героем и не мечтал им быть, несколько тому не противоречит. Мечтает стать героем почти любой подросток, иногда это свидетельствует только о честолюбии. Рост материальной и духовной культуры отразился и на процессе формирования героического характера. Чтобы совершить подвиг во время войны и тем более в мирное время, как правило, уже

недостаточно самоотверженности и готовности рисковать собой — подвиг сегодня может совершить только человек хорошо вооруженный. Вооруженный, конечно, в самом широком смысле — не только оружием, но и умением, знаниями, навыками, наконец, вооруженный идейно, отлично знающий, во имя чего он идет на подвиг.

И конечно, постепенно складывавшийся во мне образ Маринеско привлек меня тем, что героическое начало было в нем глубочайшим образом заложено; чем больше я узнавал его и о нем, тем яснее становилось для меня, что беспримерный, по слову И. С. Исакова, январский рейд 1945 года не был яркой вспышкой, на короткое время осветившей фигуру человека заурядного, а предопределен всей его предшествующей жизнью. Я увидел в Александре Маринеско один из тех характеров, которые привлекали меня всегда. И в жизни и в искусстве.

Здесь я позволю себе некоторый экскурс в прошлое.

В течение моей, как выяснилось, уже довольно долгой жизни у меня было несколько друзей, погибших в самом расцвете лет. И хотя они не совершили каких-либо чрезвычайных подвигов, они остались в моей благодарной памяти как люди героического склада. Никто из них не ушел из жизни бесследно, но я убежден, что только ранняя смерть помешала им совершить нечто более значительное, еще более заслуживающее названия «подвиг», чем то, что они успели за свою короткую, но активную, отмеченную самостоятельностью решений жизнь. Вся их жизнь была подготовкой к подвигу, они непрерывно тренировали и закачивали свою волю для какого-то еще неясного по очертаниям, но несомненного для них главного дела, главного поступка.

Валентин Кукушкин, Юрий Крымов, Алексей Лебедев.

Они были очень разными, эти люди, и объединяла их только страстная любовь к литературе. Между собой они не были знакомы, возникли в моей жизни в разные периоды, и я потерял их одного за другим. Не вернувшиеся с войны Крымов и Лебедев оставили после себя книги. Проза Крымова и стихи Лебедева живут и сегодня. С Вале́й Кукушкиным, скончавшимся в 1930 году в возрасте двадцати лет от осложнения после скарлатины, мы подружались детьми. В годы гражданской войны мы оба были воспитанниками трудовой колонии при Биостанции Юных Натуралистов под Москвой. Помимо общего для всех интереса к живой природе нас с Вале́й сближало страстное увлечение литературой и театром. Валентин ни в чем не знал удержу — это была натура бурная, подверженная разнообразным, зачастую скоропреходящим увлечениям, однако все его интересы, в том числе биология, спорт и театр, казались ему слишком мирными и, так сказать, побочными. У него был темперамент бойца. «Такие люди, как мы с тобой, — сказал мне однажды Валька, — должны готовить себя к революционной деятельности. Мировая революция нас ждать не будет. Надо пойти на производство, чтоб приобрести пролетарскую закалку. А дальше — видно будет. Пойдем, куда пошлют. Искусство — прекрасная вещь, но заниматься им надо только в свободное время».

«Таким людям» было в то время лет по двенадцати. Но время было такое. И позже, когда жизнь внесла свои поправки в наши детские мечтания, Валентин остался верен себе. Пошел на производство, а затем поступил в военное училище. Работая в типографии, написал свою первую пьесу, поставленную Театром рабочей молодежи. Нелепая смерть прервала его работу над второй пьесой, принятой к постановке вахтанговцами. Трудно сказать, кем бы стал Валентин Кукушкин к началу войны — драматургом или командиром полка, но в одном я уверен твердо: это был человек, заряженный на подвиг. И даже когда такие ребята не успевают свершить всего

задуманного, они оставляют след в сознании знавших их людей, они как бы электризуют среду.

Юрий Крымов до начала войны дожил. И не только дожил, но успел прославиться. Написанная тридцатилетним инженером-нефтяником повесть «Танкер «Дербент» имела всесоюзный успех, вошла в школьные программы по русской литературе, автор был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1939 году ордена у писателей, особенно у молодых, были редкостью. Единственный раз, когда я видел Крымова, человека на редкость смелого, по-настоящему испуганным, был день, когда он узнал о награждении. Он считал, что ему выдан щедрый аванс и неизвестно, сумеет ли он когда-нибудь его отработать.

«Погиб на фронте» — этими словами заканчивается краткая справка о Юрии Крымове в советском энциклопедическом словаре (1980). «Пал смертью храбрых» было бы точнее, но памятуя, как Крымов не любил торжественности, я принимаю формулировку. Она нуждается только в расшифровке.

На фронт Юрий ушел в самые первые дни войны. Вскоре связь с ним оборвалась, и только в 1943 году, после освобождения Полтавщины, родные и близкие узнали о его судьбе. В райком партии пришел колхозник из села Богодуховка Чернобаевского района и принес пробитый штыком фашистского солдата военный билет Крымова и написанное им перед боем незаконченное письмо к жене, Ирине. Этот потрясающий человеческий документ опубликован, и я не хочу портить его беглым пересказом. Мы многим обязаны ныне покойному Алексею Коваленко и его сыновьям, они похоронили Юрия и с риском для жизни сохранили до конца оккупации драгоценные реликвии. Могила Крымова — в центре села Богодуховка, рядом со школой. Я был там дважды и видел, как колхозники села и пионеры из отряда имени Крымова чтут память писателя.

Справедливо ли выделять судьбу Юрия среди понесенных в том бою тяжких потерь? Выполнение воинского долга еще не подвиг. Может быть, и несправедливо, если б не одна подробность, о которой я узнал много позже, через десятилетия. Ее рассказал мне поэт Микола Бажан, видевший Крымова незадолго до его гибели. Оказывается, Крымов имел полную возможность на законном основании с санкции военного начальства выйти из окружения вместе с редакцией армейской газеты. Никто бы его не обвинил в дезертирстве. Но он предпочел вернуться в свою часть к товарищам и разделить их судьбу.

Рассказ Бажана меня поразил — и тем новым, что я узнал о Крымове, и еще больше тем, что я узнал в нем Крымова, иначе поступить он не мог.

Кадровый моряк, штурман подводной лодки Алексей Лебедев ненадолго пережил Крымова. В первом же боевом походе лодка, на которой шел Лебедев, подорвалась на минном поле. Подвига, к которому он готовил себя всю жизнь, ему совершить не пришлось. Нельзя сомневаться, что он готовил себя именно к подвигу, поручкой тому не только выбор профессии, достаточно перечитать его стихи, чтобы понять, что море, флот, военная история России были для него постоянным источником вдохновения. К началу войны у Лебедева вышли уже две книжки стихов, их знали не только моряки, ими увлекалась и продолжает увлекаться молодежь. Как-то я спросил Лебедева, не подумывал ли он (до войны, конечно) уйти с флота и стать профессиональным литератором. Лебедев ответил твердо: «Нет. Я штурман. В тот день, когда я перестану быть моряком, я перестану писать стихи».

Не знаю, как вел себя лейтенант Лебедев в свой последний час. Наверняка достойно. Труднее сказать, как сложилась бы судьба Лебедева, доживи он до Победы, но мне нетрудно представить себе

его капитан-лейтенантом, командиром лодки, с победой вернувшимся из боевого похода.

И опять одна подробность, ставшая известной через многие годы. Ее сообщил мне адмирал В. Ф. Трибуц, командовавший во время войны Краснознаменным Балтийским флотом.

— Признаться,— сказал со вздохом Владимир Филиппович,— подписывая боевой приказ, я запнулся на фамилии Лебедева. Подумал: а не побережь ли нашего лучшего флотского поэта? Потом вспомнил его стихи и понял, что, вычеркнув его из списка, нанесу ему нестерпимое оскорбление. И подписал.

Кто сегодня решится ответить на вопрос: не целесообразнее ли было «побережь» Лебедева? А может быть, и Крымова? Я знаю одно: нравственные соображения не всегда совпадают с целесообразностью. Иногда они выше.

Меня могут спросить — для чего сделано это отступление? Только для того, чтобы подчеркнуть, как подвижны и многооттеночны наши представления о подвиге и героизме, как сложно сочетаются в них субъективные побуждения героя и объективная значимость совершенного ими деяния, индивидуальный склад характера и социальный климат, свободная воля и непредсказуемое стечение обстоятельств.

У слова «подвиг» есть слово-антипод. Это слово — «преступление». Совершить преступление — это значит сделать нечто совершенно обратное подвигу — пренебречь в личных интересах интересами других людей, интересами родины, общества, человечества. Истари повелось, что оценку преступным действиям дает суд. В различные эпохи, в разных странах суд вершится различно, различны и задачи суда — между судьей, за полчаса осуждающим мелкого воришку, и Нюрнбергским международным трибуналом, осудившим не только главных военных преступников, развязавших бесчеловечную войну, но бесчеловечную сущность фашизма, существует гигантская разница. Но во всех судах начиная с древних времен есть и нечто общее: взвешиваются показания свидетелей и вещественные доказательства, выслушиваются показания обвиняемого, решение выносится с учетом личности и прошлой жизни, смягчающих или отягчающих обстоятельств.

С подвигом дело обстоит иначе. Хотя большинство преступлений делается тайно, а героический поступок таить незачем, количество безымянных подвигов огромно. Даже в тех случаях, когда общество заинтересовано в поощрении героя, «следствие» до предела упрощено, а вердикт выносится чисто административным путем. Правила, предписывающие средства массовой информации весьма осторожно высказываться по нерешенным судебным делам, на подвиги не распространяются. Бывает, что информация недостаточна или не соответствует стихийно складывающемуся общественному мнению. Тогда рождается легенда. Когда легенда касается событий, сохранившихся лишь в памяти поколений и не оставивших зримых следов, она с трудом поддается суду истории. Иное дело события сравнительно недавнего прошлого. Для здоровья общества необходимо, чтоб все общественные приговоры, осуждающие или прославляющие реально существовавших людей, соответствовали фактам и давали объективную оценку поступков и побуждений, попросту говоря — были справедливыми. Суд истории нередко поправляет суждения современников. Иногда на это уходят десятилетия. Благодаря кропотливой работе военных историков пересмотрены многие репутации в истории гражданской войны, у всех на памяти героическая борьба писателя С. С. Смирнова за исторически точную трактовку подвига защитников Брестской крепости, а подхваченная народом крылатая фраза Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» — это еще не констатация, а скорее призыв. Читая газеты, следя

за радио- и телепередачами, мы повседневно сталкиваемся с неизвестными подвигами, узнаем имена героев, еще недавно безымянных. Суд истории не самый скорый, но самый справедливый, и время зачастую работает не во вред, а на пользу истине. Печально, что все меньше остается живых свидетелей подвига, но в установлении исторической дистанции есть и хорошая сторона. Временная (или пространственная) приближенность к событию или человеку нередко искажает наши представления, сколько раз мы убеждались, что, рассматривая со слишком близкого расстояния, мы теряем перспективу, нам застилают глаза соображения хотя и существенные, но сиюминутные, преходящие и нужен какой-то срок, чтобы отделить главное от второстепенного и увидеть явление в его подлинных масштабах.

В личности Александра Маринеско для меня сегодня важнее всего проследить, как складывался этот характер, понять заключенные в нем противоречия, присущие, по моим наблюдениям, многим незаурядным людям. Концентрированная воля, равно как и выдающееся дарование,— качество не только прекрасное, но и опасное, требующее, как все нестандартное, нестандартного к себе отношения.

Приступая к работе, я старался не обременять себя никакими предвзятостями и был готов к неожиданностям. Единственное, в чем я был убежден с самого начала: героем не делаются в пять минут. Самый подвиг может длиться секунды, но он всегда подготовлен всей предшествующей жизнью.

В одной из ранних служебных аттестаций Маринеско, подписанной его учителем и воспитателем Евгением Гавриловичем Юнаковым, есть такая фраза: «Способен пренебрегать личными интересами для пользы службы».

Сказано суховаго. Сегодня, оглядываясь на пройденный Маринеско жизненный путь, этот пункт можно, пожалуй, сформулировать иначе:

«Способен на подвиг».

II. КРОНШТАДТ, ПЛОЩАДЬ МАРТЫНОВА

В Кронштадте на площади Мартынова стоит памятник подводникам Балтики. Памятник очень скромный, как скромна на вид и самая площадь. Никакого сравнения с центральной площадью перед Морским собором, где теперь музей. Но отсюда рукой подать до прекрасного здания, где еще во время войны помещался штаб Балтийского флота, с вышкой, откуда видны стоящие на рейде корабли и просматривается южный берег залива. Еще ближе — строения береговой базы. Во время войны от ее пирсов уходили в боевые походы подводные лодки, теперь там учебный отряд. От площади Мартынова начинается Советская улица — главная улица Кронштадта с почтамтом и старинными торговыми рядами, а если, дойдя до рядов, свернуть направо — Матросский клуб, до революции — Офицерское собрание, описанное Л. Соболевым в «Капитальном ремонте». Получившему увольнение в город моряку никак не миновать площади Мартынова, и немудрено, что сердцу моряка эта тихая площадь говорит очень многое. В обычное время, особенно в сумерки, она почти безлюдна, но в сквере есть уютные скамейки и они редко пустуют. Здесь можно встретиться с товарищем для душевного разговора, назначить свидание девушке, можно посидеть наедине с собой, перечитать полученное из дома письмо, просто отдохнуть от четко организованного быта воинской части. Оживает площадь только по торжественным дням. В дни ежегодных (теперь — реже) сборов ветеранов-подводников здесь проводятся общегородские митинги. Сюда 9 мая 1978 года вместе с другими ветеранами

приехали на встречу с кронштадтцами почетные гости — экипаж краснознаменной «С-13». И опять, как в училище имени Ленинского комсомола, была встреча с флотской молодежью, менее парадная, но не менее волнующая: здесь все свое, знакомое, отсюда под покровом темноты уходили в море, здесь неподалеку дом, где жил командир, здесь, в Кронштадте, до недавнего времени жила вдова командира Нина Ильинична.

Кронштадт вообще удивительный город. Его красота и величие приоткрываются не сразу. Он суров и для человека, не приобщившегося к его тайнам, будничен. Зато для переживших вместе с ним «его минуты роковые» он остается памятным навеки. Помню свое первое впечатление, когда в июле сорок первого получил назначение на бригаду подводных лодок, стоявшую тогда в Кронштадте. Еще не ступив на кронштадтскую землю, я был разочарован. Стоя на палубе тихоходного буксирчика, я с нетерпением ждал, что передо мной прямо из воды вырастет отвесная скала, а на ней крепостные стены с бастionsами и бойницами — нечто среднее между замком Иф из «Графа Монте-Кристо» и Петропавловской крепостью. Вместо этого я увидел плоский берег и чуть позже — провинциального вида скрипучую деревянную пристань, к которой пришвартовался наш тихоход. Затем в компании таких же, как я, новичков с тяжелым чемоданом в левой руке (было уже известно, что в Кронштадте насчет приветствий — строго) прошагал по накаленным июльским солнцем пустынным улицам до штаба флота. Улицы застроены домами казарменного типа, много глухих заборов, пыльный булыжник мостовых и непривычная тишина, лишь изредка нарушаемая согласным грохотом тяжелых матросских башмаков. Ни в этот день, ни позже, ступив к работе в бригадной многотиражке, я не ощутил поэзии Кронштадта, занятый с утра до ночи редакционной текучкой, я почти не бывал на берегу, и легендарная крепость казалась мне тихим заштатным городишком с суровыми крепостными порядками.

Тишина взорвалась очень скоро — фронт приближался. В августе флот оставил таллинскую базу, корабли пришли в Кронштадт. Начались «звездные» налеты пикирующих бомбардировщиков на гавань и рейд, «юнкерсы» шли волнами со всех сторон, и зенитные батареи Кронштадта помогали артиллерии кораблей отражать атаки с воздуха. Затем войска фон Лееба прорвались к Финскому заливу, и к бомбардировкам авиации прибавился артиллерийский обстрел. Ночью, стоя на палубе плавбазы, где помещалась моя редакция, можно было видеть пороховые вспышки на южном берегу, вражеские батареи стояли так близко, что долетала даже шрапнель. Тяжелая артиллерия линкоров и крейсеров была на два фронта — по северному и по южному берегу, когда двенадцатидюймовые с «Марата» проносились над городом, на центральных улицах сыпался стекло.

Кронштадт стал осажденной крепостью, дважды осажденной, потому что даже в заблокированный фашистскими войсками Ленинград надо было прорываться ночами под огнем, летом на катере или на притопленной по самую рубку подводной лодке, зимой по льду. Крепость не только оборонялась. Стоявшие у кронштадтских пирсов подводные лодки неожиданно оказывались в Данцигской бухте или на меридиане Берлина и топили вражеские корабли.

Именно в те жаркие дни я впервые ощутил суровую красоту города, полюбил небо Кронштадта, сиреневую дымку по утрам и оранжевый огонь закатов, во время нечастых передышек я понял очарование Петровского парка, служившего летним клубом для многих поколений военных моряков, и проникся почтением к полутемным залам бывшего Офицерского собрания, где висели на стенах большие картины в тяжелых рамах: картины изображали море и корабли, походы и сражения. Для меня приобрели волнующий смысл старинные названия причалов и маяков, и постепенно ко мне пришло ра-

достное чувство сопричастности славному прошлому города-крепости, то гордое чувство, которое великолепно выражено даже в самом названии стяжавшего мировую известность фильма — «Мы из Кронштадта».

Маринеско был «из Кронштадта», настоящий балтийский моряк, то, что он родился и вырос в Одессе, несколько тому не противоречит. Кронштадтцы — особое племя, в чем-то заметно отличающееся от ленинградцев. Тому есть исторические причины. Исстари большая часть моряков Балтийского флота вербовалась из южан, лучшими матросами считались уроженцы Николаева, Одессы, Херсона и других портов юга. У балтийцев не редкость украинские фамилии. Перенесенные с щедрой почвы Причерноморья на берега холодной Балтики, растворившись среди коренных жителей, они сохранили свой южный темперамент, но обрели внешнюю сдержанность северян. Получился своеобразный сплав. Маринеско не был похож ни на ленинградца, ни на одессита, он был именно балтиец. В отличие от большинства военных моряков, успевших за время службы побывать на всех флотах, Александр Иванович знал только Балтику, и она окончательно сформировала его характер. В нем угадывалась неостывшая лава, но под прочной корой.

В Кронштадте мы и познакомились. Уже после войны. Если не считать одной мимолетной встречи в осажденном Ленинграде зимой 1942 года (о ней речь впереди), во время войны мы не виделись, и, как потом выяснилось, я мало что знал о нем.

Произошло наше знакомство на ставшем традиционным сборе ветеранов-подводников летом шестидесятого года. Традицией этих сборов мы обязаны Евгению Гавриловичу Юнакову, во время войны боевому командиру дивизиона подводных лодок, а затем командиру Кронштадтского учебного отряда. Ему же мы обязаны тем, что на одном из первых сборов был заложен, а на другом (уже после его кончины) открыт построенный на общественных началах памятник на площади Мартынова. О Евгении Гавриловиче Юнакове я должен рассказать еще и потому, что в течение многих лет он был старшим другом и наставником Александра Ивановича. Перед войной и в начале войны Юнаков командовал дивизионом «малюток», куда входила и «М-96» Маринеско, а когда Александр Иванович принял «С-13», он вновь попал под начало к Евгению Гавриловичу. Дружеские отношения с Юнаковым Александр Иванович сохранил до конца своих дней, и, пожалуй, никто не имел на него такого влияния, как этот властный, суровый, беспощадно требовательный во всем, что касалось морской службы, человек. Александра Ивановича это не пугало, в море он был такой же.

Мне рассказывал инженер Кронштадтского морзавода Василий Спиридонович Пархоменко, служивший с Маринеско на «М-96», а затем на «С-13», человек, душевно преданный Александру Ивановичу и сохранивший благодарную память о своем комдиве:

«Помню, швартовалась наша «малютка» к борту «Иртыша». Я был матрос второго года службы. Стоял наш дивизион тогда в порту Ханко. Я несколько раз бросал тяжелый мокрый конец, все не попадаю. Ветер был отжимный, лодку качало. Юнаков молча наблюдал. Потом сказал мне: «Вместо проворачивания механизмов месяц будешь кидать конец, пока не выучишься». Через месяц Ефременков (помощник командира «М-96») принял у меня экзамен. Я до того наловчился, что при любой погоде стал попадать с первого раза. У Александра Ивановича был такой же подход. Требовал точности и быстроты, у кого не получается, непременно заставит повторить. Зато и дела у нас шли отлично. На рубке звездочка — корабль первой линии. В июне нам, пятерым отличникам боевой подготовки, в виде поощрения предоставили отпуск. Но не пришлось поехать — началась война».

Маринеско отзывался о своем учителе всегда с глубочайшим уважением:

«Я прошел школу Юнакова и прямо скажу — мне повезло. Он сделал из меня военного моряка. Научил главному — ни при каких обстоятельствах не отступать и не теряться. Требовать с людей, но и понимать их. И сам понимал душу подводника, суров бывал, но ханжества этого у него нисколько не было, умел и прочтать, знал, что служба наша нелегкая, а молодость свои права имеет. И еще понимал, что хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто из любого положения найдет выход».

Другая запись:

«На Ханко, где мы базировались до войны, обстановка была скучная. Но скучать было некогда, прибывали новые лодки, отрабатывались задачи. К началу войны лодок первой линии было только две, моя и Саши Мыльникова, надо было поторапливаться. Юнакова до войны считали шкуродером: он гонял лодки в шторм, заставлял погружаться на волне, когда одна из лодок из-за недостатка балласта не пошла на погружение, приказал принять воды в трюм. Потом оценили и полюбили».

Маринеско был прав — Юнакова любили. Александра Ивановича уже не было в живых, когда военные моряки торжественно отпраздновали в Кронштадте шестидесятилетие Евгения Гавриловича. Я видел на своем веку много всяких юбилеев, но чествование Юнакова поразило меня своей непринужденностью и теплотой. Сотни подводников ощущали на себе его заботу, многие прославленные командиры были его учениками: Маринеско, Гладилин, Мыльников, Кабо, Лисин, Богорад...

Балтийские комдивы не отсиживались на берегу, они выводили корабли на позиции и сами ходили в походы. Юнаков начал войну с неудачи — тральщик, на котором он шел, взорвался на mine. Комдива подобрали и отправили в госпиталь, где в течение многих месяцев его «собирали из частей». Предстояла эвакуация в тыл, но Юнаков от эвакуации уклонился и в сорок втором году вновь вышел в море. На этот раз он обеспечивал опасный переход подводной лодки на позицию. Во время перехода командир лодки был убит, Юнаков принял на себя командование, снял поврежденную лодку с мели и привел ее на базу. В сорок втором он пошел в боевой поход на «С-13» с неопытным командиром П. П. Маланченко, корабль вернулся с крупным боевым успехом. Когда на смену Маланченко пришел на «С-13» Маринеско, Юнаков всячески помогал ему, но идти «обеспечивать» даже в первом походе отказался: «Ученого учить — только портить».

С Юнаковым у нас установились хорошие отношения еще во время войны. Поначалу он и мне показался суров: высокий, узколицый, хмуроватый и немногословный; потребовалось некоторое время, чтобы разглядеть, каким надежным другом был он для людей, сумевших завоевать его доверие.

В июне 1960 года я получил от него письмо. Евгений Гаврилович приглашал меня в Кронштадт на второй сбор ветеранов-подводников. На первом, состоявшемся годом раньше, я не был, тогда иногородних еще не приглашали. Впоследствии я бывал почти на всех, но этот был самым волнующим. Волнующим было все — и первые встречи на ленинградской пристани, где немолодые люди, не видевшиеся по десять — пятнадцать лет, радостно обнимали друг друга, и неторопливое движение катеров знакомым фарватером (в сорок втором здесь не ходили, а прорывались), и торжественная встреча гостей в Петровском парке, куда вплотную подошли катера. Гремел оркестр, весь учебный отряд, выстроившись в две шеренги, встречал и провожал аплодисментами нестройно шагающую толпу гостей до ворот береговой базы. Затем был митинг на площади Мартынова и заклад-

ка памятника (на площадь сбежалось полгорода) и наконец встреча ветеранов с курсантами в клубном зале. Началась она необычно. Евгений Гаврилович взял на себя нелегкую задачу — представить молодым морякам каждого из двухсот гостей; он называл их, не заглядывая в списки, не по алфавиту и не по протоколу, а всех подряд слева направо, офицеров и матросов, Героев Советского Союза и скромных береговиков, военнотружущих и отставников. Всех он помнил, о каждом что-то знал. Аплодировали всем. Конечно, именам широко известным, всенародно прославленным аплодировали громче, но и тут были свои оттенки, невидимая стрелка не точно совпадала со шкалой должностей и почетных званий. И особенно наглядно это стало, когда Юнаков назвал имя Маринеско и неохотно привстал сидевший с краю небольшого роста человек в поношенном, но опрятном костюме без орденов и ленточек, с лицом немолодым, но сохранившим какие-то мальчишеские черты. Молодежь азартно была в ладоши, в этом было нечто демонстративное, и Маринеско чувствовал себя неловко, он хмурился и опустил на свое место раньше чем стихла овация.

— Это какой Маринеско? — спросил я соседа. — Тот, с «девяносто шестой»?

— Тот самый.

— А почему его так приветствуют?

— Как? Ты что же, не знаешь?..

К стыду своему, я ничего не знал. Не знал даже того, что на прошлогоднем сборе ветеранов были опубликованы уточненные по последним послевоенным данным сведения о боевых успехах балтийских подводников. По этим данным первое место по тоннажу потопленных вражеских судов вне всякого спора принадлежит Александру Ивановичу Маринеско. На втором — мой старый друг Петр Денисович Грищенко. Его подводный минзаг «Л-3», ставший впоследствии гвардейским, я знал хорошо, провозжал в поход и встречал с победой на этих самых кронштадтских пирсах. Почему же Петр мне ничего не рассказал? Допустим, не было случая. Но все равно: почему же я, проработавший больше двух лет в газете подводников и никогда не порывавший связи с ними, ничего не знал о подвигах Маринеско? Некоторым объяснением могло служить то, что эти подвиги относились к последнему году войны, когда я уже ушел с бригады и в качестве военного корреспондента кочевал по разным соединениям, и все-таки оставалось необъяснимым, почему же я, внимательно следивший за печатью, упустил такие интересные сообщения.

За обедом, неторопливым, а под конец, когда началось хождение между столами, даже несколько шумным, нас свели вместе общие друзья. Против ожидания Маринеско заговорил со мной как со старым знакомым. Оказалось, что он помнит раешники, которые я из номера в номер печатал в многотиражке, видел на сцене мои пьесы. Я тоже знал о Маринеско, среди малютчинок он считался одним из лучших командиров, но встречались ли мы когда-нибудь раньше? Лицо его показалось мне очень знакомым, и не столько даже лицо, его я мог видеть на фотографии, сколько улыбка, дружелюбная и чуточку лукавая, как будто мой собеседник знает про меня что-то забавное, но не спешит в этом признаться. Улыбка становилась все откровеннее. Наконец Маринеско не выдержал:

— А ведь мы с вами встречались. Не помните? — И уже со смехом: — Ох и хороши были у вас валенки!..

И тут я вспомнил, где я видел эту улыбку. Немудрено, что вспомнил не сразу — с той страшной блокадной зимы прошло почти двадцать лет.

Плавбазы и подводные лодки нашей бригады рассеяны по всей Неве и прочно вмерзли в двенадцатидюймовый лед. Набережные

превратились в сплошные сугробы. Голод, холод. Бомбежки по сравнению с осенью стали реже, но редкий день проходит без артобстрела. Морские заводы эвакуированы, однако корабельный ремонт идет полным ходом, флот готовится к весенним боям. Все работы вплоть до корпусных — руками военных моряков.

Маринеско — командир подводной лодки «М-96». Я — инструктор политотдела бригады и редактор «Дозора» — краснофлотской многотиражки, призванной освещать ход ремонта и боевой подготовки. Моя редакция вместе с наборной кассой и плоской типографской машиной помещается в маленькой каюте на плавбазе «Иртыш», стоящей на Неве у Летнего сада. «М-96» базируется на «Аэгну», плавбазу «малюток», ошвартовавшуюся дальше всех других плавбаз — у Тучкова моста.

Редактор — это звучит внушительно, если не знать, что подчиненных, кроме наборщика (он же печатник), у меня не было и весь материал должен был раздобывать я сам.

В январе сорок второго стояли убийственные морозы. Даже до соседних плавбаз я добирался с трудом. Идти на «Аэгну» мне совсем не хотелось. А идти было надо. По данным политотдела, на «малютках» успешно шел ремонт механизмов, и лучше всех — у Маринеско.

К малюточникам в то время относились не очень серьезно. Не потому, что они были плохими моряками. Малые лодки — превосходная школа для подводника, многие прославленные командиры прошли эту школу. Но ставка делалась на лодки среднего тоннажа. В условиях блокады с суши и с моря, когда Финский залив перегороден сетями и напичкан всеми видами мин, имело смысл выпускать в море лодки, обладающие достаточной автономностью и большим запасом торпед. Малые лодки для этой цели не годились, самые большие тоже, их время наступило позже. В моем решении не откладывая отправить на лодку к Маринеско среди прочих соображений некоторую роль сыграло одно, казалось бы, несущественное: всем работникам политотдела, в том числе и мне, выдали валенки. Этот вид обуви не характерен для флотского обмундирования, но учитывая особые условия, в которых нам приходилось работать, валенки пришлись очень кстати. И вот, поддевши под черную флотскую шинель жилет на собачьем меху и сунув ноги в огромные, выше колен, и чересчур просторные для моих ног валенки, я отправился в путь. Шел я, вероятно, больше часа, увязая в сугробах, скользя по обледеневшим настилам. Окайнные валенки вопреки своему названию явно не были сваляны из шерсти, а отлиты или отштампованы из какого-то необыкновенно твердого, немнущегося и упорно сохраняющего заданную форму материала. Носы как у торпед, подошвы, вернее днища, полукруглые, как у бескилевых судов. Меня качало — и от слабости, но еще больше оттого, что я почти не ощущал ногами земного притяжения, ощущение обманчивое, в любую минуту я мог грохнуться на лед. Валенки шли как хотели, меня они почти не слушались, а при малейшем сопротивлении с моей стороны жесткие края голенищ больно били меня по поджилкам. Наконец, замерзший и обессиленный, я ступил на палубу «Аэгны» и узнал от дежурного по кораблю, что комдива нет, а капитан-лейтенант у себя на лодке.

Лодка стояла рядом, но нужно хоть немного представлять себе «малютку» сороковых годов, чтобы понять, каково мне пришлось с моими валенками. Сперва по шатким мосткам без перил я добрался до верхней палубы лодки. Затем, хватаясь vareжками за железные скобы, на мостик. Оттуда, спустив ноги в тесный рубочный люк и зашупав каменными носами моих валенок скользкую никелированную перекладину отвесного трапа, я осторожно, чтобы валенки не соскочили, сполз в центральный пост, протиснулся через круглый

люк в офицерский жилой отсек и увидел за столом хмурого парнишку в шапке и ватнике, без каких-либо знаков различия. В отсеке было лишь немногим теплее, чем на набережной, дизельное топливо берегли и в период зимнего ремонта отапливали лодки камельками, толку от них было немного. У Маринеско сидел гость, как я узнал потом, командир соседней «малютки», они пили спирт, закусывая хлебной корочкой, и к моему приходу отнеслись настороженно. Морское гостеприимство не миф и не литературный штамп, на всех кораблях, где я бывал, меня встречали приветливо. Александр Иванович тоже улыбался, но нельзя было поручиться, что за его усмешкой не прячется вызов, он даже сделал широкий жест и сказал «присоединяйтесь», но таким тоном, что я поспешил отказаться. А прочем, отказался бы в любом случае, я был еще очень молодой политрук, к своим обязанностям относился со свойственным новичкам священным трепетом и начинать свое посещение незнакомого командира с вышивки не рискнул. Впоследствии я редко отказывался от стопки спирта, пивал и неразведенный и технический и не вижу в том большого преступления. В годы блокады, особенно в зимние месяцы, спирт был драгоценностью, воистину «водой жизни», им не напивались, а согревались, и в том, что не вылезавший с утра до вечера из своей насквозь промерзшей стальной коробки командир мог хлопнуть чарочку и угостить товарища, я очень скоро перестал видеть что-либо предосудительное. Недаром же «наркомовские» сто граммов входили в официальный рацион воюющего флота.

Пишу это в разгар очередной антиалкогольной кампании и уже вижу руку моего друга-редактора, занесенную, чтобы вычеркнуть эту апологию пьянства. Не вычеркну. Мне ли не знать, какую трагическую роль в судьбе Александра Ивановича сыграла водка, еще не раз мне придется коснуться этой темы, но в то время Маринеско не имел даже замечаний на этот счет, и, вероятно, мой отказ оба командира восприняли как чистоплюйство и ханжество.

Короче говоря, мы друг другу не понравились. Узнав о цели моего прихода, командир вызвал кого-то из старшин и препоручил меня его заботам. Больше на «М-96» я не был, а если и был, то не видел командира, вскоре мне дали в помощь молодого сотрудника, и на «Аэгну» я гонял его. Листая сегодня газетную подшивку за сорок второй год, вижу: заметки об отличниках ремонта на «М-96» печатались регулярно, а в сентябре газета поместила сообщение об успешном боевом походе и указ о награждении.

И вот почти через двадцать лет мы стоим в дружеском кругу и нас все больше разбирает смех.

— Уж очень вас нехстати принесло. Только мы с Гладилиным расположились, докладывают: прибыл какой-то из редакции. Убирать следы преступления поздно, да и не подобает как-то суетиться. Ладно, говорю, проси. Вижу, лезут в отсек преогромные валенки, а в них политрук, тощий, обмороженный и ужас какой серьезный... Предлагаю разделить компанию — отказывается. Э, думаю, плохо дело, как бы не стукнул по инстанции, надо его поскорее сплавить... А вы небось подумали — ну и хамло командир, даже разговаривать не стал...

Вероятно, так оно и было. Но теперь Маринеско мне нравился все больше и больше. И я подумал: какая чепуха, какое случайное стечение обстоятельств может стать основанием для стойкого предубеждения. Какие пустяки помешали мне в свое время ощутить то магическое обаяние, которое излучал этот невидный морячок, а между тем оно безошибочно действовало на всех — на мужчин и на женщин, на начальников и подчиненных. Конечно, у него были и враги и завистники, но равнодушных среди людей, близко его знавших, я не упомяну. Все это я понял позже, а на сборе ветеранов передо мной стоял дружелюбный, улыбающийся, но очень сдержанный человек.

Ни одного из вертевшихся у меня на языке вопросов я ему не задал, и правильно сделал. Мы немного поговорили на всякие нейтральные темы, но я уже твердо решил сегодня же расспросить о нем кое-кого из ветеранов, а завтра в Ленинграде отправиться на Биржевую площадь в Центральный военно-морской музей и разрешить там все мои недоумения.

Музеи, так же как театры, имеют свою закулисную часть, обычно закрытую для посетителей, но столь же важную и жизненно необходимую, как та, что открыта для обозрения. Прежде чем проникнуть за кулисы, я осмотрел экспозицию, нашел там много знакомых лиц и фамилий, но никакого упоминания о Маринеско. Висела большая, писанная маслом картина, изображающая торпедированный подводной лодкой лайнер с огромной свастикой на трубе и — на неправдоподобно близком расстоянии — самую лодку. Табличка на раме: «Подвиг «С-13». Название лодки давно рассекречено — почему же засекречена фамилия командира?

В поисках ответа захожу за кулисы — в научную часть. Знакомлюсь. Вопросов у меня два. Что совершил в годы Великой Отечественной войны капитан третьего ранга Маринеско и почему ни в экспозиции музея, ни в печати нет внятного описания его подвига? Потом я проверил себя, в печати действительно ничего не было, а в изданной в 1951 и перепечатанной без изменений в 1955 году статье Д. Корниенко и Н. Мильграма о подвиге «С-13» говорилось глухо: «Одна из подводных лодок Балтийского флота...»

На первый вопрос я получил сжатый, но исчерпывающий ответ. Мне была показана официальная справка:

«Из хранящихся в Историческом отделении ГШ ВМФ документов следует, что в боевых походах под командованием тов. Маринеско А. И. личный состав действовал слаженно, умело и самоотверженно, а сам командир показал высокое мастерство, решительность и храбрость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.»

Далее в справке перечислялись победные атаки Маринеско. «Согласно научно проверенным данным, — значилось в справке, — Маринеско А. И., командуя подводной лодкой «М-96», уничтожил 14 августа 1942 года вражеский транспорт тоннажем 7000 брутто-тонн, а в 1944 году, командуя «С-13», еще один транспорт водоизмещением 5000 брутто-тонн». Далее приводились данные о потоплении в 1945 году «Густлова» и «Штойбена», уже известные читателю. Справка убедительно доказывала, что в течение всей войны Маринеско показал себя настоящим подводным асом, ни о какой случайности его успехов не может быть и речи. Впоследствии эти научно проверенные данные еще уточнялись по советским и иностранным источникам, но уже тогда было известно, что взбешенный Гитлер приказал расстрелять начальника сопровождавшего «Густлов» морского конвоя и объявил Маринеско врагом рейха № 1 и своим личным врагом. Основания для ярости у Гитлера были: на «Густлове» удирали из Данцига в Киль отборные палачи и, что еще существеннее, примерно три тысячи только что закончивших обучение подводников — будущие команды семидесяти новых подводных лодок, предназначенных для морской блокады Англии.

Удовлетворительного ответа на свой второй вопрос я так и не получил. Никакими «научно проверенными данными» на сей счет работники музея не располагали. То есть они знали, конечно, что вскоре после победы капитан третьего ранга Маринеско был снижен в звании до старшего лейтенанта, а затем демобилизован, что «на гражданке» у него тоже были какие-то неприятности, все это я знал уже вчера. Объяснить мне, почему Маринеско никак не представлен в экспозиции, они не смогли или не захотели, но любезно предоставили в мое распоряжение драгоценную справку. Справка эта не заключала в себе ничего секретного, и это позволило мне цели-

ком включить ее в свой репортаж о сборе ветеранов, напечатанный в одном из номеров «Литературной газеты».

Вероятно, редакция, направившая меня на сбор своим специальным корреспондентом, не ожидала такого бурного читательского отклика. В газету пришли десятки писем. Писали не только ветераны — живо откликнулась флотская молодежь. Судьба героя взволновала даже людей, далеких от флота. Обзор этих писем под общим заголовком «Он заслужил благодарность Родины» появился в газете в ноябре и вызвал новую волну откликов.

Самое большое впечатление произвело на меня письмо секретаря заводской партийной организации, членом которой состоял Александр Иванович. Письмо это предварительно обсуждалось на партийном собрании и было единогласно одобрено. «В течение семи лет работы в нашем коллективе, — писали коммунисты завода, — товарищ Маринеско проявил лучшие черты мужественного, дельного работника, активного участника общественной жизни. Он имеет несколько благодарностей, а с мая нынешнего года его имя на Доске почета». Но самое удивительное в письме не это. Выяснилось, что товарищи, с которыми Маринеско работал рядом в течение многих лет, ничего не знали о его военных подвигах и впервые узнали о них только из газеты. Какой великолепный сплав гордости и скромности был в этом человеке, за семь лет ни разу не обмолвившемся о своих заслугах даже в товарищеском кругу!

Вскоре после опубликования репортажа пришло самое дорогое для меня письмо — от Александра Ивановича Маринеско. За последние двадцать лет я много раз писал о нем, но никогда не цитировал этого письма. Не без колебания привожу его и теперь. Очень не хочется, чтобы читатель воспринял это как тщеславное желание установить свой приоритет, я совершенно искренне не вижу в своем тогдашнем поведении большой заслуги. Бывают такие ситуации, когда нужна одна только капля, чтобы переполнилась чаша, один струнувшийся с места камешек, чтобы обрушить лавину, и практически безразлично, на чью долю выпадет честь быть этой каплей или этим камешком. Не сделай этого я, несомненно это сделал бы кто-то другой. Не преувеличиваю я и своего личного влияния на дальнейшие события. И Иван Степанович Исаков и выступивший по телевидению еще при жизни Александра Ивановича Сергей Сергеевич Смирнов сделали для Маринеско несравненно больше. И чувства, которые владеют мною сегодня, гораздо больше похожи на чувство вины, чем на самодовольство. Об этом не оставляющем меня чувстве вины я говорил на вечере, посвященном двадцатипятилетию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вины за ненаписанное, упущенное, стершееся в памяти, вины перед хорошими людьми, о которых я не написал или написал бегло, торопливо... И эту книгу, которую я пишу сегодня, надо было написать гораздо раньше.

Вот что писал мне в августе шестидесятого Александр Иванович: «Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович!

От всей души благодарю Вас за внимание, которое Вы оказали моей особе в статье «Ветераны». Жаль, что Вы находитесь не в Ленинграде, а то бы я в знак признательности стал перед Вами на одно колено, как перед гвардейским знаменем.

Я никогда не считал себя героем и даже по окончании войны был не удовлетворен своей деятельностью.

Вы первый человек, который осмелился написать так обо мне. Еще раз большое морское Вам спасибо.

В Ленинграде я видел Мишу Вайнштейна, он мне передал, что в августе Вы будете в Ленинграде, и кратко посвятил меня в Ваши творческие планы на будущее. Я считаю, что могу Вам принести некоторую пользу, а потому прошу Вас, когда будете в Питере, сообщить о своем свободном времени, и я буду к Вашим услугам. Пере-

дают Вам привет Вайнштейн, Полещук и Юнаков, которых я видел вчера.

А пока желаю Вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу.

А. Маринеско. 4.08.60».

Письмо это нуждается в некоторых комментариях.

Замечу, во-первых, что письмо это, несомненно дружественное, окрашено свойственным Александру Ивановичу добродушным юмором. Представить себе Маринеско стоящим перед кем-то даже на одном колене невозможно. Только перед знаменем.

Точно так же невозможно представить себе, что Маринеско лукавил или кокетничал, говоря: «Я никогда не считал себя героем». Настоящим героям чаще свойственна неудовлетворенность, оглядывая пройденный путь, они обычно приходят к мысли, что многое можно было сделать иначе и лучше. Близкие друзья Александра Ивановича свидетели тому, как далек он был от самодовольства. Конечно, он тяжело переживал замалчивание подвига «С-13», но его беззлобная душа жаждала не славы, а справедливости, и не столько даже для себя, сколько для команды. Его угнетала мысль, что из-за него долгое время были лишены своей доли общественного признания люди ни в чем не повинные. Впоследствии я имел полную возможность убедиться, что соратники Маринеско не винили в том своего командира, а когда в одной местной газетке была сделана попытка принизить его роль в январских атаках, никто из них на это не клюнул.

Но, может быть, характернее всего для Маринеско последний абзац письма. Александр Иванович предлагает встретиться, но для чего? Совсем не для того, чтобы рассказывать о своих подвигах и обрести в писателе своего будущего биографа. Нет, узнав от общих друзей, что писатель работает над романом о подводниках, он предлагает ему свою бескорыстную помощь.

Кстати, об общих друзьях. Трое из них названы в письме. О скончавшемся в 1970 году Евгении Гавриловиче Юнакове читатель уже немного знает. Владимир Антонович Полещук во время войны командовал дивизионом подводных минных заградителей. В прошлом торговый моряк, как и Маринеско, после демобилизации — историк флота, кандидат военно-морских наук, он и после переезда в Москву не переставал принимать участие в судьбе Александра Ивановича и бороться за восстановление исторической правды. Михаил Филиппович Вайнштейн, в годы войны дивизионный инженер-механик, — один из самых близких и преданных друзей Александра Ивановича. Во время моих коротких наездов в Ленинград мы неизменно встречались у Михаила Филипповича, жившего тогда в центре города, у Казанского собора. В моем дневнике за август 1960 года отмечены две встречи — 16-го и 29-го числа. Записи до обидного беглые, но и они будят память:

«16. VIII. Ленинград. Звонил Вайнштейн, вечером встретился у него с Маринеско. От разговора о своих боевых походах и причинах ухода с флота А. И. решительно уклонился, только под конец не удержался и забавно рассказал, как он «вымотал душу» у контр-адмирала А. М. Стеценко, пошедшего с ним в мае 1945 г. в поход в качестве «обеспечивающего». Рассказал со смехом, беззлобно. Говорить предпочитает о заводе, где он сейчас работает и интересами которого живет.

29. VIII. Ленинград. Вечером был у Вайнштейна. Съехались подводные асы: Маринеско, Грищенко, Матиясевич. Маринеско рассказывал, как проходил перевод на семичасовой рабочий день на ленинградских заводах. Рассказчик он отличный».

От этих встреч (и от ряда последующих) у меня осталось смешанное впечатление. Александр Иванович бывал весел, но его не ос-

тавляла настороженность. Его радовало дружеское внимание ветеранов, но он не рассчитывал, что в ближайшее время в его судьбе произойдут какие-то существенные изменения, а потому весьма неохотно касался своего прошлого. Всякий раз он подтверждал свою готовность помочь мне советом, но для этого не было подходящей обстановки, мы все время были на людях.

Однако кое-какие изменения после публикации поступивших в «Литгазету» писем все же произошли. С. С. Смирнов, в то время главный редактор газеты, обратился от имени редколлегии в соответствующие инстанции, и вскоре лед тронулся: Маринеско было возвращено прежнее звание, появилось несколько газетных статей о подвиге «С-13». Из них две или три назывались одинаково: «Неизвестный подвиг». За время, прошедшее между вторым и третьим сборами ветеранов, Александр Иванович много раз имел возможность убедиться в своей популярности. Популярности, конечно, неофициальной и нередко приносившей ему вместо радости ненужные огорчения. В различные инстанции полетели письма и ходатайства о присвоении Маринеско звания Героя. Александр Иванович о них не знал и никак в них не участвовал, но всякий становившийся ему известным отрицательный ответ ранил его жестоко. Зато на третьем сборе, организованном Юнаковым с присущим ему размахом (ветеранов впервые пригласили с семьями), я видел, как в лучах всеобщего признания тает наледь, сковывавшая душу Александра Ивановича. Особенно тронула его веселая церемония на пирсе: по обычаю военных лет ему как вернувшемуся из похода победителю был преподнесен живой поросенок.

За прошедший год наши встречи с Александром Ивановичем становились все дружественнее, но какого-то необходимого мне, может быть и ему, главного разговора все не получалось, говорить о своем прошлом он по-прежнему избегал, а для сколько-нибудь серьезной консультации моей работы мне надо было по меньшей мере вести его в курс дела, почитать кое-что из написанного. Нужен был день (лучше два) без помех и без свидетелей.

И вот такой день наступил.

В начале ноября 1961 года я приехал в Кронштадт поработать и лишний раз обойти от носа до кормы какое-нибудь учебное судно. Остановился, как всегда, в крошечной одноэтажной гостиничке при учебном отряде. Гостиничка состояла всего из двенадцати номеров, называвшихся, впрочем, по-морскому — не номерами, а каютами. В гостиничке этой я жила много раз, всегда в одной и той же каюте, несмотря на зарешеченные снаружи окна и весьма умеренный комфорт, в ней хорошо работалось. Учреждением этим командовала милая женщина по фамилии Ганичева, совмещавшая в одном лице обязанности директора, кастелянши, истопника и уборщицы, приветливая и внимательная к постояльцам.

Запись из моего дневника:

«25 ноября. Кронштадт. Мокро, сыро, зима временно отступила. Проснулся оттого, что Ганичева пришла затопить печку. Сразу стало уютно, и я сел за стол с намерением переписать набело не меньше 15-ти страниц. Но приехал А. И. Маринеско. «Для выступлений на кораблях и в частях», как значилось в удостоверении.

Прежде чем отправиться в здание, где была объявлена беседа Маринеско с коллективом редакции, мы попили чайку и впервые обстоятельно поговорили: Александр Иванович не только не забыл о своем обещании, но взялся за дело с поразившей меня энергией и деловитостью. Он заставил меня читать и рассказывать, а затем забросал вопросами.

В скобках: к ноябрю 1961 г. роман «Дом и корабль» был вчерне закончен. Я не писал, а переписывал. На моего главного героя — ка-

питан-лейтенанта Горбунова — Маринеско был совсем не похож, тем не менее советы Александра Ивановича были для меня драгоценны по многим причинам. Подобно моему герою Маринеско начинал войну командиром «малютки», подобно ему блокадной зимой готовил свой маленький корабль к летней кампании. Наконец, мне предстояло заново написать обрамляющую роман новеллу, единственный эпизод, где лодка в походе, в атаке, — здесь мнение Маринеско было для меня решающим. В основу эпизода я решил положить памятный мне с первых военных лет случай: поврежденная взрывом глубинных бомб подводная лодка всплывает для ремонта рулевого управления, в случае появления противника лодка должна срочно погрузиться, времени на то, чтоб извлечь из кормовой балластной цистерны работающих там людей, уже не остается, и они это знают. Оказалось, что аналогичный случай был у Маринеско на «С-13», и он одобрил мое решение. А вот описание атаки, решение атаковать не со стороны моря, а, против ожидания, со стороны берега — это уже прямая подсказка Маринеско — именно так атаковал он «Густлова». Меня поразила сосредоточенность, с какой Александр Иванович слушал, и вдумчивость его осторожных рекомендаций. К моим вымышленным ситуациям он отнесся с серьезностью командира, которому предстоят ответственные решения. Что-то из моих построений он после детального разбора подтвердил, кое-что мягко оспорил (не все слушайте, что вам травят...), но самыми впечатляющими для меня были некоторые попутно высказанные мысли Александра Ивановича. Привожу их в том виде, в каком они мне запомнились:

— На подводной лодке командир, особенно в боевом походе, — царь и бог, видит, слышит и решает он один. По-другому и быть не может, иначе лодка утонет. Ни митинговщины, ни двоевластия море не терпит. Но беда, если командир заберет себе в голову, что он всемогущ, а все прочие — пешки. От любого матроса, любого, я не преувеличиваю, может зависеть успех похода. От его умения, отношения к делу, даже от настроения. Командир должен знать боевую технику не хуже приставленного к ней матроса, но еще лучше он должен знать самих людей. Для меня среднего матроса нет, каждый человек исключителен, второго такого нет. Есть матросы, которым нет цены, есть такие, кому грош цена, от таких надо избавляться, а настоящих уважать и беречь. Ценить за достоинства, а не за отсутствие недостатков. Недостатки есть у каждого, людей без недостатков не встречал и свои знаю крепко. Бояться надо не людей с недостатками, а нулей. Есть такие люди с нулевой плавучестью. Моряк с недостатками, если попадет в хорошие руки, исправится, а нуль, как его ни верти, останется нулем. Есть такие люди, что говорят про меня: ему, мол, везло. Глупости. Если мне и везло в чем, так это на людей. И я никогда не забывал, что от глаз сигнальщика, от ушей акустика зависит успех атаки... Чем дольше живу, тем больше укрепляюсь в мысли: великая ошибка рассматривать народ как однородную массу. Народ состоит из отдельных людей, а они бывают умные и глупые, добрые и злые, сильные и слабые. И когда говорят о мудрости народа, я думаю: ведь не потому народ мудр, что все люди подряд умные, а потому что умные люди, пускай никому, кроме соседей, не известны, — большая сила, они не командуют, а за ними идут. Задумывались ли вы когда-нибудь, как рождается в народе меткое слово? Ведь сказал же его кто-то первый? Остальные подхватили, обкатали — и пошло оно гулять по стране, но ведь всегда есть кто-то без имени, без прозвища, от кого ведет начало пословица, поговорка, веселая байка. Кто-то их выдумывает? Мне, например, ничем не выдумать. Вот почему не люблю я, когда о людях говорят этак кучно, в общем и целом. Не люблю, когда говорят: «Все женщины такие». Или: «Что вы, не знаете наших матросов?» Глупости. Все женщины разные. И матросы — тоже...

— А вот вы сами недавно сказали: «Ваш брат-писатель», — уязвил я.

Маринеско засмеялся:

— И очень глупо сказал. Читать люблю, но в жизни с писателями почти не сталкивался. Они-то, наверное, очень разные».

Поговорили немного и о литературе. Сегодня уже не вспомнить, какие книги называл тогда Александр Иванович. Насколько я понял, больше других привлекали его книги исторические и описание путешествий, с особенным восхищением он говорил о Миклухо-Маклае. А из книг, пленивших еще в детстве, назвал «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Весь этот разговор у меня не записан, и полностью воспроизвести его через двадцать лет невозможно, но уже в том разговоре мне начал приоткрываться секрет того таинственного влияния, которое мой собеседник имел на самых разных людей. Секрет был не простой. Конечно, он заключался и в имени, ставшем к тому времени легендарным, но в гораздо большей степени в этом пристальном, очень избирательном, но всегда подлинном внимании к человеку, к любой человеческой судьбе. И может быть, самое главное, что я понял тогда, — передо мной сидел человек ярко талантливый и при этом покоряюще искренний. О талантливости людей мы, как правило, судим по их достижениям. Способ правильный, но не универсальный. Человек по-настоящему талантливый редко бывает талантлив только в одной строго определенной области. Чаще всего он талантлив вообще, и это понимается окружающими даже раньше, чем он что-либо свершит. Не все талантливые натуры осуществляются, немалая часть их гибнет или сходит на нет по самым разнообразным причинам. И по стечению неблагоприятных обстоятельств. И по недостатку воли. Только сильная воля способна поставить человека выше обстоятельств. Талант и воля взаимосвязаны. Яснее всего эта связь проявляется в детстве, лидерами в своей среде становятся мальчишки и девчонки, наделенные волей или талантом, точнее — волей и талантом. Это оптимальный вариант. Красота и физическая сила тоже имеют значение, но второстепенное. Несомненно юный Саша Маринеско был в своей школе вожаком. И мне впервые захотелось представить себе подводника № 1 босоногим одесским мальчишкой, а затем шаг за шагом проследить тот сложный путь, которым он пришел к подвигу. Задача непростая, к тому же упирившаяся в препятствие почти непреодолимое — говорить о себе Маринеско не хотел и от расспросов уклонялся.

Наша беседа оборвалась на полуслове — за нами пришли из редакции. Идти было недалеко — редакция помещалась рядом, в том самом здании, где во время войны был штаб Балтийского флота. Впервые я услышал от самого Маринеско рассказ о январском походе и атаке на «Густлова». Слушали его затаив дыхание, были и аплодисменты, и восторженные реплики, и вспышки блицев, но уже тогда я отметил нечто, никак не вяжущееся с моим представлением об Александре Ивановиче: рассказывал он плохо. Вяло, формально, как будто речь шла не о нем самом, а о каком-то другом командире. Он не делился пережитым, а повторял уже известные цифры и немногие просочившиеся в печать подробности атаки. Рассказ этот я кое-как записал и сегодня, перечитывая свою запись, вижу, насколько она бледнее того, что рассказывали мне потом другие участники похода. Одновременно угадываю причину: над ним еще тяготел данный себе зарок молчания.

После выступления в редакции мы обедали с Юнаковым. Выпили по стопочке, Александр Иванович оживился, стал вспоминать всякие забавные истории. Рассказал о каком-то командире, считавшем своей заслугой то, что в заботе о подчиненных он регулярно снимает пробу на камбузе и перестал замечать, как ему уже давно готовят отдельно. Это схема, рассказывал Маринеско в лицах, с юмором. О вы-

ступлении в редакции рассказывать не стал — надо полагать, был доволен. Не приемом — собой.

А затем произошло совсем неожиданное — мы вернулись в гостиницу и разошлись по своим каютам, чтобы отдохнуть, но не прошло и часу, как ко мне в двенадцатую пришел Александр Иванович и с потрясшей меня искренностью рассказал всю свою жизнь — о семье, детстве, флотской службе, боевых походах, разжаловании, злключениях на берегу. Рассказал, конечно, не по порядку, перескакивая и отвлекаясь, без всякой определенной цели, с единственным желанием открыться и быть понятым. Эта многочасовая исповедь длилась до рассвета, под утро Александр Иванович, охрипший и обессиленный, ушел к себе спать, а я лег еще позже, надо было пусть неполно, но по свежей памяти записать услышанное. Записывать что-либо при Маринеско я не решился — и правильно сделал. Спать мне почти не пришлось, и на встречу Маринеско с курсантами учебного отряда я опоздал и пришел к концу. Как мне показалось, на этот раз Маринеско говорил свободнее, красочнее, он как-то раскрепостился. Затем опять сидели у меня, зашел Юнаков, и мы хорошо поговорили уже вторым. Когда Юнаков ушел, пошли погулять по Кронштадту, обошли знакомые места, посидели на скамеечке в сквере на площади Мартинова. Вечером Александр Иванович уехал в Ленинград.

Эта кронштадтская встреча оказалась для меня решающей. Я впервые ощутил Маринеско как близкого друга. Теперь нас связывало то с большим запозданием пришедшее чувство фронтового братства, которое обычно рождается только на войне, и я уже понимал, что, пока мы живы, эту связь ничем не разорвать. Решающим было и то, что я впервые подумал о Маринеско как о литературном герое. Слишком занятый работой над романом, я еще не знал, что через много лет напишу повесть о моем друге, но уже догадывался, что рано или поздно такая книга будет написана если не мной, то кем-нибудь другим и в этой будущей книге мой друг со всеми своими жизненными сложностями должен быть и будет главным, и притом положительным, героем.

Я всегда понимал, что нашей литературе нужен положительный герой, живой и яркий, чтоб за его мыслями и поступками читатель следил бы с таким же захватывающим интересом, с каким я слушал ночную исповедь Маринеско.

Эта исповедь меня не только взволновала, но и заставила задуматься. Мне незачем полемизировать с во многом уже отжившими представлениями о положительном герое как о герое идеальном. От многих властвовавших над нами вульгарно-социологических канонов мы уже освободились, хотя и сегодня еще достаточно распространено представление о положительном герое как о некоем нравственном эталоне, образцовом человеческом экземпляре, лишенном всяких недостатков и противоречий характера. Между тем всякий человек сложен и чем он значительнее — тем сложнее. Нет такого значительного образа в художественной литературе, вокруг которого в свое время не разгорались бы споры. Оценка литературного героя как положительного не тавро, не атрибут, не прилагательное, наглухо прибитое к существительному, она зависит не только от качеств героя, но и от восприятия его современниками. Вспомним яростные споры вокруг новой для критики фигуры тургеневского Базарова, вспомним, что давно уже воспринимаемая нами как «луч света в темном царстве» Катерина из «Грозы» Островского имела некогда ожесточенных противников считавших ее глубоко безнравственной женщиной. Мне могут возразить: все это прошлый век, столкнулись точки зрения, отравившие антагонистические классовые силы русского общества. Но люди моего поколения — свидетели тому, что расхождения в оценках литературных героев не исключены и в наше время, в нашем обществе, где не существует антагонистических классов. Прекрасно пом-

ню, как «гамлетизм» был синонимом вредной рефлексии, интеллигентской дряблости и неспособности к действию. А сколько копий сломаю на моей памяти вокруг образа Дон Кихота, слово «донкихотство» до сих пор живет как расхожее обозначение бессмысленного добротства.

Все сказанное, как мне кажется, имеет прямое отношение к моему герою. Со дня кончины Маринеско прошли десятилетия, и время меняет масштабы событий и заставляет заново всмотреться в уже известные факты. Подвиг выступает во всем своем историческом величии и заставляет нас быть не столь непримиримыми к бывшим срывам и ошибкам героя.

Всякий положительный герой вызывает у читателя желание в той или иной мере следовать его примеру. Но между нравственным примером и слепым подражанием существует немалая разница. Склонны к подражанию малые дети — до той поры, пока у них не вырабатывается способность дифференцировать явления. Подражательность свойственна людям с неразвитым вкусом — вот почему залетная мода на покрой штанов или парикмахерские ухищрения внедряются легче, чем многие полезные гигиенические навыки. Общеизвестно, что в искусстве подражатели не создали ничего сколько-нибудь ценного, попытка подражать выдающимся людям или героям популярных произведений обычно сводится к копированию внешних черт оригинала. Сразу же приходят на память лермонтовский Грушницкий с его напускным байронизмом и чеховский Соленый с его лермонтовской позой. Люди незначительные и недобрые, они невольно пародируют своих кумиров, подражательность, заемность чувств — черты, с убийственной точностью характеризующие их внутреннюю опустошенность. Человек самобытный, одаренный всегда неподражаем, оригинален, или, как говаривали в старину, бесподобен. Следовать его примеру можно и нужно, имитировать — бесполезно. Влияние литературных образов на формирование характера читателя, в особенности если этот читатель молод, огромно, но оно действительно лишь тогда, когда герой произведения воспринимается нашим сознанием не как сумма признаков, а как реально существующий или существовавший человек. А с реальными людьми у нас не бывает однозначных отношений. Восприятие художественного произведения — это сложный процесс, во многом схожий с творческим. Мировая литература населена множеством героев, зачастую весьма далеких от нас по своим воззрениям, нравам и обычаям, но в каждом из них заключена по меньшей мере одна доминирующая черта, позволяющая нам хотя бы короткое время прожить его жизнью, как если бы она была частью нашей собственной, радоваться его взлетам и страдать от его бед и заблуждений, проще говоря, сочувствовать ему не в том уже несколько стертом бытовом значении слова, к которому мы приучены, а в том первичном, где приставка «со» еще не окончательной приросла к корню: сочувствовать со-переживать. Конечно, чем ближе к нам эпоха, в какой живет и действует герой, чем ближе он к нам социально, тем требовательнее мы становимся к его нравственному облику. И все же герой никогда не должен превращаться в эталон. Эталоны хороши для измерения неодушевленных предметов, для живых они часто оборачиваются прокрустовым ложем. Мне кажется, писатель не должен быть озабочен, получит ли его герой при выходе в свет своеобразный «знак качества», свидетельствующий о его несомненной положительности, достаточно, чтобы он знал и любил своего героя, гордился его достоинствами и страдал от его ошибок. Нужно ли эти ошибки скрывать от читателя? На этот счет существуют различные точки зрения. Одна из них, наиболее мне близкая, выражена в известном письме Д. А. Фурманова:

«Вопрос: дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фанта-

стическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь к первому».

Надо ли доказывать, что в своем решении образа Чапаева писатель твердо стал на первый путь? Именно поэтому для нескольких поколений советских людей этот образ сохранил свое немеркнущее обаяние. Фурманов понимал, что герой, из которого извлечена «вся человеческая требуха», превращается в мумию или муляж, и опыт Отечественной войны подтвердил его правоту: у Чапаева оказалось огромное число последователей и ничтожное — подражателей.

Скоро минет двадцать лет с того хмурого зимнего дня, когда мы, друзья покойного, проводили на Богословское кладбище Александра Ивановича Маринеско, но я до сих пор ощущаю потерю как недавнюю. Для меня он — такой, каким я его знал и запомнил, такой, каким он живет в воспоминаниях его друзей и соратников, — самый любимый герой. Я счастлив, что судьба, хоть и поздно, свела меня с ним, и не перестаю огорчаться, что наша близость была такой недолгой. Мне никогда не приходило в голову подражать Маринеско, подражать ему — задача в равной мере непосильная и ненужная мне, но я не перестаю восхищаться его военным и гражданским мужеством, широтой и силой характера и во многом меряю себя его мерой. И то, что я не воспринимаю его как идеал, не отталкивает, а сближает меня с ним, будит мою совесть, дает постоянно обновляющийся повод к размышлениям. Я берегу в себе то, что было у нас общего, и преклоняюсь перед тем, что мне недоступно. А его недостатки и срывы служат мне предупреждением.

Не так ли мы, читатели, обычно живем общей жизнью со своими любимыми (а следовательно, положительными) героями?

* * *

Мои ночные записи и доставшиеся мне уже после кончины Александра Ивановича его неоконченные автобиографические заметки стали в моей работе лцией. Достоверной, но с большими пробелами. Приступив к работе, я убедился, что мои знания об одесском периоде жизни Маринеско, о его семье, детстве и начале морской службы явно недостаточны.

И я поехал в Одессу.

III. ОДЕССА, КОРОЛЕНКО, ОДИННАДЦАТЬ

«Я родился в городе тепла, красоты и веселья — Одессе».

Так начинаются беглые и оборванные в самом начале автобиографические записки Александра Ивановича. Бесспорно, Маринеско любил свой родной город, хотя прочно связал свою жизнь с холодной Балтикой и никогда не пытался вернуться к теплomu Черному морю. Все повороты в своей судьбе он делал круто, давались они ему нелегко, с кровью, но что отрезано, то отрезано, всякая двойственность ему была чужда. В Одессу он наезжал редко, только чтобы повидаться с родными и с немногими старыми друзьями, и одессита я в нем никогда не видел. Впрочем, и Одессы я почти не знал, а довоенную — больше по литературе. Но, пожалуй, ярче всего Одесса первых послереволюционных лет представала передо мной в устных рассказах друга моей юности Миши Заца, коренного одессита, выходца из рабочей революционной семьи, чье детство прошло в том же дворе, где жила семья знаменитого налетчика Мишки Япончика, одного из прототипов бабелевского Бени Крика. С Мишей (Михаилом Борисовичем Зацем) я познакомился, когда он, несмотря на свою молодость, был уже известным кинодраматургом, автором сценария популярного в то время фильма «Ночной извозчик», одной из первых кинематографических работ гениального украинского актера Амвросия Бучмы.

Ставши киевлянином, а затем и москвичом, Миша сохранил характерную для одесситов нежную и чуточку хвастливую привязанность к Одессе-маме, у него была щедрая память и незаурядный дар рассказчика, и в моем сознании навсегда запечатлелась карнавальнопестрая Одесса, в которой причудливо сплелись говор и нравы нескольких наций, город отважных подпольщиков и романтических бандитов; грубоватых, общительных, сердечных, насмешливых, ленивых и страстных характеров. Миша погиб на фронте в первый год войны, но у меня до сих пор звучит в ушах его мягкий, слегка пришепывающий голос, наливавшийся неожиданной мощью, когда он изображал своих любимых героев — могучих одесских портовых грузчиков, рыбаков и биндюжников, их невежественных, но мудрых и сильных духом старейшин, их чуточку вульгарноватых, но цветущих, пыльных и самоотверженных подруг. Вероятно, и в послевоенной Одессе сохранились какие-то черты сложившейся в моем воображении старой Одессы, но сегодня они уже не лежат на поверхности. Впрочем, сестра Александра Ивановича, встретившая меня на вокзале, оказалась настоящей одесситкой — темпераментной, говорливой, со знакомыми по одесскому фольклору интонациями. Гостеприимству Валентины Ивановны, ее старшему желанию помочь мне увидеть сквозь толщу десятилетий любимого братика Сашу я обязан возможностью подробнее рассказать о детстве моего героя. Мы вместе рылись в картонке со старыми семейными фотографиями, письмами и газетными вырезками, попутно делились воспоминаниями, она о первых, а я о последних годах жизни Александра Ивановича. От нее я получил немного и оттого еще более драгоценные адреса почтенных ветеранов, бывших некогда друзьями и сверстниками маленького Сашки, с ее помощью мне удалось больше узнать о семье.

Можно по-разному относиться к проблеме наследственности, но, на мой взгляд, правильно поступают те биографы, которые начинают исследование характера своего героя от корня, загодя, еще до его рождения. Значение воспитания огромно, но не следует забывать и про гены. В том же томе толкового словаря, где я штудировал обстоятельную статью о героях и героизме, слово «ген» объясняется кратко: «Некий воображаемый носитель наследственности, якобы обеспечивающий преемственность в потомстве тех или иных неизменных признаков и свойств организма». Сегодня, когда существует уже целая дисциплина, именуемая генной инженерией, определение можно считать устаревшим, а мою попытку угадать в родителях черты, что-то объясняющие в характере сына, — вполне законной. Об отце, скончавшемся в конце войны, мне рассказывали и сын и дочь; мать я видел сам.

Отец Александра Ивановича Иван Алексеевич Маринеско был родом из Румынии. Может быть, по-румынски он звался как-то иначе, но в семье не сохранилось воспоминания ни о его прежнем имени, ни о том, когда и каким образом фамилия Маринеску приобрела украинское окончание «о». Детство у него было тяжелое, с семи лет остался сиротой, служил у помещика пастушонком, когда подрос, стал кучером. Затем, будучи парнем трудолюбивым и смышленным, возвысился до должности машиниста при сельскохозяйственных машинах. Никакого систематического образования он не получил, но руки у него, судя по всей его дальнейшей жизни, были золотые. В 1893 году его призывают во флот, и он становится кочегаром на миноносце. О том, каково быть кочегаром на «угольщике», современные матросы знают разве что по популярной песне «Раскинулось море широко...» — нужно было могучее здоровье, чтобы выдерживать вахты у топок. Матрос Маринеску выдерживал, пока его не допек взненавидевший его офицер. В штормовую погоду стоять огненную вахту особенно тяжело, и когда спустившийся в кочегарку офицер набросился на матроса с рутанью и ударил по лицу, тот, по одной версии,

избил его, а по другой — швырнул в раскаленную топку. Для дальнейшей судьбы матроса разница в версиях была не очень существенна — в обоих случаях кочегару Маринеску грозил военный суд и смертная казнь. До суда Иван Алексеевич содержался в карцере под вооруженной охраной. В одну из ночей на пост у карцера был поставлен близкий друг Ивана, человек решительный. Иван уговорил его бежать, и они бежали, переплыли Дунай, друг остался где-то в Бессарабии, а Иван двинулся дальше — на Украину, по-тогдашнему в Малороссию. Конечно, ни о каком «политическом убежище» в царской России он и не помышлял, весь расчет был на то, что в такой большой стране легче затеряться, раствориться, исчезнуть, и расчет оказался правильным, до 1924 года он не оформлял своего гражданства, или, как говорили в старину, подданства, и первые годы старался держаться подалеже от больших городов. Сохранилось предание, что во время своих скитаний он встречался и беседовал с Алексеем Максимовичем Горьким. Поначалу беглец тосковал по своей далекой родине и, прослышав о всеобщей амнистии по поводу какого-то государственного события, сделал попытку вернуться в Румынию, но очень скоро убедился, что для таких, как он, амнистия — самая настоящая западня, и ему пришлось бежать вторично.

Кусок хлеба он находил везде — выручали умелые руки. Человек, знающий толк в машинах, уже не бродяга, нужных людей обычно не спрашивают, откуда они взялись. В 1911 году на Полтавщине Иван Алексеевич (так его звали уже тогда) встретился с крестьянкой села Лохвицы Татьяной Михайловной Коваль и вскоре на ней женился. Через некоторое время молодые переехали на жительство в Одессу, где Иван Алексеевич нашел работу по специальности. Там у них родились сын Александр и дочь Валентина.

Я видел старые фотографии Сашиных родителей: brave матрос в гражданской одежде, но с подкрученными вверх по тогдашней матросской моде усами и красавица украинка, черноглазая, с пышными косами, пара как на подбор — молодые, сильные, осланистые. По свидетельству обоих детей, отец был пожизненно влюблен в свою жену, полюбил и ее родню, очень быстро усвоил язык и обычаи своей новой родины, охотно ездил летом на Полтавщину и вообще стал, как говорится, щирым украинцем. Татьяна Михайловна была ему преданной женой, родителями они были заботливыми, но по-разному — бывший бунтовщик и государственный преступник оказался очень мягким и снисходительным отцом, мать была куда строже, и, по сохранившимся у детей воспоминаниям, у Татьяны Михайловны была в свое время довольно тяжелая ручка. Мать намного пережила сына, я видел ее в Ленинграде на похоронах Александра Ивановича уже глубокой старухой. Держалась она прямо, с большим достоинством и сразу завоевала почтительное уважение многочисленных друзей покойного.

Человеческие характеры лучше всего познаются в критические для жизни страны моменты. Одесса была одним из первых крупных городов, оккупированных в 1941 году войсками противника. Незадолго до начала войны Александр Иванович приезжал в отпуск, собирался пожить в Одессе, но был срочно отозван на флот. В июле Татьяна Михайловна с дочерью Валентиной и двумя ее детьми была эвакуирована в Мариуполь. Но вскоре Мариуполь оказался под ударом, и семья Маринеско совершила пеший двухсоткилометровый переход до Мелитополя. Мать и дочь по очереди толкали тачку со скарбом, внушки всю дорогу шли пешком. У старшей девочки на ногах вздулись кровавые волдыри, и Валентина Ивановна решила самолично сделать операцию: выстирала тряпочки, прокалила на огне острый ножик... Через короткое время оказался занят врагами и Мелитополь, все пути на север были отрезаны, и семья, продав на базаре тачку и остатки скарба, налегке двинулась в обратный путь, на Одессу.

А Иван Алексеевич все это время оставался в Одессе. Свой отказ эвакуироваться он объяснял как-то туманно: «Та куды я пиду, я вже старый, хто меня зачепить...» — и, вероятно, у кого-то возникла мысль: уж не ждет ли Иван Маринеско своих румын? В самом деле, после захвата Одессы оккупационные власти быстро узнали о румынском происхождении Ивана Алексеевича, его несколько раз таскали в сигуранцу и допрашивали, но, как видно, никакого проку от того не имели, пользу имели одесские партизаны, таково, по крайней мере, мнение всех близко знавших его. Старик — а впрочем, не такой уж он был старик — явно придуривался, горбился, ходил, опираясь на палочку, словом, всячески старался выглядеть более дряхлым и больным, чем был на самом деле. С постоянной службы он сразу же уволился, чтобы оккупационные власти не мобилизовали его для выполнения каких-то военных работ, и жил случайным заработком, перебиваясь с хлеба на квас. Зато он мог бывать в разных частях города, где замешивался в толпу и заговаривал с людьми, с кем по-украински, а с кем и по-румынски. В бомбоубежища спускался редко, на уговоры отшучивался: «Та чога я там не бачив? Шо мені зробить, та я ж «заговоренный»...» Как видно, заговор был некрепок, незадолго до освобождения Одессы Иван Алексеевич получил тяжелую контузию, значительно укоротившую его жизнь. Что делал Иван Алексеевич во время воздушных тревог, мало кто знал, а сам он был неразговорчив. Бомб он не боялся, гораздо страшнее было бы, если бы этим вопросом заинтересовалась сигуранца.

Вот из такого крепкого материала были сделаны родители Саши, и сегодня, вспоминая Александра Ивановича, я угадываю в нем глубоко заложенные черты и отца и матери. Разные это были характеры, но по меньшей мере одна черта была у них общая — ни кривить душой, ни отступать от своих решений они не умели. Вот у таких родителей в 1913 году (по другой версии годом раньше) появился на свет будущий подводник № 1.

Александр Иванович говаривал, в шутку, конечно, что моряком он был с тех пор, как себя помнит. И в самом деле, по отзывам всех знавших его, пловцом и ныряльщиком он был превосходным. И сегодня, мысленно пробиваясь через более чем полувековую временную толщу, мне легче всего представить себе маленького Сашу Маринеско в воде. Плывущим, ныряющим, пляшущим в ожидании набегающего вала, который через несколько секунд накроет его с головой и, проводив по шуршащему гравию, выбросит на берег. Или во время короткого отдыха распростертым на нагретом солнцем песке, небольшого, но очень складного, дочерна загоревшего, в выцветших от солнца и соленой воды сатиновых трусиках, заряженного веселой энергией, как лейденская банка электричеством, всегда в кругу таких же, как он, загорелых, переполненных жаждой деятельности, ждущих только сигнала, чтобы самозабвенно «включиться в самую фантастическую авантюру».

Сохранилось несколько ранних фотографий, на которых легко узнать будущего капитана 3 ранга, грозу фашистских кораблей и личного врага фюрера. Но фотографии — это статика основной характера Маринеско всегда была динамичность, его трудно представить себе иначе как в движении, в действии. На помощь мне приходят немногие карандашные записи, сделанные Александром Ивановичем уже в зрелые годы:

«Семи лет от роду я уже хорошо плавал и нырял, а лето, начиная с семи часов утра, проводил с приятелями на море. основным нашим занятием была ловля бычков, скумбрии, чируса и камбалы.

В Одессе за морским судоремонтным заводом было раньше кладбище старых кораблей, и защищалось оно деревянными сваями без настила, они уходили далеко в бухту и сверху напоминали букву «Г», взрослые туда не заглядывали и по сваям не ходили, для этого надо

было быть своего рода канатоходцами, и вот там мы проводили целый день, купаясь, ловя рыбу, закусывая и даже покуривая. Обратное возвращались поздно, имея «на кукане» килограммов по пять живой рыбки. Больше половины своего улова мы продавали любителям, а на вырученные деньги покупали папиросы и другие запасы. Наш распорядок менялся редко и только для разнообразия впечатлений. Иногда мы гурьбой, человек в десять, уходили на пассажирские пристани к приходу рейсовых пароходов и просили бросать с борта в воду гривенники, когда кто-нибудь бросал, мы ныряли в прозрачную воду и догоняли тонущие монеты; бывало, что овладевали ими с бою, к удовольствию пассажиров, наблюдавших сверху за нашими подводными схватками и восхищавшихся нашей ловкостью. Победитель, всплывая, показывал монету и клал ее себе в рот».

Море, конечно, осталось морем. То грозное, то ласковое, оно и сегодня шумит или тихонько плещет, облизывая пляжный гравий, как в дни юности Саши Маринеско, но кладбища старых кораблей и свайного заграждения в форме буквы «Г» давно уже не существует; неизвестно изменилась вся одетая в бетон и гранит прибрежная полоса, и я даже не пытался пройти по местам, где впервые породнился с морем будущий подводник. Зато дом номер одиннадцать по улице Короленко, сохранившийся почти в первоизданном виде, я осмотрел очень внимательно, и хотя в нем уже нет никого, кто помнил бы семью Маринеско, сразу понял, почему Валентине Ивановне так дорога память об этом доме и об этой улице. «Когда мы жили на Короленко, одиннадцать...» — с этой фразы начинались почти все ее рассказы о брате. Но впервые я услышал этот адрес от Александра Ивановича. Он плохо помнил окраинный дом, в котором родился, и гостиницу «Бристоль», где Иван Алексеевич ведал котельным хозяйством, с переездом на Короленко, одиннадцать началась самая яркая пора его юности — первые дружбы, первые увлечения, первые самостоятельные решения...

Улица тихая, недалеко от центра города. Дом четырехэтажный, с аркой, ведущей во двор. В этом типично одесском дворике в самом деле есть что-то увлекательное. Он квадратный, со всех четырех сторон открытые (летом, конечно) окна квартир, соседки видят друг друга и перекликаются. В середине двора дощатый стол для игр, простые скамейки и старый кривой тополь, ветви его почти касаются окон второго этажа. Ловкий, как белка, мальчишка в минуту взбирается на дерево и оказывается дома, минуя лестницу и входную дверь; в дверь еще надо звонить, а позвонив, можно схлопотать затрещину за опоздание. А если обойти весь двор, выясняется, что и кроме тополя в нем много заманчивого — какие-то закоулки, где можно прятаться, а потом неожиданно выскакать, таинственные лестнички, ведущие в подвальные помещения, а может быть, и еще что-то, невидимое постороннему взгляду, но ведомое Саше Маринеско.

«Короленко, одиннадцать» — это было нечто несравненно большее, чем просто адрес. Это и семейные радости — семья была крепкая, дружная, — и детские игры, и по-одесски свойские отношения с соседями, и привычный путь в школу и из школы — туда молча и торопливо, оттуда шумной компанией, гоня перед собой голыш или пустую консервную банку.

За последнее время часто и небезосновательно пишется о пагубном влиянии улицы на неорганизованного подростка. Так почему же улица Короленко вспоминается и самим Александром Ивановичем и его сверстниками с такой нежностью, с таким ощущением не развешенной с годами поэзии? Может быть, это какая-то особенная улица?

В детстве все необыкновенно. Не надо забывать, что Короленко, бывшая Софиевская, — улица южного города. Большую часть года солнце исправно светит и греет, и вся жизнь одесских ребят за вычетом сна и школьных занятий проходит под открытым небом. Двадцать-

тые годы. Ни о каких высотных домах в Одессе и не слыхивали, матросским рассказам об американских небоскребах хотя и верили, но сильно сомневались, что в них можно жить — ни с соседкой через окошко обменяться новостями, ни покурить с соседом во дворе. Вся жизнь на виду, все друг друга знают, новый человек сразу будет замечен и обсужден, у всех старожиллов своя прочно сложившаяся и в большинстве случаев справедливая репутация, распространяющаяся и на детей. Парень с нашей улицы — это рекомендация. Трудовому населению одесской улицы не чуждо понятие «своего круга», на улицах ребята знакомятся быстро и беспрепятственно, но ввести незнакомого мальчика в дом на «Короленко, одиннадцать» было посложнее, родители, предоставлявшие детям почти неограниченную свободу, внимательно присматривались к их окружению, и мнение родителей имело вес. И в своих записках и в наших беседах, вспоминая детство, Александр Иванович неизменно называл своими ближайшими друзьями Колю Озерова и Сашу Зозулю. Александра Петровича Зозулю, ныне юрисконсульта крупного универмага, я обнаружил во Львове и на его свидетельстве еще не раз буду ссылаться.

Александр Петрович хорошо помнит не только о первом знакомстве с Сашей Маринеско во время традиционной встречи двух соседних школ, но и о первом посещении «Короленко, одиннадцать», о простых, сердечных, но в чем-то и строгих нравах семьи Маринеско, о том, как деликатно расспрашивал гостя Иван Алексеевич: кто родители, с кем дружит, о чем мечтает? Много позже Александр Петрович понял: это был экзамен. Экзамен Саша Зозуля выдержал, через месяц-другой он становится своим человеком в семье, Ивана Алексеевича зовет дядей Ваней, с Сашей Маринеско они неразлучны. Сопоставляя воспоминания А. П. Зозули с записями самого Александра Ивановича и с тем, что сохранила память их ныне здравствующих сверстников, прихожу к убеждению, что буйная ватага мальчишек и девчонок с улицы Короленко при всей своей пестроте обладала своими, вероятно никем не сформулированными, но незыблемыми принципами, несомненно повлиявшими на то, как складывались характеры многих подростков, в том числе будущего командира «М-96» и «С-13».

На улице Короленко высоко ценилась отвага. В это понятие входило и умение постоять за себя, но только в оборонительном варианте. Отвага понималась прежде всего как стремление к неизведанному. Считалось постыдным бояться волны, глубины и высоты, жары и холода, напряжения и усталости, темноты, змей, бандитов, привидений — в общем, всего, что может испугать труса и неженку. Меридом отваги была готовность к самому трудному, самому рискованному предприятию, к любой аванюре, если она обещала яркие впечатления, приобретение новых навыков и умений, проверку своих зреющих сил. В этом смысле девочки с улицы Короленко мало в чем уступали мальчикам, традиционного мальчишеского презрения к девочкам на улице Короленко не знали.

Не надо пугаться слова «авантюра». Авантюристами ни Саша Маринеско, ни его ближайшее окружение не были. Это не значит, что на улицу Короленко не заглядывали всякие авантюристы, старавшиеся найти опору и среди подростков. «Мосье Эйхбаум, — писал в своем изысканном стиле бабелевский Беня Крик, — положите, прошу Вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17 — двадцать тысяч рублей. Если Вы этого не сделаете, так Вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о Вас говорить». Софиевскую, семнадцать и Короленко, одиннадцать разделяют всего два дома, и в начале двадцатых годов портовая Одесса еще таила в себе немало всякой нечисти, унаследованной с описанных Бабелем времен. Авантюры, в которые пускались Саша и его компания, были прежде всего бескорыстными и никому не угрожали.

Не менее, чем отвага, ценились в этом кругу честность, верность данному слову. Обмануть родителей, когда нет надежды получить разрешение, и таким образом выиграть время еще не считалось ззорным, но сознаваться надо было, не дожидаясь разоблачения, не юлить и не выкручиваться, а мужественно принимать заслуженную кару. Воровство считалось позором, исключение делалось только для яблоч и арбузов, но что поделаешь, мальчишке Сашиних лет очень трудно представить себе, что все, что висит на дереве или растет на земле, не принадлежит отчасти и ему. Но и тут существовали строгие ограничения: ни в коем случае не с лотка и не из ларька, а только из сада или баштана и столько, сколько нужно самому, а не для продажи, продавать можно только рыбу, которую наловил сам. А. П. Зозуля вспоминает: одну из лучших квартир на Короленко, одиннадцать занимала почтенная семья. Уезжая на лето из Одессы, эти люди поручали Саше присмотреть за квартирой, и в течение всего лета квартира служила для компании вечерним клубом — там играли, пели, читали книги, рассказывали всякие занимательные истории, но никто не смел прикоснуться ни к одной безделушке, а накануне возвращения хозяев Саша объявлял аврал, производилась генеральная уборка квартиры, и при сдаче ключей Сашу неизменно благодарили за чистоту и порядок.

Еще одна черта, характерная для Саши и его окружения, — ничем не замутненный дух интернационализма. Впрочем, и все ближайшее окружение Саши было интернациональным — украинец Саша Зозуля, русский Коля Озеров, еврей Леня Зальцман... В те годы на Приморском бульваре существовал клуб моряков, где бывали матросы с приходивших в Одессу иностранных судов. Саша и его компания частенько околачивались поблизости в расчете посмотреть на заморских гостей, а когда стали постарше, сумели проникнуть внутрь, неразлучные Сашки стали членами организованного при клубе агитколлектива «Моряк». Для Саши Маринеско участие в самодеятельности было трудным испытанием, при несомненных задатках вожака он был застенчив. Но он умел преодолевать себя, его тянуло в клуб не простое любопытство, а жадный интерес к тому, как живут люди в других странах. В те годы молодежь жила в ощущении близости мировой революции, газеты были полны сообщений о революционном брожении в Европе и освободительной борьбе колониальных народов, и Саша рано освоился с мыслью, что совсем не похожие на него люди, отличающиеся от него цветом кожи, одеждой и языком, на котором они говорят, близки ему в самом главном — они такие же труженики, как его отец и мать, любят море, умеют постоять за друзей, щедры и гостеприимны.

Я вспомнил об этом заложенном с самого детства духе интернационального братства, слушая рассказ Матрены Михайловны, вдовы Сашиного друга Николая Озерова, о том, как во время оккупации Одессы семья Озеровых с риском для жизни укрывала в своем доме еврейскую семью, причем не близких друзей, а людей малознакомых, случайных.

Сам Маринеско считал себя украинцем. Не только потому, что жил на Украине, учился в украинской школе и родным языком считал украинский. Он воспринимал как свою украинскую историю и неплохо ее знал. Любил петь украинские песни и пел хорошо, пел в Ленинграде, Кронштадте и на Ханко Национальная гордость соединялась в нем с пристальным и уважительным интересом к людям другого языка и культуры, но в отличие от своего любимого героя Миклухо-Маклая, считавшего себя потомком запорожцев, Александр Иванович мало интересовался генеалогией и на мой вопрос, кем были его предки, ответил почти равнодушно: «Не знаю. Мужики. Который-нибудь кузнецом был, от него и фамилия материнская. Зря не назовут».

Подобно героям его любимых книг, которых манила широкая, капризная, а в половодье становившаяся опасной река Миссисипи,

Сашу и его друзей так же неотразимо влекло море. На первых порах Черное, другого он не знал. Но уже мечтал об океане.

«Море и путешествия,— пишет Маринеско в своих незаконченных записях,— все больше увлекали меня и моего друга Сашку Зозулю».

Стоило друзьям посмотреть фильм об обороне Очакова, и их неудержимо потянуло в Очаков. Не поехать, а пройти пешком до самого Очакова, а при удаче — дальше, по берегу Черного моря и реки Буг до Николаева. Получить родительское разрешение на такой дальний поход нечего было и думать, поэтому был разработан хитроумный план. Неделю шла подготовка, продавались все уловы, копились деньги, а затем в подходящий солнечный день друзья явились к родителям Саши Маринеско и стали просить отпустить Сашу в деревню. Якобы Зозуля-отец, в то время партийный работник, едет в командировку и согласен взять их с собой. Получив разрешение и даже кое-какие припасы на дорогу, приятели отправились к родителям Зозули и с таким же успехом уговорили их отпустить Сашу с Иваном Алексеевичем, якобы едущим в деревню (другую, конечно) на уборочную кампанию.

План можно было считать полностью удавшимся, если б не один маленький просчет — пришлось взять с собой младшего братишку Саши Зозули, которому в то время было лет десять, и хотя отважным путешественникам было тогда лишь года на два больше, разница в возрасте сказала, как ни старался Жорка не отставать, путешествие было ему не по силам. «На исходе второго дня,— читаю я у Александра Ивановича,— мы добрались только до деревни Дофиновки в 25 км от Одессы. В этой деревне жила знакомая нам обоим девочка по имени Мара, у нее мы рассчитывали разжиться хлебом. Дофиновка лежит на самом берегу моря, жители ее занимаются в основном рыбной ловлей и баштанами.

Встретиться с нашей подружкой надо было, конечно, строго секретно, что нам и удалось при помощи деревенских ребят. Они охотно взялись вызвать ее на тайное свидание за околицу деревни, где мы построили себе шалаш. У нас на троих был один пиджачишко, им мы и укрывались.

Продолжить путешествие нам не удалось, на третий день Жорка начал хныкать и проситься домой, но все-таки мы прожили там еще четверо суток. Деревенские ребята снабжали нас хлебом и овощами, арбузы и дыни мы добывали ночью на баштанах, а мелкую рыбешку собирали на берегу моря. Деревенские рыбаки ежедневно заводили невода, но мелочь обычно выбрасывали

Обратный путь мы проделали гораздо быстрее. Хоть мы и не признавались друг другу, домой хотелось не одному Жорке.

Встретили нас в Одессе не очень деликатно. Родители уже знали о нашей проделке. Да мы в этом и не сомневались, наши семьи жили на расстоянии одного квартала».

В своих воспоминаниях и в письмах ко мне А. П. Зозуля утверждает, что несколько позже поход в Очаков все же состоялся. В записках Александра Ивановича на это указаний нет. Впрочем, на этом эпизоде записки и обрываются. Не помнит этого и Валентина Ивановна, как-никак прошло больше полувека. Не исключена и ошибка памяти у Александра Петровича, по себе знаю, какие неожиданности подносят нам память, когда мы обращаемся к далекому прошлому. Однако мне не хочется совсем отказываться от его версии — уж очень она в характере Александра Ивановича. Уже в юности одной из главных черт его характера было несгибаемое упорство, он не любил отказываться от задуманного и не приходил в уныние от неудач. Еще до встречи с Юнаковым он уже жил по правилу: не отступать и не теряться. Не вышло — повтори. Правило, чем-то напоминающее цирковой обычай: не удался прыжок, упал с лошади или с проволоки —

повтори, не откладывая в долгий ящик, повтори, преодолевая боль и страх, повторяй до тех пор, пока не добьешься своего, иначе тебе никогда не избавиться от неуверенности в решающий момент.

Подтверждает эту черту и другой эпизод — о нем вспоминает Александр Петрович:

«Появилось в местной газете сообщение, что создана общественная бригада для исследования знаменитых одесских катакомб, и Саше уже не терпится побывать там, и непременно раньше, чем туда придет бригада. Уговорил и меня. Откуда-то мы узнали, что в нескольких десятках шагов от улицы Короленко существует хорошо замаскированный вход в катакомбы, туда мы и направились, приняв в нашу компанию еще одного парня и захватив с собой фонарь, веревки, спички — все, что, по нашему мнению, входило в снаряжение спелеологов. Нашли скрытый в кустарниках вход и, расковыряв заложённое плитой и замазанное глиной отверстие, влезли в узкий, круто уходящий в глубину коридор. Тишина. Было страшновато, но Саша был полон решимости, и мы двинулись в путь. Шли гуськом, молча, довольно долго. Еще страшнее нам стало, когда мы уперлись в выложенную камнем стену и при свете фонаря увидели запертую на висячий замок ржавую железную дверь. Почему-то на нас это особенно подействовало, и мы, переглянувшись, решили, что для начала хватит. Двинулись обратно, ориентируясь на сквознячок, отклонявший пламя свечи. А когда мы с облегчением вылезли на белый свет, то увидели ждавшего нас у входа пожилого мужчину. «Вам что, жизнь надоела? — сказал он сердито. — Там прячутся уголовники, и вообще вам там делать нечего». Мы припустились домой, но на другой день по настоянию Саши опять пришли туда (называлось это место почему-то «швейцарской долиной») с твердым решением, несмотря на предупреждение, вновь спуститься в подземелье. И обнаружили, что дыру не только заложили каменной плитой, но и зацементировали. Саша был очень недоволен и долго не оставлял мысли проникнуть в катакомбы».

В одном из своих писем ко мне сестра Маринеско Валентина Ивановна утверждает, что вскоре после описанного А. П. Зозулей эпизода Саша все-таки проник в катакомбы, водил туда свою компанию, в том числе сестру и ее подруг. Зная чрезвычайную настойчивость Александра Ивановича, я готов этому верить.

При всей своей детской жажде приключений, заставлявшей его иногда пропускать школьные занятия, Саша учился совсем не плохо и много читал. В своей компании Саша первенствовал, никто лучше его не знал историю морских экспедиций и биографии знаменитых мореплавателей. Но по-настоящему определились интересы и стал складываться характер будущего подводного аса с той поры, когда в его жизнь вошли корабли.

Первыми кораблями для Александра Маринеско стали черноморские яхты.

Яхты были белоснежные, легкокрылые. Кто из одесских ребят не любовался ими с берега. Они казались сказочными видениями, недоступными для обыкновенных людей.

Революция внесла в это представление существенные поправки. Для того чтобы яхты были белоснежными, во все времена требовалось много черной работы. Не бояться тяжелой и грязной работы было основным, и на первых порах единственным, условием для допуска в Одесский яхт-клуб, некогда весьма дорогой и уважаемый. Теперь яхты принадлежали заводским коллективам, но замкнутости не было, принимали всякого, кто, прежде чем кататься, готов был повозить саночки, иными словами, как следует поработать.

Оба Александра учились в то время в школе водников на Приморской улице, по соседству с яхт-клубом. Большая часть учащихся были дети моряков, ребята бредили морем, шли нескончаемые разговоры о дальних плаваниях, океанских штормах, заморских землях, от

этих рассказов, достоверных или фантастических, захватывало дух. «Многие уже тогда твердо решили стать моряками,— пишет Александр Иванович.— Окончив пятый класс, мы думали только о море, и первой морской школой для нас стал Одесский яхт-клуб. Прежде чем выйти в море, пришлось здорово потрудиться. Весной мы помогали ремонтировать яхты, к началу навигации лучших из нас зачислили в команды, и все лето мы плавали, исполняя обязанности настоящих матросов».

Подробнее о яхт-клубе рассказал по моей просьбе А. П. Зозуля, и его рассказ помогает мне увидеть загорелого маленького крепыша на палубе красавицы яхты по имени «Карманьола». Он «драит медяшку» до нестерпимого блеска и поет. Еще не ставши юнгой, он уже матрос, ему доверяют дежурства, он бесконечно горд доверием, и ему действительно можно доверять, у него унаследованный от матери зоркий хозяйский глаз и отцовские умелые руки. На яхте он днюет и ночует; строгая мать хоть и ворчит иногда, но не запрещает, как никак она моряцкая женка и, может быть, уже догадывается, что моряком будет и сын. Конечно, не подводником, о подводных кораблях она в то время, возможно, и не слыхивала, а торговым моряком, штурманом или — поднимай выше! — одним из тех капитанов дальнего плавания, на которых с традиционным почтением взирает вся Одесса без различия пола и возраста.

За одно лето подростки становятся заправскими моряками. Яхта изучена от киля до клотика и, что самое радостное, начинает их слушаться. В конце лета командир по имени Аркадий (единственный взрослый на яхте, фамилия его не сохранилась в памяти, давно это было) уже заводит разговор о соревновании с гордостью Одесского яхт-клуба — яхтой «Коммунар». Кто быстрее — «Коммунар» или «Карманьола»? Обычно сдержанный, Саша Маринеско приходит в неистовый восторг. Помериться силами с лидером, с фаворитом — на меньшее он не согласен. И сразу начинается тщательная подготовка, проверяется знание парусов и такелажа, идут регулярные тренировки. Успехи ребят настолько очевидны, что в день соревнования командир доверяет Саше Маринеско самостоятельно вывести яхту за маяк.

«Погода в этот день выдалась прекрасная,— вспоминает Александр Петрович,— небо чистое, легкое волнение, попутный ветер. Когда мы выровнялись, была подана через мегафон команда «вперед!», и мы понеслись в открытое море. Не помню, сколько мы проплыли по прямой, вероятно, километров десять, когда раздалась следующая команда «поворот оверштаг!». И вот тут-то случилась беда. Задача моя состояла в том, чтобы несколько отпустить парус, перебросить через свою голову рею, натянуть конец и надежно закрепить его за упор. Но конец вырвался у меня из рук и ударом меня выбросило за борт. Я был оглушен. Вдобавок освободившийся канат обвился вокруг моей шеи, и я здорово перепугался. Саша сидел на руле. В ту же минуту он бросился в воду. Потерявшая управление яхта закрутилась на одном месте, но Аркадий вовремя перехватил руль и еще успел выбросить нам спасательные круги. Когда мы взобрались обратно на палубу, на «Коммунаре» уже закончили маневр и яхта стремительно уходила к берегу. Догнать! Догнать можно было только за счет более искусного управления парусом, подставляя его очень точно по направлению ветра и умело регулируя крен судна весом собственного тела. Для этого нужен большой опыт. Или талант — интуитивное чувство моря и ветра. Опыт у Саши был еще невелик, но, так или иначе, наша «Карманьола» еще до маяка достигла соперницу и первой ошвартовалась у пирса».

Вскоре после парусной гонки у командира возникла идея нового соревнования. Он предложил дальний проплыв — от яхт-клуба до Лузановского пляжа, расстояние немалое, километров шесть-семь вплавь. «Подумайте, ребята,— сказал командир,— если сомневаетесь, то луч-

ше не заводиться». «Никаких сомнений,— сказал мне Саша Маринеско,— не знаю, как ты, а я поплыву».

Руководство яхт-клуба колебалось, допустить ли друзей к заплыву — уж очень они были молоды. Но Саша Маринеско сломил сопротивление. Он умел внушать доверие. И вот в солнечный день на пирсе выстроились отобранные участники проплыва — человек десять. На каждом из них, кроме трусов, был брезентовый пояс со спрятанными внутри иголками — на случай, если в воде схватит судорога. Плывущих сопровождали две лодки: руководство, контроль, помощь. Условлено было, что через час после старта участники имеют право подплыть к одной из лодок и подкрепиться бутербродами. Питья никакого не полагалось.

Плыли дольше чем рассчитывали (часов около пяти) и без сил рухнули на песок Лузановского пляжа. В школе обоих Сашек встретили как героев, от родителей же им порядком досталось. Грозилась даже забрать обоих из клуба.

С яхт-клубом в конце концов пришлось расстаться не по приказу родителей, а потому что клуб перебазировался в район Аркадии, ездить туда было слишком сложно. Но еще до расставания с клубом произошел характерный эпизод, о котором рассказал Леонид Михайлович Зальцман, школьный товарищ Саши, также увлекавшийся морским спортом. У Леонида Михайловича, тогда еще Лени, были слабые легкие, плавать ему запретили, ходить под парусом тоже. Впрочем, выход нашелся: Леня увлекся техникой, стал изучать моторы, что помогло ему впоследствии стать классным шофером-механиком. С Сашей Маринеско они учились вместе начиная со второго класса и, сидя на одной парте, привыкли помогать друг другу. Саша в то время разбирался в моторах, может быть, и хуже Лени, но руки у него были отцовские, металл им покорялся. Вдвоем они собрали подвесной мотор, оставалось закрепить последние гайки, но в этот момент клубный моторист, собравшийся катать на моторке какое-то местное начальство, без всяких церемоний забрал у ребят все инструменты. Саша очень рассердился, но не отступил, и гайки пришлось зажимать кустарным способом — зубилом и молотком. Мотор опробовали и подвесили к «двойке», Саша горючил, ему не герпелось выйти в море. Леня предложил взять с собой весла, Саша заупрямился: «Чепуха... Выйдем из любого положения». Он был вроде как капитан, и Лене пришлось подчиниться. Однако прав-то был Леня: не прошла лодка и трех миль, как двигатель забарахлил, что-то от него отвалилось и упало в воду. Остановили двигатель и сразу поняли, что произошло: открутилась гайка, удерживающая маховик. Дальше под мотором идти нельзя, а весел нет. На тревожный вопрос «что будем делать?» Саша с показным легкомыслием ответил: «Ждать. А я пока выкупаюсь» — и как ни в чем не бывало прыгнул в воду. Но выкупавшись, долго и внимательно оглядывал горизонт, издали увидел идущую под парусом рыбацью шаланду, и когда она подошла, попросил взаймы пару весел. Вел он себя с истинно капитанской невозмутимостью, но весьма возможно, что за ней таилась тщательно скрываемая мысль: «В следующий раз я, пожалуй, все-таки захвачу с собой весла».

Если для Лени Зальцмана и Саши Зозули расставание с яхт-клубом было сравнительно легким — у них уже намечались другие интересы,— то Саша Маринеско пережил его болезненно, почти как катастрофу. Без моря и кораблей он уже не мог существовать.

Временный выход из положения все же нашелся. Саша Зозуля случайно познакомился с человеком, работавшим на Центральной спасательной станции. Оказалось, что там нужны ученики, и неразлучные Сашки стали подолгу пропадать на Ланжероне, где помещалась станция. Началась их спасательная служба со скучноватых, но требовавших пристального внимания дежурств на вышке. С этим испытанием они справились легко, опыт сигнальщиков у них был. За-

тем, пройдя первичный инструктаж, друзья были допущены к спасательным операциям и увлеклись ими настолько, что это уже стало отражаться на школьных занятиях. И сразу Саша Маринеско оказался в числе самых смелых и находчивых спасателей. За короткое время он четырежды отличился: спас потерявшую сознание в воде женщину; забравшуюся на глубокое место, но не умевшую плавать молодую девушку; мальчика, захлестнутого волной от винта пробегавшей мимо моторки; подвыпившего мужчину. Уже тогда поговаривали, что ему «везет», но везло все-таки не ему, а тем, кого он спас. Дело было не в везении, а в полноте отдачи, в сосредоточенной воле. Не стремясь во что бы то ни стало первенствовать (за исключением спортивных соревнований, здесь его не устраивало даже второе место), он практически всюду оказывался первым.

В обязанности спасателей не входила подача первой медицинской помощи, для этого на станции дежурили фельдшер или медицинская сестра, но Саша не умел пассивно наблюдать, он научился делать искусственное дыхание и стал помогать медикам. Зозуле запомнился такой эпизод. Во время одного из дежурств на пляже поднялась тревога. Какая-то девушка закричала, что пропал ее младший брат. Саша Маринеско спросил у девушки, в каком направлении она видела последний раз голову брата, и, не теряя времени, бросился в воду. Легко представить себе, что творилось на пляже. Одни с замиранием сердца следили за темной головой Саши, то исчезающей в волнах, то вновь возникающей на поверхности; некоторые осторожные родители успели увести с пляжа своих детей, оставшиеся сочувствовали и надеялись, но время шло и надежды становилось все меньше...

А Саша нырял и нырял. Он появлялся на считанные секунды, необходимые, чтобы хлебнуть воздуха и оглядеться. Его голова появлялась то левее, то правее, то ближе, то дальше от берега. Многим уже казалось, что продолжать нет смысла, когда Саша всплыл с бездыханным телом мальчика лет восьми. Мальчик так долго пробыл под водой, что оживить его надежды почти не было. Но Саша, хотя и очень уставший, сразу же принялся делать мальчику искусственное дыхание и не уступил своего места, даже когда приехала «скорая». Упрямо сжав губы, он повторял одни и те же заученные приемы, пока не появились первые признаки жизни: чуточку приоткрылись глаза, дрогнули губы. И тут Саша не выдержал, упал рядом на песок и разрыдался, как маленький.

Спасательная станция могла заменить яхт-клуб только на время. С Сашей Зозулей, Леней Зальцманом. Колей Озеровым дело обстояло проще — при всей любви к морю они прекрасно обходились без него. Сашу Зозулю все больше затягивала общественная работа. В комсомол он вступил раньше Саши Маринеско, и во всех общественных делах заводилой был он. Сухопутные дела тоже увлекали Сашу Маринеско — некоторое время он вместе с Зозулей увлеченно работает общественным контролером в системе госторговли. Сашу Зозулю эта работа захватила настолько, что в какой-то мере определила его дальнейшую профессию. Но что привлекло в ней будущего покорителя морских глубин? Вероятно, органическое отвращение ко всякого рода нечестности и блату. Открывшаяся возможность дать им хотя бы на узком плацдарме открытый бой. И позже, когда Маринеско уже был курсантом мореходного училища, Зозуле удавалось вовлекать своего друга в самые разнообразные общественные начинания того времени. Комсомольская организация посылала Зозулю то в «Общество друзей советского фото и кино», то организатором синеглазого коллектива, то на интернациональную работу в клуб «Моряк», и всякий раз Саша Маринеско с увлечением окунался в новую для него среду и непривычные занятия. Однако мысль о море не оставляла его. И он совершил решающий поворот в своей судьбе, крутой, как все его повороты,— бросил школу и ушел в плавание. Матрос на клубной яхте

«Карманьола» — еще детская игра, юнга на учебном судне «Лахта», а затем курсант на знаменитом паруснике «Товарищ» — это уже настоящая морская служба. Не военная, но в чем-то близкая к ней. Море — одновременно друг и противник. Чтобы плавать по морям, нужны здоровье, труд, расчет, выдержка, зоркость, чувство локтя — все как на войне. Вот почему уходом в первое плавание я заканчиваю рассказ о детских и школьных годах Александра Маринеско. И еще не расставаясь с Одессой, ощущаю настоятельную потребность как-то соотнести мальчика Сашу с тем зрелым, много пережившим человеком, которого я близко узнал и полюбил уже после войны. Сделаю я это в наиболее лапидарной форме: задам себе несколько вопросов и попытаюсь на них ответить.

Итак, какое же воспитание получил в детстве мой герой?

С моей точки зрения, прекрасное.

Его не угнетали и не баловали. Почти неограниченная свобода в соединении с привитым с ранних лет чувством долга. Непритязательность, привычка к физическому труду — и широкий круг интересов: книги, техника, политика, искусство. Целеустремленность, которая не выжигает все кругом себя — мир воспринимается гармонически. Была та никем не вычисленная, но реально существующая золотая пропорция, которая позволяет совмещать гордую независимость с дисциплиной, был свой неписанный, но твердый, не поддающийся размыванию кодекс чести. Один для дома и для улицы.

Детство Саши Маринеско подтверждает одну близкую мне мысль А. С. Макаренко, утверждавшего, что основные черты характера складываются очень рано и поэтому воспитание ребенка надо начинать с его первых шагов, если не раньше. Не знаю, обсуждали ли родители, как они будут воспитывать Сашу, и произносили ли вообще слово «воспитание», они были люди не книжного склада, но с самых ранних лет мальчик видел любовно-уважительные, хотя и без лишних сантиментов отношения отца и матери, равную заботу о нем и о сестре, слышал спокойную, блестящую искорками украинского юмора речь, вдыхал запах металла и вареного масла, исходившего от стоявшего в коморе отцовского верстачка, и на ощупь узнавал жесткие и бережные ладони отца.

Таким ли я представлял себе маленького Сашу Маринеско? Похож ли он на того человека, которого я знал?

Да, похож. Конечно, от некоторых стереотипов и заданных представлений, с какими я ехал в Одессу, пришлось отказаться. Характер оказался более самобытным. Самобытность характера заключается не в том, чтобы быть непохожим на других, а в том, чтобы быть похожим на себя. Саше Маринеско пытались подражать, но сам он не подражал никому, даже своим любимым литературным героям. Он хотел пройти океанскими дорогами Маклая, но Маклаем быть он не хотел. Лишнее доказательство того, что умение улавливать сходство с натурой и потребность в подражании — две самые низшие формы восприятия искусства, его нижний этаж. У людей с развитым эстетическим чувством процесс восприятия сложно опосредован и основан на отборе. Я упоминал уже, что твеновские Том и Гек были в числе самых любимых героев Саши Маринеско. Но он нисколько на них не был похож. А если и был немножко, то на обоих сразу, но ни на кого в отдельности. Его тяга к приключениям была не книжной, как у Тома, не анархической, как у Гека. Он не был ни вырвавшимся на свободу пай-мальчиком, ни люмпеном. След, оставляемый в нашей душе любимыми книгами, не типографский оттиск, он не ложится как печать, а вступает с нашим сознанием в длительную реакцию. Взаимодействие происходит не механически, а, так сказать, на молекулярном уровне и дает не всегда предсказуемые результаты.

И наконец последний вопрос. Когда у Саши Маринеско зародилась мечта стать капитаном дальнего плавания?

Очень рано, если понимать под этим не должность, а призвание. Это была не просто мечта. Мало ли ребят мечтают быть моряками? Есть профессии, властно привлекающие детское воображение, — от пожарного в начале века до летчика в век авиации. Нет, это было выношенное решение, заставившее уйти из средней школы за год до окончания, поступиться своей детской свободой и подвергнуться беспощадному отбору, который проходят все, кто из мира детских мечтаний готов перейти в прекрасный, но полный трудов и опасностей мир профессиональных мореплавателей. Влекла не красивая морская форма, не внешние атрибуты профессии, не особый почет, каким пользовались в Одессе капитаны. Влекло — море.

IV. ФИЛЬТР

При всем бесконечном многообразии существующих на свете фильтров их можно условно разделить на два основных рода. На фильтре первого рода осаждаются шлаки. Ценное проходит сквозь фильтр, ненужное остается. У фильтра второго рода задача противоположная — освободиться от лишнего и удержать ценное. При помощи фильтров первого рода изготавливается питьевая вода. При помощи второго промывается золото.

Весь путь Александра Маринеско от матроса на яхте «Карманьола» до командира подводного корабля — это многоступенчатый фильтр второго рода. Один за другим отваливались от морской службы сверстники. Одни находили свое призвание на твердой земле, другие попросту не выдерживали испытания морем. Они уходили, Саша оставался.

Морская служба — трудная и не становится легче. Изменился только характер трудностей, на смену устаревшим приходят другие. Для Саши Маринеско в этом не было ничего неожиданного, о трудностях морской службы он догадался еще в яхт-клубе. Они его не пугали.

Расставшись со средней школой, он сразу ушел в плавание. Устроиться на работу, тем более на пароход, было в то время почти невозможно. Подростков брали только через биржу труда — учреждение ныне позабытое, а многим и вовсе неизвестное. Но помогло давнее знакомство. На Короленко, одиннадцать жил старый моряк, боцман Ткаченко, он знал Сашу с малых лет и был о нем хорошего мнения. Ткаченко привел вчерашнего школьника на пароход «Севастополь», и Сашу взяли. Судя по неофициальному прозвищу «кастрюльник», это была доживающая свой век посудина, но Саша был счастлив. «Севастополь» совершал регулярные рейсы, в четырнадцать лет Саша увидел Крым и Кавказ. Быть может, через год или два плавание на «Севастополе» и надоело бы Саше, но прежде чем это произошло, пришел приказ о зачислении Александра Маринеско в школу юнг.

Это была удача, и, надо думать, не совсем случайная. Кто-нибудь из служащих пароходства заметил быстрого и смышленного паренюка и запомнил его не совсем обычную фамилию. Фамилия была морская.

Юнга на морском языке означает ученик, подросток, стажирующийся на классную должность матроса. Школа юнг не готовит юнг, готовит она матросов первого класса. Юнги были на многих судах черноморских линий, большинство приходило без всякой подготовки с биржи труда, по так называемой броне подростков, их так и называли «броневиками». По сравнению с ними Саша Маринеско знал и умел больше. Но настоящие знания и сноровку дала ему школа юнг — старейшее одесское училище. Стать воспитанником такого училища было немалой честью, но и серьезным испытанием. Для многих оно означало выбор профессии. Для Маринеско этот выбор был нетруден, он сделал его раньше. Да и к новому образу жизни он был

подготовлен, и в яхт-клубе и на «Севастополе» он был приучен не бояться никакой работы.

А в школе юнг брать в работу умели.

В первый год обучения шли занятия по слесарному, токарному и столярному делу — матрос должен уметь все. Изучали такелаж и основы навигации. Учили читать корабельные документы и морские лоции. Все это Саше давалось легко. На второй год наука стала потруднее. Весь курс перевели на блокшив «Лахта» — учебное судно, пригнанное с Балтики в Одессу. На «Лахте» жили на казарменном положении, с близким к военному распорядком. Все по звонку или по сигналу горниста. Блокшив стоял на двух якорях около волнолома. Сообщение с берегом — только на шлюпке. Домой только в субботу, да и то если ты не на вахте. Об этом периоде Александр Иванович мне рассказывал мало, и представить себе жизнь в школе юнг мне помогли рассказы сверстников, и в первую очередь Сергея Мироновича Шапошникова.

Сергей Миронович сам по себе заслуживает рассказа. Потомственный моряк. Так же, как Саша Маринеско, начал с яхт-клуба, но познакомился с Сашей только на «Лахте». Во время войны был старшим помощником капитана на героической «Кубани». У этого рефрижераторного теплохода, предназначенного для перевозки скоропортящихся грузов, послужной список, ставящий его в один ряд с прославленными боевыми кораблями. «Кубань» доставляла продовольствие и медикаменты сражающимся испанским патриотам, во время Отечественной войны возила боеприпасы, высаживала десанты на Черноморском побережье и погибла в бою.

Когда мы встретились с Сергеем Мироновичем, он был уже на пенсии. Но жизнь его полна — он страстный книголюб и председатель местного клуба любителей книги. Вот что он рассказал:

«Саша Маринеско сразу привлек мое внимание. Плавал я, пожалуй, побольше, чем он, — мой отец часто брал меня с собой в плавание, но скоро я понял, что Саша и умеет и знает о море больше меня. Характер у него был сдержанный, нужно было приглядеться, чтобы понять, сколько за этой сдержанностью силы, пылкости, способности беззаветно увлекаться. Конечно, он мечтал о дальних плаваниях, но, готовя себя к ним, не чурался никакой черновой работы. Обучали нас старые боцманы, еще царской службы — эти спуску не давали. Привезут на блокшив партию списанных за негодностью манильских трюсов, нам задание: плести из них маты и кранцы. Работа только на первый взгляд простая, руки исколешь, пока научишься. Саша умел плести лучше всех и еще помогал товарищам, в том числе и мне. Помогать можно по-разному, иной скажет: «Эх ты! Ни черта ты не можешь. А ну, дай сюда!..» Саша помогал как-то незаметно, чаще всего молча. Подойдет, постоит, посмотрит и как бы невзначай покажет»...

Жизнь на «Лахте» была строгая. Развлечений — никаких. Подолгу без берега. Но даже в этом вынужденном затворничестве была своя прелесть. Ребята очень сдружились. Лучше узнали друг друга. Научились жить так, чтобы никто никого не теснил и не раздражал. Теперь, в эпоху космических полетов и атомных подводных лодок, проблемы психологической совместимости и взаимной адаптации всерьез разрабатываются учеными и учитываются при формировании экипажей. Тогда даже слов таких не знали. Но уже тогда в суровых порядках на «Лахте» был заключен свой глубокий смысл. Это была тренировка, необходимая для любого моряка, и в особенности для тех, кто мечтает о дальних походах. И, конечно, это был фильтр. Не подходит такая жизнь — садись в шлюпку и прощай навек. Никто тебя не держит. Потому что в море будет потруднее. Хочешь быть настоящим матросом — оставайся. Ну а если хочешь не только плавать, но и водить корабли, «Лахта» — это лишь самый первый фильтр. Ибо, как поется в песне, только смелым покоряются моря...

Срок обучения в школе юнг — два года. Маринеско Александру и Шапошникову Сергею как наиболее успевающим и имеющим некоторый опыт плавания его сократили до полутора лет и без экзаменов перевели в Одесский морской техникум, именуемый в просторечии мореходкой.

Из сорока лахтинцев в мореходку перешли восемь человек. Старейшее одесское мореходное училище готовит настоящих моряков. Будущих штурманов дальнего плавания там тоже не баловали. Год напряженной учебы, а затем пятимесячная практика на легендарном паруснике «Товарищ».

Слово «легендарный» применительно к «Товарищу» не расхожий эпитет, которым мы иногда без разбора награждаем многие знаменитые имена. Всякий, кто видел «Товарища» хотя бы на картинке, не может не ощутить, что этот красавец корабль с его высокими мачтами, несущими на себе наполненные соленым ветром паруса, кажется пришельцем из мира легенд, из прошлых веков, когда морские суда назывались каравеллами и бригантинами, а легенда о «Летучем голландце» еще воспринималась как быль. Легендарными фигурами остались в памяти несколько поколений моряков капитан «Товарища» Фрейман и боцман Адамыч, рассказы о них, по сути достоверные и лишь слегка приправленные фантазией рассказчиков, и сегодня жадно слушаются молодежью, они часть одесского фольклора. Мне о «Товарище» рассказывал в свое время Александр Иванович, а в более позднее — его сверстники Сергей Миронович Шапошников и ставшие впоследствии военными моряками Федор Федорович Гусаров и Герой Советского Союза Григорий Иванович Щедрин.

«Товарищ» имел четыре мачты: фок, 1-й и 2-й гроты и бизань. Три мачты имели прямое парусное вооружение, а бизань — косое. Мы с Сашей были во второй вахте, у третьего помощника капитана Андрея Густавовича Габестро — отличного моряка-парусника. Наша вахта при авралах работала на первой грот-мачте, я на самых верхних парусах (бом-брамсельях), а Саша, помнится, чуть ниже — на брамселях. При постановке и уборке парусов, при выполнении поворотов, на приборках и на погрузке балласта можно было на деле узнать «кто есть кто». Парусными работами руководил Андрей Густавович, а на палубе царил боцман Адамыч (фамилию его я забыл), и у обоих Саша был на хорошем счету. Смелый и расторопный, он отлично бежал по вантам и не чурался никакой работы. С ребятами он дружил и пользовался у них крепким авторитетом, «сачков» же презирал всей душой».

Это вспоминает Федор Федорович. Его дополняет Григорий Иванович:

«Фамилия Адамыча была Хмелевский. Об этой колоритнейшей фигуре нашего гражданского флота хранят благодарную память несколько поколений моряков, прошедших морскую выучку у этого грозного на вид, но добрейшего человека, и недаром на его могилу в городе Батуми до сих пор приносят живые цветы. Многие по сию пору помнят его повадки и характерные словечки. Курсантов, которыми он был доволен, он звал орёликами. «А ну, орёлики, взяли!», «Молодцы, орёлики!». Саша Маринеско был из орёликов.

Еще более знаменитым, чем Адамыч, был капитан «Товарища» Фрейман. Его знали, кажется, на всех флотах, военных и торговых, а в Одессе любой мальчишка. Имена капитанов Фреймана и Лухманова — в то время уже инспектора наркомата — назывались всегда, когда речь шла о том, что такое «настоящий морской волк». Это были носители, хранители и ревнители морских традиций. заслужить их похвалу было трудно. Команде шестивесельной гички, где старшиной был Гусаров, а Маринеско загребным, однажды удалось получить лестную оценку от обоих сразу. «Товарищ» стоял на феодосийском рейде, Лухманов прибыл в порт для инспектирования, и Фрейман по-

слал за ним гичку. Ребята с шиком домчали Лухманова к трапу «Товарища». Старый морской волк, тронутый, что его доставили по-морскому, не на моторном катере, а на весельной гичке, оценивший личость и образцовую выучку гребцов, выходя из гички, благодарил всю команду. Был доволен и Фрейман, ведь шлюпка — это визитная карточка корабля».

Кто-то скажет: «Подумаешь, большое дело — в тихую погоду с шиком прокатить начальство»... И будет не прав.

Между умением и мужеством, между знанием и принципиальностью существует не простая, но ясно прослеживаемая связь.

Много лет назад, еще до войны, мне, работавшему тогда над пьесой о разведчиках нефти, понадобилась специальная консультация, и я встретился с одним из крупнейших специалистов в этой области, профессором Владимиром Александровичем Сельским. Маститый ученый внимательно меня выслушал, затем весьма деликатно расспросил об основном конфликте пьесы, и я рассказал ему об энтузиасте-геологе, который, рискуя своей репутацией, может быть, и чем-то большим, настаивает на продолжении разведывательного бурения, несмотря на то, что на проектной глубине нефть не обнаружена, а люди беспринципные, трусливые готовы остановить все работы, лишь бы не отвечать за возможную неудачу. Владимир Александрович реагировал на мой рассказ сочувственно, но несколько неожиданно:

— Мне кажется, вы всё несколько усложняете. А дело объясняется проще. Ваш геолог — несомненно хороший геолог. Опытный, знающий, талантливый. Защищать свои принципы ему помогает то обстоятельство, что они у него есть. На основе этих принципов он твердо знает, убежден: здесь должна быть нефть. И это убеждение не только помогает, но заставляет его стоять на своем. А его противники, вероятно, хуже знают свое дело, поэтому их легко сбить, они не столько знают, сколько гадают. Поверьте, принципиальность во многом зависит от мастерства.

Признаюсь, в первый момент высказывание профессора показалось мне каким-то чересчур профессиональным и уж очень беспартийным. Оно как бы смазывало идеологический конфликт. А затем я призадумался и понял, что, отнюдь не сбрасывая со счета социальные характеристики моих персонажей, профессор счел полезным обратить мое внимание на профессиональную сторону конфликта, которую он видел лучше, чем я.

Много позже, в послевоенные годы, разговаривая с моим другом, известным летчиком-испытателем Марком Лазаревичем Галлаем, я уловил у него сходную мысль.

— Мне кажется,— сказал он,— что говоря об отваге наших летчиков и в бою и в испытательной работе, нельзя отрывать нравственную сторону от мастерства. Чем больше летчик знает и умеет, чем лучше слушается его машина, тем увереннее он себя чувствует в полете и тем больше может себе позволить, на большее **о т в а ж и т ь с я**.

«Все это, может быть, и справедливо,— скажет нетерпеливый читатель.— Но при чем тут гичка?»

А вот при чем. Прежде чем заслужить похвалу прославленного капитана, команда Гусарова — Маринеско долго и настойчиво тренировалась, все маневры гички были доведены до полной виртуозности. На первый взгляд особой нужды в этом не было — назначение у капитанской гички самое прозаическое — в порт и обратно к трапу. Но море ставит свои отметки иначе, чем в средней школе: в море тройка — это плохо, а четверка — посредственно. Проходной балл на море — пять. И однажды скромной гичке пришлось держать настоящий морской экзамен, где четверка уже не спасала. Во время стоянки «Товарища» на батумском рейде для курсантов была организована пешая экскурсия на Зеленый мыс. Команде гички было поручено доста-

вить туда продукты для обеда. На обратном пути внезапно налетел шквал, ветер развел сильную волну. Ветер и волны били в скулу, легкую гичку, отнюдь не рассчитанную на штормовую погоду, захлестывало так, что ребята еле успевали отчерпывать воду. Растеряться, допустить самую невинную ошибку — значило перевернуться. И вот через десятки лет товарищам вспомнилось, как вел себя в эти критические минуты Саша Маринеско. Вопреки своему обычному спокойствию он был очень оживлен. И не просто оживлен, а весел. Шутит, подначивал, и его веселая уверенность передавалась другим. На корабль добрались вымокшие, вымотанные, но с тем радостным ощущением, которое рождается не столько избавлением от опасности, сколько преодолением ее, победой над стихией.

Такое же задорное веселье владело Сашей Маринеско во время корабельных авралов. Первое морское крещение на «Товарище» было суровым. На пути к румынским берегам «Товарища» прихватила непогода, внезапно налетевший сильный ветер порвал часть парусов. Волны сильно раскачивали судно и обрушивали свои гребешки на верхнюю палубу. Убирать паруса в такую погоду — задача непростая даже для испытанных «марсофлотов», чем выше рея, тем сильнее размах качелей, флотик чертит в потемневшем небе крутые зигзаги, рея клонится то вправо, то влево, и на мгновение моряк повисает над пучиной. Но медлить нельзя, надо работать — и, вцепившись в рею левой рукой, изловчившись, изо всех сил тянешь правой раздуваемый ветром парус, крепить паруса в непогоду еще тяжелее, чем отдавать. Так рассказывают о штормовой вахте на паруснике все, кого хоть раз поднимали среди ночи, чтобы, натянув на себя штормробу, бежать на верхнюю палубу и строиться по правому борту в ожидании команды «пошел наверх, паруса крепить!». Темнота, в снастях завывает ветер, сечет холодный дождь, угрожающе шумит волна — в ту ночь на вахту вышла только половина состава. Начальник вахты Габестро приказывает: поднять всех наверх! И обычно невозмутимый Саша Маринеско взрывается. Он первым врывается в кубрик. Немногих действительно укачавшихся не трогает, но к сачкам (теперь, я полагаю, всем понятно это слово) он беспощаден — сдергивает одеяла, за ноги вытаскивает из нагретых коек. Через несколько минут вся вахта — за исключением девчат и немногих больных — была уже на реях и крепила паруса по-штормовому. «Товарищ» с честью выдержал испытание штормом, но новички выдержали его не все — и с некоторыми вскоре пришлось расстаться.

А в тихом и даже несколько застенчивом Саше Маринеско эта штормовая ночь открыла для знавших его нечто новое — взрывчатость и зреющую способность вести и повелевать.

Некоторым читателям может показаться странным, что на «Товарище» были девушки. А они были, и в немалом числе, по десять в каждой вахте. Женщина в море! Уже навязло в зубах старинное флотское суеверие, будто женщина на корабле приносит несчастье, и в несколько очищенном от мистических наслоений виде оно бытует и сегодня. На военных кораблях женщин нет по совсем другим причинам — условия жизни и организация службы на них не рассчитаны. Но в том-то и дело, что «Товарищ» не был военным судном. Несмотря на бросающееся в глаза фамильное сходство с описанными Станюковичем корветами и фрегатами, он был всего-навсего РУПС — рабочее учебное парусное судно — и под этим прозаическим обозначением числился за торговым флотом. Грузов он не перевозил, а в качестве балласта нес в своих трюмах многие сотни тонн обыкновенного песка. Единственной его задачей было готовить кадры для торгового флота, а туда, как известно, пути женщинам не заказаны. К тому же и время было такое: женщины страстно стремились осуществить данное им молодой советской властью равноправие и **проникнуть туда**, где раньше женским духом и не пахло. Так вот и

в мореходке и на «Товарище» девушки были, они проходили морскую практику наравне с парнями и даже лазили на мачты, не в штормовую, понятно, погоду. Упоминаю об этом, чтоб пересказать со слов Г. И. Щедрина один малозначительный, но характерный для Саши Маринеско трагикомический эпизод, сохранившийся в памяти сверстников, плававших вместе с ним на «Товарище».

Шла обычная тренировка. Для того чтобы подняться по вантам на мачту, приходится пролезать через довольно узкое отверстие в прикрепленной к мачте открытой площадке, именуемой марсом. Худощавые узкобедрые парни пролезали в это отверстие без затруднений, но одна из девушек по причине своего плотного сложения застряла в нем — и ни вверх, ни вниз, все ее усилия только ухудшали положение. На палубе захохотали. Саша Маринеско не смеялся. Не говоря ни слова, он сорвался с места, быстро вскарабкался на мачту, перемахнул через ограждение марса и втянул девушку на площадку. И хохот стих.

Плавание на «Товарище» закончилось государственным экзаменом. Принимали экзамены двенадцать капитанов во главе с Фрейманом. Экзаменаторы были нелицеприятны, но беспощадны. После испытаний из сорока курсантов в классе осталось шестнадцать. Эти шестнадцать держали письменный экзамен по навигации.

«На письменную работу,— вспоминает С. М. Шапошников,— было дано два с половиной часа — срок достаточный. Я написал раньше всех, сдал и получил пятерку. Саша Маринеско закончил одновременно со мной, но из чувства товарищества не спешил подавать свою работу. И хотя работа была не хуже моей, получил четверку, оказывается, быстрота расчетов тоже учитывалась при оценке.

Вообще чувство товарищества было у Саши чрезвычайно развито. На второй год обучения нас в порядке морской практики стали посылать в рейсы, в том числе и заграничные. Я был старостой курса, и Саша всегда настаивал, чтобы в наиболее выгодные рейсы посылали товарищей из материально необеспеченных семей. Для себя он никогда ничего не требовал».

Ветеран-подводник Федор Васильевич Константинов, учившийся вместе с Сашей Маринеско в Одесской мореходке, вспоминает о нем с особой теплотой:

«Саша жил на Короленко, и общежитие, где жили многие ребята, ему было не по дороге, но он редкий день не заходил за нами, и мы шли в училище гурьбой. Шли мимо знаменитой одесской лестницы, и нас всегда поражало — Саша узнавал любой «шип». В порту для него не было тайн, он без ошибки угадывал, чье судно, каков его тоннаж, откуда идет, куда направляется. О море он знал куда больше нас. Было голодно, и Саша делал все, чтоб мы могли подработать в порту. Чаще всего грузили по ночам. Из-за этого, бывало, опаздывали на утренние занятия, но на это тогда смотрели сквозь пальцы. Когда улучшились условия — подтянули и дисциплину.

Вот вам характерный факт. Я не выдержал трудностей того времени, стал пропускать занятия, нарушать дисциплину. Меня отчислили. Я сразу поступил учеником матроса на пароход «Трансбалт» — одежда, питание. Один парень меня соблазнял бросить морскую службу и ехать с ним в Донбасс шахтерить. Саша не только был против, но всячески добивался, чтоб я вернулся в мореходку. Выбрал момент, когда начальник был в отпуску, и вымолил у его заместителя приказ о моем восстановлении. Приказ он, торжествуя, принес на «Трансбалт». Этого поступка, определившего всю мою жизнь, я никогда не забуду».

Пять месяцев плавания — и снова за книгу. Как ни любил курсант Маринеско морскую стихию — возвращение на берег тоже имело свою привлекательную сторону. Теперь он опять жил дома с родителями и сестрой, вновь встретился со старыми друзьями с Коро-

ленко, одиннадцать и со своим неразлучным Сашкой Зозулей. Интересы Зозули к тому времени окончательно определились, было уже ясно, что моряком он не станет, его все больше увлекала комсомольская работа. Саша Маринеско, вступивший в комсомол позже своего друга, охотно за ним следует. Морские науки по-прежнему на первом месте, но это не мешает ему с увлечением заниматься общественными делами вне стен училища. За сравнительно короткое время он успел побывать в самых неожиданных ролях: общественного контролера в торговой сети, активиста недавно созданного на Украине «Общества друзей советского фото и кино», участника самодеятельного ансамбля при клубе «Моряк» и даже массовика-затейника. Как это совместить с яростной целеустремленностью, с «фанатической преданностью морю», о которой я столько слышан от его друзей и сверстников?

Сегодня я нахожу эти увлечения не только совместимыми, но и необходимыми для формирования характера будущего капитана дальнего плавания. Целеустремленность не предполагает узости интересов, и, насколько я понимаю характер Маринеско, всякий фанатизм был ему чужд. Он был создан для подвига, но не для подвижничества.

Кстати, о фанатизме. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что в любом фанатизме нет ничего хорошего. Между целеустремленностью и фанатизмом примерно такая же разница, как между волей и упрямством. Фанатик — это человек, одержимый идеей здоровой или ложной, но даже если идея здоровая, она неизбежно искажается от неспособности фанатика корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся действительностью, от нарушения того, что современная наука называет обратными связями. Фанатизм противопоставлен гармоническому развитию личности, и мы совершаем терминологическую ошибку всякий раз, когда бездумно называем людей подвига фанатиками. Бывает, что это делается не без умысла. Враги революции упорно называли Ленина «кремлевским фанатиком». Уэллс проявил большую проницательность, назвав его «кремлевским мечтателем». Ленин был деятелем, творцом, а что такое творчество как не превращение мечты в действительность?..

Нет, Маринеско не был фанатиком. Его жизнелюбие не позволяло ему замыкаться в тесном кругу профессиональных интересов, и если вдуматься, то не так трудно проникнуть в причины его увлечений. Как свидетельствует А. П. Зозуля, Саша был до болезненности чуток ко всякой лжи, нечестности, блату, и возможность дать этим явлениям бой, хотя бы на ограниченном плацдарме, могла на какое-то время захватить его так же безудержно, как все, чем он увлекался. Увлечение кино и самодеятельностью столь же естественно — в нем нашла свой выход присущая ему артистичность. А в клуб «Моряк» его завлекал жадный интерес к людям всего мира, сказывалось полученное им еще в раннем детстве интернациональное воспитание. Интернационализм его был не пассивным, а боевым, подобно большинству своего поколения он еще жил ожиданием мировой революции, и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» воспринимался им как совершенно реальный призыв к действию. А в ожидании мировых катаклизмов приходилось принимать участие в классовых схватках местного значения.

«В практических плаваниях, как в школе юнг, так и в морском техникуме, мне, как комсомольцу, приходилось участвовать в общественной жизни нашей страны, где в то время шло наступление на частную собственность. Национализировались дубки — парусные суда водоизмещением до 25 тонн. Эти дубки принадлежали кулакам и спекулянтам и использовались ими для своих торговых операций. Нам поручалось перегонять эти суда из херсонской Голой Пристани

в одесский порт. Кулачье сопротивлялось, и нередко дело доходило до драки».

Апрель 1933 года — рубеж. Из сорока человек, принятых на первый курс, окончили техникум четырнадцать. «„Романтики“, — написал в своих карандашных набросках Александр Иванович, — отсеялись». Он был прав, заключая это слово в кавычки. Отсеялись романтики в кавычках. Остались настоящие. Такие, как он сам.

Четырнадцать окончивших получили назначения на суда Черноморского флота — третьими и четвертыми помощниками капитана. Саша Маринеско — теперь уже для многих Александр Иванович — был назначен на пароход «Красный флот». Вот что пишет Александр Иванович о своем дебюте:

«Пароход наш был старая посудина водоизмещением около тысячи тонн, плававшая по Крымско-Кавказской линии, и в летнее время использовалась для перевозки зерна. Капитан был опытный моряк, но великий пьяница, и хотя в прошлом он окончил мореходное училище с отличием и сразу же был назначен капитаном танкера, теперь ему доверяли только небольшие суда. Недели две капитан внимательно ко мне присматривался, а затем полностью доверился мне и во время ходовой вахты почти не заглядывал на мостик. Через два месяца я был уже вторым помощником и на этой должности хлебнул порядочно горя. Шли форсированные перевозки зерна из Николаева, Херсона и Скадовска в порты Закавказья. Чтобы перевыполнить план, судно излишне нагружали, до поры до времени все обходилось благополучно. Но однажды часах в двадцати хода от Батуми разыгрался шторм баллов на восемь. Коробочка наша была так перегружена, что шла почти в подводном положении, и повреждений было много, волнами снесло шлюпку и парадный трап. Так до-чапали мы до Батуми, и только когда вскрыли трюмы, узнали, что нас спасло подмоченное и разбухшее зерно, оно плотно забило пробоину и прекратило поступление забортной воды».

Однако и на такой коробочке второй помощник капитана сумел отличиться. Было это осенью в районе Скадовска. Стоя на вахте, он различил на горизонте едва заметную точку, она то опускалась, то поднималась на гребнях волн. Доложил капитану, пароход изменил курс и подоспел на помощь терпящему бедствие торпедному катеру, на котором шло из Севастополя какое-то высокое начальство. Взять катер на буксир удалось только после двух часов напряженных усилий, после чего пароход повернул обратно к Скадовску. За смелые и решительные действия второй помощник капитана парохода «Красный флот» А. И. Маринеско получил благодарность от командующего Черноморским флотом и месячный оклад от пароходства. Александр Иванович был доволен, но ему даже в голову не приходило, что это первое соприкосновение с военно-морским флотом будет иметь для него далеко идущие последствия. Через несколько дней он был вызван на медицинскую комиссию, признан здоровым и призван по спецнабору в кадры Военно-морского флота.

Здесь необходимо пояснение.

«Призыв» — слово неоднозначное. Существует закон об обязательной военной службе, согласно которому ежегодно призываются в армию и флот достигшие призывного возраста молодые люди. Невяка на призывные пункты даже в мирное время является дезертирством и преследуется по закону.

Но есть и другой, хорошо нам знакомый смысл слова. Когда призыв опирается не столько даже на закон, а обращен к нашим глубинным чувствам — гражданского и патриотического долга.

Призыв «по спецнабору» ближе к этому второму смыслу. Призванным предстояло принять решение. Было бы лицемерием утверждать, что оно во всех случаях было полностью добровольным. Но все-таки самостоятельным. Одно дело — отслужить два или три го-

да и податься домой. Совсем другое — изменить весь ход своей жизни, избрать новую, по всей вероятности, пожизненную профессию.

Саша Маринеско решение принял. Далось оно ему лишь по видимости легко.

Он не мог не понимать, что с этим решением рушатся все его с детских лет взлелеянные мечты и планы. Что уже никогда ему не пройти морскими дорогами Миклухо-Маклая, не повидать далекие экзотические страны. Что предстоит крутой поворот. Вернее, даже скачок. Из солнечной Одессы, от любимой семьи, от близких друзей — в чужой, туманный Ленинград. Из теплого Черного моря — в глубины холодной Балтики. «Глубины» — не оговорка. Задача спецнабора была — сделать из вчерашних торговцев моряков подводников. И может быть, самое существенное: переход из трудной, утомительной, временами опасной, но все же цивилизованной, гражданской жизни к жестко регламентированному, подчиненному строгой служебной иерархии быту воинской части.

Почему же, зная все это, Саша Маринеско решился в корне изменить свою судьбу? Не значит ли это, что он не хотел стать военным моряком и его к этому принудили?

Попробую ответить на этот непростой вопрос, опираясь на свидетельства самого Александра Ивановича и некоторых его сверстников.

Если говорить только о чисто субъективной, эмоциональной стороне — то безусловно не хотел. Кстати, на этом признании обрываются его скупые автобиографические записи. В своем нежелании он был не одинок. Не хотелось многим, однако они стали не только военными моряками, но и прославленными командирами, как сверстник Саши Герой Советского Союза вице-адмирал Григорий Иванович Щедрин.

Итак, в чем же причина? Наши решения редко имеют одну причину. Но всегда есть главная. Среди второстепенных можно угадать и накипевшее раздражение против однообразия рейсов на перегруженной сверх меры коробочке (других, более интересных вакансий в то время не предвиделось), и присущую Саше Маринеско тягу ко всему неизведанному, но основная причина была, конечно, не в этом, а заключалась она в одном магическом для нашего комсомольского поколения слове. Слово это было: «надо».

Кому надо? Надо стране. В те годы молодежь по призыву комсомола срывалась с родных мест и уезжала на дальние уральские, сибирские, дальневосточные стройки. Комсомол шефствовал над Военно-морским флотом, и количество добровольцев, осаждавших военкоматы, намного превышало скромные в начале тридцатых годов заявки флотов. И не боязнь расстаться с комсомольским билетом, а вошедшее в кровь и плоть чувство долга заставило Сашу Маринеско, недолго раздумывая, сказать себе это «надо».

Вспоминаю Валю Кукушкина с его «пойдем, куда пошлют». Это были люди одного поколения.

У читателя может возникнуть вполне законный вопрос. А было ли действительно надо? Нужно ли было срывать с плавающих судов тщательно отобранных и хорошо подготовленных моряков торгового (то есть надводного) флота и заново переучивать их, чтобы сделать из них подводников? Ведь существуют высшие военно-морские училища, ежегодно выпускающие отлично подготовленных командиров, в том числе и подводников. Угроза новой войны еще не ощущалась как близкая, необходимости в ускоренных выпусках не было никакой. Ответить на этот вопрос мне помог Григорий Иванович Щедрин.

В тридцатые годы развернулось строительство отечественных подводных лодок. Нужны были кадры. Советское командование учло немецкий опыт подготовки лодманов военного времени. Эти лодманы ходили на германских подводных лодках как консультанты при

командире. Установлено было, что лучшие лоцманы выходят из капитанов и штурманов торгового флота — они лучше, чем кто-либо, знают, как ходят транспорты. Наши пошли в своих выводах дальше. Поскольку главная задача подводных лодок — охота за транспортами противника, из торговых моряков можно воспитать отличных командиров-подводников, кому как не им знать все повадки грузовых судов. Практика подтвердила расчет — среди отличившихся в годы Великой Отечественной войны подводников много бывших торговых моряков, достаточно назвать С. Н. Богорада, Н. А. Лунина, А. М. Матиясевича, Ф. В. Константинова, В. А. Полещука и самого Г. И. Щедрина.

Понимал ли все это тогда будущий командир «С-13»? Если и понимал, то смутно. Но уже будучи подводником, продолжал гордиться своим званием штурмана дальнего плавания и сердился, когда моряков гражданского флота называли «торгашами». Он любил говорить, что лучшие штурманы выходят из этих так называемых торгашей, и пояснял свою мысль очень наглядно: «Всякий раз, когда отходит от пирса торговый корабль — государству прибыль. А когда военный — чистый расход. У кого, по-вашему, больше опыта?»

Для мирного времени это было не лишено основания.

В ноябре 1933 года Александр Маринеско в числе других призванных по спецнабору прибыл в Ленинград, был обмундирован, получил знаки различия командира 6-й категории (нынешних воинских званий тогда еще не было) и направлен в штурманские классы специальных курсов командного состава. Вместе с ним приехала в Ленинград Нина Ильинична Маринеско, урожденная Карюкина. Свадьба их состоялась незадолго до отъезда из Одессы.

Начиналась новая эра. Слово, быть может, чересчур торжественное, но для Александра Ивановича прощание с Одессой было не простой переменой адреса, а обрывом многолетних связей и погружением в новую, незнакомую среду. Все нужно было строить заново.

V. ЛЮБОВЬ И ДОЛГ

О начале своей военно-морской службы Александр Иванович рассказывал мне мало. Однако не скрывал, что временами был близок к отчаянию.

Приспособление, или, как теперь говорят, адаптация, к новым условиям происходило мучительно.

Старые товарищи, наблюдавшие Сашу Маринеско в первые месяцы, единодушно отмечают драматический разрыв между сознательно принятым решением и гнездившимся в его душе глубоким сопротивлением этим новым условиям. Г. И. Щедрин вспоминает: «Саша учился хорошо, никаких претензий к нему ни у командования, ни у комсомольской организации не было, но настроение у него временами было подавленное, и я знал почему. Знал, потому что и сам переживал нечто подобное».

С. М. Шапошников по окончании морского техникума, так же как Маринеско, стал помощником капитана и вместе со своим капитаном ездил в Норвегию — принимать новое судно. На обратном пути в Ленинграде узнал адрес курсов и добился свидания. Саша со своей обычной сдержанностью не жаловался на судьбу, но врать не стал. Признался, что скучает по Одессе, по Черному морю, по родному дому...

Теперь у него было два дома — родительский в Одессе и своя семья в Ленинграде, жена Нина, дочь Лора. Человек, о похождениях которого впоследствии столько судачили, был преданным мужем и ласковым отцом. А видется с ними приходилось урывками.

Легче всего изобразить противоречия, обуревавшие в то время слушателя спецкурсов Маринеско, как столкновение еще не утра-

ченных «нравов одесской вольницы» с разумной воинской дисциплиной. Но это было бы ошибкой. Командир 6-й категории Маринеско никогда, даже в ранней юности, не был противником дисциплины. Мореплавание вообще дисциплинирует, и любой настоящий моряк, а Маринеско к тому времени был уже настоящим моряком, прекрасно знает, что торговое судно, так же как военный корабль, терпит анархии. Уходя в плавание, торговый моряк надолго расстается с семьей, и в этом смысле его быт мало чем отличается от быта военного моряка. Все это Маринеско не только знал, но умел подчиняться и требовать; за время обучения на курсах — ни одного дисциплинарного взыскания. Угнетало его другое. Возвратившись из плавания и ступивши ногой на твердую землю, торговый моряк обретает свободу. Он уже не подчинен своему капитану и волен в своих поступках. В своем неприятии казарменного быта Александр Иванович был не одинок. Среди его товарищей по курсу были люди, не менее остро переживавшие изменение привычных мерок. Будь они обычными призывниками, им было бы проще освоиться, но несмотря на свою относительную молодость, они уже хлебнули другой жизни, ничуть не более легкой и даже более ответственной, но другой. Дипломированные штурманы, в недалекой перспективе капитаны черноморских судов, здесь они вновь превращались в курсантов. Многие пришлось постигать с азав.

Через четверть века Александр Иванович записывает в тетрадку: «Учеба на курсах первое время шла у нас плохо. Военная служба многих не устраивала, больше всего не любили мы строевые занятия и всякое, даже на короткое расстояние, передвижение строем. Многие у нас стали нарочно плохо учиться в надежде, что их отчислят. Неизвестно, чем кончилась бы эта «итальянская забастовка», если бы не влияние преподавателя астрономии и навигации Малинина. Малинин, в прошлом флагманский штурман флота, был культурнейшим моряком и вызывал у нас, молодых, чувство глубокого уважения. Летом 1934 года он руководил практическими занятиями курса на Каспийском море и прекрасно разобрался в психологии подопечных. Когда кто-то притворялся, что не знает предмета, Малинин мгновенно его разоблачал, в людях он разбирался не хуже, чем в астрономии. А под конец практики, собрав всех для беседы, в безупречно вежливой форме, но очень твердо предупредил: если кто-нибудь расщипывает, что его отчислят по неуправности и он вернется на торговый флот, то это заблуждение. Скорее всего этих товарищей пошлют отбывать воинскую повинность рядовыми матросами на малые корабли».

Здесь не обойтись без некоторых уточнений.

Александр Иванович точен, говоря, что поначалу учеба на курсах шла плохо. Но сам-то он учился хорошо, об этом свидетельствует приведенный выше отзыв Г. И. Щедрина. Уж во всяком случае неучем он не притворялся, и если по окончании практики на Каспии курсант Маринеско с удвоенной энергией принялся за военные науки, то не потому, что в деликатном предупреждении Малинина была закапсулирована угроза. Угрозы на Маринеско не действовали, он становился упрямым. Мог и вспыхнуть: «Отчисляйте! Отслужу что положено и вернусь в Одессу». Значит, дело было не в угрозе. Просто ему было противно делать что-нибудь плохо. Да и другие после Каспия начали заниматься всерьез.

Маринеско попал в самую сильную группу и окончил курсы досрочно.

Военная служба ему по-прежнему не нравилась. Особенно остро он переживал случаи, когда ему доводилось сталкиваться с начальной грубостью или высокомерием. Эта черта сохранилась в нем до конца жизни. Безотказный на службе, вне службы бывал строптив и очень чувствителен к тону. Знал, что нельзя возражать, но

иногда срывался. В особенности он не терпел, когда вчерашний однокашник, поднявшись на одну служебную ступеньку, резко менял стиль отношений со вчерашними друзьями. Мне приходилось слышать (говорили это люди в высоких званиях), что Маринеско был чрезмерно обидчив. Но не принимаем ли мы иногда за обидчивость развитое чувство собственного достоинства?

Маринеско обижать людей не любил, и когда ему случалось наругать кому-нибудь, каялся. Бывало, грубил старшим. А когда срывал раздражение на подчиненном, умел признать свою вину и старался загладить. Это его качество высоко ценилось обеими командами — на «М-96» и на «С-13» — и потому на него редко обижались. Запомнился мне такой разговор.

«Многим из нас,— сказал он в одной из наших бесед,— не хватает хорошего воспитания. Не в смысле идейном, а в смысле манер. Известно, что офицеры старого флота в своем кругу соблюдали корректность, дух кают-компаний, обращение даже к младшим по имени-отчеству... Не так глупо».

Александра Ивановича во время его срывов я ни разу не видел. А в обычное время он на меня производил впечатление человека хорошо воспитанного — простого в обращении, без тени фанатерии или панибратства.

Но я отвлекся. Маринеско отлично окончил курсы, однако свой переезд на Балтику и переход в кадры военного флота он по-прежнему воспринимал драматически. Драма заключалась в том, что долг был в несогласии с чувством.

Долг велел, а сердце не лежало.

На борении любви и долга построена большая часть конфликтов в произведениях мировой литературы. Конечно, если любовь понимать широко — не только как любовную страсть. Впрочем, и понятие долга требует диалектического подхода. С точки зрения феодальной морали, Ромео должен был не любить Джульетту, а уничтожить ее родственников. И разве долг присяги хоть сколько-нибудь оправдывает палачий Освенцима и Треблинки?

В большинстве книг торжествует долг, и мы, читатели, относимся к этому с одобрением. Почему так, нетрудно понять. Долг диктует общество. Любовь — удел частного лица. Примат общественного над личным. В хороших книгах долг торжествует ценой жесточайших страданий или даже гибели героя. В плохих — с обескураживающей легкостью.

Конфликт, переживаемый командиром 6-й категории Маринеско, был не из легких.

В самом деле — можно из чувства долга отказаться от любых материальных благ. Для порядочного человека это никогда не становится трагедией.

Можно из чувства долга отказаться от любви. К примеру, остаться в семье ради детей. Пожертвовать своим счастьем, чтобы не принести страданий близким. Трудно, но можно.

Можно, наконец, пожертвовать жизнью. В бою.

Но пожертвовать жизнью, так сказать, в рассрочку, всю жизнь жить не своей жизнью, делать не свое дело?

Вероятно, тоже можно. Но очень тяжело. Не все это выдерживают.

Из этого положения надо было искать выход. И он нашелся.

Раз ничего нельзя изменить, надо заставить себя полюбить. Еще раз сказать себе «надо».

Возможно ли это? Оказалось, возможно. Ведь долг — не только понятие. Долг — чувство. Чувство долга. И чувство, не отгороженное непроницаемой стеной от любви. Военский долг неотделим от любви к родине. Значит, надо не только одним из первых закончить

учение, надо вложить всего себя в новую профессию, сделать ее призванием. Надо и в ней стать одним из первых.

Опять крутой поворот. На этот раз он потребовал времени. Сколько? Трудно сказать. Но когда в январе 1937 года Александр Иванович приезжает в Одессу на свадьбу своего друга Николая Ефимовича Озерова, и у родных и у всех ближайших друзей создается впечатление, что Саша свое призвание нашел.

Но я забежал в тридцать седьмой, а Маринеско окончил курсы в тридцать пятом. И получил назначение дублером штурмана на подводную лодку «Пикша», входившую в состав Краснознаменного Балтийского флота и стоявшую в Кронштадте.

Я веду свой рассказ не для одних моряков и потому считаю излишним хотя бы в самых общих чертах рассказать, что представляла из себя «Пикша», а заодно что такое подводная лодка вообще. Переход с надводного корабля на подводный — рубеж в своем роде не менее значительный, чем переход с торгового судна на военный корабль. Даже в мирное время служба на подводных лодках была тяжелее и опаснее. Любая небрежность в несении службы может обойтись очень дорого: неплотно закрытый люк, ошибка рулевых... В отличие от надводных кораблей у субмарины, кроме вертикального руля, есть горизонтальные, они регулируют глубину погружения, и надо все время помнить, что с каждым десятком метров давление воды на корпус лодки возрастает на одну атмосферу. Провалиться ниже предельной для данного типа лодок глубины — это примерно то же самое, что войти в штопор для летчика, разница только в том, что подводник лишен возможности катапультироваться и ему предстоит долгая мучительная смерть в смятой чудовищным давлением стальной коробке. Плавать на подлодках в тридцатые — сороковые годы означало спать в душных отсеках на узеньких койках в три смены, экономить пресную воду, спрашивать разрешения командира на то, чтоб перейти из отсека в отсек, даже на то, чтоб пойти в галюн. Это значило во время долгих подводных переходов мечтать о глотке свежего воздуха, а во время надводного хода рассматривать как великую удачу возможность подняться на мостик и там покурить или просто подышать соленой влагой. На нынешних лодках, как атомных, так и дизельных, многие проблемы, в частности проблема регенерации воздуха, решены кардинально, но в то время автономность, то есть способность лодки находиться в отрыве от базы, была ограниченной, а каждый лишний час пребывания под водой отзывался звоном в ушах.

Конечно, не опасности и не лишения, связанные с подводным плаванием, отталкивали на первых порах штурмана Маринеско. Он был здоров, неприхотлив, а уж смелости ему было не занимать. И все же он испытал то стеснение духа, какое испытывает почти любой новичок, впервые заглядывая в узкую горловину рубочного люка и нащупывая ногой скользкую никелированную перекладину ведущего в центральный отсек отвесного трапа. По этому трапу ему предстоит научиться скользить вниз с головокружительной быстротой, как только раздастся сигнал к срочному погружению. А из центрального поста, если люк не закрыт, небо кажется маленьким голубоватым диском, будто смотришь в телескоп на далекую планету. Нужно было время, чтобы после черноморского приволья привыкнуть к тесноте отсеков, узости люков. Нужно было время, чтобы научиться определять место корабля не по солнцу и звездам, а в темноту, по числу оборотов двигателя.

«Пикша», на которой начал свою подводную службу Александр Иванович, была для своего времени очень хорошая лодка, принадлежащая к типу «щук». Однотипными кораблям принято давать однотипные названия. Существовала некогда лодка, названная «Щукой», в дальнейшем все лодки этой конструкции стали получать при кре-

щении рыбы имена. Затем с ростом нашего подводного флота все такие лодки стали именоваться «щуками» уже со строчной буквы и обозначаться литерой «Щ» плюс порядковый номер. «Пикша» была «Щ-306». Это была субмарина среднего для того времени тоннажа, побольше, чем «М-96», и поменьше, чем «С-13», — я называю лодки, которыми впоследствии командовал Маринеско. Лодки среднего тоннажа считались, и не без основания, наиболее подходящими для операций в Балтийском море и в первый период войны показали себя как наиболее результативные. Чем меньше лодка, тем больше у нее шансов проскочить через сети и минные заграждения, но и меньше автономность. Вскоре после прихода Маринеско на «Пикшу» лодку стали готовить к многодневному походу. Предстояло побить рекорд автономного плавания для этого типа лодок.

Александр Иванович говорил мне, что этот последний рубеж — превращение в подводника — дался ему тоже нелегко. Трудности были скорее психологические. Небольшого роста, физически крепкий, он быстро научился ориентироваться на лодке, легко освоил штурманское хозяйство, включавшее наблюдение, связь и управление рулями, разобрался уже и в машинах и оружии. За работой он не скушал, к дальнему походу готовился с рвением, но в обычное время подолгу жить без берега не умел, а лодка по многу суток стояла на рейде, иногда без особой нужды, и тогда настроение у Александра Ивановича портилось.

Ветеран-подводник В. А. Иванов, пришедший на «Пикшу» вместе с Маринеско, вспоминает:

«В 1935 году я был дублером минера, а Саша — дублером штурмана. Ходили вместе в длительный автономный поход. 46 суток для «щуки» — это очень много. В таких походах человек раскрывается полностью. Саша был настоящий моряк, службу нес безупречно. Видно было, что он готовит себя к самостоятельному управлению кораблем, через несколько месяцев он отлично знал не только свою боевую часть, но и всю лодку. Веселый, жизнерадостный, команда его сразу полюбила».

В служебной аттестации того времени наряду с высокой оценкой Маринеско как моряка и командира были и замечания: недостаточно дисциплинирован, упрям, слабо участвует в общественной работе. Я напомнил об этом Владимиру Алексеевичу. Он засмеялся.

«Созорничать мог. Только не на корабле. Упрям? Скорее упорен. Уж если что задумал — колом из него не выбьешь. А насчет общественной работы не берусь ничего утверждать. Возможно, и не до того было. Молодая жена, маленькая дочка, быт неустроенный... Характер у Саши был как раз общественный».

Рассказывали мне такой случай. Со стоявшей неподалеку от «Пикши» подводной лодки видели, как ночью на рейде появилась какая-то таинственная гичка. Когда гичка подошла к «Пикше», в ней оказались Саша Маринеско и Володя Иванов, явно опоздавшие из «вольнения на берег. Гичка была дырявая и, как только из нее перестали вычерпывать воду, затонула.

Подобные эскапады сегодня вспоминаются с улыбкой, но нет сомнения, что предприимчивые мореплаватели получили тогда основательную головомойку.

При всем при том аттестации у друзей были хорошие. В Москве я познакомился с двумя заслуженными моряками в контр-адмиральских званиях, помнящими Маринеско по совместной службе на «Пикше». И. В. Коваленко был инженером-механиком, Б. Н. Бобков — комиссаром корабля.

«Саша и Володя пришли к нам на лодку одновременно и сразу прижились. Служили исправно, обоим хотелось поскорее покончить с дублерством и стать полноправными командирами боевых частей корабля».

Это отзыв И. В. Коваленко, а Б. Н. Бобков при упоминании имени Маринеско заулыбался. «Настоящий моряк,— сказал он мне.— Уже тогда было понятно: будет боевым командиром».

В ноябре 1937 года штурман Маринеско направляется на высшие курсы командного состава при Учебном отряде имени Кирова. Окончившие курсы приобретали право самостоятельного управления кораблем.

К 1937 году переломный период в жизни Александра Ивановича вчерне закончился. Он уже считал себя подводником. Учиться он хотел и учился еще лучше, чем прежде. Перед ним была ясная цель.

И вдруг как гром среди ясного неба...

Летом 1938 года в разгар практических занятий на курсы приходит приказ: слушателя курсов Маринеско А. И. отчислить и демобилизовать из флота.

Сегодня, через несколько десятилетий, нет особой нужды доискиваться причин такого неожиданного удара. Несомненно одно — приказ не был связан с каким-либо проступком слушателя Маринеско. Вероятно, какое-то чисто анкетное обстоятельство вроде румынского происхождения отца или кратковременного пребывания малолетнего Саши на территории, занятой белыми, вызвало чей-то бдительный интерес. Полный сил и трудового энтузиазма моряк оказался вне флота и вообще без дела. Попытался устроиться на торговый флот, но и там получил отказ.

Это было больше чем катастрофа, это было оскорбление. Требование объяснений бессмысленно, оставалось ждать. Единственное утешение заключалось в том, что друзья не отвалились, как нередко случалось в то строгое время, ничьи двери перед ним не закрылись. У Владимира Алексеевича Иванова и его жены Людмилы Степановны семья Маринеско по-прежнему встречала теплый прием.

Как переносил Александр Иванович мучительное для него изгнание? Молча. Насколько мне известно, он не ходил по инстанциям и не писал заявлений. Раньше ему не хватало свободного времени. Теперь его стало слишком много. Он продолжал встречаться с немногими друзьями, полный благодарности за поддержку, старался помочь им в быту, потратил несколько дней, чтобы разыскать хороший и недорогой радиоприемник для Ивановых, но о своих переживаниях говорить не хотел, на расспросы отвечал коротко: «Произошла ошибка. Разберутся». В этом сказалась свойственная ему деликатность — не хотел нагружать друзей своей бедой, не хотел заставлять их открыто выражать свое отношение к событиям, в которых недостаточно разбирался сам. И он замкнулся. При этом не стал угрюмее или резче, наоборот, все встречавшиеся с ним в то время отмечают, что он стал как-то мягче, задумчивее. Старался себя занять, иногда просто бродил по городу, избегая, впрочем, пристаней. Кронштадт стал для него закрытым городом, и хотя Александр Иванович знал, что большинство подводников своего отношения к нему не изменили, не хотел случайных встреч. Было тяжело отвечать на вопросы, если же товарищи после первых приветствий тактично замолкали — оставался неприятный осадок. И Маринеско как бы отступил в глубь Ленинграда, в его южную, материковую сторону, столь отличную от ставшей уже привычной приморской, островной, северо-западной части, где в хорошую погоду пахнет морем, а над водой с криками носятся чайки.

Теперь он жил с семьей в рабочем районе, на проспекте Стачек. Строил ли он какие-нибудь планы? Любые, кроме возвращения в Одессу. Это значило бы признать поражение. Можно только догадываться, какие душевные штормы таились за внешней непроницаемостью безработного штурмана. Подумывал поступить на завод, но боялся очередного отказа. В начале шестидесятых годов мы с Александром Ивановичем говорили о многом вполне откровенно, но этого периода он почти не касался. По сравнению с постигшими его в дальнейшем

жизненными испытаниями несколько недель вынужденного безделья остались в его памяти только как нелепый эпизод, и, мне кажется, он сам не понимал, какой незаживающий рубец они оставили в его душе. Пройти через строжайший отбор, по доброй воле переломить себя, изменить весь ход своей жизни, предаться всей душой своему новому призванию — и быть выброшенным без объяснений, как кусок шаака. Такое даром не проходит. К счастью, продолжалось это изматывающее душу состояние, в котором смешались обида, горькое ощущение своей ненужности и тревога за семью, сравнительно недолго.

Так же неожиданно, как приказ о демобилизации, пришел приказ явиться для дальнейшего прохождения службы. Что произошло? Когда я в послевоенные годы задал этот вопрос Александру Ивановичу, он засмеялся и предложил мне спросить что-нибудь полегче. Вероятно, кто-то, обладающий властью, перелистал личное дело Маринеско, увидел хорошие аттестации, затем проглядел подчеркнутые красным карандашом строчки автобиографии и пожал плечами. И через несколько дней, одетый в морскую форму, с золотыми нашивками на рукавах, слушатель Маринеско вновь появился на базе Учебного отряда.

Мне рассказывал Сергей Сергеевич Могилевский — в войну боевой командир корабля, а в ту пору преподаватель высших курсов, — с каким упоением принялся курсант Маринеско наворачивать упущенное: «Я руководил занятиями на приборе торпедной стрельбы. Александр Иванович стрелял отлично, но ему все было мало. Когда курсанты разошлись и кабинет опустел, он задержал меня и попросил дать ему еще одну задачу, какой-то вариант. Отказать я не мог».

Можно считать, что командиру 6-й категории Маринеско, в общем-то, повезло. Потрясение его не разрушило, не пошатнуло его веры в людей, его нарождавшейся и только начинавшей крепнуть любви к военному флоту. Но даром не прошло. Именно в это самое время Александр Иванович начал помаленьку выпивать.

Начал — в точном смысле слова. Нет, не запил. И если кто-то понял меня так, что до той поры Маринеско «пил, как все люди», а тут стал выпивать крепко, то он ошибается. Раньше Маринеско не пил вовсе. Увлеченный спортом, всегда чем-то очень занятый, он не прикасался к водке. Даже к молодому вину, которое в солнечной Одессе и за алкоголь не считается, был равнодушен. В ассортимент юношеских представлений о настоящем морском волке почти неизбежно входит умение за один присест осушить бутылку доброго ямайского рома. Саше Маринеско все это было чуждо.

Вынужденное безделье и горькие думы оказались подходящей почвой для первого знакомства с крепкими напитками. Выпивал Александр Иванович в то время умеренно. Без всяких эксцессов. Притом совсем не так, как заливают горе. Не мрачнел, не изливал душу случайным собеседникам. Наоборот, старался веселить компанию, пел песни, русские, украинские, пел хорошо, с чувством, но без надрыва. Не растревлял себя, а хотел отвлечься.

Стало уже почти аксиомой, что пьют люди от бездуховности, отсутствия общественных интересов, от пустоты. Вероятно, в большинстве случаев это действительно так. Но всегда ли? Нередко пьют люди с богатой духовной жизнью, люди одаренные, творческие, одержимые самыми благородными идеями. Пьют люди, поставленные в экстремальные условия. Если б в осажденном Ленинграде мне встретился хоть один человек, отказавшийся от стопки водки, я несомненно его запомнил бы. Тот, кто хоть немного соприкасался с жизнью военного моряка, знает, как спасительна чарка после штурмовой вахты, после корпусных работ в легкоодолазном костюме, после изнурительного напряжения дальнего похода.

Саша Маринеско умел обходиться без чарки в самых напряженных ситуациях, могучее здоровье защищало его и от непогоды и от

перегрузок. А вот когда концы перестали сходиться с концами — не сумел. Образовалась трещинка, рубчик, маленький очажок, из тех, что в нормальных условиях дремлют, но перерастают в опухоль или каверну, если их бередить.

Александр Иванович возвращается в Учебный отряд несломленным. Он полон энергии. Что ни аттестация, то похвальный лист. В том же году он оканчивает курсы, получает звание старшего лейтенанта и право самостоятельного управления кораблем.

Назначение командира боевой части, будь он штурман или минаер, командиром подводной лодки — всегда событие. Ответственность командира корабля, даже если этот корабль — «малютка», несомненно выше, чем ответственность командира боевой части на средней или даже большой лодке. Большая лодка или маленькая — командир всему голова. В подводном положении у лодки всего один глаз — перископ. В перископ смотрит командир. Только он принимает основные решения — о курсе, скорости, погружении и всплытии и о конечной цели всех эволюций лодки — о торпедной атаке, учебной в мирное время, боевой во время войны. Если во время своего дублерства на «Пикше» Саша Маринеско еще мог ощущать себя шустрым лейтенантиком, которому и пошалить можно, потому что над ним есть командир корабля: командир и пожурит, и поправит, и посоветует, — то вступив в командование подводной лодкой «М-96», Александр Иванович сразу повзрослел от груза огромной ответственности, свалившейся на его плечи. Предстояло отвечать не только за свои поступки, но за действия каждого матроса, за его поведение на корабле и на берегу, за боевую подготовку и боевой дух экипажа. Короче говоря, за все.

Казалось бы, отличное знание лодки среднего тоннажа должно было облегчить молодому командиру освоение «малютки». В чем-то, конечно, и облегчило, но с первых же дней обнаружились непредвиденные трудности, заставившие Александра Ивановича с головой окунуться в повседневные заботы.

Главная из этих трудностей заключалась в том, что «М-96» была совершенно новая лодка, проходившая в Кронштадте обычные испытания. Новая лодка — значит, новая команда, еще неспаянная, не накопившая совместного опыта и традиций. Все надо было создавать. Почти полгода на лодке крутились строители. Отношения с ними установились прекрасные, но их присутствие не могло не затруднять повседневное несение корабельной службы. В семидесятом году инженер-судостроитель Илья Иванович Федоров, возглавлявший в 1936—1939 годах выездную группу строителей, пишет своему другу, известному подводнику И. С. Кабо, в прошлом тоже малютчнику:

«Мне приходилось часто встречаться по работе с Александром Ивановичем Маринеско. Почти ежедневно был с нами и другой Александр Иванович — Мыльников, он принимал от нас «М-97». Были они большими друзьями. С начала июня и по 18 ноября 1939 года мы были вместе. Простились мы, строители, с Маринеско и Мыльниковым в ресторане «Астория», там было устроено торжество в честь сдачи и приемки судов «М-96» и «М-97». Александра Ивановича мы сразу оценили и горячо полюбили. У нас на заводе много осталось в живых участников строительства этих судов. Мы гордимся подвигом А. И. Маринеско и будем помнить его».

Упомянутый в письме А. И. Мыльников был близким другом Маринеско. Он раньше, чем Маринеско, был назначен командиром лодки типа «С», отлично воевал и погиб в 1943 году. Мыльникова я хорошо знал, и, как теперь мне кажется, у него в характере было много общего с Маринеско.

Вторая — и немалая — трудность состояла в том, что по причине малых размеров на «малютках» тридцатых годов не были предусмотре-

ны должности помощника командира и военкома. Три вахтенных командира, включая самого командира корабля, и инженер-механик — вот и весь средний командный состав. Большинство командиров кораблей, прежде чем стать командирами, какое-то время ходили в помощниках. Маринеско помощником никогда не был. Опыта политической работы на корабле у него тоже не было.

Несколько слов насчет особой роли помощника командира на военном корабле. Обязанности его примерно такие же, как у старшего офицера в старом флоте. Может быть, отчасти поэтому в наше время помощника командира принято именовать старпомом, хотя формально старшие помощники бывают только на больших кораблях, где помощников два. Это знак уважения. Старпом по давней флотской традиции — глава кают-компаний, арбитр во всех могущих возникнуть спорах и недоразумениях, он следит за соблюдением порядка, воинского этикета и субординации, за внешним видом корабля и команды, за несением корабельных нарядов, всех его многообразных обязанностей я не берусь перечислить. Быть хорошим старпомом — это значит быть в хорошем смысле слова служакой, неусыпным и всевидящим оком командира и в чем-то даже педантом.

Неизвестно, как справился бы Александр Иванович со всеми этими трудностями, если б во главе дивизиона «малюток» не стоял такой талантливый воспитатель, как Евгений Гаврилович Юнаков. С приходом Александра Ивановича на дивизион начинается их дружба, прервавшаяся только со смертью Юнакова. Юнаков умер позже, но я не оговорился, он и после смерти Маринеско оставался его другом. Дружба эта была особая, на первых порах совсем не равная, Юнаков был старшим — по возрасту, по званию, по должности и, что важнее всего, по зрелости, по опыту. Он сразу разгадал то, что я назвал бы «парадоксом Маринеско». Парадокс состоял в том, что при выдающихся командирских качествах Маринеско еще не тянул на хорошего старпома. И Юнаков, сразу привязавшийся к Маринеско и так же сразу завоевавший у него глубокое уважение, поставил перед собой непростую задачу — воспитать в молодом и явно одаренном командире корабля недостающие ему «старпомовские» качества, нащупать в нем военную косточку. Он учил командира «М-96» требовать и заботиться. Самому Александру Ивановичу пришлось испытать на себе не только заботу, но и требовательность комдива. Существует такой расхожий афоризм: «Тяжело в учении, легко в бою». Легко в бою не бывает, но афоризм тем не менее совершенно справедливый, и Юнаков не давал своему молодому другу никаких поблажек. Как говорил мне потом Евгений Гаврилович: «Моряка из Саши делать не надо было. Надо было делать военного моряка».

Однако воспитать в Маринеско старпомовские качества — это было еще не все. Надо было привить ему комиссарские.

Необходимость политико-воспитательной работы с командой доказывать незначем. Она ясна всем. На всех лодках, кроме «малюток», эту работу вели военные комиссары. Напомню только, что институт военных комиссаров, введенный в тридцатые годы, был отменен во время войны, опыт показал, что на военном корабле не может быть двоевластия. Вчерашние комиссары стали заместителями командира по политчасти, что нисколько не отразилось на их авторитете и только развязало руки для повседневной воспитательной работы. Навыка к такой работе у Маринеско не было, и пришлось ему в дополнение ко всем своим многочисленным обязанностям засесть за изучение политической литературы. Беседа в краснофлотском кубрике, знаю это по собственному опыту, — серьезное испытание для политработника. Подводники, как правило, ребята острые, начитанные, вопросы задают самые неожиданные, и ответить на них кое-как нельзя, лучше совсем не отвечать. Александр Иванович иногда так и делал: обещал выяснить, подумать и ответить в следующий раз, — это только вызы-

вало доверие. Много было вопросов о фашизме, о внутренней и внешней политике гитлеровского рейха, о советско-германском договоре 1939 года. Александр Иванович был уже тогда глубочайшим образом убежден, что Гитлер его нарушит, но говорить на эти темы надо было осторожно, не ставя под сомнение целесообразность договора.

Ненависть к фашизму во всех его вариантах — в сравнительно устоявшемся итальянском или в еще набиравшем силу германском — жила в Саше Маринеско всегда. Его свободолюбивой и открытой добру натуре было чуждо все, с чем связан фашизм, не важно какой — классический гитлеровский или с приставкой «нео»: агрессивность, культ солдатчины, презрение к другим народам и в конечном счете к своему собственному. Но глубоко осознанной эта ненависть стала, когда ему, командиру-единоначальнику, пришлось заняться политическим воспитанием своего экипажа.

Есть такой шуточный афоризм — хочешь научиться, начни преподавать. В шутке этой немалая доля истины. В непривычной поначалу комиссарской должности крепла его любовь к военному флоту и оттачивалась ненависть к врагу. Он знал, кто будет этим врагом. Доходившие до Маринеско сведения о бесчинствах гитлеровцев у себя дома и на захваченных территориях приводили его в ту особую холодную ярость, какую нельзя разрядить, а можно только копить до решающей схватки.

О том, как рьяно взялся за дело молодой командир корабля, можно судить даже по очередным аттестациям. В аттестации, подписанной Юнаковым в декабре 1939 года, наряду с общей высокой оценкой есть и критические замечания: еще хромает дисциплина. Выводы: должности соответствует; достоин звания капитан-лейтенанта в 1940 году; в военное время может командовать «малюткой». В 1940 году он уже капитан-лейтенант и в новый, 1941 год вступает с аттестацией, которую мне хочется привести полностью:

«Предан партии, систематически изучает историю ВКП(б) по первоисточникам, решителен и смел, сообразителен и находчив, умеет быстро оценивать, ориентироваться и принимать правильные решения как в простой, так и в сложной обстановке. Дисциплинирован, отличный моряк, оперативно-тактически подготовлен хорошо, умеет сочетать теорию с практикой, настойчив, умеет передать подчиненным свои знания, навыки и боевой дух. Чувствует ответственность за порученное ему дело. Способен пренебрегать личными интересами для пользы службы, тактичен и выдержан. Заботлив к подчиненным, морально устойчив, не болтлив. Состояние дисциплины на корабле удовлетворительное, корабль находится в высокой боеготовности (1 линия). В кампании 1940 года подлодка заняла 1-е место по КБФ. Маринеско — 1-й заместитель командира ДПЛ. Выводы: 1) Должности соответствует. 2) Достоин назначения на п. л. типа «С». 3) Достоин должности к-ра ДПЛ (XI серии)».

Аттестация эта подписана командиром ДПЛ (дивизиона подводных лодок) 21 января 1941 года, ровно за пять месяцев до начала войны. Не всякий адмирал имел в двадцать семь лет такую блестящую характеристику. Подписал ее Евгений Гаврилович Юнаков, наставник строгий и многоопытный, — и вот этот строгий наставник признает своего ученика способным командовать дивизионом, иными словами, считает его равным себе. Такую оценку мог получить только настоящий подводник, человек, твердо решивший сделать военную службу своим жизненным призванием.

Вероятно, так оно и было. С любовью вспоминая об Одессе, Александр Иванович перестал о ней тосковать. Перестал мечтать об океанских просторах, о странах, где вечно светит солнце, о сверкающих белизной быстроходных лайнерах и всем сердцем прилепился к хмурой Балтике, к неказистым, крашенным в защитный серо-зеленый цвет подводным кораблям. Полюбил Кронштадт, куда вскоре после

окончания курсов переехал вместе с Ниной Ильиничной и подрастающей Лорой. Не впал в уныние, когда в 1940 году дивизион перебросили на Ханко — арендованный у Финляндии каменистый полуостров. Это была чужбина, и довольно скучная чужбина, однако замечено: на чужбине привязанность к родине только обостряется, крепнет близость с немногими оказавшимися рядом соотечественниками, за границей наши люди становятся четче, собраннее — для общего дела. Ханковцы это доказали. В истории Отечественной войны Ханко останется как один из вариантов Малой земли наряду с Брестской крепостью и новороссийским пятачком. Войны еще не было, но предгрозовое ощущение не оставляло ханковцев. Они всегда чувствовали себя форпостом, пограничным отрядом, живущим по законам военного времени даже в мирные дни.

«На «М-96» у нас подобралась сильная и сплоченная команда, — говорил мне Александр Иванович. — Опытные специалисты, как наш инженер-механик Андрей Васильевич Новаков и мичман Петровский. И способная молодежь».

Конечно, это только так говорится «подобралась». Подбирал и сплавивал команду командир.

Итак, за пять месяцев до начала войны капитан-лейтенант Маринеско получил блестящую характеристику. Пришел ли вместе с ней к Маринеско душевный покой?

Нет, душевного покоя не было.

Говорят, большому кораблю — большое плавание. А корабль у Маринеско был маленький. Автономность — десять суток. Не разгуляешься. Считалось, что основное назначение «малюток» в условиях Балтики — дозор и разведка.

Дозорную и разведывательную службу Маринеско нес исправно, но с первых же недель стал упорно готовить свою маленькую лодку для атаки. Каждый выход «М-96» в море был одновременно дозором и боевым учением. Командир внимательно следил за передвижением по акватории иностранных судов и попутно «отрабатывал задачки». Высшее командование не ошиблось, поверстав штурманов торгового флота в подводники, — Маринеско прекрасно разбирался в повадках иностранных транспортов и раньше других заметил среди них подозрительное оживление. Свои наблюдения он аккуратно записывал и, вернувшись на базу, докладывал. Приспособил «ФЭД» с телеобъективом для фотографирования встречаемых транспортов. Фотоаппарат выставлялся из люка на длинном шесте и, когда лодка шла в полуприотпленном положении, был столь же малозаметен, как глазок перископа. Наблюдения и фотосъемки несомненно приносили свою пользу, но Александра Ивановича совсем не устраивало «быть на подхвате».

Конечно, можно было добиваться перевода на большую лодку согласно аттестации. Но добиваться повышения было не в характере Александра Ивановича. К тому же не хотелось расставаться с Юнаковым, с дивизионом, с полюбившей его командой, наконец, с самой лодкой, к ней он тоже успел привязаться. Сердилась, когда о «малютках» говорили непочтительно, так же как когда-то на непочтение к «торгашам».

«Лодка как человек, — говорил мне во время наших кронштадтских бесед Александр Иванович. — У каждой свой характер, свои достоинства и недостатки. Все это командир должен понимать до тонкости. «Малютка» тем хороша, что заставляет быть универсалом. Конечно, с тактико-техническими данными считаться приходится. Но молиться на них тоже не следует. Автономность, если потренироваться и затянуть потуже ремешки, можно увеличить. Можно быстрее погружаться и быстрее всплывать. Быстро погружаться рискованно, но если трюмные и рулевые — мастера своего дела, риск оправдан. Мало торпед — значит, надо стрелять без промаха. И не

пренебрегать пушечкой — она годится не только против самолетов».

К слову сказать, это свое убеждение Маринеско блестяще подтвердил на практике, потопив в 1944 году артиллерийским огнем большой вооруженный транспорт.

Друг Маринеско Иван Маркович Рубченко, во время войны мичман на одной из «малюток», рассказывал мне:

«Уже после своей демобилизации Александр Иванович, встречаясь со мной, часто вспоминал о войне и о нашей службе на подводных лодках. Как-то сказал: «А что, Иван, если, не дай бог, новая война, позовут нас с тобой? Мы с тобой тогда соберем команду из таких орлов, что будем запросто по кормушкам стрелять». «Как так по кормушкам?» — спрашиваю. «А по-снайперски. Безо всяких треугольников, углов упреждения, а догонять — и без промаха!»...»

Сегодня уже трудно с уверенностью сказать, всерьез говорил это Александр Иванович или грустно шутил. Но даже если это была шутка, то очень на него похожая. Легко загорался необычной идеей, не боялся парадоксальных решений и не любил категорических запретов, подсекающих в корне всякую фантазию. Как большинство талантливых людей, он был человек неожиданный.

У меня сохранилась довольно точная запись рассказа Александра Ивановича о последнем предвоенном походе «М-96». Привожу ее целиком:

«На девятый день пребывания в море все мы очень устали. Много трудились, мало отдыхали. По несколько раз в сутки одно и то же: «арттревога!», «срочное погружение!», «по местам стоять к всплытию!». Недовольства я не ощущал, личный состав понимал, что первое место по боевой подготовке нам обеспечено и прошлогодние нормативы, принесшие нам общефлотское первенство в прошлую кампанию, заметно превышены. Теперь для срочного погружения нам требовалось всего 17 секунд — ни одна «малютка» до сих пор этого не добивалась. Трудно, но жалоб не было. Только однажды запросил пощады наш инженер-механик А. В. Новаков, и то не для себя, а для нашего единственного компрессора, из-за частых погружений и всплытий ему приходилось работать почти непрерывно. В обычное время я посчитался бы с законной тревогой механика, но в тот навсегда запомнившийся мне день — 18 июня — меня тревожило совсем другое, и я пробурчал что-то вроде «на войне еще не то будет», и Ефременков меня поддержал. Штурманы чаще наблюдают за горизонтом, чем занятые своими машинами механики, и, вероятно, Леве было понятнее мое беспокойство. Но даже сам я не понимал, какое реальное содержание получит всего через несколько дней моя довольно шаблонная фраза.

А беспокоило меня вот что: в этот солнечный день в той части Финского залива, где наша лодка выполняла свою задачу, творилось нечто необычное. Только за восемь часов в пределах доступных нашему визуальному наблюдению, прошли курсом вост 32 транспорта различного тоннажа и назначения, все под флагом фашистской Германии. Куда спешили все эти танкеры и сухогрузы, судя по осадке, негруженые? Казалось, что во все порты Северной Балтики дана какая-то общая команда. Бросалась в глаза пугливая настороженность капитанов этих судов. Завидев подлодку, да еще маневрирующую по-боевому (мы отработывали срочные всплытие с арттревогой), на некоторых транспортах поспешно спускались на воду шлюпки. На одном из транспортов так поспешили, что шлюпка сорвалась и люди посыпались в воду. Немцы явно бежали домой. Почему? На этот вопрос я ответить тогда не мог. Накануне возвращения на базу дал об этом радиogramму, но, конечно, еще не понимал полностью значения происходящего. Не все понимали и на базе. Когда я, вернувшись, подробнее доложил свои соображения, нашлись люди, которые сочли меня паникером. Однако предусмотрительность востор-

жествовала и наша «М-96» была вновь отправлена в дозор. Известие о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз я получил, уже находясь на позиции».

Как, впрочем, и весть об окончании войны — добавлю я.

Итак, война. Капитан-лейтенант Маринеско — командир боевого корабля первой линии. Позади яхт-клуб, школа юнг, мореходное училище, штурманские классы, служба на «Пикше», курсы усовершенствования командного состава. По своим знаниям командир «М-96» теперь не уступает командирам, окончившим Высшее училище имени Фрунзе, а по опыту даже превосходит многих сверстников. Ему двадцать семь лет, он муж и отец, любим командой и товарищами. Трудно сказать, какие замыслы роятся в этой бесстрашной голове, а она действительно ничего не боится, не только действовать, но и думать, решать. Ближайшая задача — доказать, что «малютка» не хуже других лодок первой линии способна драться и побеждать.

Наступило время испытаний, равных которым не знала история.

VI. ПЕРВЫЕ АТАКИ

Опять «микрорекордер». Прижимаю его к уху и, прежде чем возникает голос Нины Ильиничны Маринеско, слышу шум толпы, какие-то неясные выкрики, смех, обрывок песни... Все невнятно, но мне достаточно, чтобы вспомнить обстановку, в какой происходила наша беседа.

9 мая 1978 года. Ленинград. Мы трое — Нина Ильинична, Леонора Александровна и я — идем по набережной и приближаемся к бронзовому Петру. Все пространство вокруг Медного всадника заполнено празднично принаряженными людьми, мужчинами и женщинами. Поражает обилие орденов и медалей. Толпа в непрерывном движении, все кого-то ищут, при встрече радостно обнимаются, смеются, кто-то плачет...

Эти встречи в день Победы уже стали обычаем. В Москве — перед Большим театром. В Ленинграде — у Медного всадника. Бойцы ищут однополчан. Знакомых и незнакомых. Не всегда удается найти однополчанина в точном смысле слова. Тогда пусть из одной бригады, из одной дивизии — все равно есть о чем поговорить, что вспомнить.

Покрутившись в толпе, находим в сквере за памятником тихую скамеечку. Садимся и тоже вспоминаем. Нина Ильинична — начало войны на Балтике. Я — первую блокадную зиму в Ленинграде. И все вместе — вспоминаем Александра Ивановича.

Весть о начале войны застала «М-96» в море. Но военные действия начались раньше официального объявления. Гитлер ударил внезапно, а маннергеймовская Финляндия, как и следовало ожидать, выступила на его стороне. Гарнизон Ханко приготовился отразить удар, но гражданское население, в основном семьи моряков, нужно было срочно эвакуировать. Нарком Н. Г. Кузнецов, предвидевший поведение финских властей, дал приказ находящимся в море подводным лодкам не возвращаться на Ханко, а идти в Палдиски, порт на Балтийском море в нескольких десятках миль от Таллина.

О дне эвакуации Нина Ильинична вспоминает спокойно, даже с улыбкой, но от этого мне только яснее становится обстановка и что ей пришлось пережить в тот день. С благодарным чувством говорит она о матросе Васе, самоотверженно помогавшем ей собрать вещи и погрузиться вместе с маленькой Лорой на уходящий в Ленинград теплоход.

С Васей, Василием Спиридоновичем Пархоменко, трюмным машинистом на «М-96», а затем и на «С-13», я знаком давно, бывал у него в Кронштадте, где он работал инженером на Морзаводе. Через

все эти годы он пронес преданную любовь к своему командиру и дружескую привязанность к его семье. Он рассказывал мне:

«Дела наши на «М-96» шли отлично. На рубке звездочка — корабль первой линии. В начале июня нас особо отметили как «виртуозно владеющих воздухом». Имелся в виду сжатый воздух, применяемый на подлодках для погружения и всплытия. Я в числе пяти отличников должен был на днях получить отпуск. Последний наш дозор в Ботническом заливе продолжался одиннадцать суток, все очень устали. Наблюдали и фотографировали движение судов. Движение было большое, записи вели не только командир и штурман, но и наш инженер-механик Андрей Васильевич Новаков, а я ему помогал. Вернулись мы 21-го, а 22-го нам было приказано вновь выйти в море. Под утро была объявлена общая боевая тревога, я прибежал с береговой базы на причал, командир был уже на лодке и распорядился. Вслед за мной прибежали на причал встревоженные женщины, одна из них сказала командиру, что с Ниной Ильиничной беда — мыла окно, упала с лестницы и сильно порезалась осколками стекла. Командир отлучиться не мог и послал меня сказать жене, чтоб она немедленно, захватив только самое необходимое, уехала на теплоходе «И. Сталин». Нину Ильиничну, всю забинтованную, я застал за сбором вещей. Ей помогал Ефременков. Лора была еще мала, ее пришлось нести на руках. Кое-как собрались, по дороге что-то растеряли, но доставили. Теплоход ушел в Ленинград, а мы вышли на позицию и на Ханко уже не вернулись».

Льва Петровича Ефременкова, штурмана «М-96», Александр Иванович, перейдя в конце 1942 года на «С-13», ухитрился перетащить к себе помощником, с ним он ходил во все походы. Говорю «ухитрился», потому что это было совсем не просто, но об этом чуть позже. Маринеско и Ефременкова связывала настоящая боевая дружба, хотя трудно себе представить более несхожих по внешности да и по характеру людей. Маленький, темноволосый, пылкий южанин. И высокий, светлокожий, несколько флегматичный северянин. Но Маринеско умел сдерживаться, а Ефременков загораться, и они отлично понимали друг друга. На «М-96» Лев Петрович пришел также не при совсем обычных обстоятельствах:

«На втором году обучения в училище имени Фрунзе нас, группу мичманов, послали для практики на дивизион «малюток», базировавшийся перед войной на арендованном у Финляндии полуострове Ханко. Я и двое моих однокурсников попали на «М-96» дублерами к штурману Филаретову. Корабль сразу же мне понравился: на рубке знак «За отличные торпедные стрельбы», команда дружная, командир живой, веселый, доверяет людям, ценит инициативу. Ко всем дублерам отношение было равное, но однажды в море мое числение места корабля оказалось точнее, чем у штурмана, и командир меня заметил. Вскоре началась война. «М-96» ушла в море, а нас генерал Кабанов задержал, мы выполняли его поручения. Потом пришел приказ: всех мичманов-практикантов отправить в Ленинград, переодеть в офицерскую форму и разослать на флоты. Я мог оказаться на Тихом океане и на Севере, но задержался в Ленинграде и через некоторое время получил назначение на «М-96». Позже я узнал, что Александр Иванович справлялся обо мне и, когда штурман Филаретов по болезни ушел с лодки, затребовал меня».

Это записано в те же дни, когда съехались ветераны «С-13». На этой памятной встрече бывший помощник командира корабля капитан-лейтенант запаса Ефременков оставался для всех старпомом, главой кают-компании и главой делегации, хотя среди ветеранов «С-13» были офицеры старше его по званию.

«Лодка стояла в доке Судомеха, и хотя я имел на руках назначение, на территорию завода меня не сразу впустили. Выручил знакомый боцман. Командир встретил меня так, как будто мы не рас-

ставались: «Иди на лодку, потом поговорим». Но и разговаривать много не пришлось, с первого же дня я погрузился в корабельный быт и хлопоты. Жили все в домике у проходной завода, в тесноте, но дружно. Поздней осенью, закончив докование, мы поднялись по Неве к своей плавбазе «Аэгна», стоявшей у Тучкова моста, и ошвартовались у плавучего дебаркадера. Там нас настиг снаряд.

Прерываю на время воспоминания Льва Петровича, чтобы вернуть читателя к предшествовавшим событиям.

Итак, 22 июня. С каким чувством воспринял Александр Иванович весть о начале войны? Когда, уже в шестидесятых годах, я спросил его об этом, он ответил коротко:

— С облегчением.

Конечно, это было сложное чувство, в котором смешались и возмущение коварством врага, и предчувствие грядущих тяжелых испытаний, и тревога за близких, но главным было все-таки облегчение, и это ощущение было настолько типично для настроения многих командиров флота, что я нисколько не удивился, услышав такое слово от Александра Ивановича. Если у кого-то и были иллюзии насчет намерений Гитлера, у Маринеско, находившегося на самом переднем крае обороны, их не было. Он жил в ощущении предгрозовой духоты, злился, когда его донесениям не придавали должного значения, сердито спорил в кают-компаниях с теми, кто чересчур обольщался пактом тридцать девятого года, он прекрасно понимал, что пакт — это только отсрочка, необходимая, но, быть может, более короткая, чем казалось некоторым оптимистам. Маринеско тоже был оптимистом, но другого рода. Ни одной минуты, даже в самые тяжкие для страны периоды, он не сомневался в победе. Не то чтоб не позволял себе сомневаться или принимал за аксиому, что наша страна непобедима и воевать мы будем только на территории врага. Нет, просто не сомневался. Аксиом он вообще не любил, потому что аксиомы избавляют от доказательств, а он привык доказывать свои убеждения делом и требовал этого от других. Уже в летнюю кампанию 1941 года жажда активных боевых действий сотрясала весь флот, запертый в перегороженном сетями и густо заминированном Финском заливе. Военные моряки готовы были на любые жертвы, но в первую очередь они требовали дела. В ожидании боевого приказа проявляли инициативу, командование получало десятки проектов, среди них были отчаянные, фантастические. В музыкальной комедии «Раскинулось море широко...», написанной и поставленной на сцене в осажденном Ленинграде, один из краснофлотцев вслух мечтает: «Дай мне волю — нагрузил бы я катер взрывчаткой, высмотрел какого-нибудь фашиста пожирнее, тысяч на пятьдесят тонн... И — на таран!» Это не преувеличение. Такие предложения были.

Беру на себя смелость утверждать: с началом войны окончательно снялись последние сомнения Александра Ивановича в правильности выбранного им пути. Уж если люди, далекие от военной профессии — рабочие, инженеры, ученые, — бросали любимое дело и шли рядовыми в народное ополчение, Маринеско мог считать себя счастливым, у него в руках было оружие огромной мощности, и он чувствовал себя способным на большие дела.

Однако до большего дела, то есть до торпедной атаки, был еще долгий путь, дорога длиной в год, и на этой дороге одно за другим вырастали препятствия. Но недаром Маринеско любил повторять: хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто из любого случая найдет выход. Выход находился даже тогда, когда препятствия казались непреодолимыми.

В июле «М-96» вышла на позицию в Рижском заливе. В походе лопнул обод кулачковой муфты, соединяющей дизель с гребным винтом. Для лодки это паралич. Починили. Когда шли на позицию, минная обстановка была еще сравнительно сносной, на обратном

пути она заметно изменилась к худшему, пришлось форсировать минные поля там, где их раньше не было, и Маринеско, еще не имевший опыта хождения сквозь минные заграждения, был один из первых, кому пришлось на практике осваивать эту науку. Науку, где метод проб и ошибок исключается. Любая ошибка грозит гибелью.

Минреп — так называется стальной канат, удерживающий якорную мину на заданной высоте. У «М-96» было много касаний о минрепы.

«Это как схватка с невидимым врагом,— говорил мне Александр Иванович,— нет ничего мучительнее, чем хождение по минному полю, особенно в подводном положении. Мина не выдает себя ничем, недаром ее зовут молчаливой смертью. От мин никуда не уйдешь, можно только догадываться об их расположении, опираясь на рассказы товарищей, ходивших до тебя, и на собственное чутье. Попал на минное поле — ползи. Иди не виляя, самым малым. При касании бортом о минреп — не шарахаться, а осторожно отработывать назад. Тихонько, чтоб минреп не сорвался, отводить корму, и не от минрепа, как ошибочно толкает инстинкт, а непременно в ту сторону, где минреп. Он натягивается, как струна, но должен соскользнуть мягко. Нервы при этом надо держать в кулаке. Очень хочется поскорее убраться из опасного места — нельзя. Слышишь скрежет натянувшегося троса, его слышат все, и надо, чтобы команда знала, что у командира рука, лежащая на машинном телеграфе, не дрогнет, он не поддастся панике».

За судьбу «М-96» всерьез тревожились — и не без основания. Знали, как изменилась обстановка, но помочь ничем не могли. Маринеско привел лодку.

Вскоре после возвращения на базу корабль постигла новая беда. На этот раз не связанная ни с какими опасностями, но пережитая Маринеско гораздо острее, чем походные трудности. Пришел приказ: две балтийские «малютки», в том числе «М-96», отправить на Каспийскую флотилию. Для отправки лодку надо было разоружить и демонтировать, и это уже начали делать. Не знаю, пытался ли Александр Иванович бороться, вероятно, нет, приказы не обсуждаются, но воспринял он его как бедствие. Еще бы, годами готовить себя и команду для решающей схватки — и отправиться прозябать в глубокий тыл! К счастью для Маринеско, приказ опоздал, и когда Ефременков пришел на завод Судомех, корабль вновь приводили в боеспособное состояние. Положение на Ленинградском фронте было напряженное, и одно время лодка стояла заминированной на случай, если ее придется взорвать. Но обошлось. Поздней осенью, перед ледоставом лодку перегнали к плавбазе «Аэгна» и там доделывали то, что можно делать на плаву, без докования.

Примерно в то же время эскадренный миноносец «Сильный» обратился к личному составу КБФ с открытым письмом. В обращении говорилось о необходимости, несмотря на блокаду города и эвакуацию заводов, ввести в строй к началу будущей навигации все корабли флота и подготовить их к активным боевым действиям. «На своем примере мы твердо убедились,— писали моряки «Сильного»,— что каждый корабль, имея в своем личном составе высококвалифицированных и преданных делу людей, при настойчивости и упорстве может преодолеть все трудности и выполнить любую работу...»

Таких высококвалифицированных и преданных делу людей экипаж «М-96» в своем составе имел. Собственно говоря, он только из таких людей и состоял. Настойчивости и упорства у них тоже хватало.

Перелистываю подшивку «Дозора», нашей бригадной многотиражки. Найти заметки, относящиеся к «М-96», не так-то просто. В срок первом году не только называть корабль, но на первых порах

даже писать, что этот корабль — подводная лодка, нам не разрешалось. Вместо «лодка срочно погрузилась» писали: «...и корабль искусным маневром уклонился от преследования». Потом от этого отказались и даже газету переименовали в «Подводник Балтики», но корабли по-прежнему не назывались и догадаться, о какой из лодок идет речь, можно только по знакомым фамилиям. Нахожу заметку А. В. Новакова в номере от 17 января 1942 года — «Механизмы отремонтированы досрочно». Называются фамилии рационализаторов, передовиков ремонта, выполнявших нормы на 160—240 процентов.

Но испытания, которым судьба щедро подвергала отважную «малютку», прежде чем разрешить ей выйти в торпедную атаку, еще не кончились. 14 февраля 1942 года во время обстрела города в полулуктора метрах от левого борта «М-96» разорвался тяжелый артиллерийский снаряд.

«Снаряд пробил прочный корпус, и вода затопила четвертый и пятый отсеки. У лодки оставалось всего восемь кубометров положительной плавучести. Благодаря оперативности, проявленной мичманом Петровским и дежурным по кораблю Фролаковым, катастрофа была предотвращена. Вовремя объявлена боевая тревога, вовремя задраены переборки, по всем правилам завели полужесткий пластырь, прекративший доступ воды».

Это я цитирую запись беседы с бывшим инженером-механиком «М-96» Андреем Васильевичем Новаковым, приехавшим из Пушкина в Ленинград, чтобы рассказать мне о покойном командире. Продолжаю:

«Александр Иванович хотел выйти в море одним из первых и был потрясен. Авария была значительная, особенно для блокадных условий. Стоял даже вопрос о консервации корабля и переводе команды на другую лодку. Но командир на это не пошел, он не опустил руки, наоборот, энергия его удвоилась. Команда переселилась на берег, жили в здании Института русской литературы и продолжали ремонтировать корабль. Трудности встретились большие — предстояли корпусные работы, дизель был тоже поврежден. Когда лед сошел, подошла «Коммуна» (спасательное судно), лодку подвесили и заварили стальные листы, разошедшиеся от взрыва. Конечно, условия не заводские, в одном месте соединишь — в другом лопаются. Намучились, но заварили прочно.

Закончили корпусные работы, а проверить качество негде — на Неве глубин подходящих нет, — но это нас не остановило, и 9 августа мы на правах корабля первой линии перешли в Кронштадт и стали готовиться к боевому походу. Во время ремонта личный состав был истощен, зима выдалась жестокая, у моряков пальцы прилипали к металлу, кожа отдиралась с кровью, но боевой дух не иссякал, перед нами был живой образец — командир. Александр Иванович был внимателен к каждому человеку, все про всех знал и помнил, в большинстве случаев он мог помочь только добрым словом, но и это ценилось. Изредка командир получал какие-то посылочки и полностью отдавал их в общий котел — это никого не удивляло, наш командир каким мы его знали, просто не мог поступить иначе».

Возвращаю слово Льву Петровичу Ефременкову:

«Из-за этой зимней пробоины мы в первый эшелон не попали и пошли во втором. Одновременно с нами вышла в свой первый боевой поход «С-13». Тогда командовал лодкой Маланченко, обеспечивающим пошел Юнаков. Нам с Александром Ивановичем и в голову не приходило, что пройдет всего несколько месяцев — и он примет «С-13» а я стану его помощником. Из Кронштадта мы перешли к острову Лавенсаари а оттуда на позицию, в квадрат Порккала-Каллоба. Задание: разведка и атака.

Форсировали минные заграждения. Опыт у нас уже был. Пригодился и опыт Александра Ивановича, приобретенный в плавании на

торговых судах. Он хорошо знал пути, какими предпочитают ходить транспорта, и не ждал, когда появится мишень, а настойчиво искал ее.

Как теперь известно, потопили мы немецкое транспортное судно водоизмещением семь тысяч тонн. Транспорт шел с сильным охранением — три сторожевых корабля. Атаковали днем из подводного положения. Обе торпеды попали в цель. Нас преследовали и бомбили. В какую сторону уходить от преследования и как уклоняться от глубинных бомб — полностью зависит от искусства и чутья командира. Маринеско решил уходить не в сторону наших баз, а в сторону уже занятого противником порта Палдиски, чтобы сбить преследователей с толку. В конце концов мы вырвались и на одиннадцатые сутки явились на рандеву с ожидавшими нас катерами. На рандеву нас по ошибке обстреляли и побомбили свои, но командир и тут проявил редкую выдержку».

О причинах происшедшего недоразумения А. В. Новаков и Л. П. Ефременков рассказывают не совсем одинаково, это и понятно, прошло много лет. Но в оценке действий командира они едины: командир вел себя с редким хладнокровием. А вот что рассказывал мне он сам с улыбкой, как нечто забавное:

«Условие было такое: мы не радируем, а прямо приходим в условленное место в один из трех дней — 21, 22 или 23 августа. Мы пришли 22-го. Встретили нас плохо. Едва показалась наша рубка, обстреляли из крупнокалиберного пулемета. Командую: «Срочное погружение!» Начали бомбить. Положение мерзкое: прийти из похода с успехом и чтоб тебя утопили свои — перспектива незавидная. Приказываю всплыть, первым выбегаю на мостик и — матом: «Своих, так и так вашу, бьете!» Тогда только расчухали, что мы — свои, и даже извинялись».

Но Маринеско не рассказал самого главного. Поэтому вношу поправку со слов А. В. Новакова:

«Командир умело провел второе всплытие. Поставил лодку между двумя катерами, если бы они открыли огонь по лодке, то перестреляли бы друг друга. Это был блестящий расчет, позволивший выиграть время. Мы потом спрашивали катерников, почему они приняли нас за фашистов. А потому, говорят, что у вас на рубке свастика. Откуда быть свастике? Потом посмотрели: кое-где проступила белая камуфляжная краска и в самом деле получилось немного похоже».

Перелистываю подшивку «Дозора». В номере от 2 сентября краткое сообщение о походе и указ о награждении экипажа. Маринеско — орденом Ленина.

Вторая половина 1942 года богата событиями в жизни Маринеско. До конца навигации он сумел сходить еще в один поход со специальным разведывательным заданием, действовал решительно и получил хорошую оценку. Произведен в капитаны 3 ранга. Принят в кандидаты ВКП(б). А в перспективе — назначение командиром «С-13», большой подводной лодки, недавно вернувшейся из похода с крупным боевым успехом.

Назначение вызвало у Александра Ивановича противоречивые чувства. С одной стороны, он уже созрел (это отмечалось еще довоенной аттестацией) для командования более крупным кораблем, по его замыслам «малютка» становилась ему тесна. С другой — он только что доказал, на что способна его дорогая «малютка», и расставаться с ней было мучительно. На «М-96» он прослужил с 1938 года, приняв ее прямо из рук строителей, сроднился с командой, полюбил и знал, что и его любят. Расставаться было тяжело, но необходимо, и дело было совсем не в том, что быть командиром «эски» престижнее, чем командовать «малюткой». такого рода соображения для него не существовали, а в том, что новый этап подводной войны требовал прорыва в Балтику и свободного поиска противника на его дальних

коммуникациях, а для этого «малютки» были слишком слабо вооружены и обладали недостаточной автономностью. Было еще одно обстоятельство, облегчавшее переход на «С-13»: Юнакова на дивизионе уже не было, а ближайший друг Маринеско бывший командир «М-97» Александр Иванович Мыльников в 1942 году уже командовал «С-9» и вернулся из похода с боевым успехом. Теперь друзья вновь оказывались рядом.

Помимо ордена и звания Александра Ивановича ждала еще одна награда. В числе тридцати особо отличившихся в летнюю кампанию офицеров он получил право вылететь из осажденного Ленинграда в кратковременный отпуск и встретить новый, 1943 год с семьей.

Осуществить это право оказалось немногим легче, чем его получить. Тяжелый бомбардировщик «ТБ-3» с отпущниками на борту вылетал с флотского аэродрома, в воздухе к нему должна была присоединиться группа истребителей и эскортировать его до Новой Ладоги. На аэродроме счастливики застряли надолго. Было несколько неудачных вылетов, всякий раз приходилось возвращаться обратно и коротать время в ожидании следующей попытки. Как и все его спутники, Александр Иванович огорчался задержкой, но мыслями непрестанно возвращался к новой лодке, которую ему предстояло принять, и к предстоящим походам. Таким его запомнил инженер-механик Виктор Емельянович Корж, подружившийся с ним во время томительного прозябания на аэродроме:

«С Александром Ивановичем мы быстро сошлись и перешли на ты, вернее на Ты — с большой буквы. Здесь нам повезло, на ночь мы устраивались в ленуголке аэродрома. Там стояли мягкие диваны и было относительно тепло. Днем в ленуголке бывал всякий народ, иногда устраивались танцы, несколько старшин, сержантов, радисток и поварих топтались под звуки заезженной патефонной пластинки. С наступлением темноты электричество почему-то сразу вырубали, а керосина в лампе не было. Все расходились, наступала тишина и длинная-предлинная ночь. Ложились рано, но уснуть раньше полуночи ни разу не удавалось, мы подолгу разговаривали. Александр Иванович с жадностью впитывал мои рассказы о боевых походах «эсок», в частности о походах «С-7» и «С-12», в которых я участвовал. Его интересовали малейшие подробности, он расспрашивал о всех затруднениях, встретившихся нам при маневрировании, и я охотно делился с ним нашим опытом. В свою очередь, Александр Иванович рассказывал мне о походах «М-96», так что время проводили мы не без пользы».

В конце концов «ТБ-3» все-таки вылетел. Новый год Александр Иванович встретил со своей семьей.

Это был самый тяжкий для балтийских подводников год — срок третий. В масштабе всей страны год был переломный, почти на всех направлениях советские войска перешли в наступление. Ленинград и Балтфлот оставались по-прежнему в блокаде, правда положение заметно упрочилось и снабжение улучшилось, но в памяти подводников этот год остался годом жестоких потерь и вынужденного бездействия. Немецкое командование, убедившись на опыте прошлого года, что установленные на выходе из Финского залива заграждения не так непроходимы, как утверждала фашистская пропаганда, приняло дополнительные меры. В начале кампании при форсировании заграждений подорвалось несколько первоклассных подводных лодок, посылать новые корабли на верную гибель наше командование не считало возможным, и в действиях подводных сил на Балтике возникла длительная пауза вплоть до осени 1944 года, когда вышла из войны Финляндия и наши корабли перешли на новые базы, поближе к выходу в Балтику.

К своему назначению на «С-13» Александр Иванович отнесся очень серьезно: «На сердце у меня было здорово неспокойно,—

признался он мне в одной из наших бесед.— Не в том дело, что лодка большая, а в том, что все новое — и техника, и люди. Техника-то полбеда, на «малютке» я знал каждую гайку, а вот люди... Свою команду я воспитал сам, верил ей, и она мне верила, а эти уже ходили в море с другим командиром, как-то им новый покажется?»

Кое-какие основания для беспокойства у Александра Ивановича были. Пожалуй, ни в одном классе военных кораблей командир не обладает такой неограниченной властью, как на подводной лодке. Но это не значит, что он независим от мнения команды. От того, верит ли экипаж командиру, понимает ли его действия, зависит очень многое. На лодке дистанция между начальником и подчиненным сокращена до предела, в тесноте отсеков гаркать, козырять, обращаться друг к другу строго по уставу негде, да часто и некогда. Командир всегда на виду, и в течение первого месяца десятки матросских глаз фиксируют его с разных точек, в результате из множества деталей коллективными усилиями создается некоторый сводный портрет, как правило дающий довольно точное представление об оригинале. Если экипаж привязан к командиру, его уход всегда воспринимается тревожно, а появление нового — настороженно.

Приняли Маринеско на «С-13» хорошо. Отчасти потому, что его приходу уже предшествовала добрая слава, но еще больше потому, что он с первого знакомства произвел на команду неотразимое впечатление. Не внешностью, а внутренней свободой и естественностью — качеством, редко упоминаемым в официальных характеристиках, но высоко ценимым солдатами и матросами. Матрос, отзываясь о своем командире, не всегда скажет это слово, чаще он говорит «простой». Но мы ошибемся, если поймем это слово только как «демократичный» или, что уж совсем мимо, как «простоватый». Простой в данном случае означает именно естественный, не позер и не ломака, то, за что себя выдает. Простой — это необязательно душа нараспашку, можно быть сдержанным, как Маринеско; важно, чтоб у командира душа была и чтоб в критический момент он оказался именно таким, каким кажется в обычное время.

Ветеран «С-13» гидроакустик Иван Малафеевич Шнапцев так вспоминает первое появление Маринеско на лодке:

«Базировались мы тогда в Ленинграде. Наша плавбаза «Смольный» стояла на Неве у левого берега. Было уже известно, что у нас будет новый командир. Стороной о нем команда уже слыхала. Вскоре он появился. Внешне он большого впечатления не производил — небольшого росточка, говорит тихо, нет такой командирской солидности... Наш сдает дела, новый принимает, а команда, известное дело, присматривается. Потом он нас собрал и представился: «Я ваш новый командир, зовут меня Александр Иванович Маринеско, скоро мы пойдем в поход и будем вместе бить врага». Но по-настоящему понравился нам новый командир при очередной швартовке. Маланченко не умел швартоваться, у нас, как доходит до швартовки, сразу крик, суетня, вся команда наверху, редко когда с одного захода ставили корабль на место. А этот вышел, присел на рубку, тихо скомандовал и сразу поставил лодку впритирочку. Это все оценили: видно молодца по хватке, сразу понятно — моряк.

Маринеско очень серьезно взялся за дело. Тренировал личный состав по-своему, проводил тут же на Неве пробные погружения. К началу навигации лодка была «на товсь!», дух у команды был боевой, но в 1943 году нас в море не выпустили. Тогда погибли многие: Осипов, Мыльников... Смерть своего друга Мыльников командир пережил очень тяжело.

За время учений и тренировок мы узнали и полюбили Александра Ивановича. Как человек он был очень хороший. Держался по-товарищески, распекал не любил, но дисциплину держал крепко, такому на шею не сядешь, умел и на место поставить. Бывало, идет

по лодке, смотрит, как люди работают, чистят, дряют, если ему что не по душе, то иногда и не скажет, а только глянет и вздохнет, а матрос уже сам понимает, в чем у него непорядок. Во время учебных тревог и погружений был исключительно четок, собран. Когда мы ходили по Неве, мастерски провел лодку под неразведенным мостом, был слух, что его за это отругали, но лиха беда — начало, после него и другие стали ходить».

Пока экипаж изучал командира, командир не терял времени — он изучал экипаж. Командиры боевых частей ему достались проверенные в бою — минер Константин Емельянович Василенко, инженер-механик Георгий Александрович Дубровский. Штурман Николай Яковлевич Редкобородов пришел на лодку недавно, но тоже производил надежное впечатление. Среди матросов и старшин много первокурсных специалистов. А вот со своими ближайшими помощниками, замполитом и старпомом, Александр Иванович общего языка не нашел, и потребовалось немало дипломатических усилий, чтобы, не доводя дело до конфликта, получить вместо них таких людей, с которыми у него установилось полное взаимопонимание. Вместо прежнего заместителя пришел Борис Никитич Крылов. Он немного не дождался встречи ветеранов «С-13» 1978 года, и я искренне жалею, что не мог познакомиться с ним, о нем вспоминали с большим уважением. Говорят, уйдя в отставку, он писал воспоминания о походах «С-13», но след их затерялся.

Со старпомом было сложнее. Вместо ушедшего в морскую пехоту помощника прислали нового, с другого флота, и с ним у Маринеско отношения сразу же не заладились. Об этом мне забавно рассказывал Иван Малафеевич Шнапцев. У акустиков острый слух, а рубка акустика помещается в командирском отсеке, и он волей-неволей слышит больше, чем матросу положено.

«Новый взял очень жесткую линию, а Александр Иванович с ней не согласился. Дисциплина у нас и так была хорошая. Командир людям доверял. Старпом был против того, что командир увольнял матросов в город, дескать, у нас, где я служил, и офицеров не пускают. А наш ему со смешком: «У вас там вымпела до самой воды висят, а мы, бывает, и вовсе не вывешиваем». Мысль та, что мы — флот воюющий и нам не до формальностей. Похоже, что старпом ходил жаловаться на командира. Ну нет ни в чем согласия... А тут как раз по соседству, на «С-4», случилась какая-то авария, налетела комиссия, старпома сняли. Александр Иванович и воспользовался, стал расхваливать своего: на вашу бы лодку да моего старпома, он бы у вас порядок навел железный. И уговорил ведь, старпом ушел на «С-4», а на его место командир взял Ефременкова с «М-96», с ним мы и ходили во все походы».

Вернувшись с Большой земли, Маринеско ощутил новый прилив энергии. В. Е. Корж вспоминает:

«В мае 1943 года я стал дивизионным механиком «эсок», мы стали чаще видаться, а наши отношения стали еще теснее и дружелюбнее. Как-то заговорили о литературе, и меня удивило, что Маринеско отнесся к этой теме без всякого интереса: «Мне сейчас не до стихов».

— Что же тебя сейчас интересует?

— Многое. За сколько секунд громно-дифференцирующая помпа сможет погасить положительную плавучесть подводной лодки типа «С» после двухторпедного залпа на грехузловом подводном ходу. То же на четырехузловом. То же на пятиузловом. Как командир корабля, я обязан знать за сколько секунд моя лодка уйдет на глубину, безопасную от гаранного удара эскадренного миноносца».

Конечно, в ответе Маринеско был некоторый элемент бравады, литературу он любил. Но бравады совершенно искренней. В то время он считал себя не вправе думать ни о чем, кроме будущих похо-

дов. Он был стянут, как пружина, жаждал немедленного действия, и той весной ему даже в голову не приходило, как далеки его замыслы от осуществления.

Я хорошо помню, какое гнетущее впечатление произвели на всех нас тяжелые потери первого эшелона 1943 года. Лето было в разгаре, стало теплее и сытнее, но подводникам от этого легче не становилось; скорбь по погибшим товарищам, вынужденное бездействие — все это мучительно переживалось и командирами и матросами. Не надо понимать бездействие буквально, корабельная жизнь безделья не знает, служба, дежурства, текущий ремонт, политучеба, боевая подготовка занимают моряка от побудки до отбоя. Но боевая подготовка в военное время — не школьные занятия, накопленные силы требовали выхода, опыт — применения. Люди стали угрюмее и нервнее. Теперь они жили не только ленинградской ситуацией, до них все отчетливее доходили отзвуки гигантских битв на Большой земле. Советские армии наступали — не хотелось плестись в обозе. Вскрылись чудовищные преступления фашистов на оккупированных землях — они зывали к мести.

Почему «С-13» не попала в первый эшелон 1943 года и какова была бы ее судьба, если б ее выпустили в море? Этого вопроса я Александру Ивановичу не задавал. Но я хорошо себе представляю Маринеско в эти томительные для его активной природы летние и зимние месяцы. В той или иной мере одни и те же настроения владели тогда всеми. Боевой пыл не угас, но напряжение порождало усталость, полосы уныния сменялись полосами раздражительности, не находящего себе выхода нервного возбуждения. Прорывалось иногда и нечто болезненное. Выпивали в то время многие, и не для согревания, как в первую блокадную зиму, а чтоб развеять тоску. За лето и осень сорок третьего Маринеско дважды побывал на гауптвахте, а по партийной линии получил сперва предупреждение, а затем и выговор. Причиной взысканий была не выпивка сама по себе, пил в то время Александр Иванович не больше людей, а в одном случае самовольная отлучка, в другом — опоздание. Выдумывать уважительную причину для опоздания Александр Иванович не стал и честно признался — проспал. Дал обещание исправиться. И слово сдержал. В мае сорок четвертого заседавшая в Кронштадте парткомиссия бригады подводных лодок постановляет: «Выговор снять как с полностью искупившего свою вину перед партией честной работой и высокой дисциплиной».

Всеведущий акустик Шнапцев комментирует (конец 70-х годов): «Насчет того, что командир загуливает, мы не знали, выпившим на лодке не видели. Знали, что семья у него в эвакуации, и, если говорить честно, многие офицеры в то время были не без греха, ну мы догадывались, что и наш тоже. Но когда появилась возможность, первый, кто вызвал свою семью, был Александр Иванович. И вот еще черта — у прежнего командира после похода была нехватка продуктов, а Маринеско, возвращаясь из походов, аккуратно сдавал что положено, а вот те продукты, что команда не доела — вы ведь знаете, в походе едят мало, — приказывал разделить поровну и раздать. И не было случая, чтоб командир взял себе больше других».

Авторитет Маринеско среди команды стоял очень высоко, и прошедшие после войны десятилетия не смогли его поколебать. Во время встречи ветеранов «С-13» я успел поговорить почти со всеми, получил несколько писем от тех, кто почему-либо не мог приехать, — каждый из моих собеседников (или корреспондентов) вспоминал о своем командире с благодарным чувством. Вспоминали не только боевые походы, но и этот предшествовавший походам год, полный повседневных забот и напряженного ожидания. Командир умел подерживать в экипаже лодки бодрость и уверенность, что кораблю

еще предстоят большие дела. О том, что боевой пыл подводников не угас, а к середине лета сорок четвертого года в предвидении будущих походов разгорелся с новой силой, свидетельствует характерный эпизод.

Лето 1944 года. Каюта А. Е. Орла на кронштадтской береговой базе. Александр Евстафьевич Орел, впоследствии адмирал и командующий Балтийским флотом, был тогда командиром дивизиона. Кроме хозяина, в каюте еще три офицера: дивмех В. Е. Корж, командир гвардейской «А-3» Владимир Константинович Коновалов и командир «С-13» Александр Иванович Маринеско. В. Е. Корж вспоминает:

«Выпили по стопочке — больше не хотелось. И сразу заговорили о том, что волновало всех. Начал Маринеско.

— Товарищ капитан первого ранга,— сказал он, обращаясь к комдиву почему-то по званию, вне службы это было не принято,— заявляю со всей ответственностью: мне чертовски надоело наше безделье. Честное слово, стыдно смотреть в глаза команде.

Его поддержал Коновалов:

— Верно. Драим механизмы, без конца повторяем одни и те же задачи, которые осточертели и личному составу и нам самим.

Орел молчал и хмурился. Что он мог ответить? Я понимал его, но и у меня в душе тоже накипело. Недавно я узнал, что фашисты в Киеве расстреляли моего отца. И я тоже заговорил:

— Хочу отомстить за отца, за Бабий Яр... Готов идти на любой лодке.

И тут же получил предложение от Маринеско:

— Пойдем со мной на «С-13»? У меня Дубровского в Академию забирают, нужен механик.

— Нет, дивмех, пойдешь на «С-4», там ты нужнее,— вмешался Орел и, заметив, что уже начал распорядиться, улыбнулся.— Подождите немного. Я сам жду не дожусь, когда мне разрешат выйти в море. Теперь уж недолго ждать».

И кончился вечер в каюте комдива тем, что четверо не склонных к патетике офицеров дали друг другу слово отдать все силы на разгром противника. Все четверо слово сдержали. Пошли в боевые походы и комдив и дивмех. По два успешных похода сделали Маринеско и Коновалов. Коновалов стал Героем Советского Союза.

Орел был прав — ждать действительно оставалось недолго. Обесиленная совместными ударами наземных войск и флота Финляндия капитулировала. Наступило время походов. Последние месяцы Александр Иванович упорно готовил к бою артиллерийские расчеты. На «С-13», помимо знакомой ему по «малютке» сорокапятимиллиметровой пушки, стояла «сотка», дальнобойное орудие 100-мм калибра, в бою его обслуживают семь человек, включая вестового. Маринеско отлично разработал взаимозаменяемость в обоих орудийных расчетах и был уверен, что в походе лодочная артиллерия покажет себя не только в обороне, но и в атаке.

Впрочем, он проверял все звенья. Флагманские и дивизионные специалисты были нечастыми гостями на «С-13», Александра Ивановича это и устраивало и немножко обижало. С одной стороны, он не любил вмешательства в свои дела, а с другой — не терпел и пренебрежения. В. Е. Коржа Маринеско дружески попрекал за невнимание к «С-13», тот только отшучивался: «За твою лодку я спокоен. Ты своего механика не хуже меня проинструктируешь». Флагмех Е. А. Веселовский, помфлагмеха «по живучести» Б. Д. Андрюк, флагарт Н. В. Дутиков также были высокого мнения о состоянии механизмов и оружия на корабле.

Наступило время, которого так ждали балтийские подводники. Одновременно — холодная, дождливая балтийская осень. В море — шторм за штормом.

Конечно, выход Финляндии из войны облегчил передвижение по Финскому заливу, но залив был еще прочно перегорожен Найсар-Порккалаудской сетью и системой барражей. Балтика стала ближе, но выход на позицию по-прежнему грозил многими опасностями. И по данным разведки и на собственном горьком опыте подводники знали, какие изощренные препятствия встретятся им на пути. Классическая мина, взрывающаяся от удара по заключенной в металлический стакан ампуле, столь ярко описанная М. М. Зощенко в рассказе «Рогулька», стала уже вчерашним, если не позавчерашним днем. Мины взрывались от прикосновения корпуса лодки к антеннам в виде идущих от мины длинных металлических усиков; от сотрясения сетей; взрывные механизмы программировались так, чтобы сработать от шума винтов, от магнитного поля корабля...

Об осеннем походе 1944 года Александр Иванович рассказывал скупко. Ни он, ни я не знали, что это мне понадобится. А в тех публичных выступлениях, какие я слышал, он его почти не касался, всех интересовал в первую очередь январский поход 1945 года, когда были потоплены «Густлов» и «Штойбен». Восполняю его рассказ по свидетельствам других участников.

«С-13» вышла из Кронштадта 1 октября. Октябрь на Балтике — время осенних штормов. Болтало даже на перископной глубине. Командование назначило лодке выгодную позицию в районе Данцигской бухты.

9 октября «С-13» потопила вооруженный транспорт «Зигфрид» водоизмещением пять тысяч тонн. Название и тоннаж окончательно установлены после войны, а вот что транспорт вооружен, выяснилось немедленно.

Торпедная атака не получилась. Торпедный треугольник был рассчитан безупречно, транспорт непременно должен был прийти в ту точку, куда шли торпеды, но капитан транспорта вовремя застопорил ход и все три торпеды прошли по носу. Неудача не обескуражила Александра Ивановича, он вновь атаковал, на этот раз одной торпедой. Но торпеда была замечена, транспорт дал ход, и она прошла у него за кормой. Капитан был, как видно, толковый.

Казалось бы, все потеряно, транспорт упущен. Но у Маринеско была бульдожья хватка, отступить он не привык. И подал команду к всплытию.

Недаром флагарт Дутиков нахваливал мне Маринеско и командира БЧ 2-3 Василенко. Третья боевая часть — это торпеды. Вторая — пушки. Василенко свое умение вести огонь уже показал в предыдущем походе «С-13». А Маринеско всегда восставал против недооценки лодочной артиллерии. Он признавался мне, что хоть торпеды и главное оружие подводников, ему всегда больше по душе были пушки. Догадываюсь, что эта привязанность тянулась с юных лет, когда Саша Маринеско зачитывался книгами о путешествиях и морских сражениях. Корабли его детства еще не имели торпед. В своем воображении Саша Маринеско видел огонь и дым Наваринской битвы, наведенные на притихшую Одессу длинные стволы главного калибра «Потемкина»... От этого остается след на всю жизнь.

С первых же выстрелов «сотки» обнаружилось, что транспорт способен огрызаться. Завязалась настоящая артиллерийская дуэль. Несмотря на качку и захлестывающие верхнюю палубу ледяные валы, подводники стреляли лучше. Наводчик 45-мм пушки Юров по-снайперски угодил в капитанский мостик, после чего перевес «С-13» стал решающим. Противник еще отстреливался, но командир «сотки» Пихур и стоявший у второй пушки Юров вцепились в судно мертвой хваткой, еще несколько метких попаданий — и «Зигфрид» пошел ко дну.

На отходе лодку преследовали миноносцы.

Возвращались не в Кронштадт, а в гавань Ханко. Там уже стоя-

ли наши плавбазы. После торжественной встречи, поздравлений и дружеских объятий наступили будни тем более суровые, что «берега» для подводников не существовало. Город был чужой, страна чужая, еще недавно воевавшая на стороне фашистской Германии. Опыта пребывания на территории недавнего врага еще ни у кого не было, нет ничего удивительного, что командование требовало от всех моряков повышенной бдительности. Будьте корректны, но осторожны. Поменьше контактов. И вообще без дела в город ходить незачем. Даже в советскую контрольную комиссию, вывесившую свой флаг в центре города.

О городах Финляндии — Ханко, Турку, о Хельсинки, где лодка ремонтировалась в ноябре — декабре 1944 года, Александр Иванович рассказывал мало — он их почти не видел. Жаловался на скуку, но хвалил порядки на финском судостроительном заводе:

«Не любят трепаться и разводить бюрократическую волюнку. Больше молчат. Но если кто что сказал — будет сделано. И никаких планов, смет, разнарядок... Идет инженер по лодке, за ним мастер с блокнотом. Инженеру покажешь, он посмотрит, буркнет что-то по своему мастеру, мастер записывает... В конце декабря вернулись в Ханко. В Ханко еще тоскливее. Лодка в готовности, а на плавбазе скука смертная. Потравишь вечером в кают-компании, сыграешь партию в шахматы, иногда хлопнешь стопочку у кого-нибудь в каюте — вот и все наши развлечения. По вечерам девать себя некуда».

Обычно Маринеско был душой кают-компаний, но в Финляндии на него все чаще нападала хандра. Казалось бы, должен быть счастлив: боевой успех, всеобщее уважение, орден Красного Знамени. А хандра не проходила. И походом он был не так уж доволен.

В Ханко офицеры жили не так, как до войны, — без семей. Многие скучали по семьям. Вероятно, Александр Иванович тоже. А впрочем, к 1944 году семья Маринеско, по существу, уже распалась.

Здесь мне придется сделать небольшое отступление, необходимое для правильного понимания многих дальнейших событий.

Печально, но правды не скроешь: в описываемое время отношения между супругами были уже нарушены, а вскоре после войны они окончательно разъехались. Кто в этом больше виноват — не мне судить. Когда я говорю о вине, я меньше всего имею в виду чьи-либо провинности, сегодня они никого не должны интересовать. Речь идет о вине за распад семьи. Об этом мы долго, грустно и по-дружески откровенно поговорили с Ниной Ильиничной на скамеечке около Медного всадника, и я понял: могло быть иначе. Но столкнулись два сильных характера и никто не умел уступать. Меня восхитило мужество, с каким Нина Ильинична, преодолевая все обиды на Александра Ивановича, не снимала и с себя вины за разрыв:

«Сегодня я уже многое понимаю и прощаю. Понимаю: когда от человека требуется в бою нечеловеческое напряжение всех сил, трудно требовать, чтоб он в быту был пайнкой. Теперь я, может быть, многое простила бы ему, но тогда я была моложе — и не смогла».

Это из того нашего разговора на скамеечке. Этот же разговор позволяет мне сегодня очень осторожно коснуться личной жизни Александра Ивановича, потому что правда всегда лучше двусмысленности и тумана.

Александр Иванович умер, не оформив развода с Ниной Ильиничной. Но не только поэтому она — единственная и законная вдова командира «С-13». Большинство команды знало и знает только ее, относятся к ней и к Леоноре как к родным и считают их почетными членами экипажа. При всем при том невозможно, рассказывая о послевоенных событиях в жизни Маринеско, обойти тот факт, что он был женат трижды.

Я никогда не встречался с Валентиной Ивановной Громовой.

Александр Иванович познакомился с ней после войны, плавая на судах Совторгфлота, и они прожили вместе несколько лет. Я знаком с их дочерью Татьяной Александровной, она носит фамилию Маринеско. Всего этого мне достаточно, чтобы не становиться на формальную точку зрения.

С Валентиной Александровной Филимоновой Александр Иванович прожил неполных три года. Из них около двух он проболел — и умер на ее руках. Как с женой он приезжал с ней в Кронштадт на сбор ветеранов-подводников, как жену представлял друзьям, и все, кто встречался с Александром Ивановичем в эти последние годы его жизни, не могут иначе как с восхищением говорить об ее бескорыстной и самоотверженной борьбе за жизнь Маринеско. Глубоким уважением полны письма к ней Ивана Степановича Исакова.

Теперь, сказавши все это, мне легче двигаться дальше, и читатель увидит почему.

Ремонт закончился. Маринеско томился в ожидании боевого приказа. В город он не так уж и стремился. Тем более что языка он не знал, а финны почти не говорили по-русски. При деловых встречах приходилось пользоваться услугами переводчика — это был белоэмигрант, угодливый и прилипчивый. Когда Корж по-дружески предупредил: с этим господином надо быть поосторожнее, он наверняка работает в полиции и может подсунуть какую-нибудь сомнительную девицу, — Маринеско даже обиделся:

— За кого ты меня принимаешь?

И действительно был безупречен до новогодней ночи, когда он неожиданно для всех и для самого себя совершил тяжелейший, а в условиях военного времени граничащий с преступлением проступок — самовольно ушел с плавбазы, загулял в чужом городе и вернулся лишь к вечеру следующего дня. Больше того — вовлек в свое предприятие другого офицера.

Происшествие чрезвычайное и беспрецедентное. Может быть, сегодня кому-то оно покажется и не таким уж значительным, но надо помнить — тогда еще не кончилась война, еще сохраняли силу суровые законы военного времени, особенно на чужой, еще недавно вражеской, территории. А тут исчезает командир, который не сегодня-завтра выйдет в море для выполнения важного задания. Как знать, не похищен ли он вражеской разведкой и не старается ли притаившаяся в Финляндии гитлеровская агентура выжать из него какие-нибудь ценные сведения?

Что произошло с Александром Ивановичем во время его отлучки, я расскажу по некоторым соображениям в другой главе. Его исповедь, в искренности которой не сомневаюсь, я записал ночью в кронштадтской гостиничке почти дословно. Эту трагикомическую историю я до сих пор не считал возможным публиковать, хотя она многое объясняет в характере моего героя. Теперь, через много лет, с согласия близких людей я могу себе это позволить. Но это позже. Потом, а сейчас я хочу заверить читателей, что нисколько не пытаюсь преуменьшить вину Александра Ивановича, как и не пытался преувеличить ее и он сам. Единственное, против чего он гневно восставал, это подозрения. Подозревать его, Александра Маринеско, в том, что он может быть завербован или как-нибудь иначе использован врагами, — есть от чего прийти в бешенство. Но в конце концов подозрения отпали — Маринеско, слава богу, был не один, его откровенные показания полностью совпали с показаниями соучастника. Обоим грозил суд трибунала, но командование проявило здравый смысл: лодка готова к боевому походу, командир пользуется у экипажа безоговорочным доверием и стоит за него горой, пусть исправляет свои ошибки в бою.

9 января 1945 года «С-13» под командованием капитана 3 ранга Маринеско вновь вышла на позиции в районе Данцигской бухты.

VII. «АТАКА ВЕКА»

Об «атаке века», как нередко называют атаку «С-13» на гордость фашистского флота — гигантский лайнер «Вильгельм Густлов», написано уже много. В разных странах, разными людьми, с различными задачами.

Моя задача — особая. Я не военный историк. Атака меня интересует в первую очередь тем, что в ней наиболее ярко проявился характер моего друга. Поэтому главу о январском походе «С-13» я начну с попытки разобраться, с каким настроением выходил тогда в море Александр Иванович. С отчаянностью штрафника, рвущегося навстречу опасности, чтобы поскорее «кровью» искупить свои преступления, или со своим обычным спокойствием? Повлияли ли предшествовавшие походу события на поведение командира в море и на боевые успехи корабля?

Судя по всему — никак не повлияли. Может быть, поначалу какие-то сторонние мысли и угнетали его, но окунувшись в привычную атмосферу всеобщего доверия, вновь оказавшись на привычных для него местах — на мостике, в боевой рубке или у разложенной на штурманском столике карты, — вновь стал тем командиром, каким его знала команда, отважным и расчетливым, бодрым и даже веселым. В поход он шел не для того, чтоб вымалывать прощение, а для того, чтобы громить врага.

Читатель уже знает: о январском походе 1945 года Александр Иванович рассказывал при мне несколько раз. Его слушали затаив дыхание, но у меня все-таки оставалось ощущение неудовлетворенности. Рассказывал он даже неплохо: точно, деловито, называл пеленги и курсовые углы, но ни слова о том, что он при этом думал и чувствовал, как будто речь шла не о нем, а о каком-то другом командире, как будто говорил не зачинатель и вдохновитель атаки, а некто со стороны пересказывал уже опубликованные материалы, строго придерживаясь установившейся версии. Тогда мне казалось, что это только скромность, позже я понял, что не только — сказывалась многолетняя привычка не говорить о себе. Гораздо больше я узнал о походе не от него, а от его соратников.

Зима восьмидесятого. Через тридцать пять лет после зимнего похода «С-13» мы с Николаем Яковлевичем Редкобородовым сидим в квартире приютивших меня ленинградских друзей и неторопливо беседуем. «Микрорекордер» лежит между нами на столе, и мы замечаем его, только когда приходит пора сменить кассету. Мы встречаемся уже не в первый раз, но нам всегда есть о чем поговорить и с каждой встречей мы все лучше понимаем друг друга. Перед Николаем Яковлевичем лежит лист бумаги, время от времени он беглыми штрихами набрасывает схему маневра «С-13», очертания берега и расположение маяков, и хотя по роду моей профессии меня больше занимают характеры, чем курсовые углы, это необходимо нам обоим. Разными путями мы пришли к единому убеждению: чтобы понимать человека в бою, надо понимать его действия. Характер реализуется прежде всего в поступках, в поведении.

— Поговаривали, что командиру просто везет на крупные корабли, — говорит Николай Яковлевич. — Какая чепуха! Везло потому, что он эти корабли искал. Мне, штурману, это виднее всего. Искал, потому что таков был боевой приказ. В приказе было недвусмысленно сказано: обнаруживать и уничтожать крупные и, прежде всего, боевые корабли противника. В памятную зиму наши наземные войска очищали от захватчиков советскую Прибалтику, гитлеровцы отчаянно цеплялись за эстонские острова, в особенности за свой укрепленный плацдарм на западной оконечности острова Сааремаа — полуостров Сырве. Вы представляете себе, где находится Сырве? — Николай Яковлевич уже берется за карандаш.

— Представляю,— говорю я.— В конце ноября я был там на бронекатерах. Но к декабрю операция была уже закончена, немцев сбросили в море и их боевые корабли оттуда ушли.

— Именно потому их ожидали в районе Данцигской бухты. Но было, вероятно, уже поздно, начинался всеобщий драп из Прибалтики. Мы тринадцать дней маневрировали в средней части отведенного нам района действий, несколько раз приходили в соприкосновение с кораблями противника, несколько раз могли иметь успех, но Маринеско ни разу не вышел в атаку, берег торпеды для более крупной дичи. И наконец принял решение резко изменить курс и уйти в самую южную часть района, где в первую же ночь обнаружил достойную цель. Было ли это только удачей или каким-то необыкновенным наитием? Нет, в основе решения лежал точный расчет. По доходившим до нас скудным радиосводкам о фронтовой обстановке Александр Иванович ясно представлял себе, что происходило в эти дни в Мемеле и Данциге. Оборонять их становилось все труднее, перед фашистским командованием стала задача срочно вывезти оттуда боеспособные части для защиты жизненно важных центров рейха — столицы и крупнейших портов: Киля и Гамбурга. Как бывший торговый моряк, Маринеско догадывался о возможных маршрутах транспортных судов, как опытный подводник, предвидел, что крупные суда пойдут с сильным конвоем. Чем крупнее корабль, тем мощнее охрана, поэтому выбор крупной цели прямым образом связан с наибольшими трудностями и риском. В ноябре, если помните, погода была еще сносная, но в январе на Балтике творилось черт знает что. Погода почти все время штормовая, видимость плохая, волны захлестывают палубу так, что брызги долетают до мостика. За какой-нибудь час обледеневаешь и промерзаешь до костей, налетают снежные заряды, от которых слепнут сигнальщики. В такую ночь, когда болтало даже на глубине, командир приказал мне проложить курс так, чтобы выйти к немецкому маяку Риксгефт в двенадцати милях к северу от западного входа в Данцигскую бухту, там всплыть и подзарядить аккумуляторные батареи. Шли на перископной глубине, систематически осматривая горизонт и воздух. Придя в назначенную точку, продули главный балласт, всплыли и заняли крейсерское положение. На мостик поднялись командир, помощник, штурман и сигнальщик старший матрос Виноградов. В помощь ему вызвали еще двух наблюдателей — командиров орудий Пихура и Юрова. Пошли двенадцатиузловым ходом — одновременно поиск и зарядка. Примерно через час Виноградов доложил: пеленг 150°, вижу конвой. Какая-то группа кораблей выходила из Данцигской бухты и двигалась курсом на северо-запад. То, что видит в свой ночной бинокль Толя Виноградов, способен увидеть не всякий, для этого нужно острое зрение и особая, не ослабевающая за все время вахты сосредоточенность. Сообщение Виноградова настолько серьезно, что стоявший на вахте помощник просит командира подняться на мостик. Командир поднялся, посмотрел и подтвердил: конвой. Объявил боевую тревогу, все заняли места по боевому расписанию. Начался первый этап атаки.

Определили курс и скорость цели, и когда наша лодка, продолжая идти двенадцатиузловым ходом, лежала на курсе 240°, гидроакустик Шнапцев доложил на мостик, что слева 160° он слышит шум лопастей крупного двухвинтового корабля, идущего большим ходом. Вот смотрите..

Рука Николая Яковлевича быстро набрасывает на бумаге привычные ему линии и условные знаки. Затем наступает пауза, во время которой при наличии общей цели наши мысли текут в разных направлениях. Штурману «С-13» нужно, чтоб я все это понял и запомнил, мне же, чтобы запомнить, надо все это вообразить. Мысль штурмана рвется вперед, к завершающему торпедному залпу, моя

же упрямо цепляется за прошлое. Мне необходимо вызвать в памяти всех участников похода, с кем я в разное время встречался и беседовал, мало того — представить их себе такими, какими они были тридцать пять лет назад, юными, полными сил и боевого задора, увидеть их глаза, жмурящиеся от летящих в лицо снежных зарядов, услышать грохот их обледеневших на ветру канадок, вспомнить запахи соли и выхлопных газов на верхней палубе корабля и молочную муть впереди. Если всего этого в себе не оживить, то через несколько дней половину из рассказанного я забуду и на расчерченном рукой Николая Яковлевича листе бумаги увижу только паутину из неподдающихся расшифровке линий и знаков.

Как же это делается? Каким образом литератор, не будучи свидетелем события, начинает его видеть? Собрать информацию еще не все. Информация всегда двухмерна, третье измерение ей придает воображение, питаемое из кладовой опыта, где хранятся отложившиеся в образной памяти жизненные впечатления начиная с самых ранних, с детских лет.

Насчет детских лет — не для красного словца. Несколько раз за время войны в моем сознании всплывал мимолетный, но не потускневший от времени образ проносащихся по нашему узкому московскому переулку пожарных линеек. Оконные рамы дребезжат, по потолку мечутся световые языки, сверкающие алым лаком тяжелые дроги с сидящими в них в два ряда сказочными богатырями в золотых шлемах увлекают за собой могучие битюги. Я слышу грохот колес, жесткое цоканье подков о неровные камни мостовой, непрерывный, вселяющий леденящий страх звон медного колокола, в те времена он заменял вой сирены, и даже улавливаю запах горячей смолы от раздуваемых ветром факелов. Это происходило, вероятно, не больше трех или четырех раз и продолжалось не более полминуты — трехлетний, я прятал голову в подушку или в колени матери, пятилетним я уже прилипал к окну, но образ несущейся на штурм огня пожарной команды навсегда врезался в мою память как образ стремительной атаки, и я понимаю мальчиков моего поколения, которые мечтали стать пожарными.

Что же общего с атакующей подводной лодкой? Как будто ничего. Все совсем наоборот: не звон и грохот, а тишина и скрытность, дизеля грохочут внутри, на мостике слышен только шум винтов. Ничего, кроме какой-то заключенной в этом образе трудноопределимой сущности, которую можно условно обозначить как неудержимый порыв или как-нибудь иначе. Но не будем торопиться...

Осень сорок первого. Темная ночь. «Шука» идет из Кронштадта в Ленинград, и я впервые на мостике идущей полным ходом подводной лодки. Лодка идет в притоленном положении, над водой только рубка. Не для того, чтобы атаковать торпедами, атаковать тут нечего, и не для того, чтоб быстрее погружаться, здесь нет глубин. Только для большей скрытности. Весь южный берег — Петергоф, Лигово — в руках у немцев, весь фарватер под прицелом гитлеровской артиллерии, лучи мощных прожекторов его непрерывно ошупывают. Здесь не ходят, а прорываются. Сразу после выхода из Кронштадтской гавани командир объявил боевую тревогу, мне он милостиво разрешает остаться на мостике, и я, опять-таки на всю жизнь, запомнил, где стоял командир, и позу сигнальщика, черное, с ползающими по нему световыми щупальцами небо, легкое подрагивание корпуса и запахи выхлопных газов...

Уже ближе, не правда ли? Но это начало осени, а не зима. И не боевой поход, а обычный для того времени переход, ничуть не более опасный, чем повседневный кронштадтский быт того времени с обстрелами и «звездными» налетами пикирующих бомбардировщиков на гавань и рейд. И услужливая память подбрасывает зимний эпизод. Сырве. Тот самый полуостров, западную оконечность которого

в ноябре сорок четвертого еще удерживали фашисты. Я опять на мостике. На этот раз не подводной лодки, а бронекатера. Бронекатер — серьезный корабль, у него два башенных орудия. Мы идем вдоль берега, пересекаем по воде линию фронта — это видно по трассам наших «катуш». Волна, мокрый снег, видимость скверная. Силуэты вражеских кораблей я начинаю различать уже после того, как затрещали звонки боевой тревоги и наш катер — он головной, флагманский — подает сигнал к атаке и начинает маневр...

Одни ожившие в памяти впечатления накладываются на другие, они сплавляются в единый комок, и этот мгновенный сплав обладает для меня чудесным свойством — то, что мне рассказывают, становится зримым.

— Вот смотрите, — говорит Николай Яковлевич, продолжая чертить по бумаге, и теперь я действительно не только слышу, но и вижу. — После доклада Шнапцева командир, не прерывая атаки на конвой, командует: «Право на борт, курсовой 160°». Лодка повернула перпендикулярно к пеленгу и пошла на сближение. Непрерывно поступали доклады гидроакустика: шум винтов все сильнее, цель быстро приближается. На мостике в это время творилось нечто ужасное — штормовая качка и снежный буран, видимость никакой; и командир, понимая, что цель наверняка идет с охраной и какой-нибудь из конвойных кораблей может таранить лодку, командовал срочное погружение. Мы погрузились на глубину 20 метров, безопасную от таранного удара, но скорость снизилась, и по акустическому пеленгу командир понял: цель удаляется, угол упреждения, необходимый для стрельбы торпедами, упущен, скорость цели больше. Можно было стрелять вслепую, «по акустике», но учитывая обстановку и несовершенство тогдашней аппаратуры, недолго было и промахнуться. И когда цель прошла по носу лодки — видите как? — командир принял решение всплыть. Всплыли. На мостик поднялись командир, штурман и сигнальщик Виноградов. Решение всплыть оказалось правильным не только из-за хода, но и потому, что к тому времени видимость стала лучше. Виноградов доложил, что цель перешла с нашего левого борта на правый — видите? — таким образом, мы оказались ближе к берегу, чем цель. Несколько позже он вновь доложил: вижу две движущиеся цели, впереди идет меньшая, а вслед за ней — громадина, похоже, малый корабль тянет за собой на буксире плавучий док. Командир взял у Виноградова бинокль, посмотрел внимательно. «Штурман, — сказал он мне, — это не крейсер и не плавучий док. Это лайнер, тысяч на двадцать, не меньше. А впереди миноносец». Сразу в центральный пост было передано — идем атаковать лайнер. Легли на параллельный курс и понеслись вдогонку. Лодка, конечно, в позиционном положении — над водой только рубка...

— Но позвольте, — перебиваю я Николая Яковлевича. — Разве можно на такой волне идти полным ходом в позиционном положении?

— Можно. Конечно, умеючи. Делается так: цистерны главного балласта заполняются, а в носовые дается пузырь воздуха, и горизонтальные рули ставятся как на всплытие. Тогда лодка не зарывается. А на случай произвольного погружения командир приказал задрать нижний рубочный люк. Понятно?

Я киваю. Все ясно: в таком случае смыло бы только тех, кто на мостике, включая самого командира. Лодка полностью сохраняет плавучесть и боеспособность. Командование принимает старпом.

— Каждые две минуты, — продолжает Николай Яковлевич, — я брал пеленг, и все же, несмотря на то, что мы шли полным ходом, цель нас обгоняла и могла уйти. Тогда командир вызвал на мостик инженера-механика лодки Якова Спиридоновича Коваленко и прика-

зал: продуть главный балласт, привести лодку в крейсерское положение. Лодка подвсплыла, ход сразу стал 16 узлов, мы стали нагонять, во всяком случае пеленг остановился. Но нам этого было мало — для атаки носовыми торпедными аппаратами мы должны были не только догнать, но и обогнать. Погоня затянулась. Иногда командир вызывал на мостик помощника, а сам спускался в центральный пост, чтоб посмотреть на карту.

Мы шли с лайнером параллельным курсом, но ближе к берегу, и несомненно к тому времени в мозгу командира уже зрел, а может быть, уже и сложился план атаки со стороны берега. Всякому ясно, что такая атака таит в себе множество опасностей. Кораблям охранения легче прижать к берегу и отрезать все ходы и выходы подводной лодке, решившейся на такой безрассудный шаг. Глубины у берега меньше — лодка беззащитнее от нащупывающих ее пеленгаторов противника и от его глубинных бомб. Но есть одно решающее в данном случае преимущество — именно по этим самым соображениям удара со стороны берега меньше всего ждут.

— Взвешены были все «за» и «против». С одной стороны — стрелять торпедами в штормовую погоду труднее. С другой — волна и плохая видимость мешают обнаружить идущую в крейсерском положении подводную лодку. В печати промелькнула версия, будто бы сопровождавший лайнер миноносец заметил лодку и, приняв ее за один из кораблей эскорта, сигналом запросил ее код. И будто бы сигнальщик Виноградов вышел из положения, передав в ответ какую-то абракадабру. Эффектно, но неправда.

— Виноградова я спрашивал, — говорю я. — Он этого не подтверждает.

— Во время погони Виноградов почти все время видел цель. В помощь ему командир вызвал на мостик командира отделения рулевых Волкова. Этот видел ночью, как сова, иногда он обнаруживал цель раньше акустика.

Соперничать в ходе с океанским лайнером — дело непростое. Погоня шла уже два часа, а нужного опережения все не получалось. И тогда командир принимает решение, быть может, еще более рискованное, чем атака со стороны берега, — форсировать двигатели. Полный ход у «эсок» 18 узлов, с такой же скоростью шел лайнер. Максимум того, что можно выжать из наших дизелей, — 19,3, и то на короткое время. А ведь никто не мог сказать, сколько еще продлится погоня.

Вновь вызванный на мостик Коваленко, вероятно, в душе трепетал — предстояло подвергнуть дизеля тяжкому испытанию. Но командир сказал «надо», и с колебаниями было покончено. Старшина мотористов Масенков получил указание — выжать все до предела.

Оставим временно мостик несущейся полным ходом вдогонку лайнеру подводной лодки и спустимся вниз, в центральный пост, в дизельный отсек. О том, что происходило в лодочных недрах, мне рассказывали и Я. С. Коваленко, и П. Г. Масенков, и В. И. Поспелов. С Яковом Спиридоновичем у нас давняя дружба, а неразлучные дружки Масенков и Поспелов пришли ко мне в 1978 году в гостиницу, и я записал их совместный рассказ о походе. Рассказ имел форму диалога не столько со мной, сколько друг с другом. Рассказывал больше Петр Гаврилович, но все время проверял себя: «Так, что ли, Вася?» «Да, помнится, так, Петя»...

«В жизни не забудем этой погони, — говорит Масенков, но будем считать, что это и все дальнейшее говорят они оба. — Вначале мы шли в позиционном, притопленные, но дизелям от этого не легче, сопротивление воды больше, волна сбивает лодку с курса, нагрузка на машины колоссальная. Корпус дрожит, клапана дизелей грохочут, а тут еще акустик жалуется — потише, из-за вас ни черта не

слышу... Акустик — он во втором отсеке, а грохочет в пятом, но трясется вся лодка, и на время приходилось снижать скорость, чтоб акустик не потерял цель. Смена режимов — это тоже для машины плохо. А когда подвсплыли и Яков Спиридонович передал нам приказание командира выжать из дизелей все что возможно, тут уж начался ад кромешный. Знаем, на мостике тоже не сладко, люди обледеневают на ветру, а у нас наоборот — пекло и дышать нечем. Амортизационные клапана стреляют оглушительно, в ушах звон, стали мы подкладывать все что было под рукой — ключи, отвертки, пучки проволоки, через клапана отсек наполнился дымом, дым ест глаза, грохот такой, что голова раскалывается... Но главное — тревога. Что будет с дизелями? Дизель может дать две тысячи лошадиных сил, от сиды две с хвостиком. Ну а мы выжимали две с половиной. Это все понимали и боялись очень — не за себя, не оба же двигателя враз откажут, домой дочапать можно и на одном. Боялись, что сорвется атака. Вот сгорит какой-нибудь подшипник — и конечно, цель ушла, все усилия прахом. В задымленный отсек набилось восемь человек, и все при деле, к каждой опасной точке приставили по наблюдателю. Задача — не спускаться с нее глаз и вовремя подкладывать под клапан амортизаторы. Боялись очень, но верили. Раз командир сказал «надо!», значит, надо».

Все это лишь малая часть рассказанного мне людьми, находившимися на мостике и внутри корабля во время этой беспримерной по напряжению погони. Но кто расскажет мне, что происходило в душе капитана 3 ранга Маринеско на этом, втором, этапе атаки? Впрямую я этого вопроса Александру Ивановичу никогда не задавал. Да он и не любил копаться в себе, в своих переживаниях, вернее всего — отшутился бы. Но по наблюдениям людей, стоявших рядом, по его собственным брошенным в разное время беглым замечаниям представить себе состояние его духа все-таки можно.

Оно было сложным.

«Есть упоение в бою»... Конечно, было и упоение. Мне несколько раз приходилось близко наблюдать командиров, управляющих боем, и всегда — всегда по-разному, потому что нет двух одинаковых людей, — я видел на их лицах отсвет холодного вдохновения. Я называю его холодным, понимая всю неточность слова, холод — только оболочка, но оболочка необходимая. Упоение боем, азарт преследования, радость, которую приносит власть над событиями, — и наряду точнейший расчет, неослабевающее внимание к быстро меняющейся обстановке, требующей трезвой оценки и мгновенных решений. Так в плазменном генераторе бушует разогретая до немислимых температур материя, но ее стискивают в тугую жгут и направляют мощные магнитные поля, они не позволяют раскаляться корпусу генератора.

Была ли тревога за исход атаки? Конечно, была. Тревога, что противник может уйти. Но была и уверенность: ан нет, не уйдешь. А вот другой тревоги: что будет со мной, уже взятым на мушку начальством, в случае неудачи и мне придется отвечать разом и за срыв атаки, и за самовольный выбор позиции, за повреждение дизелей, может быть, за срыв всего похода, такой тревоги, думаю, не было, а если и мелькала, то позже, когда все опасности были позади. Так бывает. Вдруг становится страшно задним числом, в сослагательном наклонении: ах, что было бы, если бы... В решающие моменты этому страху негде просочиться, в этот момент человек действует.

Но главным чувством стоящего на мостике командира была все-таки уверенность. Не самоуверенность, а уверенность в себе, в своем знании корабля, его возможностей, в своем умении использовать их до предела. И, конечно, уверенность в людях. В старпومه и замполите. В командирах боевых частей. В том, что каждый боец на

своим посту выполнит свой долг и не подведет. А постов много, столько, сколько людей. На лодке лишних нет. И если никто, даже сам командир, не может добиться успеха в одиночку, то испортить дело может почти каждый.

Уверенность покоится на доверии. Командир вообще привык доверять людям. Но его доверие к команде, можно сказать, выстрадано. И в предыдущем походе, и в повседневной кропотливой работе — ремонте, тренировках, в несении корабельных нарядов. Он знает каждого старшину, каждого матроса со всеми их достоинствами и слабостями, заботами и пристрастиями, верит им как самому себе, и доверие это взаимно. Ему тоже верят, и, пожалуй, даже больше, чем самим себе. Когда командир говорит «надо!», делается то, что час назад казалось немислимым, делается потому, что сказал это слово он, командир, батя.

Все, кто видел командира после того, как был отдан приказ форсировать дизели, помнят его совершенно спокойным. Спокойствие, быть может, самое трудное из всех человеческих состояний. Спокойными бывают и равнодушные, но сохранять спокойствие в часы наивысшего напряжения всех духовных сил — это уже величие.

Сумасшедшая гонка продолжалась еще около часа, и в течение всего этого часа командир не сходил с мостика. Видимость была по-прежнему плохая, временами налетали снежные заряды, и тогда все стоявшие наверху, включая сигнальщиков, переставали что-либо видеть. Но нет худа без добра — на лайнере и на кораблях конвоя идущую полным ходом в крейсерском положении лодку тоже не видели.

— И вот наконец,— продолжает свой рассказ Н. Я. Редкоборов,— наступил решающий момент. В 13.02 курсовой угол достиг расчетного, командир командовал «право на борт!», и лодка легла на боевой курс. Начался заключительный этап атаки. Все продумано: угол встречи торпед с целью 90° — идеальный прямой угол. Далее следует команда «стоп дизеля!», включаются электромоторы, лодка вновь принимает позиционное положение, нос слегка притоплен, чтобы торпеды при выходе не шлепнулись на волну, затем «малый вперед!» и «торпедные аппараты товсь!». Помощника командир вызвал на мостик и поставил к ночному прицелу, с тем чтоб в момент, когда цель придет «на мушку», командовать «пли!». Сам он стоял у рубочного люка и отдавал команды на руль и на ход.

Внутри лодки грозное затишье, она уже не грохочет и не содрогается. Шум винтов едва слышен на фоне налетающих на рубку тяжелых январских волн, люди примолкли, чтоб не упустить слова команды. «На товсь» не только торпедисты, но и рулевые-горизонтальщики, их задача — мгновенно переложить рули в момент, когда лодка, выпустив торпеды и потеряв при этом почти десятую часть своего веса, подвсплывет с дифферентом на корму. А следующей командой будет «срочное погружение», поэтому трюмные машинисты тоже «на товсь», им предстоит в считанные секунды принять в цистерны многие тонны морской воды...

Все эти согласованные действия должны произвести многие люди, и только безошибочное сложение всех усилий обещает успех. Но всю полноту ответственности за то, что все произойдет так, как надо, несет только один человек. Тот, наверху. И он, этот человек, спокоен, потому что убежден: все произойдет именно так. Для этого прожита вся его еще не слишком долгая, но многотрудная жизнь моряка, для этого изучались лоции и таблицы, штурманские приборы, двигатели и оружие, накапливался опыт в дозорных и боевых походах, шли бесконечные утомительные тренировки, имевшие целью добиться от каждого члена экипажа двух на первый взгляд противоречивых качеств — быстроты соображения и автоматизма

действий. Теперь все должно произойти так, как было задумано. Ну а если не произойдет? Нападающий имеет преимущество первого хода, но ведь существует еще и противник. Опытный, хорошо вооруженный противник, и невозможно заранее предусмотреть все его ходы. Как тут не вспомнить прошлогоднюю атаку, когда противник дважды уклонился от торпед и только артиллерийская дуэль решила исход боя.

Несколько последних длиннейших секунд. Наконец цель заполняет собой поле ночного визира, и крестовина рассекает ее точно посередине.

— Пли!

Опять длиннейшие секунды ожидания. Такие длинные, что, если доверять только своим ощущениям и не сверяться с хронометром, может показаться, что все потеряно и торпеды прошли мимо цели.

И вот в самую последнюю из этих неправдоподобно длинных секунд — грохот взрывов.

На этот раз торпедная атака была проведена идеально. Все три выпущенные веером торпеды попали в цель. И не просто попали, а поразили самые уязвимые места, разрушив попутно многократно рекламированную в фашистской печати версию о непотопляемой конструкции суперлайнера. Можно только удивляться точности, с какой стреляли подводники.

Не берусь описывать все обстоятельства гибели «Вильгельма Густлова». На Западе об этом существует целая литература, опубликовано множество свидетельств, в разной степени достоверных. Можно считать установленным, что лайнер затонул примерно через полчаса, что из находившихся на борту шести или семи тысяч удалось спастись примерно девятистам, включая капитана. Последнее обстоятельство не может не привлечь внимания, слишком прочно в нас укоренилось представление, что капитан — это человек, который сходит с гибнущего корабля последним. Но я пишу не о «Густлове», а о Маринеско. Будучи виновником гибели «Густлова», командир «С-13» не был ее свидетелем. Услышав взрывы, он сразу же скомандовал срочное погружение. С этой минуты наступил последний, и самый опасный, этап морского боя, потребовавший от командира выдержки и такого же высокого искусства в управлении кораблем, как преследование и атака.

Наше сознание консервативно. Когда мы произносим мысленно или вслух слова «морской бой», перед нами проносятся образы, навеянные литературой и живописью, нам привычнее представить себе этот бой как сражение если не однотипных, то соизмеримых между собой надводных кораблей, палящих по зримому противнику из пушек, а то и сцепившихся вплотную в абордажной схватке. Но времена меняются. За четыре года войны на Балтике известен только один случай артиллерийского боя между крупными кораблями и ни одного случая, чтобы в торпедную атаку вышел крейсер или эскадренный миноносец. Несоизмеримо по сравнению с первой мировой войной возросло значение минных заградителей всех видов, морской авиации, «москитного» флота и подводных лодок. И хотя на примере осеннего похода 1944 года, когда «С-13» в открытом бою потопила вооруженное судно противника, мы видим, что артиллерийская дуэль между подводным и надводным кораблями возможна, она все-таки исключение, а не правило. Классической формой боя для подводной лодки остается торпедная атака. Но исторически сложившиеся стереотипы иногда оказываются сильнее логики фактов, и мне не раз приходилось слышать, что торпедная атака подводной лодки больше напоминает нападение из-за угла, чем честный поединок.

Есть и другой стереотип, мешающий неосведомленным людям правильно понимать и оценивать искусство и мужество подводни-

ков. С тех пор как войны приобрели глобальный характер, наряду с уничтожением войск и укреплений противника все большие усилия отдаются разгрому его промышленного потенциала. В отличие от прошлых веков исход войны решает не столько численность войск, сколько их техническая оснащенность. Поэтому объектами нападения становятся не только войска на линии фронта, но и тылы — прежде всего аэродромы, промышленные предприятия, коммуникации и жизненно важные центры, а в море помимо боевых кораблей — танкеры и транспортные суда. Во время войны мне не приходилось выслушивать сомнений в праве подводной лодки, речь идет, конечно, о моральном праве, топить любое судно, оказавшееся в ответвленном ей командованием квадрате, но в мирное время, когда отошло бывшее ожесточение, приходится сталкиваться с людьми, чаще всего с молодыми, которые осторожно, в полувопросительной форме ставили под сомнение это моральное право. Сталкивался с такими людьми и Маринеско, эта тема возникала и в наших беседах, вот почему я решаюсь, вместо того чтоб с чужих слов описывать гибель «Густлова», пересказать то немногое, что я слышал от него самого.

— Когда я слышу разговоры о моей везучести, меня они не сердят, а смешат. Я не Суворов, хотя тоже мог бы ответить по-суворовски: раз повезло, два повезло, положите что-нибудь и на умение... Но когда до меня доносится шепоток: а не варварство ли подкрадываться к беззащитным торговым судам и отправлять их на дно?— меня этот шепоток оскорбляет до глубины души. А еще говорят так: то ли дело гордые соколы, наши летчики, там честный поединок, побеждает сильнейший... Я летчиков уважаю, а в одном отношении даже завидую — они дерутся на глазах у всего народа, любой мальчишка понимает, что такое воздушный бой. Правда, насчет «честного поединка» обольщаться тоже не следует: случится троим напасть на одного, нападут за милую душу... Почему-то часто забывается, что основная ударная сила воздушного флота не истребители, а штурмовики и бомбардировщики и что по сравнению с торпедой обычная авиабомба — оружие гораздо более опасное для мирного населения. В военное время море не место для прогулок, а театр военных действий. Всякий корабль, вышедший в море, выполняет военную задачу, даже если этот корабль не военный, а только военизированный. Всякий человек, ступивший на палубу такого корабля, понимает, что он может стать объектом атаки — и с воздуха и из морских глубин. О каком невооруженном противнике может идти речь? Прежде чем добраться до противника, подводная лодка ежедневно подвергается смертельной опасности от мин, сетей, катеров — охотников за подводными лодками, самолетов, береговой артиллерии... Намечая цель для атаки, командир твердо знает: чем крупнее и значительнее цель, тем сильнее она будет защищена конвоем из боевых кораблей. Против них одна защита — скрытность, маневр. Я знаю, какие потери несла во время войны наша авиация, но потери подводников не меньше, вспомните, что из всех «эсок» на Балтике дожила до Победы только одна — наша, «тринадцатая». А насчет того, что на транспортах, бывает, гибнут непричастные к войне люди... Гораздо меньше, чем при обстреле или бомбежке городов. Во время войны суда не возят пассажиров, отходя от пирса, они решают определенную военно-стратегическую задачу — доставить войска, оружие, боеприпасы, сырье для военной промышленности. Всякий, кто ступил на палубу такой посуды, знает, на что он идет. Настоящий моряк это понимает и никогда не будет болтать про беззащитность. После демобилизации, в сорок шестом, я плывал помощником капитана на сухогрузном транспортном судне. Рейсы однообразные, Ленинград — Щецин и обратно. Грузы были разные, но обратным рейсом всегда брали уголь, грузили уголь пленные немцы, их тогда

в Польше было много. За погрузкой я наблюдал сам. Ходил в рабочем кителе, но с орденом Ленина. Перед обедом подходит ко мне боцман и показывает мне на одного из грузчиков — будто бы этот немец меня знает и хочет поговорить. Это показалось мне странным — знакомых немцев, помнится, у меня никогда не было. А боцман твердит свое: встречался, говорит, с Маринеско и хочу сказать ему два слова. Ладно, говорю, пригласи его ко мне в каюту. Вошел ко мне человек среднего роста, белобрысый, лицо обветренное. Вытянулся по-военному, щелкнул каблуками. Представился: обер-лейтенант такой-то. «Это правда, что вы Маринеско?» «Да,— говорю,— Маринеско». «Тот самый, Густлов капут?» «Было дело»,— говорю. «Можно пожать вашу руку?» Разговорились. Оказалось, что этот немец — обер-лейтенант, подводник. Фашистом никогда не был. Служил в учебном отряде подлодок в Пиллау, должен был идти со своим отрядом на «Густлове», но в последние минуты перед отплытием получил приказ перейти на сопровождавший «Густлова» миноносец, там заболел штурман. С мостика миноносца видел взрывы наших торпед, а затем участвовал в поиске и бомбежке «С-13».

— И много бомб на вас сбросил миноносец?

— Миноносцев было шесть. Сколько бомб? Не считал. Штук двести, не меньше...

Эта мирная встреча недавних противников произошла в сорок шестом, а 30 января сорок пятого на скрывающуюся в волнах подводную лодку обрушились десятки глубинных бомб. Двести сорок, как уточняет Н. Я. Редкобородов. Конечно, слово «обрушились» не надо понимать буквально. Обрушьюсь на корпус лодки одна-единственная бомба — и от лодки не осталось бы следа, даже масляного пятна, какое обычно всплывает, когда бомба достигает цели. Но и разрыв бомбы в непосредственной близости от корпуса грозит лодке смертельной опасностью. Летом сорок четвертого я видел, как происходит бомбежка притаившейся на глубине вражеской субмарины. Глубинная бомба — это внушительного объема и веса металлический бочонок, донья его устроены в виде мембраны. Мембрана настроена на определенную глубину, когда давление воды на глубине достигает заданной силы, срабатывает взрывное устройство. Сбрасывание происходит на полном ходу, за кормой встают гигантские водяные султаны, о силе взрывов можно было судить по тому, что султаны были черны от ила и гравия, а между тем глубины в этом районе немалые. К сказанному остается добавить, что миноносцы несут большой запас глубинных бомб, чем катера-охотники, да и бомбы эти, надо полагать, большей мощности.

Расчет Маринеско был верен — охранение никак не ожидало нападения со стороны берега и в первую минуту растерялось. Это дало лодке возможность оторваться от преследования и уйти на глубину. Но когда корабли охранения нащупали все-таки примерное местонахождение лодки, сказались трудные стороны принятого решения. На прибрежных глубинах, не превышающих сорока метров, легче обнаружить и обложить, как зверя в лесу, притаившуюся лодку. И вот тут Маринеско проявил все свое искусство маневрирования. Это было хождение по краю бездны — один неверный шаг, и гибель неизбежна. Приближаться к дну нельзя — там могут быть донные мины. Держаться близко к поверхности опять-таки нельзя, чтоб не попасть под таран. Оставалось вертеться в тесном водном пространстве, стараясь в меру возможного дезориентировать противника. Для этого, по существу, был только один способ — подставлять его акустическим приборам как можно меньшую, все время изменяющую свое положение площадь и таким образом искажать получаемые приборами сигналы. И если ни одна из двухсот сорока бомб, сброшенных на лодку в течение часа, не повредила прочный корпус (мелочи вроде разбитых сотрясением лампочек и вышедших из строя

приборов не в счет), то всякому, даже непосвященному, должно быть ясно: секрет успеха не в удачливости, а в хладнокровии, мастерстве и интуиции командира.

Слава богу, сегодня это слово уже не вызывает кривых усмешек. Интуиция — это наш неосознанный опыт. Во всякой интуиции есть нечто общее с грацией — это умение в любой изменяющейся обстановке почти автоматически, как бы помимо расчета находить наиболее точные и экономные решения. Грация есть интуиция тела, интуиция — инстинктивная грация ума. Основа их врожденная, но оттачивается и то и другое мастерством. Почти час шел смертельный бой, похожий на игру в жмурки, преследователи не видели лодку, но и лодка не видела своих преследователей. Нужно было вдохновенное спокойствие, чтобы под грохот рвущихся то справа, то слева бомб, когда от мощных гидравлических ударов по корпусу гаснет свет, а в спертom воздухе отсеков еще не рассеялся чад недавней погони, безошибочно уклоняться от акустических щупальцев, а затем, чутко уловив момент, когда у преследователей иссяк запас глубинных бомб, дать полный ход и вырваться из опасного района.

В истории атаки на «Густлова» есть одна малозаметная, но немаловажная подробность. «С-13» стреляла по лайнеру не тремя, а четырьмя торпедами. Четвертая не вышла из торпедного аппарата, вернее сказать, вышла наполовину, не давая возможности захлопнуть крышку, закрывающую аппарат. В таком виде она представляла грозную опасность: достаточно торпеде сдетонировать от взрыва глубинной бомбы, и гибель неизбежна. Командир это знал. Но он знал также, что торпедисты в первом отсеке делают все, чтобы втянуть торпеду на место, был уверен в них и мог не отвлекаться от главного. Главным в тот момент был маневр.

На этом поход, как известно, не кончился, но я нарочно выделил «атаку века» в отдельную главу не столько даже потому, что атака на «Густлова» — наиболее известный подвиг «С-13», сколько потому, что проведенная Маринеско в том же походе блестящая атака на вспомогательный крейсер заслуживает особого разговора. Грохот торпедного залпа по «Густлову» настолько заглушил всякую информацию об атаке на «Штойбена», что в музейной экспозиции она даже не упоминается. И напрасно — когда тонул «Штойбен», грохот был сильнее, рвались не только торпеды, но и боезапас на крейсере. Напомню также, что «Штойбен» был не только охраняемым, но и настоящим военным кораблем. В последние месяцы войны советское командование ставило перед подводными лодками отчетливую задачу — в первую очередь наносить удары по боевым кораблям, а также по кораблям, перевозящим войска. «Штойбен» был и тем и другим. Наконец — и это, может быть, важнее всего, — атака на «Штойбена», по мнению специалистов, была проведена с не меньшей отвагой и искусством, чем удар по «Густлову».

Человеческое внимание привычно поражает все «самое». Самое высокое, самое быстрое, самое сильное. Отсюда наше пристрастие к рекордам и рекордсменам. Восхищаясь человеком, пробежавшим стометровку в рекордные секунды, мы уже не помним имени того, кто прибежал на несколько сотых секунды позже и оказался пятым, хотя разница между ними почти неощутима и доступна лишь современным секундомерам. Нечто подобное проявилось в мировом резонансе на потопление «Густлова». «Густлов» был «самый». Самый большой, самый современный, самый непотопляемый... При этом далеко не всегда помнится, что во время войны он был самой большой плавучей базой школы подводного плавания, готовившей тысячи подводников для новых лодок. Перед этими лодками Гитлер ставил конкретную задачу — удушить Англию. Не всегда вспоминают об этом даже англичане. Но я пишу не о гибели «Густлова», а о подвиге Маринеско.

О чем думал и что чувствовал командир «С-13», когда главные трудности и опасности были уже позади? Знал ли он, какой корабль он отправил на дно, и предвидел ли резонанс, который вызовет во всем мире торпедный залп «С-13»?

Нет, не знал и не предвидел. Выходя в атаку, подводники редко имеют исчерпывающее представление о цели. Уточнение данных происходит позже, во многих случаях когда война уже кончилась. Конечно, Маринеско понимал, что напал на крупного зверя («Тысяч на двадцать», — сказал он штурману перед атакой), и чувствовал удовлетворение, подобное тому, какое должен чувствовать полководец, выигравший сражение.

Кого-то может смутить сравнение командира лодки с полководцем и само слово «сражение». Меня оно не смущает. Я знаю: полки водят генералы, а флоты адмиралы, но когда скромный капитан третьего ранга самостоительно, не рассчитывая на чью-либо помощь, вступает в бой с целым соединением, так ли уж важно, что у него в подчинении меньше полусотни бойцов? Важен политический расчет, заставивший крейсировать ближе к выходу из Данцигской бухты, важно умение оценивать обстановку, определившее все дальнейшие решения. Атака подводной лодки — это настоящее морское сражение, и нас не должно сбивать с толку непривычное различие в средствах нападения и обороны, какими в этой битве располагают противники. Мне с детства памятно описание традиционной гладиаторской схватки. Вооруженный мечом и щитом секутор против ретиария с трезубцем и легкой сетью. Побеждал во всех случаях более искусный. Ассоциация отдаленная, но что-то она объясняет. Впрочем, на равенстве шансов сходство кончается и сразу же выступает различие. В бою гладиаторами владела слепая ярость, но для ненависти к противнику у них не было причин. Участникам «атаки века» придавала силу накопившаяся и искавшая выхода ненависть к палачам и поработителям, у каждого из них был свой личный счет к врагу. Так что в удовлетворении выигранным боем была и радость мщения.

Когда я впервые познакомился с участниками «атаки века», они были уже зрелыми людьми, занятыми мирным трудом, отцами взрослых детей. А ведь они были очень молоды тогда. Командиру едва перевалило за тридцать. Матросам по двадцати, старшинам чуть больше. За плечами у всех опыт войны и блокады, груз тяжелых испытаний и потерь, пережито столько, что хватило бы на целую долгую жизнь, но, по существу, они только начинали жить, жили, не зная, сколько на их век отпущено дней, жили, как жила в то время вся молодежь, задачами дня, откладывая на будущее многие мечты и помыслы, но чересчур далеко не загадывая, используя редкие минуты передышки, чтоб дать выход нерастроченной потребности размяться, пошутить, подначить товарища... Встречаясь с немолодыми, почтенного вида людьми, одетыми в добротные пиджачные пары с внушительным набором муаровых ленточек на груди, я всегда ловил себя на желании угадать, какими они были четверть века назад.

Бывший гидроакустик корабля Иван Малафеевич Шнапцев и бывший сигнальщик Анатолий Яковлевич Виноградов — москвичи, и я познакомился с ними задолго до исторической встречи ветеранов «С-13». Оба мастера высокой квалификации, Шнапцев — специалист по приборам, Виноградов — по станкам. Иван Малафеевич сухощавый, узколицый, носит очки, отчего взгляд кажется строгим, похож на профессора. Анатолий Яковлевич — плотный, улыбчивый, выглядит моложе Шнапцева, но тоже человек солидный, как и подобает мастеру. И тот и другой побывали у меня дома, и мы хорошо поговорили. Единственное, что мне мешало: я никак не мог их себе представить такими, какими они были в годы войны, фотокарточек военного времени они мне не показывали, да это бы и не помогло. Но был один день, вер-

нее вечер, когда я неожиданно для себя перенесся растревоженным воображением в давно прошедшие времена и на несколько мгновений увидел своих почтенных собеседников разом помолодевшими — быстрыми, смешливыми, заряженными веселой энергией. Это было 10 мая 1978 года на прощальном ужине ветеранов «С-13». На следующий день все приглашенные разъехались по домам.

Пользуюсь случаем сказать: эта незабываемая встреча боевых друзей состоялась благодаря инициативе и незаурядной энергии, проявленной Яковом Спиридоновичем Коваленко. Он же выбрал для заключительного банкета плавучий ресторанчик, стоявший на приколе на Петроградской стороне. Но даже Якову Спиридоновичу с его энергией и талантом убедить не удалось получить для подводников единственный банкетный зал. Вместо банкетного стола вдоль общего зала было поставлено (именно поставлено, а не составлено) пять обычных ресторанных столиков на пять-шесть кувертов каждый. Столики стояли цугом, точно вдоль килевой линии, и, вместе взятые, отдаленно напоминали пять отсеков подводной лодки. Сходство еще усиливалось тем, что средний столик все сразу же восприняли как центральный пост, там заняли свои места старпом и инженер-механик, оттуда прозвучала первая команда: почтить память покойного командира.

Я в числе немногих гостей экипажа находился в кормовом отсеке, носовым считался ближайший к эстраде и танцплощадке, где уже громыхал джаз и отплясывали шейк какие-то трудно различимые издали люди. Магнитофон я с собой не захватил и не ошибся, здесь он бы только мешал. Жалел я только, что не слышу, о чем говорят и почему смеются в центральном посту и носовых отсеках.

До поры до времени все шло заведенным порядком, а затем произошёл чуть не испортивший весь праздник огорчительный инцидент. Поднялся сидевший за третьим столом Я. С. Коваленко и начал читать свои написанные специально для этой встречи, на сторонний взгляд, может быть, и недостаточно профессиональные, но проникнутые искренним чувством стихи. Не успел он дочитать до половины, как из ресторанных кулис возникла пышная блондинка с ярко-зеленой лентой в распущенных волосах и, прервав чтение посередине строфы, стала сердито выговаривать стихотворцу и его восторженным слушателям за неприличное поведение. Аргументация была примерно такова: здесь вам не митинг, а ресторан, люди пришли культурно отдохнуть, и потом учтите (голос понижается до шепота) — в зале иностранные гости, англичане...

Англичан я заметил давно. За одним из соседних столиков сидели две молодые пары. Вероятно, они даже не подозревали, что о них идет речь, они жили своей жизнью, чокались друг с другом, смеялись, а когда вступал оркестр, поднимались и шли на танцплощадку.

Никакие возражения не помогли. Отважные подводники отступили перед хозяйским апломбом блондинки с зеленой лентой. Настроение было испорчено. И впрямь после трех дней непрерывного триумфа, после церемониального марша в училище и митинга на площади Мартынова получить такой афронт во второразрядном ресторанном заведении было особенно обидно. А меня больше всего задела последняя сказанная с придыханием фразочка — насчет англичан. Вероятно, потому, что пришли на память слова бывшего флагмеха нашей бригады Е. А. Веселовского, сказанные мне в случайном разговоре на пути в Кронштадт: «Англичане должны были бы поставить Маринеско памятник. Хороши бы они были, если б семьдесят новеньких подводных лодок Гитлер бросил на блокаду Британских островов».

И вот теперь из-за этих ни в чем, впрочем, не повинных молодых англичан унизили соотечественников...

И все-таки есть правда на земле. Каким-то таинственным путем об инциденте стало известно всему ресторану, а главное, до всех дошло, что за пятью столиками в середине зала празднует свою встречу экипаж героического корабля. На нарушителей спокойствия стали поглядывать с явным сочувствием, и я сам видел, как некто в штатском костюме, но с какими-то впечатляющими знаками отличия, отозвав пышную блондинку в сторону, что-то негромко, но очень внушительно ей втолковывал. После чего произошли события неожиданные. Блондинка исчезла и через несколько минут появилась вновь. В руках она несла никелированную стойку с микрофоном, за микрофоном волочился длинный шнур.

Теперь Якова Спиридоновича слушал весь зал. Ему аплодировали. Хлопали даже англичане, хотя вряд ли что-нибудь поняли. Я смотрел на его разгоревшееся лицо и впервые за наше уже достаточно долгое знакомство видел его таким, каким он был в то давнее время. А ведь он был очень молод тогда, пришедший из морской пехоты после ранения юный лейтенант, новичок, в котором Маринеско угадал достойного преемника опытнейшему инженеру-механику лодки Дубровскому.

А затем к микрофону подошел Виноградов, и я, опять-таки впервые, увидел в нем не Анатолия Яковлевича, а Толика, проворного, как белка, разбитного матросика, любимца команды, шутника и заводилу. Под общий хохот он вспоминал что-то из лодочного фольклора, стишки, частушки и розыгрыши военных лет. После Виноградова выступал еще кто-то, потом вернулись отдохавшие музыканты, грянул оркестр, на танцплощадке началось очередное радение, и к нашему столу разлетелся совершенно неузнаваемый, сбросивший свою профессорскую осанку Иван Малафеевич. Извинившись, что похищает мою даму, он склонился перед Леонорой Александровной Маринеско, и когда она, улыбаясь, встала из-за стола, наклонился к моему уху и восторженно хихикнул: «Обожаю танцевать!»

В этот вечер помолодели все. От дорогих сердцу воспоминаний, от вновь вспыхнувшего чувства заложенной еще в молодые годы неразрывной связи. И среди этих помолодевших людей незримо витал дух молодого командира. Я подумал, что если б за нашими столами сидели английские моряки, они обставили бы все торжественнее — например, поставили бы для отсутствующего командира прибор и оставили пустой стул — я слышал, как делают, — но это было бы не в духе Маринеско, он не любил сидеть на месте, а предпочитал заглядывать во все отсеки корабля. Так было и в этот вечер, он присутствовал как бы за каждым столом. О нем говорили как о живом, с улыбкой вспоминали его шутки, любимые словечки, даже его суровые разносы...

Так о чем же думали эти люди в январе сорок пятого, когда, оторвавшись от преследования, легли на грунт, чтобы немного отдохнуть и навести порядок в своем хозяйстве? Только об одном. О Победе. О том, что война еще не кончилась и Победу надо добыть, завоевать. И, следовательно, надо действовать. Истрачено всего три торпеды, повреждения невелики, и лодка еще целый месяц может крейсировать на коммуникациях противника.

Маринеско готовил лодку к новым атакам.

VIII. И СНОВА БОЙ...

Известие о гибели «Вильгельма Густлова» распространилось по всему миру с быстротой звуковой волны. Балтийские подводники, ремонтировавшие свои корабли на финских верфях, узнали о подвиге «С-13» еще до возвращения лодки на базу. Вышедшая из войны Фин-

ляндия сохранила привычные контакты со своей соседкой — нейтральной Швецией, и шведские газеты первыми откликнулись на событие. Поэтому кажется маловероятным, что такое важное сообщение могло остаться незамеченным даже на фоне блистательных побед советских войск, перешедших к тому времени в решительное наступление на всех фронтах.

Повторяю, меньше всех знали сами участники «атаки века». Они не знали, что потопленный ими лайнер зовется «Вильгельм Густлов», не знали даже, что такой же существовал. Знали одно: одержана крупная победа. Их ликование умерялось только смертельной усталостью после чудовищного напряжения погони, атаки, бомбежки. Однако успокаиваться было рано. Нужно было срочно произвести мелкий ремонт, сделать приборку, перезарядить торпедные аппараты, а главное, как любил говорить Александр Иванович, «не размагничиваться». Поэтому, приказав выдать всем по сто граммов и поздравив экипаж с успехом, он сразу же предупредил: готовьтесь к новым атакам. В этом духе провели беседы по отсекам замполит Б. Н. Крылов и секретарь партийной организации В. И. Пospelов, а командиры боевых частей получили указания, не оставляющие сомнения в том, что командир корабля настроен воинственно.

«У меня было чувство огромного подъема,— вспоминал потом Александр Иванович.— Был такой прилив сил, что любая задача казалась по плечу и достигнутое уже не удивляло...»

Когда война близится к концу, в душу самых отважных, много раз доказавших свою доблесть бойцов, бывает, закрадывается мысль: не лезть на рожон, не искушать судьбу, во что бы то ни стало дожидаться победы. Александр Иванович признавался мне, что в апреле—мае 1945 года в его душу такие мыслишки заползали. Думал он даже не столько о себе, сколько о команде. И все-таки он эти мысли гнал и рвался атаковать. Но в январе близость Победы только разжигала боевой азарт, и к новым атакам Маринеско стремился не для того, чтоб заслужить прощение, у него были все основания считать, что вину свою он уже «искупил кровью». Это чье-то бестактное напутствие ему особенно запомнилось, оно и сердило его и смешило. Он искал новых встреч с противником не ради искупления и даже не ради славы, а, как сказал близкий его сердцу поэт, «ради жизни на земле».

Поэтому, поразмыслив и посоветовавшись с ближайшими помощниками, Александр Иванович решил покинуть район Данцигской бухты и уйти севернее, ближе к середине отведенного ему квадрата. Обстановка на сухопутном фронте изменялась с каждым днем, и при всей скудости поступавшей на лодку информации верное понимание обстановки подсказывало командиру, что теперь встречи с крупными кораблями противника следует искать именно там.

По сравнению с недавно пережитым переходом на новое место был для команды кратковременным отдыхом. Весьма, впрочем, относительным. На переходе нужно было зорко наблюдать за воздухом и горизонтом, подзаряжать аккумуляторные батареи — на подводной лодке работа находится всегда. Погода несколько улучшилась. Самолеты лодку не преследовали, но 6 февраля ее обстреляла из автоматической пушки находившаяся в дозоре немецкая подводная лодка, по всей вероятности «малютка». Маринеско от схватки уклонился, он искал противника покрупнее.

На этот раз отыскать крупную цель ему помогла балтийская авиация. Бывший одноклассник Маринеско еще по дивизиону «малюток» П. А. Сидоренко был в то время прикомандирован к штабу балтийских ВВС и передал на «С-13» координаты обнаруженного воздушной разведкой движущегося корабля. Координаты, конечно, приближенные: корабль в любую минуту может изменить и скорость и курс,

а подводная лодка выходит на связь лишь в строго определенное время. Тем не менее сведения представляли ценность. Установлено было, что крейсер типа «Эмден» в окружении шести эсминцев движется курсом 250° в сторону Германии. Это мог быть корабль, брошенный фашистским командованием на поддержку войск курляндской группировки или, еще вероятнее, для эвакуации и переброски этих войск на защиту жизненно важных центров в самой Германии. Александр Иванович приказал штурману рассчитать три варианта, учитывая возможности изменения курса цели и ошибок в определении этого курса воздушной разведкой. Все это осложняло задачу.

В 22 часа 15 минут 9 февраля цель была наконец обнаружена. Акустик доложил: слышен шум винтов большого корабля. Пошли на сближение, и вскоре сигнальщики увидели крейсер в сопровождении трех эсминцев, установить, сколько их было на самом деле, не позволяла плохая видимость.

«Когда цель стала доступна наблюдению,— говорит Н. Я. Редкобородов (я снова прижимаю к уху «микрорекордер» и слышу его четкую, слегка скандирующую речь, такой же четкостью отличается его почерк, в этом есть что-то профессиональное, штурманское; четкость и точность — родные сестры),— нам сразу стало ясно, что оптимальнейший из задуманных вариантов — пересечь курс цели в 30 кабельтовых по носу — неосуществим. Цель была обнаружена в 20 кабельтовых, для выхода в атаку носовыми аппаратами времени не оставалось. Немедленно командир принял другое решение — пересечь курс цели за кормой. Это решение меняло весь план атаки, но имело и свои преимущества, в частности, оно давало возможность точнее определить курс цели. Александр Иванович скомандовал «лево на борт!», и с этого момента началась погоня, в чем-то схожая с недавней погоней за лайнером. Опять полный ход в крейсерском положении, опять форсируем двигатели, чтобы выжать из них девятнадцать узлов. Только видимость лучше, чем в ту снежную ночь, и приходится помнить, что на близком расстоянии от цели движется сильное охранение. Как было потом установлено, шли новейшие эсминцы типа «Карл Галстер», снабженные всеми современными средствами наблюдения и обнаружения. Охранение очень затрудняло выбор способа атаки и расстояния, с какого следовало стрелять. Вы, конечно, знаете: подводные лодки стреляют торпедами с дистанции от четырех до восемнадцати кабельтовых. Подойти ближе — можно пострадать от взрыва самим, стрелять издалека — больше шансов промахнуться. Маринеско решил стрелять кормовыми. В этом тоже был известный риск, носовых аппаратов четыре, кормовых — два. Четыре больше двух, если по арифметике, то вдвое, в бою же таблица умножения подвергается существенным коррективам в зависимости от конкретной обстановки. Бесспорно, выпустить четыре торпеды вместо двух заманчиво — резко повышается вероятность попадания. Если же из двух торпед в цель попадет только одна — этого может оказаться недостаточно, чтобы потопить такой крупный корабль. И все-таки Маринеско решил стрелять кормовыми. На расстоянии четырех—шести кабельтовых от цели шел сильный конвой, и невероятно, чтобы он не сделал выводов из ошибок конвоя, сопровождавшего «Густлова». Конвой очень мешал лодке, невозможно было, оставаясь незамеченными, повернуть на боевой курс для стрельбы четверью. Решаясь на двухторпедный залп, Маринеско рассчитывал на то, что стрельба будет снайперской. Было у атаки кормовыми аппаратами еще одно преимущество — она позволяла быстрее уйти в открытое море и, таким образом, оторваться от преследования. Повторить принесшие успех при атаке на «Густлова» хитрые маневры было невозможно. К тому же командир отлично понимал: даже за несколько дней, прошедших после атаки на лайнер, немцы сделали свои выводы. Оперативный режим стал заметно жестче, усилена поисковая ударная авиация, в море высланы дозоры. По-

этому мы больше не ходили прямыми курсами, и командир даже в свежую погоду вел лодку противолодочным зигзагом».

Слушая Николая Яковлевича, отмечаю одну общую для всех участников похода черту. О личной храбрости командира они не говорят. Она — вне обсуждения. Если же они хвалят его за смелость — то за смелость решений.

Храбрость бывает разная. Когда в дни моей молодости о ком-то говорили как о человеке безрассудно храбром, я воспринимал это как высшую похвалу. И лишь позже, в годы войны, стал понимать, что трезвый расчет не противоречит храбрости. Безрассудство предполагает забвение опасности, но не большее ли мужество проявляет командир-подводник, ни на минуту о ней не забывающий, но умеющий противопоставить ей свое хладнокровие и высокий профессионализм? Настоящие герои часто принимают опасные решения, но не потому, что они опасные, а потому, что они оптимальные. Все как в шахматах: тот, кто хочет выигрывать у сильного партнера, должен рисковать. Чем крупнее цель, тем сильнее охранение. Беседа с моряками, вернувшимися из боевого похода, я почти никогда не слышал, чтоб кто-нибудь объяснял свой успех храбростью. Всегда целесообразность. Здесь нет противоречия, война показала: в большинстве случаев смелые решения оказываются и наиболее целесообразными.

«Залп, произведенный из кормовых аппаратов в 22 часа 50 минут, был исключительно метким. Попали в цель обе торпеды, взрыв был такой силы, что крейсер затонул в течение считанных минут. С мостика «С-13» были видны два высоких султана, а затем один за другим раздались еще три мощных взрыва, вероятно детонировал боезапас. На этот раз Маринеско предпочел не маневрировать в подводном положении, а, пользуясь замешательством в стане противника, резко оторваться от района атаки. Вместо срочного погружения он скомандовал «полный вперед!» и на полном крейсерском ходу под дизелями ушел в открытое море».

Маринеско еще не знал ни названия, ни класса потопленного им судна, но не сомневался, что это был крупный военный корабль. Таким образом, «С-13» точно выполнила боевой приказ: искать и уничтожать в первую очередь боевые корабли, а также корабли, перевозящие войска. Как стало впоследствии известно, на борту вспомогательного крейсера «Генерал Штойбен» водоизмещением 14 660 тонн находилось около четырех тысяч отборных фашистских войск.

У «С-13» еще оставались торпеды, но автономность лодки была полностью исчерпана и пришло время возвращаться на базу. У командира было легко на душе, он имел все основания рассчитывать на сердечную и даже торжественную встречу. Успех его окрылил, и он всячески давал понять экипажу, что этот поход не последний, до конца войны лодка успеет еще раз выйти в море.

Встретили вернувшихся с победой и впрямь хорошо. Рандеву обошлось без недоразумений. Командир дивизиона А. Е. Орел вышел на катере встречать «С-13» и, сойдя на лед, крепко обнял Маринеско. Торжества были скромные, в чужом порту особенно не разгуляешься, но был и банкет с традиционными жареными поросятами, и дружеские объятия, и многозначительные намеки на предстоящие высокие награды. Подразумевалось, что все прошлые провинности Александра Ивановича забыты и в новый поход он пойдет приумножать славу «С-13», к тому времени уже единственной «эски» на Балтике.

За январский поход Александр Иванович был награжден орденом Красного Знамени. Орден прекрасный, но вспомним, что первый поход Маринеско на «М-96», несравнимый по результатам с январским походом «С-13», был оценен выше. Соответственно, снижены были награды другим участникам похода.

После войны я имел возможность поделиться своим недоумением

почти со всеми прямыми начальниками Александра Ивановича, людьми заслуженными и авторитетными. Исчерпывающего ответа я не получил. Никто из них не ссылаясь на недостаточную осведомленность, не оспаривал заслуг героя. Говорилось о нетерпимых, порочащих честь советского офицера проступках капитана 3 ранга Маринеско. Об этих проступках я знал, и мне нечего было возразить.

А ясность все не приходила.

В своей прекрасной статье «Атакуют «С-13», опубликованной в 1968 году в журнале «Нева», бывший министр Военно-морского флота, Герой Советского Союза Н. Г. Кузнецов писал: «История знает немало случаев, когда геройские подвиги, совершенные на поле боя, долгое время остаются в тени и только потомки оценивают их по заслугам».

Мысль безусловно справедливая и имеющая прямое отношение к подвигу Маринеско.

«Бывает и так,— сказано в статье,— что в годы войны крупным по масштабам событиям не придается должного значения, донесения о них подвергались сомнению и приводят людей в удивление и восхищение значительно позже».

И это совершенно верно. Смущает меня только одно: насколько я могу судить, донесения Маринеско о январском походе 1945 года сомнению не подвергались. О торпедных залпах «С-13» командование знало раньше, чем Маринеско и Крылов вернулись на базу и сели писать отчеты. «Вильгельм Густлов» — не иголка, о его судьбе тогда же стало известно из газет и радио. Даже у Гитлера не было сомнений. Он не только приказал расстрелять начальника конвоя, но и объявил Маринеско врагом рейха и своим личным врагом — аттестация, которой можно только гордиться.

В свое время, приступая к работе над книгой, И. С. Исаков завел для материалов о Маринеско специальную папку. Только из статьи Н. Г. Кузнецова я узнал, что незадолго до своей смерти он передал ее Николаю Герасимовичу и посоветовал «при случае вернуться к недостаточно освещенному крупному событию на морском театре войны и написать о необычной судьбе героя, совершившего замечательный подвиг». То, что Иван Степанович передал папку не мне, своему соавтору, а одному из выдающихся флотоводцев Отечественной войны, было решением совершенно правильным. Николай Герасимович выполнил завет своего друга и соратника, его статья, на мой взгляд, — акт высокого гражданского мужества. Не надо искать в ней зеркального совпадения с оценками Исакова, ценно в ней основное — искреннее желание исправить историческую ошибку и готовность пересмотреть сложившиеся представления о личности героя.

Я не хочу приуменьшать немалые провинности Маринеско, как не отрицал их никогда и сам Александр Иванович. Настораживает меня вот что: самые тяжелые проступки Александра Ивановича, за которые он бесспорно заслуживал сурового наказания, были совершены после награждения и даже еще позже — по возвращении из последнего похода. Будь это не так, его бы не выпустили в море. Остается предположить, что на сниженную оценку подвига Маринеско повлияла его прежняя, не забытая и не прощенная вина — новогодний загул в Турку. Так, во всяком случае, воспринял это Александр Иванович.

Не здесь ли надо искать истоки многих ошибок? Ошибок, так сказать, обоюдных, из коих одна тянула за собой другую. Не произошло ли тут своеобразного «вычитания»? Из подвига «вычли» провинность.

Никто не будет отрицать права административных и партийных органов учитывать при представлении к наградам не только профес-

сиональные заслуги, но и бытовое поведение. В повседневной жизни так обычно и поступают: заслуги минус проступок. Все это в порядке вещей. Но стоит изменить масштабы — и подобная арифметика сразу обнаруживает свои слабые стороны. Из настоящего подвига ничего вычесть нельзя. Он остается в памяти народной целиком.

Масштаб подвига «С-13» с годами становится все нагляднее. В названной уже статье Н. Г. Кузнецова мы читаем:

«Я помню, как на первом же заседании в Ливадийском дворце в Ялте Черчилль спросил Сталина, когда советские войска захватят Данциг, где сосредоточено большое количество строящихся и готовых немецких подводных лодок. <...> Данциг был одним из основных гнезд фашистских подводных пиратов. Здесь же находилась и Германская высшая школа подводного плавания, плавучей казармой для которой служил лайнер «Вильгельм Густлов»».

Далее в статье говорится: «Половину пассажиров лайнера составляли высококвалифицированные специалисты — цвет фашистского подводного флота». Таков масштаб. Понятен интерес Черчилля. Если б Черчилль поинтересовался также, кто потопил «Густлова», спасая тем самым Великобританию от морской блокады, то среди советских моряков, награжденных высшими британскими орденами, мог быть и Александр Маринеско.

Легче всего предположить, что Александр Иванович обиделся за недооценку своих заслуг, а обидевшись, пустился во все тяжкие, стал выпивать, грубить и нарушать дисциплину. Понимать его так значит очень упрощать этот сложный характер. Конечно, он был обижен, но не за то, что «мало дали», а за то, что припомнили старое. «И команде скостили, а она-то при чем?» — говорил он мне. Вины он с себя никогда не снимал, хотя и считал, что январский поход — достаточное искупление всех его прошлых провинностей. Он знал случаи, когда высшие награды получали настоящие штрафники, осужденные за тяжкие преступления, и недоумевал. Концы с концами не сходились, и ответа на свои недоуменные вопросы он ни у кого получить не смог.

Что же случилось с подводным асом, с подводником № 1 (этих званий у него никто отнять не может)? Попробую во всем этом разобраться, опираясь на признания самого Александра Ивановича и на свидетельства людей, его близко знавших. И начну, нарушая хронологию, с последнего похода «С-13».

«С-13» вышла в море 20 апреля, раньше никак нельзя было, потрапанные во время последнего похода механизмы требовали ремонта. На этот раз ремонт производился не своими силами, а на прекрасно оборудованных финских заводах «Валтион Лайва Теллака» и «Крейтон Вулкан», занял он около трех месяцев. Нельзя сказать, что все эти месяцы команда бездельничала, но свободного времени стало заметно больше. Александр Иванович, всегда следивший за тем, чтобы команда не болталась без дела, был лишен возможности проводить тренировки с прежним размахом и сам впервые за много лет был обречен на непривычную для себя праздность. А где праздность, там и скука. Он не работал и не отдыхал — для активных натур, подобных Маринеско, это состояние опасное. Появились деньги — и немалые, на эти деньги куплена автомашина, через несколько дней игрушка ему уже приелась, ездить было некуда и не к кому. За время подготовки к апрельскому походу Александр Иванович еще не давал серьезных поводов для недовольства. То, что в апрельском походе участвовал начальник подводных сил Балтфлота контр-адмирал А. М. Стеценко, вряд ли можно рассматривать как форму контроля, «обеспечивать» Маринеско не нужно было. Но сам Александр Иванович воспринял появление на лодке старшего начальника болезненно. Теперь ему всюду чудилось недоверие.

Выход в море совпал с награждением корабля орденом Красного Знамени, и экипаж был настроен по-боевому. Мечтали в новом походе завоевать гвардейское звание. Но поход не оправдал надежд. Нельзя сказать, что надежд не оправдали подводники, поход этот не увеличил боевой счет «С-13», но принес свою пользу, даже после 9 мая лодка оставалась на позиции, выполняя ту самую незаметную, но необходимую работу, какой в преддверии войны занимался Маринеско на «малютке». А по своей напряженности этот поход не уступал предыдущим. Лодка ни разу не вышла в торпедную атаку, но по количеству атак, которым подвергалась она сама, можно понять, что пришлось испытать экипажу. За десять дней, с 25 апреля по 5 мая, подводная лодка «С-13» уклонилась в общем и целом от четырнадцати выпущенных по ней торпед. Трудно предположить, что под конец войны немецкие подводники разучились стрелять; четырнадцатью торпедами можно потопить целую эскадру, и если ни одна из них не попала в «С-13», то этого никак не объяснить везением. Гораздо правдоподобнее самое простое объяснение — сказалась бдительность и стличная выучка экипажа.

Почему в этом последнем походе «С-13» ни разу не вышла в атаку? Об этом пусть судят специалисты. Сам Александр Иванович от ответа на этот вопрос уклонялся. Нетрудно понять почему. Как сложились отношения между ним и ныне покойным контр-адмиралом, мы не знаем и никогда не узнаем, все споры, а они несомненно были, происходили с глазу на глаз в командирском отсеке, при заdraенных переборках, и до экипажа доносились только слабые отзвуки. Пере-сказывать эти споры, даже в доверительной беседе, Александр Иванович считал некорректным. В случае настоящего конфликта у него было предусмотренное уставом право — записать в корабельный журнал, что он снимает с себя командование. С этого момента экипаж выполнял бы только указания старшего начальника. Такой записи сделано не было, а кивать на других, вышестоящих или нижестоящих, было не в правилах Маринеско, он привык всю ответственность брать на себя. У команды, а она, как известно, все видит и все примечает, осталось в памяти, что командир в первой половине похода был хму-роват и реже, чем обычно, появлялся в отсеках, это отражалось и на настроении команды, а затем все утонуло в объединившей всех, от адмирала до матроса, радости Победы, долгожданной Победы с большой буквы. Отпраздновали это великое событие, лежа на грунте, но с соблюдением всех правил и предосторожностей. Обязательных в боевом походе, о том, чтобы покидать боевые посты и свободно передвигаться по лодке, не могло быть и речи, поздравлять командира и друг друга ходили из отсека в отсек по очереди. Команде было выдано по сто граммов, но и без того настроение у всех было превосходное. Маринеско еще раз ощутил, как любит его и гордится им вся команда, но в такой день хочется большего. Хотелось замешаться в самую гущу победившего народа все равно где, в Москве или еще лучше, в Бер-лине, увидеть ее, эту долгожданную Победу, воочию, но Маринеско уже понимал, что возвращение лодки на базу будет не таким праздни-чным, как в феврале.

Впрочем, и самое возвращение затянулось. Несмотря на повсе-местное прекращение военных действий, командование сочло нецеле-сообразным досрочно отзывать подводные лодки с занимаемых пози-ций, и Александр Иванович закончил войну так, как ее начал, — в до-зоре.

После всплеска радости, вызванного донесшейся до морских глу-бин вестью о Победе, слишком рано наступили будни. Страна еще ликовала, те моряки, которым посчастливилось дойти до крупнейших германских портов, а с переброшенными на Шпрее кораблями Днеп-ровской флотилии — до самого Берлина ощутили это победное ликова-ние особенно ярко. На их глазах догорал рейхстаг, очищались от

фашистской нечисти подземные бункеры, рушился «тысячелетний рейх», шли на восток колонны освобожденных пленников и узников концлагерей, закладывались еще неясные основы будущей Германии и новых отношений между европейскими народами. Увидеть это своими глазами Александру Ивановичу не пришлось, хотя по складу характера, по живости заложенного еще в раннем детстве интереса к жизни других народов ему это было необходимо. Страстно хотелось какого-то праздника, который вознаградил бы его и весь экипаж за годы лишений, позволил бы хоть на время освободиться от ставшего уже привычным физического и нервного напряжения. «Завидую вам», — сказал мне Александр Иванович, когда в одну из наших встреч я поделился с ним своими впечатлениями о Берлине мая сорок пятого года. Это он, столько сделавший для разгрома врага, мне — рядовому газетному корреспонденту.

Будничным по сравнению с предыдущим походом было и возвращение на базу. Отчет командира был принят сдержанно. Вероятно, к нему не было серьезных претензий, но такова уж судьба человека, недавно имевшего громкий успех: от него ждут еще большего. Первая неудача рассматривается как неуспех, а предшествовавший ей успех всего лишь как удача. Какую оценку действиям командира дал контр-адмирал, я не знаю, вероятно, неплохую, достоверно известно мне только одно: награды за этот поход получили лишь двое из участников, самый старший и самый младший. Контр-адмирал был награжден орденом Нахимова, а юнга Золотарев — Нахимовской медалью.

О том, каким образом на лодке появился Миша Золотарев, стоит рассказать хотя бы потому, что в этой истории ярко отразились некоторые черты характера Маринеско. На подводных лодках юнги вообще по штату не положены. Приключения юного Миши могли бы послужить материалом для большого очерка, но моя задача в другом, поэтому ограничусь сокращенной записью беседы с приехавшим на встречу ветеранов «С-13» инженером из города Норильска Михаилом Геннадиевичем Золотаревым:

«Война застала нашу семью на старой польской границе. Отец ушел добровольцем на фронт, а мать со мной и трехлетним братом перебралась в Ленинград, где нас захватила блокада. В декабре мать слегла, и я стал главой семьи. Весной матери стало совсем плохо, и ее увезли в больницу. В день своего рождения (мне исполнилось одиннадцать лет) я пошел ее навестить, но в палате уже не нашел. Пустили в морг — ищи. Три часа искал и нашел. Вынесли меня оттуда без сознания. Брата взяли в детсад, а мне повезло, встретил на набережной моряка, он привел меня к себе домой, накормил и отвел в порт на торговое судно. Но я всей душой стремился на военный корабль и добился своего, меня взяли юнгой на катер-охотник. На катере я делал самую грязную работу, а в свободное время учился сигнальному делу. С катерниками дошел до Финляндии. В Ханко впервые увидел вблизи подводные лодки — и влюбился. Набрался храбрости и пошел к Маринеско, о нем уже тогда шла слава как о замечательном командире. На мне была доходившая мне до колен канадка, а башмаки сорок второго размера. Узнав о моем желании служить на подводной лодке, Александр Иванович посмеялся: «А ты что-нибудь умеешь?» «Сигнальщик умею». Это все решило. Командир отдал меня под начало к сигнальщику Виноградову. Он меня многому научил, но по характеру оказался слишком мягок, и я разболтался. Командир это заметил и передал меня в подчинение радисту Сергею Николаевичу Булаевскому, тот был построже и, бывало, сажал меня на два часа в подводный галюн, вроде как в карцер.

В январском походе я не был, не взяли, а в последний поход я увязался тайком: спрятался в этот самый галюн и вылез оттуда, когда лодка была уже в море. Ну, конечно, кое-кто из команды знал, без этого бы ничего не вышло. Александр Иванович сперва очень рас-

сердился, а потом простил — за отчаянность. Он «отчаянных» любил. Адмирал тоже не возражал.

В походе Александр Иванович относился ко мне с трогательной заботой. Давал поглядеть в перископ, разрешал даже подняться на мостик. В боевом походе на мостике не должно быть лишних людей, но я брался тащить наверх бурдюк из-под дистиллированной воды, служивший нам в подводном положении «парашей». Весил этот бурдюк килограммов до тридцати, и Виноградов по доброте душевной мне иногда помогал.

Глядя на командира и дружный экипаж корабля, я не испытывал страха, хотя поход был тяжелый, много раз я слышал скрежет мин-репа, скользившего по корпусу лодки, знал, что вражеские подлодки стреляли в нас торпедами. В моменты смертельной опасности все видели кладнокровие и железную выдержку Александра Ивановича, а в более спокойное время — его человечность и внимание к людям. Александр Иванович остался для меня примером на всю жизнь, и если я не свихнулся и, несмотря на многие препятствия, чего-то достиг, то этим я больше всего обязан Александру Ивановичу, научившему меня не отступать перед трудностями».

Таким на десятилетия запечатлелся в памяти четырнадцатилетнего юнги командир «С-13». А между тем оставалось меньше года до того дня, когда капитан 3 ранга Маринеско будет снижен в звании до старшего лейтенанта и отстранен от командования кораблем. Что же произошло за этот победный год, как могло случиться, что человек, вызывавший любовь и восхищение у большинства людей, близко с ним соприкасавшихся, оказался вне флота? Однозначного ответа на это нет и быть не может. Все произошло в результате сплетения множества различных обстоятельств. В ряде случаев ошибки делались даже людьми доброжелательными и высокопорядочными. Самые очевидные и, быть может, самые непоправимые совершил сам Александр Иванович. Но идет время, и чем дальше, тем большему числу людей становятся видны реальные масштабы событий, а отсюда и желание в них пристальнее разобраться.

Можно оспорить вызванные неполной или неточной информированностью отдельные частности в упомянутой уже статье Н. Г. Кузнецова. Никогда Маринеско не воспитывался в детском доме, неверно, что он «не сумел найти себя в гражданских условиях», его многолетняя успешная работа на заводе «Мезон» опровергает такой вывод. Но все это несущественно. Даже не располагая исчерпывающими данными, Н. Г. Кузнецов, сам человек героического склада и моряк до мозга костей, не мог не угадать в Маринеско крупную личность. А угадав, не мог не признать, что судьба Маринеско вполне могла сложиться иначе. «Он попал в заколдованный круг, — сказано в статье. — А мы, нужно признаться, не помогли ему из него выбраться, хотя Маринеско этого заслуживал».

Дорогого стоит это «мы». Не всякий на него способен.

Проследим, как начал стягиваться заколдованный круг. Вернее, не начал, а продолжал.

До последнего похода кризис в настроении Александра Ивановича только назревал. Временами он скучал и томился, но впереди был выход в море и это заставляло подтягиваться. После возвращения настроение у него не улучшилось. В физике известно такое явление, когда одна световая волна, накладываясь на другую, гасит ее. Называется это, кажется, интерференцией. Поход не только не прибавил славы кораблю и его отважному командиру, но вопреки логике отбросил тень и на его недавние подвиги. От «С-13» как от команды-фаворита болельщики ждали новых побед, первая ничья насторожила. Всегда находятся недоброжелатели и завистники. Они зашевелились. Ревнители строгих нравов вспомнили старые грехи. Вновь возник ше-

поток: Маринеско подвержен буржуазным влияниям. Доказательство: тянется к финнам, восторженно говорил о порядках на финских верфях... Заглядываю в свой дневник и нахожу запись разговора с Александром Ивановичем:

«Идет, понимаете, по лодке инженер, а за ним мастер с блокнотом. Инженер смотрит, щупает, бурчит что-то по-своему, мастер пишет. Ладно, говорит инженер, завтра начнем. Как, говорю, а ведомость, а смета? — Этого, говорит, нам не нужно. Вы же хотите, чтоб скоро делать? — Эх, прямо зависть берет...»

Вполне понимаю, что Маринеско с его обостренным неприятием всякой бумажной волокиты, с его привычкой доверять и пользоваться доверием не мог не оценить спокойной деловитости финских корабелов. Никаким низкопоклонством тут и не пахло. Да и откуда ему было взяться? Команде «С-13» приходилось под огнем противника решать задачи потруднее — и тоже без всяких смет и ведомостей.

Установленные для стоявших в финском порту плавбаз суровые казарменные порядки вызывали у него раздражение, и он своей властью, под свою личную ответственность отпускал небольшие группы моряков на берег. Это называлось «ходить на размагничивание». После чудовищного перенапряжения всех сил, после скованности и тесноты подводника неудержимо тянет погулять, почувствовать какую ни на есть свободу. Маринеско это понимал, а команда ценила доверие и старалась не подводить командира.

Но сам командир доверия командования не оправдал. Одна за другой следуют самовольные отлучки, выпивки в сомнительной компании, конфликты с начальством. Вряд ли есть нужда их все перечислять. В составе парткомиссии, дважды обсуждавшей проступки Маринеско, были его близкие друзья, например В. Е. Корж, в их объективности не приходится сомневаться. После перехода дивизиона на новую стоянку поведение Маринеско становится еще более скандальным, в одном из приказов того времени о нем говорится как о зачинщике пьяной драки. «Заколдованный круг» стягивался все туже, и попытки разомкнуть его если и делались, то явно не имели успеха.

Какая муха укусила в то время одного из лучших командиров Балтийского флота и почему он так упрямо шел навстречу надвигающемуся краху? Об этом мы много и откровенно говорили с Александром Ивановичем во время его ночной исповеди в Кронштадте. Он был беспощаден к себе и отрицал только явные нелепости. Не отрицал он и того, что все началось с обиды. Не столько за себя, сколько за команду. Обиды за то, что после январского похода не подвели черту под его старыми грехами. Александр Иванович не лгал, когда писал мне, что не считает себя героем, трудно предположить, чтоб он так уж болезненно переживал отсутствие у него высшей награды. Конечно, обида была, и прав Н. Г. Кузнецов, говоря, что никакая обида не оправдывает недостойного поведения. Маринеско и не пытался себя оправдывать. Но справедливо ли все сводить к одной обиде? Была еще огромная усталость от непрерывной ответственности и нервного перенапряжения, одиночество (семья к тому времени распалась), душевное неустройство, желание хоть на короткое время отвлечься, отвести душу, кутнуть хорошенько...

Написал слово «кутнуть» и перепугался. Когда писал об одном прекрасном советском актере — не боялся, а тут одолели сомнения. Применим ли глагол «кутить» к нашему офицеру? В великой русской литературе прошлого века он применялся не всегда в осуждение. Кутили многие наши любимые герои, в том числе и офицеры. Покучивали, когда заводились деньги, и сами великие писатели. Я все понимаю: другая эпоха, другой классовый состав героев; но так ли уж мы правы, позволяя нашим героям быть в бою Болконскими, Ростовыми, Долоховыми и в то же время требуя от них, чтобы в быту они все

превращались в капитанов Тушиных? Не забываем ли мы, что когда привычных к действию людей начинает одолевать хандра, то их энергия, не находя законного выхода, обращается в дурную сторону?

Не я первый выражаю вслух такие еретические мысли. В сорок втором году прибыл к нам на Балтику начальник Главного Политуправления ВМФ армейский комиссар 2 ранга Иван Васильевич Рогов. С этим могущественным человеком я за время своей службы встречался дважды и сохранил о нем добрую память. Во флотских кругах его называли Иваном Грозным — и не без оснований. Он был действительно крутенок, но в нем привлекала оригинальность мысли, шаблонов он не терпел. Летняя кампания была в то время в разгаре, у подводников были успехи. Разобравшись в обстановке, Рогов выступил на совещании работников Пубалта с поразившей всех речью. «Снимите с людей, ежедневно глядящих в глаза смерти, лишнюю опеку,— говорил он.— Дайте вернувшемуся из похода командиру встряхнуться, пусть он погуляет в свое удовольствие, он это заслужил. Не шпыняйте его, а лучше создайте ему для этого условия...» Речь армейского комиссара была воспринята с интересом, но и с недоверием. И даже воспринятая как директива, больших последствий не имела.

Маринеско скучал и хандрил. Больше всего его угнетало, что его старая вина не прощена и не забыта, и из упрямства отвечал на это новыми нарушениями дисциплины и нелепыми выходками. Тяга к алкоголю, объясняемая раньше простой распущенностью, принимала уже болезненный характер. Появились первые признаки эпилепсии. Пил и безобразничал уже больной человек. Только этим я объясняю, что Маринеско, всегда верный данному слову, дважды давал командованию и парткомиссии слово исправиться и дважды его не сдержал.

Переход на новую стоянку мог внести свежий ветер в накаляющуюся вокруг Маринеско атмосферу. Александр Иванович очень тосковал по родине. Правда, освобожденная Прибалтика не была для него такой знакомой и родной, как Ленинград или Одесса, но все-таки это была своя, советская земля. Но, как на грех, возвращение на родину началось с проществия, по тем временам чрезвычайного. Эпизод этот, рассказанный мне бывшим электриком «С-13» В. И. Величко, свидетельство того, что помимо его собственных срывов Александру Ивановичу еще и «везло» на конфликты.

«Лодка пришла из Турку то ли в субботу, то ли в воскресенье, и сразу же было объявлено: никаких увольнений. Разочарование было всеобщее — всем осточертела жизнь на чужой земле, хотелось походить по своей. Уступая настойчивым просьбам, командир отпустил на берег троих мотористов — это была дружная компания, Александр Иванович знал — ребята его не подведут. А через некоторое время, надев парадную форму со всеми орденами отправился в город и сам. В городском парке к нему привязался помощник коменданта города, известный всем самодур и грубиян впоследствии разжалованный за различные злоупотребления. Маринеско был абсолютно трезв, помкоманданта «на взводе» и хамил. Спокойствие и независимая манера нашего командира привели того в бешенство он пытался задержать Александра Ивановича и даже схватил его за руку. Случайно это увидела прогуливавшаяся в парке дружная тройка мотористов: «Нашего командира обижают!» В результате все пятеро оказались в комендатуре. Командира отпустили немедленно но матросов тут же отправили на гауптвахту. Десять суток строгого ареста. Командир оказался в сложном положении. С одной стороны, ребята его здорово подвели, с другой — оставить их в беде было не в его правилах. На другой день он написал объяснение начальнику гарнизона, и хотя матросы были бесспорно виноваты, поведение помкоманданта бросало тень на всю комендатуру, там это поняли и строгости кончились: еду арестованным носили с плавбазы, а вскорости и вовсе выпустили.

Однако если ребята рассчитывали вернуться на лодку героями, то жестоко обманулись. Командир устроил им суровый разнос. Для обожавших командира матросов это было похуже гауптвахты».

В этом эпизоде все достоверно, потому что очень похоже на Александра Ивановича. Не сомневаюсь, он был трезв, иначе ему бы не выйти из комендатуры. Из-за чего же возник конфликт в парке? Вероятно, избалованный властью помкоманданта решил, что Маринеско отвечал ему дерзко.

Несколько слов о дерзости. Дерзость — понятие не однозначное. Все атаки Маринеско были дерзкими, и в этом их неоспоримое достоинство. В быту, в обиходе представление о дерзости более размыто. Я что-то не припомню ни одного взыскания, сформулированного так: за дерзость. Тем не менее — дерзость карается.

По моим наблюдениям, дерзость Маринеско заключалась прежде всего в органически присущем ему чувству человеческого равенства. Он ценил людей не по занимаемому ими положению, а по их достоинствам. Применительно к нижестоящим это качество называется демократизмом, в отношениях с вышестоящими нередко оборачивается дерзостью. Всякому начальнику лестно, а не слишком уверенному в себе тем более, чтоб его хоть немного боялись. В глазах Александра Ивановича, даже когда он признавал свою вину, нельзя было увидеть ни тени страха или подобострастия. Верный обычаям своего детства, своей вины он никогда не отрицал, скорее мог взять на себя чужую, и в его нежелании выкручиваться тоже чудилась какая-то дерзость. Не утверждаю, что Маринеско был всегда прав. Его нередко бесило, когда кто-то из сверстников, получив повышение, заметно менялся и заговаривал начальственным тоном. Самому Маринеско это было чуждо, и он не умел понять, что в некоторых случаях сие, увы, неизбежно и, ставши прямым начальником, вчерашний дружок уже не может, а в некоторых случаях даже не имеет права оставаться для Саши Маринеско прежним Васей или Петей.

Но все это, так сказать, в скобках. Далеко не все «чепе» оканчивались так благополучно. Маринеско уже не владел собой, в течение нескольких месяцев он ухитрился совершить больше серьезных проступков, чем за всю свою многолетнюю службу. Последняя его пьяная выходка исчерпала терпение начальства: Маринеско явился на базу после самовольной отлучки в какой-то случайной компании, спьяна нагрубил исполнявшему обязанности комдива офицеру и отказался извиниться — в общем, закусил удила. Комбриг докладывает командующему флотом. Решение: снизить в звании до старшего лейтенанта и направить на должность помощника на другую лодку. Решение было даже не чересчур суровым, выносившие его военачальники ценили Маринеско, хотели сохранить его для подводного флота и, вероятно, искренне считали, что у них нет другого выхода. Но для Александра Ивановича перспектива расстаться с «С-13» и попасть под начало к какому-то другому командиру корабля была непереносима. Свои многочисленные вины он сознавал, мучился оттого, что доверие к его словам и клятвам подорвано. Как признавался мне впоследствии Александр Иванович, он сам с трудом разбирался в своих чувствах, ему казалось, что он может не вынести своего нового, унижительного на его тогдашний взгляд положения, сорваться и окончательно погубить свою репутацию. Чувство вины мешалось с обидой, вина не позволяла считать себя только обиженным, обида мешала чувствовать себя только виноватым. Изменился не характер Маринеско, произошел какой-то надром в его физическом и душевном состоянии.

«Наказание в данном случае не исправило человека,— писал в своей статье Н. Г. Кузнецов.— Оно сломало его. Спасательный круг не был подан вовремя».

В статье не сказано, встречался ли Николай Герасимович с Ма-

ринеско. Тем не менее такая встреча была. Рассказывал мне об этой встрече и он сам и Нина Ильинична, знали о ней и офицеры на лодке.

Узнав о своем разжаловании, Маринеско заметался. Выяснил, что Н. Г. Кузнецов в Ленинграде, и загорелся: еду к наркому! Зачем? Протестовать? Каяться? Он и сам это толком не знал. За рулем своего «форда» Маринеско помчался в Ленинград и сумел добиться приема.

Николай Герасимович разговаривал с Маринеско долго и по-отечески. Маринеско он не знал, но что-то в его характере угадал. И нашел промежуточное решение — назначить его не помощником, а командиром, но не на лодку, а на тральщик. «Послужите год, — сказал ему Николай Герасимович, — проявите себя с самой лучшей стороны, и мы вернем вас на лодку». Решение было мудрым во многих отношениях — с одной стороны, оно не отменяло приказа, с другой — сохраняло Александру Ивановичу привычную для него самостоятельность, притом, что немаловажно, в другой среде, в отрыве от сложившихся и запутанных отношений, от безоговорочно сочувствующих и столь же безоговорочно осуждающих взглядов. Как знать, не был ли это спасательный круг? Но Александр Иванович уперся: демобилизуйте.

Это была несомненная ошибка Маринеско. В состоянии упрямого ожесточения ему легко было убедить себя: все решается очень просто — он возвращается туда, откуда пришел, на гражданский флот, и наконец-то добьется исполнения своей мечты — станет капитаном дальнего плавания.

Потребовались годы, чтоб понять свою ошибку. Многие близкие и доброжелательные люди видели ее уже тогда. Но последовал новый приказ — и подводник № 1 оказался вне флота, одинокий, с пошатнувшимся здоровьем и с весьма неясными перспективами. Надломленный, но далеко не сломанный.

Предстояло начинать жизнь заново.

IX. ВНЕ ФЛОТА

О том, как сложилась жизнь Александра Ивановича Маринеско вне флота, я знаю по его рассказам. Правдивость их никогда не вызывала у меня сомнений. Но приступив к работе над книгой, я считал себя обязанным дополнить хранящуюся у меня запись наших бесед и другими свидетельствами. Нужен был, выражаясь флотским языком, второй пеленг.

В Ленинградском пароходстве Александра Ивановича на работу приняли, но поручать ему судно не спешили. Пришлось поплавать помощником капитана. Кроме любопытной встречи с немецким подводником в Щецине, ничего интересного об этих рейсах Маринеско не рассказывал.

Уже в конце семидесятых я попросил бывшего командира прославленной подводной лодки «Лембит» А. М. Матиясевиича, занимавшего до последнего времени ответственный пост в пароходстве, связать меня с людьми, когда-либо плававшими вместе с Маринеско на торговых судах. Обязательнейший и добросовестнейший Алексей Михайлович почти ничем помочь мне не смог. Прошло больше тридцати лет, никого из знавших Маринеско ни на судах, ни на берегу обнаружить не удалось. Пришлось удовлетвориться сухой справкой, составленной по материалам отдела кадров. Судя по справке, Маринеско А. И. в 1946—1948 годах плавал на нескольких судах в качестве помощника капитана, ходил и в заграничные рейсы, но капитаном так и не стал, а затем был уволен в связи с ослаблением зрения. Кривая его служебных успехов шла вниз.

Переход на гражданский флот ожидаемого душевного умиротворения не принес. Начиная военную службу, Маринеско еще то-

сковал по гражданскому флоту, мечты о дальних океанских дорогах не оставляли его. Гражданский флот еще долго оставался для него синонимом свободы. Теперь, когда свобода была возвращена, его все чаще одолевали воспоминания о флоте военном. О службе на подводных лодках, о боевых походах, о друзьях, вместе с которыми были пережиты все самые яркие, самые значительные события недавнего прошлого.

В жизни каждого человека непременно есть свой так называемый звездный час, своя вершина, необязательно совпадающая с высшей точкой карьеры или иным жизненным успехом. Час — обозначение условное, он может длиться и неделю, и месяц, и год. Звездный час — это время, когда все заложенные в человеке силы и способности находят наиболее полное выражение. Отнюдь не самое легкое, не всегда самое радостное время. Многие вспоминают как свой звездный час годы войны и блокады. Для Маринеско таким звездным часом был январский поход, ни забггь, ни перечеркнуть свое прошлое он не мог. И с торговым флотом расстался без большого сожаления, хотя это было расставание с морем.

Надо было приспособиваться к жизни на берегу.

Плавая на судах Ленинградского пароходства, Александр Иванович познакомился с судовой радисткой Валентиной Ивановной Громовой и женился на ней. Вслед за мужем перебралась на берег и жена, вскоре у них родилась дочь Таня.

Зная Маринеско как честного человека, секретарь Смольнинского райкома Никитин предложил ему пойти в Институт переливания крови заместителем директора по хозяйственной части. Хотел добра, а получилось плохо. Директору совсем не нужен был честный заместитель. Его вполне устраивал полуграмотный завхоз, помогавший ему строить дачу и заниматься самоснабжением. Дело прошлое, директора уже нет в живых, поэтому опускаю его фамилию. Пусть он будет К. Намекоев этого К. Александр Иванович понять не захотел, и между ними сразу возникла вражда. Затаенная со стороны К., открытая со стороны Маринеско.

К. долго искал случая избавиться от Маринеско. Это было совсем не просто, в коллективе Института Александру Ивановичу доверяли. Уважали за деловитость и внимание к нуждам сотрудников. На этом К. и подловил Маринеско. Была устроена провокация.

На дворе Института лежали списанные за ненадобностью несколько тонн торфяных брикетов. Вместо свалки Маринеско, заручившись устным разрешением директора, развез эти брикеты по домам наиболее низкооплачиваемых сотрудников в виде предпраздничного подарка. (Напомню: время было послевоенное, Ленинград еще не полностью оправился от блокады, подарок пришелся кстати.) А затем директор быстренько отрекся от данного им разрешения, позвонил в ОБХСС, и Маринеско оказался расхитителем социалистической собственности.

Маринеско вступил в Коммунистическую партию в 1943 году «по боевой характеристике». Коммунистом он был не только по партийной принадлежности, но по самой своей человеческой сути. Был он человек общественный открытый людям. Стяжательство было ему чуждо. Не будучи аскетом, всю свою сознательную жизнь прожил бессребреником.

Из партии его исключили. В последнюю инстанцию, чтобы не отдавать партбилета, Александр Иванович не явился. Партбилет, обернутый в непромокаемую ткань, он засунул в одному ему известную щель и аккуратно замазал свой тайник известкой.

Затем был суд. О заседаниях суда Александр Иванович рассказывал мне с глубоким волнением. Прошло двенадцать лет, а рана еще не зажила.

Прокурор, бывший фронтовик, с боевым орденом, видя, что дело не стоит выведенного яйца, от обвинения отказывается. Оба народных заседателя заявляют особое мнение. Но оставшийся в меньшинстве судья не сдаётся, он куда-то звонит и добивается своего — подсудимого берут под стражу. Дело разбирается в другом составе суда. Приговор — три года. Людей, осужденных на такие сравнительно небольшие сроки, обычно не засылают слишком далеко, но для Маринеско почему-то было сделано исключение — его отправили на Колыму.

«Посадили меня вместе с ворьем и полицаями,— рассказывал Александр Иванович.— Остригли, обрили, обращение как с козлом. Сразу же обокрали, кто — неизвестно: рюкзак, что собрала мне в дорогу жена, оказался пуст. Жена продала все шмотки, купленные нами в заграничных плаваниях, нанимала защитников, обегала весь город. Ничего не помогло...»

Не знаю, жалеть ли, что в шестьдесят первом году у меня еще не было портативного магнитофона? Пожалуй, не стоит жалеть. На магнитную ленту можно записывать допрос, интервью, но не исповедь. Она могла и не состояться. Пришлось мне после бессонной ночи что-то по свежей памяти торопливо записывать. У меня нет оснований сомневаться ни в моей памяти, ни в искренности Маринеско, и если за последние годы я предпринял некоторые попытки проверить рассказанное Александром Ивановичем, то не потому, что я усомнился в правдивости рассказа, а для большей точности и полноты.

Не все мои попытки были успешны. В архиве Ленгорсуда протокола первого судебного заседания не оказалось вовсе, а от второго осталась только копия приговора. Ничего удивительного в том нет — такие мелкие хозяйственные дела не хранят вечно, к тому же судимость с Маринеско была впоследствии снята автоматически, без всякого заявления с его стороны. Но самый приговор меня поначалу смутил. К известным мне торфяным брикетам было подверстано еще другое обвинение — в присвоении принадлежащей Институту кровати стоимостью в 543 рубля. О кровати мне Александр Иванович ничего не говорил. Больше пятисот рублей? Давно не покупал кроватей, но сумма произвела на меня впечатление, по моим понятиям, такая кровать должна была быть по меньшей мере из красного дерева. Затем вспомнил, что судили Маринеско еще до денежной реформы, и успокоился. 54 рубля 30 копеек — это звучало уже не так страшно. Даже если вспомнить указные строгости, даже если поверить, что все эти ценности были похищены у государства с целью личного обогащения, в моем сознании как-то не укладывалось: за этот хлам — на Колыму? Да еще в одном вагоне с последними подонками, с разоблаченными «карателями» и профессиональными бандитами!

Первым моим побуждением было поговорить с кем-нибудь из участников суда. Или хотя бы с кем-то кто на суде присутствовал. Но прошло двадцать лет. Одни умерли, след других затерялся. Общими усилиями моих друзей и помощников не удалось найти никого. Только судью, вынесшую суровый приговор, пожилую женщину, давно вышедшую на пенсию. И та со мной встретиться отказалась, объяснив, что ни Маринеско, ни его дела совершенно не помнит. И добавила: «Если б я знала, что он такой герой, то, наверно, запомнила бы».

Остается предположить, что Александр Иванович не только не ссылался на суде на свои заслуги, но запретил это и своему защитнику. Предположение тем более основательное, что мы знаем: поступив после возвращения с Колымы на завод, Маринеско ни словом не обмолвился о своих военных подвигах. Как явствует из письма

в «Литературную газету», об атаках на «Густаова» и «Штойбена» коммунисты завода впервые услышали только в 1960 году.

Вскоре после попытки поговорить с судьей мне сообщили: бывшая сотрудница Института переливания крови П. А. Михайлова присутствовала на суде над Маринеско и, несмотря на болезнь, готова со мной встретиться. Я поехал к ней домой, застал лежащей в постели, и мы поговорили. Поехал с несомненной пользой, хотя произошло недоразумение — Полина Антоновна на суде над Маринеско не была, а была годом позже, когда судили К., к тому времени окончательно запутавшегося в своих махинациях. К. был приговорен к году тюрьмы. Никакого практического влияния на судьбу Маринеско этот приговор не имел, имя его на суде даже не упоминалось, но для меня рассказ Полины Антоновны лишний раз подтвердил то, что говорил мне о своем конфликте с К. Александр Иванович. А муж Полины Антоновны Федор Иванович Ковшиков, до выхода на пенсию старший научный сотрудник того же Института, сообщил мне нечто еще более интересное. Привожу его рассказ по магнитозаписи:

«В бытность мою членом партийного бюро я хорошо знал Александра Ивановича по общественной работе, и у нас были хорошие отношения. Однажды он попросил меня заехать к нему домой. Мы поехали вместе. Войдя в комнату, он показал мне обыкновенную железную койку и попросил ее запомнить: «Я взял ее во временное пользование, не на чем было спать. А теперь у меня из-за нее могут быть неприятности». После этого посещения я пошел к директору и сказал: «Я видел обыкновенную койку, даже если это институтское барахло, не вижу повода затевать дело» — и получил жесткий ответ: «Это тебя не касается. Я знаю, что делаю». Между Александром Ивановичем и директором шла борьба. Маринеско действовал открыто, директор все делал втихую. Мы, сотрудники, относились к Александру Ивановичу с глубоким уважением не за боевые заслуги, о них мы не знали, а за честность и деловые качества. Плохого о нем не знали и от него не видели».

Еще красочнее о злополучной койке рассказала мне сотрудница Института Мария Николаевна Ильина. С Ильиной я встретился на квартире Марии Гавриловны Гречиной. Гречина и Ильина — соседки и подруги. Обе много лет работали в Институте старшими медсестрами и хорошо знали Александра Ивановича. В оценке едины — честен, деловит, всегда шел навстречу, когда бывали трудности, ободрял: «Все будет в порядке», всегда доброжелательно, с шуточкой. К нему было легко обращаться по любому делу. Ловкачом-доставалой он не был, но к нему хорошо относились люди, он многого добивался, не прибегая ни к каким уловкам.

Случилось так, что Марии Николаевне пришлось участвовать в обыске на квартире Маринеско. Привожу ее рассказ по записи:

«Об аресте Александра Ивановича я ничего не знала. Меня вызвал директор и сказал: «Вы, Мария Николаевна, хорошо знаете хозяйство Института. Вот с этим товарищем (в кабинете сидел незнакомый мужчина в штатском костюме) поедете в одно место и посмотрите, нет ли там чего-нибудь, принадлежащего Институту». Мне не сказали, куда я поеду, мужчина мне не представился и всю дорогу молчал. Приехали на Петроградскую сторону, прошли двором, поднялись по лестнице на 4-й или 5-й этаж, вошли в бедно обставленную квартиру. Нас встретила пожилая женщина, о том, что она теща Александра Ивановича, я узнала только в конце обыска, когда решилась спросить, куда же меня все-таки занесло, и то мужчина на меня прикрикнул: «Не разговаривать!» Обыск был по форме, с ордером и двумя понятыми (дворник и соседка), но им ничего не представляли и они ничего не подписывали.

Мужчина (вероятно, сотрудник ОБХСС) спросил меня: «Что вы

здесь видите из вашего?» «Ничего»,— говорю. Показывает на детский столик из некрашенных досок: «Ваш?» «У нас в Институте таких нет». Теща, волнуясь, говорит: «Это Танюшин. Зять заказывал». «Где?» «Не знаю, на работе, наверное». Стоят две железные кровати, старые, побитые. Такие железные койки были у нас в Институте до войны. Потом их снесли на чердак и после войны списали как негодные. К одной из коек прикручена проволокой жестяная бирка с нашим инвентарным номером. Если б Александр Иванович хотел эту койку присвоить, он бирку сорвал бы. Затем мне велено было пересмотреть всю посуду — посуды нашей не было. Под конец пошли смотреть сарай, искали какой-то уголь, может быть, эти самые брикеты. Сарай был пустой.

Уже на другой день в Институте, без понятий меня заставили подписать протокол. Я подписала про кровать, бирка была наша. Вчерашний мужчина настоял, чтоб я подписала и про столик, хотя неизвестно было, заказывал ли его Александр Иванович на работе, а если заказывал, то из какого материала. Я не удержалась, сказала тому сотруднику: «Зачем вы этим занимаетесь, все это гроша ломаного не стоит». Он ответил: «Мы с вами на службе».

На суде я не была, болела в то время. Не знаю, был ли кто из наших».

Мария Гавриловна (хозяйка квартиры) добавляет: «Хороший был человек. И работник хороший. Выпившим я его никогда не видела. О своих заслугах никогда не говорил. Однажды я увидела его с орденom Ленина, попросила рассказать, за что он его получил. Отпугнулся: «А нечего рассказывать. Была война, тогда многие получали...» На суде я тоже не была. От сотрудников все держалось в тайне, даже от коммунистов. Узнала, когда суд уже состоялся. О конфликте Маринеско с директором узнала позже, после суда. Рассказывали мне, что однажды между ними произошла стычка на людях и Александр Иванович сказал директору: «Я тебе этого не прощу!» Ну а тот понял — пора принять встречные меры».

Я уезжал с Охты, где живут эти славные женщины, с ощущением, что прикоснулся еще к одному пласту людей, знавших и любивших Александра Ивановича, веривших в его человеческую чистоту. Людей, которые обрадуются, прочитав о нем доброе слово.

Но это семьдесят девятый. А в сорок девятом Александр Иванович Маринеско после неудачной попытки обжаловать приговор едет на Колыму в одном вагоне с заядлыми врагами родины.

В моем много раз печатавшемся очерке «Как я стал маринистом» об этом периоде в жизни Александра Ивановича я рассказал по необходимости бегло. Не рассказал, а конспективно пересказал. Сегодня я хочу предоставить слово самому Маринеско по сохранившейся у меня записи. Сделать это я считаю своей обязанностью не потому, что мне хочется сыпать соль на старые раны (кстати сказать, эту формулу придумали не раненые), а потому, что для Маринеско этот период был началом нового духовного подъема. В самые трудные для него годы вновь сказался героический склад его характера, вновь проявились присущие ему качества: стойкость в самых чрезвычайных, грозящих гибелью обстоятельствах и умение вести за собой людей.

Записано наспех авторучкой в клеенчатой тетради, но интонацию Александра Ивановича я все же улавливаю:

«Повезли нас на Дальний Восток. Ехали долго. Староста вагона — бывший полицей-каратель родом из Петергофа, здоровый мужик, зверь, похвалявшийся своими подвигами, настоящий эсэсовец. Вокруг него собрались матерые бандюги. Раздача пищи в их руках. Кормили один раз в день, бандюгам две миски погуще, остальным полмиски пожиже. Чую — не доедем. Стал присматриваться к лю-

дям — не все же гады. Вижу: в основном болото, оно всегда на стороне сильного. Потихоньку подобрал группу хороших ребят, все бывшие матросы. Один особенно хорош — двадцатитрехлетний силач, водолаз, получил срок за кражу банки консервов — очень хотел есть и не утерпел, взял при погрузке продуктов на судно. Сговорились бунтовать. При очередной раздаче водолаз надел на голову старосте миску с горячей баландой. Началась драка. Сознаюсь вам: я бил ногами по ребрам и был счастлив. Явилась охрана. Угрожая оружием, прекратили побоище. Мы потребовали начальника состава. Явился начальник, смекнул, что бунт не против охраны, никто бежать не собирается, и рассудил толково: назначил старостой нашего водолаза. Картина враз переменялась. Бандюги притихли, болото переметнулось на нашу сторону. Раздачу пищи мы взяли под контроль, всех оделяли поровну, прижимали только бандюг, и они молчали.

В порту Ванино уголовных с большими сроками стали грузить на Колыму, нас оставили. В тюрьме многоэтажные нары, верхние полки на пятиметровой высоте. Теснота, грязь, картежная игра, воровство. «Законники» жестоко правят, но с ними еще легче. «Суки» хуже — никаких принципов. Хозяин камеры «пахан» — старый вор, тюрьма для него дом и вотчина. Брал дань, но к нам, морякам, благоволил. Однажды я пожаловался ему: украли книгу, подарок жены. «Пахан» говорит: даю мое железное слово, через десять минут твоя книга будет у тебя. Но молодой карманник, тот, кто украл, приказа вернуть книгу уже не мог выполнить. Он ее разрезал, чтоб сделать из нее игральные карты. «Пахан» не смог сдержать слова и взбесился. По его приказу четверо урок взяли мальчишку за руки и за ноги, раскачали и несколько раз ударили оземь. Страже потом сказали: упал с нар. На меня этот случай произвел ужасное впечатление, до сих пор чувствую свою косвенную вину в смерти мальчика».

Случай этот не только потряс Маринеско, но и заставил его задуматься. Ведь у него тоже было «железное слово». У «пахана» культ слова обернулся бессмысленной жестокостью, у него самого служил оправданием упрямства. Бывало, упрямылся зря, только чтоб не уступить. Ужасна перспектива скатиться в покорное воле «пахана» жестокое и трусливое «болото». Но не лучше и другая — самому стать таким «паханом», воли и умения властвовать над людьми у него бы хватило. И он решил насколько хватит сил оставаться самим собой и удерживать от падения тех, кто слабее.

Предположить, что несправедливый приговор и пребывание в исправительно-трудовом лагере благотворно подействовали на Маринеско — значит сказать нелепость. Исправлять трудом можно бездельников. Маринеско был труженик. Но оказавшись в обстоятельствах, для многих непосильных, он стягивается, как стальная пружина. Перед ним есть цель — выстоять, сохраниться как личность, не потерять свое человеческое достоинство. Расслабиться — значит, погибнуть если не физически, то нравственно. Поэтому никаких поблажек себе. И происходит чудо. Ни одного эпилептического припадка.

«Когда нас стали переводить на лагерное положение, мы, моряки, попросились, чтоб нас всех вместе послали на погрузочные работы в порту. Работа эта тяжелая. Вскоре я стал бригадиром над двадцатью пятью человеками, и наша бригада сразу стала выполнять более ста пятидесяти процентов плана, это давало зачет срока один к трем. Меня ценило начальство за то, что я, как бывший торговый моряк, умел распределять грузы по трюмам. В бригаде тоже меня уважали, звали «капитаном». Так я проработал несколько месяцев, а затем меня «выпросил» у начальства директор местного рыбозавода. Малограмотный мужик родом из Николаева, отбывший

срок и осевший в Ванине. Ему нужен был дельный заместитель. С ним было работать легко, и скажу не хвастаясь: я ему так поставил дело, что когда подошел срок, он очень переживал мой отъезд, соблазнял райской жизнью и большими деньгами, предлагал вызвать в Ванино мою семью, но я не согласился. На рыбозаводе я был почти на вольном положении и при деньгах, но держал себя в струне и капли в рот не брал, хотя временами было тоскливо. Очень скучал по семье».

Письма жене он писал бодрые, нежные и даже с юмором. Вот одно из последних:

«Живу и работаю по-старому, но нынче уже считаю не сутками, а часами. Часов осталось как максимум 1800, но если выбросить часы сна, то получается 1200 или: в баню сходить 8 раз, хлеба скушать 67,5 килограммов».

Дальше следует серьезный разговор о прочитанных книгах и просмотренных фильмах. Жалуется он только на то, что подолгу не получает писем.

Это письмо сохранилось у Татьяны Александровны Маринеско как память о покойных родителях. Сейчас оно у меня, но я его непременно верну, когда придет время возвращать близким Александра Ивановича доверенные мне реликвии.

Мы сидим с Александром Ивановичем в тесном номеришке гостиницы. Он на табурете, я на своей койке. На столе недопитая бутылка. Сквозь зарешеченное окно угадывается поздний ноябрьский рассвет. Самое трудное уже рассказано. Вспоминать, рассказывать тоже бывает мучительно. Но иногда необходимо.

О своем возвращении в Ленинград Александр Иванович рассказывал спокойно, с добродушной усмешкой:

«До Москвы меня везли зачем-то под конвоем. В Москве выпустили, выдали паспорт. Я приоделся (деньги были, на рыбозаводе директор платил мне восемьсот чистыми) и махнул в Ленинград. Первым делом извлек из тайника свой партбилет, он оказался целехонек, явился в райком и предъявил. Восстановили меня сразу, без потери стажа. Следующий рейс — в Институт. К. я уже не застал, и хорошо, что не застал, встреча могла кончиться плохо для нас обоих. Мне предлагали руководящую работу, но я попросился на завод».

Когда впервые после войны я встретился с Александром Ивановичем, он уже несколько лет работал на заводе «Мезон» и был уважаемым членом коллектива. О его достижениях писала заводская многотиражка, его портрет — на Доске почета, в числе передовиков производства. Завод свой Александр Иванович любил, жил его интересами и при встрече всегда что-нибудь рассказывал о заводских делах. Он умел и радоваться успехам, и негодовать по поводу любых беспорядков, и, главное, задумываться, как сделать лучше, как освободиться от наших традиционных болезней — штурмовщины, перебоев в снабжении деталями и некоторых других. На завод я пришел уже после смерти Маринеско и расскажу о встречах с людьми, хорошо его знавшими. Но сперва немного о наших встречах в 1960—1963 годах.

На первом сборе ветеранов-подводников в Кронштадте нас обоих не было. Меня — потому что тогда еще не начали приглашать иногородних, Маринеско — не знаю почему. Но имя его прозвучало на этом сборе очень громко. Были опубликованы уточненные по последним данным сведения об успехах балтийских подводников. По всем этим данным выходило, что первое место, вне всякого спора, принадлежит Александру Маринеско, и я уже рассказывал об оации, какой встретили появление Маринеско на состоявшемся через год втором сборе все его участники, ветераны и молодежь. А на тре-

тый сбор в 1963 году, организованный Е. Г. Юнаковым с присущим ему размахом, ветераны были приглашены с семьями, и Маринеско чувствовали особо: на пирсе учебного отряда ему был преподнесен живой поросенок — так встречали вернувшихся из похода победителей во время войны.

После нашей кронштадтской встречи в 1961 году я часто бывал в Ленинграде, и мы виделись. Александр Иванович продолжал работать на заводе. Всякий раз он интересовался, как идет моя работа, и меня всегда поражала его природная артистичность. Специальному консультанту мало обладать профессиональными знаниями, надо еще понимать, чем отличается художественная проза от служебной инструкции. Маринеско это понимал. И очень не хотел, чтобы я воспринял его интерес к моей работе как намек: дескать, опишите мою жизнь. Такая мысль появилась у него позже, когда он был уже тяжело болен. До этого он несколько раз пытался продолжить давно начатые им автобиографические записки, однако дальше одесского периода их не довел отчасти по недостатку времени, но больше по недостатку опыта. Как-то пожаловался: «Получается сухо, вроде как бортовой журнал». Показать мне свои записки отказался, и я познакомился с ними много позже. Рассказывать он умел действительно много ярче и увлекательнее.

О заводе «Мезон», где он пустил глубокие корни, Александр Иванович рассказывал охотно. Там проходила его жизнь, не всегда безоблачно, бывали и небольшие бури.

«Я себе много позволяю,— сказал он мне однажды.— Пишу в заводской газете критические статьи, спору с начальством. Ничего, сходит. Я им без всяких лимитов несколько домов выстроил. А с рабочими я умею ладить».

Александр Иванович работал тогда в отделе промышленного снабжения. А до того был диспетчером — работа ответственная и нравившаяся ему. О том, что такое заводской диспетчер, рассказал мне инженер завода Н. И. Рамазанов, он и привел меня на завод в семьдесят восьмом году.

«На «Мезон» Александра Ивановича устроил мой покойный отец Ибрагим Рамазанов, инженер-механик, в войну дивмех, вы его, конечно, знали. Они с отцом дружили, и я встречался с Маринеско не только на заводе. Невероятно, но факт: о том, что совершил Александр Иванович, я узнал только из газет, сам он о своих подвигах никогда не говорил. На заводе знали, что Маринеско — моряк, чувствовалась морская косточка. Внешняя опрятность, четкость, вежливость, умение держать слово. Производство у нас грязноватое, чисто только в сборочных цехах, а в других есть и масляные брызги и копоть. Александр Иванович всегда являлся на работу в белой рубашке с галстуком, в отглаженном костюмчике, а бывать ему приходилось всюду, и в штамповочном и на складах. Работа диспетчера очень сложна, нужно, чтобы во все цехи заготовки попадали своевременно, нужно знать, что заказано на смежных предприятиях, и обеспечивать сборку деталями. Александру Ивановичу очень помогло отличное знание устройства корабля. На корабле, особенно на подводном, тоже все основано на взаимодействии частей, там слаженность — вопрос жизни и смерти. У нас на заводе старший диспетчер — это высокое положение. Вроде как вахтенный командир на корабле. Надо быть все время в напряжении, постоянно держать в памяти много разных дел. Александр Иванович был очень аккуратен, корректен, всегда готов прийти на помощь. У него была своя система и особая тетрадка, куда он заносил свои наблюдения, в затруднительных случаях я к ней прибегал, он охотно ее давал, она так и осталась у меня. Жалею, что не сохранил, вам было бы понятнее, почему у него всегда был порядок. Он был волевой человек и честности непреклонной, хитрить не умел совсем. А ведь на

производстве есть свои хитрости. Есть работа выгодная и невыгодная. Это в руках мастеров. Есть такие рабочие, что, получив выгодную работу, припрятывают ее до удобного времени. А в это время завод выполняет срочный заказ, из-за них происходит задержка. Александра Ивановича это возмущало до глубины души, он говорил мне: «Нариман, на флоте мы таких людей не терпели». Когда кто-нибудь из начальников цехов пускался в пустые отговорки, он шел проверять и, если находил обман, во всеуслышание стыдил по заводскому селектору. В отделе снабжения он тоже отлично работал. Почему он перестал быть диспетчером — не знаю».

Я — знаю. Временами на Александра Ивановича нападала тоска, и он по старой, надолго брошенной привычке «делал выход». Термин этот почерпнут из «Очарованного странника», прелестной лесковской повести, ее Александр Иванович очень любил. Внешнего сходства между ним и героем повести Иваном Северьяновичем не было ни малейшего, но в каком-то духовном сродстве они несомненно состояли. То же бесстрашие, та же беззлобность, и широта характера, и доброта, и граничащая с наивностью правдивость. И то же упрямство.

В положении диспетчера есть еще одна черта, сближающая его с положением вахтенного командира. Он должен быть всегда на посту. Был случай, когда «выход» пришелся на время дежурства. Диспетчер не вышел на работу. Пришлось срочно вызывать из дома сменщика.

Конечно, это была болезнь. Отступившая во время самых тяжелых испытаний и вновь подкрадываясь, когда напряжение спало.

Признаюсь, на завод я шел с душевным волнением, к которому примешивался страх. Чего я боялся? Боялся узнать нечто такое, что могло разрушить мои сложившиеся представления. Ведь я встречался с Александром Ивановичем в те годы, когда он уже работал на «Мезоне», привык верить всему, что он рассказывал о своей работе, и для меня было бы немалым разочарованием, если бы открылись какие-то неизвестные мне и в таком случае наверняка печальные обстоятельства.

«Мезон» расположен в старой части Выборгской стороны. Старой, потому что выстроенные за последние годы новые микрорайоны, так называемая «Гражданка», имеют с этой частью мало общего. Они светлее, просторнее, но в чем-то и безличнее. «Мезон» плоть от плоти старой Выборгской стороны, многократно описанной и воспетой. Правда, он не дымит, как старые заводы, и с улицы мало заметен. Еще в первые послевоенные годы здесь была ткацкая фабрика, и Александр Иванович с восхищением рассказывал про талантливую самородка инженера Агеева, за несколько лет превратившего устаревшую фабрику в современный завод, способный выпускать продукцию высокой точности.

В отделе кадров завода меня встретили поначалу сдержанно. Завод избалован вниманием пишущей братии, и рабочие бывают довольны, когда их отвлекают от дела. Так мне объяснили. Но когда я сказал, что меня интересуют люди, хорошо знавшие Александра Ивановича Маринеско, отношение круто переменялось. Я был вдоврен в кабинет отсутствовавшего начальника отдела, и в течение целого дня ко мне чередой шли люди, чтобы поговорить об Александре Ивановиче. Рассказать и распросить.

В извлеченном из архива личном деле А. И. Маринеско я прочитал его собственноручную объяснительную записку. В ней Александр Иванович с присущей ему откровенностью писал о причинах прогула. После этого случая Александр Иванович стал на амбулаторное лечение в диспансере и, будучи переведен на работу в отдел снабжения, вновь показал себя с самой лучшей стороны. Он действительно выстроил для завода пионерлагерь и несколько жилых

домов. Характеристику для военкомата завод дает отличную. Портрет Маринеско, снятый было с Доски почета, возвращается на прежнее место. Вплоть до своей кончины Маринеско в числе лучших людей завода.

Так говорили мне бумаги. Но бумаги интересовали меня во вторую очередь. А вот что скажут люди?

Я их не выбирал, этих людей. Не выбирал их и отдел кадров. Пришли те, кто знал, кто хотел прийти, кто мог урвать полчаса из своего рабочего времени. Среди пришедших были диспетчеры, и цеховые мастера, и станочники. Пришли Прасковья Макаровна Огаренко, Иван Тимофеевич Королев, Полина Ивановна Лысенко, Константин Александрович Красульников, Агнеса Михайловна Котлярова и тот самый Петр Семенович Калинин, кто в бытность свою секретарем цеховой парторганизации подписал опубликованное «Литгазетой» в 1961 году письмо коммунистов завода. Через восемнадцать лет в беседе со мной он вновь подтвердил все сказанное в письме. Все эти получасовые беседы с новыми для меня людьми так мало походили на интервью, что я тут же убрал свой «микрорекордер». Всех моих собеседников сближало со мной одно и то же — мы знали и помнили Маринеско. Рассказывали о нем охотно, не дожидаясь моих вопросов, вопросы чаще задавали мне. Об Александре Ивановиче все говорили с любовью, у каждого из моих собеседников было что вспомнить, иногда совершеннейшую мелочь, но и в этой мелочи можно было узнать Маринеско. Я записал телефоны ушедших на пенсию ветеранов завода. Некоторым я потом позвонил. Бывший начальник отдела Б. С. Гвильман позвонил мне сам и прислал свою статью об Александре Ивановиче, напечатанную в заводской газете.

Обеденный перерыв на заводе я использовал по прямому назначению — пообедал в заводской столовой, и за столом тоже шел разговор о Маринеско, а затем в сопровождении своих новых знакомых прошел по цехам, где приходилось бывать Александру Ивановичу, и там тоже со мной заговаривали. О Маринеско на заводе теперь знают все и говорят о нем с гордостью. Я. С. Коваленко рассказывал мне, что в семьдесят третьем или семьдесят четвертом году он выступал в цехах, рассказывал о Маринеско, затем его повели в столовую, но пообедать ему не пришлось, там оказались рабочие, его не слышавшие, и Якову Спиридоновичу пришлось повторить весь свой рассказ сначала. А после конца смены на трех грузовых машинах с венками и лентами рабочие и служащие завода поехали на могилу Маринеско.

Я ушел с завода, напутствуемый добрыми пожеланиями, унося в портфеле ценные подарки — блокнот с дарственной надписью от завода «Мезон», карандаши, резинки для стирания. Смысл этих подарков был мне ясен: только пиши! И я не шучу, называя их ценными, я их ценю и берегу. И до сих пор пользуюсь ими.

Такое отношение заводского коллектива к памяти Маринеско легко объяснить законной гордостью подвигами своего товарища. Побывав на заводе, я убедился: нет, не только. Его высоко ценили и тогда, когда об этих подвигах еще никто не знал. Его любили и берегли. В последние годы, когда в его жизнь вошла Валентина Александровна Филимонова, ни о каких «выходах» слышно не было. появилась надежда, что болезнь опять отступила. Быт его — всегда очень скромный — стал более упорядоченным. Впрочем, не сразу. Уйдя из дома, он остался без жилья. Валентина Александровна тоже жила тесненно. Наконец в 1961 году Александр Иванович получил в Автове небольшую комнату.

«Обстановки никакой, — вспоминала Валентина Александровна. — Ни стола, ни стульев, первое время спали на фанере. Затем раздобыли тахту и были счастливы».

Перебираю фотографии, снятые летом 1963 года на третьем сборе ветеранов-подводников в Кронштадте, для Маринеско — последнем. Улыбающийся Александр Иванович и Валентина Александровна в кругу друзей.

Х. ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Счастье было недолгим.

«Незадолго до этого сбора Саша сказал: что-то побаливает горло. Пошел в поликлинику, там посмотрели и ничего не нашли. А он стал чувствовать себя все хуже и хуже».

Наступил год шестьдесят третий, последний в жизни Александра Маринеско. Родился он в тринадцатом.

В конце шестьдесят второго я дважды приезжал в Ленинград, и мы виделись. Работа над романом шла к концу, меня радовала возможность обсудить с Александром Ивановичем кое-какие частности, и, верный своему обещанию, он еще раз придирчивым командирским оком заглянул во все отсеки моей вымышленной «малютки». «В литературе я не судья,— сказал он мне в заключение.— Но за одно ручаюсь: грубых ошибок у вас не будет». Под грубыми ошибками он разумел не столько технические ляпсусы, сколько фальшь в изображении служебных отношений на корабле. В отличие от довольно распространенного типа консультантов, требующих, чтобы в литературном произведении все изображалось как должно быть, он в своих замечаниях исходил из того, как фактически бывало или могло быть в реальной обстановке войны и блокады.

Когда живешь в другом городе и подолгу не видишься, трудно поручиться за надежность своих представлений. Оба раза я уезжал из Ленинграда с убеждением, что с Александром Ивановичем все обстоит более или менее благополучно. Он был бодр, приветлив, Валентина Александровна заботлива и гостеприимна. На заводе его дела шли успешно, и он охотно про них рассказывал. Мгла над его именем к тому времени уже начала рассеиваться, его имя стало появляться в печати, а в среде подводников авторитет его стоял высоко и незыблемо.

Вероятно, уже тогда он был опасно болен. Наш общий друг М. Ф. Вайнштейн недавно напомнил мне: в декабре 1962 года мы с ним навестили Маринеско, он жил тогда на Васильевском острове у Валентины Александровны. За ужином Александр Иванович выпил рюмку коньяка и тяжело закашлялся. Отдышавшись, показал на горло. На шее были пятна, явные следы облучения.

По невежеству или по легкомыслию я тогда не обратил на это большого внимания и легко уговорил себя, будто серьезных оснований для тревоги нет. По-настоящему встревожился я только в феврале, получив от Маринеско письмо, где он впервые открыто заговорил о своей болезни.

Письмо это не сохранилось, но в оставшихся после кончины Александра Ивановича бумагах я нашел свое, ответное. По нему и по моей дневниковой записи нетрудно восстановить его содержание: инвалид, лечат облучением амбулаторно, материальные дела плохи. Просит позвонить подводнику адмиралу Н. И. Виноградову, взявшемуся хлопотать о персональной пенсии.

Адмиралу я дозвонился. По его словам, необходимые меры он уже предпринял. Однако скорого успеха не обещал.

Вновь перебираю фотографии, снятые в шестьдесят третьем году на очередном сборе ветеранов-подводников, и ищу на лице Маринеско следы болезни. Ищу и не нахожу. Эта последняя встреча с друзьями и соратниками была для него самой радостной, самой почетной. Во время выступления бывшего командующего флотом адмирала Трибуца, говорившего о подвиге подводной лодки «С-13», мо-

лодежь дружно скандировала: «Маринеско — герой, ге-рой!»... Александр Иванович был оживлен, весел. Но сегодня память подсказывает: временами оживление пропадало и в эти минуты лицо его сразу старело. А когда ему предоставили слово, вдруг потерял голос и договорить так и не смог.

Только ли от волнения?

Меня не оставляет убеждение, что если б не страшная болезнь, за короткое время подорвавшая его силы, Маринеско был накануне какого-то нового подъема. В его жизни были подъемы, были и падения, но не было сонного прозябания. Еще в декабре шестьдесят второго он делился со мной планами широкой реорганизации подведомственного ему участка на заводе и был искренне увлечен.

Самое время написать банальнейшую фразу: «Но судьба решила иначе». Меня удерживает не столько банальность, сколько глубокое отвращение к мысли, что судьбе во всех случаях дано решать. Тогда ее надо писать с заглавной буквы—Судьба. Рок, фатум. А это уже пахнет мистицизмом, чуждым мне и ненавистным Александру Ивановичу. Он ведь даже суеверен не был, всегда подтрунивал над теми, кто придавал хоть какое-нибудь значение цифре 13 на борту его «эски». В основе его мировоззрения лежало убеждение, что человек должен быть творцом своей судьбы, а судьба корабля — в руках командира. Подобно ему я не верю в слепую и всезнающую Судьбу, распоряжающуюся нашими жизнями, не верю, что жизнь Маринеско могла окончиться только так, а не иначе. На многих примерах я имел возможность убедиться: беда не только не приходит одна, она почти всегда имеет не одну причину, и достаточно выпасть одной, чтобы катастрофы не произошло. И все мое существо протестует против неизбежности ранней гибели героя, гибели не в бою, а на больничной койке. Как знать, не отступила бы страшная болезнь, если б воля Маринеско к сопротивлению была своевременно поддержана.

Если бы, если бы...

В том февральском письме Маринеско появилась новая для меня тема. Впервые Александр Иванович дал понять, что готов помочь тому, кто захочет описать его жизнь. Такое намерение было у С. С. Смирнова, но никаких полномочий я от него не имел и потому ответил неопределенно. У меня самого в то время еще никаких планов не было. Персональная пенсия казалась мне в то время проблемой более неотложной.

Летом от общих ленинградских друзей до меня стали доходить тревожные сигналы. Я написал Александру Ивановичу. Ответа долго не было. И только во второй половине августа я получил от него письмо, из которого я наконец понял, как далеко зашла его болезнь и как остро необходима помощь.

«Здравствуйте, дорогой Александр Александрович,— писал Маринеско.— От души благодарю за Ваше внимание, но, к сожалению, я поступаю по-свински и вот только сегодня, 13/VIII, решил ответить на Ваше письмо».

По-свински поступил скорее я, чем он. Летом решалась судьба моей рукописи, и я очень мало думал о своем друге.

«Сейчас действительно мне сделали операцию, которая позволяет поддерживать мое существование кормлением минуя пищевод, это операция вспомогательная, а основное все впереди и неизвестно, через сколько времени. Врачи В. М. госпиталя, куда я попал, говорят, что для восстановления моего веса и здоровья, для подготовки к основной операции понадобится 6—8 месяцев, а выпишут они меня домой через 10—15 дней. Основная моя забота теперь — как жить? Мне ежедневно нужно заправляться определенными высококалорийными продуктами, это обойдется (скромно) 3 рубля в день.

Вам, конечно, известно, что я инвалид 2-й группы, получаю пен-

сию, из которой наличными мне остается 30—35 рублей. Вопрос — как жить дальше, что меня ожидает в будущем?»

Я опускаю некоторые содержащиеся в письме горькие суждения Александра Ивановича. И потому, что они не были рассчитаны на широкую аудиторию, и потому, что чувство безысходности вообще не было свойственно Маринеско, умевшему находить выход в любых, казалось бы, безвыходных обстоятельствах.

«Жена старается меня успокоить, но я знаю, что делается у нее на душе. Живу я более месяца в новой комнате 10,5 метров по тому же адресу, который говорил Вам: Ленинград, Л-96, ул. Строителей, дом 6, кв. 24.

Галина (дочь В. А. Филимоновой.— А. К.) успешно сдала экзамены в Театральный институт и начнет с сентября м-ца учебу.

Большой привет Вам и Вашей жене от меня, жены и Мих. Фил. (Вайнштейна.— А. К.), он был у меня в прошлое воскресенье. А. А., если сможете дать мне совет или чем-нибудь помочь, буду век благодарен Вам. Жму крепко Вашу дружескую руку. А. Маринеско».

Получив письмо, я заметался. Решение было принято немедленно: лечу. Но, прежде чем вылететь, нужно было что-то предпринять. Нужна была помощь, в первую очередь материальная. Как у большинства литераторов, заканчивающих многолетнюю работу, карманы мои были пусты. Конечно, я сразу выслал Александру Ивановичу все что смог наскрести, но это проблемы не решало. Можно было надеяться, что друзья не оставили товарища в беде и уже собирают какие-то рубли, но это могло лишь частично облегчить положение. Нужна была поддержка постоянная, весомая, причем не только материальная, а духовная, способная поднять дух больного, повысить его сопротивляемость. Нужна была помощь организационная. Я не сразу понял в письме Александра Ивановича фразу: «В. М. госпиталь, куда я попал». Она означала, что на лечение в военно-морском госпитале герой Отечественной войны как не выслуживший установленного срока права не имел и попал туда в порядке исключения, благодаря настойчивым хлопотам друзей.

Нужно было, чтобы в судьбу Маринеско вмешался человек во всех отношениях значительный, способный не только оценить подвиг командира «С-13», но и разобраться в его личности.

Такой человек существовал. Иван Степанович Исаков. Флотоводец, ученый, писатель.

Ивана Степановича до того я видел лишь однажды, но запомнил надолго. В 1939 году, за два года до начала войны, группа писателей разного возраста и воинского опыта была приглашена в Наркомат ВМФ, и Иван Степанович, в то время заместитель наркома, больше часа беседовал с нами. Сегодня, через сорок с лишним лет, мне уже не вспомнить многих подробностей, памятен результат — мы вышли из его служебного кабинета, очарованные широтой познаний, увлеченностью и тем непередаваемым изяществом манер и всего облика, которое нисколько не противоречит необходимой моряку твердости характера. После встречи с Исаковым многие прошли подготовку на курсах военно-морских корреспондентов при Военно-политической академии имени Ленина и, когда началась война, пришли на корабли, уже что-то понимая в их устройстве и организации службы. С той встречи я Ивана Степановича не видел ни разу, но, конечно, был наслышан и о его боевой деятельности во время войны, и о его научных трудах. Читал появившиеся в начале шестидесятых годов на страницах толстых журналов его «Невыдуманные рассказы». Знал я также, что, несмотря на мучительные боли в ампутированной после ранения ноге, Иван Степанович много и напряженно работает, день у него расписан по часам и попасть к нему будет трудно.

К Исакову меня привел писатель Г. Н. Мунблит. Иван Степано-

вич жил на Смоленской набережной (теперь на этом доме мемориальная доска). Дверь нам отворил сам хозяин. Опираясь на костыль, провел в свой кабинет.

— Сейчас мне сделают укол, и через пять минут я буду в вашем распоряжении.— сказал он.— Но чтоб вы не скучали, я придумал, чем вас занять. Вы, Георгий Николаевич, найдете на столе давний номер «Знамени» с вашей статьей. Наверно, вам будет любопытно полистать написанное много лет назад. А вы,— обратился он ко мне,— найдете там же вашу книжку о походе в Индонезию и сочините мне дарственную надпись.

И опять, как в те довоенные времена, от этих полушутливых слов возникло ощущение человеческого изящества. Не умею определить иначе это соединение простоты, достоинства и уважительного отношения к людям. Какая это черта — аристократическая, демократическая? Не знаю. Аристократическая без высокомерия, демократическая без панибратства.

Ровно через пять минут он был за своим письменным столом. Перед ним лежала тоненькая папка, и я понял, что к нашему разговору Иван Степанович подготовился.

— Не скрою от вас, что я плохо отношусь к Маринеско,— сказал Исаков.— Я старый служака, и всякая распушенность мне ненавистна. Но я готов вас слушать.

Слушал он внимательно, не перебивая. Затем спросил:

— Скажите, вы знаете...— Он назвал фамилию известного подводника, занимавшего в то время высокий пост.— Вы доверяете ему?

Я ответил, что незнаком с контр-адмиралом, но сомневаться в его объективности у меня оснований нет.

— Вот послушайте, что он мне пишет.

Прочитанная Исаковым справка в самом деле производила впечатление полной объективности. Только документы. В основном выдержки из приказов по бригаде и решений парткомиссии. И, конечно, судебный приговор 1949 года, хотя в соответствии со статьей 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года Маринеско уже десять лет официально считался несудимым.

— Так это было?

Это было так. И в то же время совсем не так. Документы были подлинные, но за ними было невозможно хотя бы смутно разглядеть подлинного Сашу Маринеско, которого знали и любили балтийские подводники.

Я очутился в труднейшей ситуации. Объяснять адмиралу, ученому, историку флота значение атак Маринеско было бы нелепо. На всякий случай я захватил с собой дневник, ту самую клеенчатую тетрадку, где у меня по свежей памяти была записана ночная исповедь Маринеско. Александр Иванович рассказывал о себе не для печати, а по велению сердца, ничего не угаивая, с единственным желанием — быть понятым. Конечно, мои торопливые записи были лишь бледной тенью этой необычайной по красочности и беспощадной искренности исповеди, но даже эта бледная тень была больше похожа на живого Маринеско, чем собранные в досье выдержки из документов. Наиболее точно, стремясь хотя бы отчасти сохранить интонацию Александра Ивановича, я воспроизвел его рассказ о пресловутом загуле в Турку, оставшемся, несмотря ни на что, несмысленным клеймом на репутации подводника № 1. Сегодня уже ничто не мешает мне включить в мое повествование эту трагикомическую новеллу, теперь, по прошествии многих лет, она уже не может никого задеть. Воспроизвожу эту запись в том виде, в каком я прочитал ее Ивану Степановичу, опушу только имена и смягчу некоторые выражения, не имеющие существенного значения. Грубоват Александр Иванович бывал, циничен — никогда.

«А насчет финки — не отрицаю. Был такой грех. Положим, она

не финка, а шведка была. Все-таки нейтральная нация. Дело было в Турку под новый, сорок пятый год. Финляндия вышла из войны, мы стоим в порту, живем на плавбазе. Лодка полностью готова к выходу в море, ждем приказа. Скука смертная, надоели все друг другу дальше некуда. Мы с другом моим Петей Л., помните его, наверно, от тоски лезем на стенку. Решили пойти в город, там в гостинице жили знакомые ребята из советской контрольной комиссии, хотели встретиться с ними Новый год. Деньги у меня были. Приходим, никого нет. Где — неизвестно. Заходим в ресторан. Открыто, но в зале ни души, одни официантки. Как видно, финны — домоседы, любят Новый год встречать дома. Мы попросили девушек накрыть нам в кабинете столик на шестерых, хоть и было нас всего двое. Расчет был на то, что наши знакомые вернутся и подсядут. Однако никто не идет. Мы в меру выпили, закусили, стали петь потихоньку украинские песни. Девушки заходят, слушают, улыбаются нам, но к столу, как мы ни звали, присесть не решаются. Вдруг откуда ни возьмись хозяйка. Молодая, лет этак двадцати восьми, красивая, сразу видно — огонь-баба. Прогоняет девок, сама подсаживается к нам, заговаривает по-русски. У нас сразу контакт. Я ей мигаю: дескать, нельзя ли и моему другу составить компанию? Поняла, вызвала с этажа какую-то свою помощницу, тоже ничего, интересная собой. И гуляем уже вчетвером. А затем забрали со стола спиртное, еще кое-чего и поехали на пятый этаж, где у нее собственный апартамент <...>.

Откровенно скажу, мы друг дружке по вкусу пришлись. Она бедовая, веселая. Незамужняя, но есть жених. Инженер, работает в Хельсинки в фирме. Почему же, спрашиваю, он не с тобой встречается? Потому, говорит, что у них в фирме такой порядок — встречать с хозяином. Из-за этого, говорит, я с ним даже поссорилась. Ну и правильно, говорю...

Утром раненько в дверь стучат. Что за шум? Докладывают: жених приехал из Хельсинки, ожидает внизу. А я как раз в самый задор вошел. «Прогони», — говорю. Она смеется: «Как так прогони? Мне за него замуж идти. Ты ведь на мне не женишься?» Это уже вроде как без шуток спрашивает. А я тоже со смехом: «Пойдешь за меня?» «Пойду», — говорит. — И гостиница твоя будет». Тут я совсем развеселился: «Сашка Маринеско — хозяин гостиницы! Нет, — говорю, — не женюсь, а ты этого, что внизу, все-таки прогони, пусть едет к своему хозяину».

И что же вы думаете — прогнала. Такая отчаянная баба! Прошло сколько-то времени, не считал, признаться: опять стучат. Докладывают: военный. Ничего не слушает, требует командира. Выглядываю. Батюшки мои — доктор. Военфельдшер с лодки. Дознался и разыскал. «Отцы командиры, — говорит, — дуйте скорее на базу, там черт-те что творится... Наши уже заявили финским властям: пропали два офицера...» Возвращаюсь в апартамент, объясняю положение — что делать? Моя смотрит холодно, с усмешкой. «Что делать? Прогони его». Я аж рот разинул: «Как так прогони?» «А очень просто, прогони, и все. Я ради тебя жениха прогнала, а ты подчиненному приказать не смеешь?» — «Так он же видел меня, он скажет...» — «А ты запрети. Он кто — офицер? Возьми с него слово. Или у ваших офицеров слова нет?» — «Ну это ты брось, — говорю. — У наших офицеров слово очень крепкое...» Вышел к доктору и говорю: «Ты меня не видел». «Товарищ командир, опомнитесь...» «Сделаешь, как я велел. Понял меня? Слово даешь?» «Даю», — говорит. И, конечно, сдержал.

Когда мы с повинной явились на базу, встретили нас сурово. Обоим грозил трибунал. Но потом обошлось. К комдиву пришла делегация от команды — с другим командиром в море идти не хотим. Комдив Орел — умный человек, понял настроение экипажа, а

корабль в готовности, снимать командира, ставить нового — мороки не оберешься. И я ушел в поход — искупать вину...

А насчет шведки — не жалею, хороша была. Идеологии мы совершенно не касались. Она только посмеивалась: «Какие вы победители, с бабой переспать боитесь...» А я тоже смеюсь: «За твои капиталы твой жених тебе все простит. Небось помиритесь»...

И неужели кто мог подумать, что меня таким манером можно завербовать на службу фашизму? Это же смешно, честное слово. Только тогда мне было не до смеха»...

Теперь, почти через сорок лет после окончания войны, этот небольшой отрывок уже не вызывает священного ужаса и воспринимается скорее с юмором. Мне показалось, что и тогда, в шестьдесят третьем, Исаков, отнюдь не оправдывая самый проступок, угадал в участнике возмутительной эскапады какие-то симпатичные черты — своеобразную рыцарственность, простодушие, яркий темперамент. Когда я поднял глаза от тетрадки, кивнул:

— Дальше.

Дальше я читал уже известное читателю — об аресте, жизни в порту Ванино, возвращении в Ленинград. И когда вновь поднял глаза на Исакова, увидел, что он стоит, опираясь на стол, и держит в руке телеграфный бланк.

— Хорошо, — сказал он после небольшой паузы. — Я меняю свою точку зрения. Что нужно делать?

Быль вызван адъютант и тут же были отданы все распоряжения. Узнав о материальных трудностях Маринеско, Иван Степанович немедленно отправил ему денежный перевод, сопроводив его такой теплой, дружественной телеграммой, что Маринеско мог без ущерба для своего достоинства принять эти деньги. Но дороже всяких денег была для больного Александра Ивановича моральная поддержка Исакова — письма, книги, дружеская забота.

Сегодня, через много лет после смерти этих замечательных людей (И. С. Исаков скончался в 1967 году), я перелистываю сохранившиеся у Валентины Александровны письма Исакова к Маринеско и не устаю восхищаться связавшей их заочной, недолгой, но истинной дружбой. Истинной — значит, равной. В дружбе у моряков есть свой особый счет, не всегда совпадающий со служебной иерархией. Не сомневаюсь, что переписка Исакова с Маринеско будет в свое время издана. А пока привожу одно из его писем с некоторыми сокращениями:

«Глубокоуважаемый Александр Иванович!

Не удивляйтесь этому письму.

1. Хотя я с Вами не служил вместе, но, конечно, знаю Вас по делам Вашим.

Еще не так давно, получив перевод из «Маринер Рундшау», вспомнил «Густлова». С подробностями, которых не знал раньше <...>.

2. Т. к. писатель С. С. Смирнов решил писать о Вас повесть, то я ему отсылаю все, что нахожу в нашей литературе (напр., в книге Вл. Смирнова «Матросы защищают Родину», ГПИ, 1962 г.) или в иностранной (М. Рундшау).

В связи с этим еще в начале года запросил подводника из ГШ ВМФ Родионова А. И., и он сообщил, что Ваши дела почти в порядке. Как с пенсией, так и с реабилитацией. Вот почему я Вас не беспокоил и не беспокоился.

3. Неожиданно появился А. А. Крон, буквально вчера, и рассказал далеко не такие утешительные сведения, как Родионов. Особенно относительно здоровья. В связи с этим решил завтра написать письмо Министру Обороны <...>

4. Самое главное в данный момент, чтоб Вы ни в чем не нуждались для лечения и питания в предвидении возможной еще операции. Поэтому завтра или послезавтра я вышлю Вам 100 р. Прошу их

принять не задумываясь, так как помимо большого оклада я получаю гонорары за свою писанину. Поэтому 100 р. меня абсолютно не стеснят. Чтобы Вы могли планировать свой бюджет, учтите, что через месяц, т. е. 12—13 октября, вышлю еще 100 р.<...>

Чтоб не скучали, завтра пошлю Вам свою книгу рассказов<...> Следующий большой флотский рассказ выйдет в журнале «Москва» № 11 (ноябрь) — обязательно пришлю. Будет интересно получить Вашу оценку.

Если Вам не дали перевода из Рундшау о потоплении Вами «Густлова», то сообщите. Прикажу снять копию и пошлю Вам. Но думаю, что у Вас уже есть.

На всякий случай напишите, что из медикаментов Вам надо, но нет в Ленинграде...

А пока желаю Вам спокойного лечения и успехов в этом деле. Я сам пишу со своей невромой в культе, особенно во время плохой погоды. Так что хирургические дела немного знаю!

PS. Думаю, что не только материальные дела Ваши придут в благополучное состояние, но и моральный ущерб, нанесенный Вам, будет относительно возмещен, несмотря на то, что с Вами так много начудили (говору деликатно), что вряд ли возможно смягчить несправедливость и грубость, проявленную некоторыми отдельными лицами. Привет. Поправляйтесь.

Ваш Исаков. 11.9.63».

На мой взгляд, это письмо не нуждается в комментариях. За время, прошедшее между первой телеграммой Исакова и этим письмом, я успел побывать в Ленинграде и повидаться с Маринеско.

Я застал Александра Ивановича еще в госпитале. Условия у него были хорошие. Небольшая, но отдельная палата. Валентина Александровна могла почти неотлучно быть рядом с больным и оставаться в палате на ночь.

Когда меня допустили в палату, Александр Иванович был на ногах.

Он заметно похудел и как будто уменьшился в росте, но глаза у него были прежние, живые. Даже голос, несмотря на хрипоту, казался мне почти таким, как прежде, со знакомыми добродушно-шутливыми интонациями. Меня встретил радостно и сразу стал расспрашивать про мои дела, как будто у нас не было тем более неотложных. Интерес был неподдельный. Дела мои в то время обстояли неважно, но посвящать больного во все сложности нашего профессионального бытия не имело смысла. О делах самого Маринеско я тоже не мог рассказать ничего существенного, хлопоты о персональной пенсии успеха не имели. Мы проговорили около двух часов, и меня поразила твердость духа Александра Ивановича, он не жаловался — ни на судьбу, ни на обстоятельства, поначалу было трудно понять, знает ли он все о своей болезни. Потом понял: знает. Знает, но не теряет надежды. В этом он оставался верен себе — не тешил себя иллюзиями и не падал духом. Обычно от тяжелых больных скрывают диагноз, и во многих случаях это удается. Даже если эти больные — врачи. Маринеско в медицине ничего не понимал, но он был слишком смел и наблюдателен, чтобы позволить себя заморочить. Он не «ушел в болезнь», как люди, привыкшие слишком часто к себе прислушиваться, наоборот, его живо интересовало все происходящее за стенами госпиталя. Конечно, он понимал: при самом благоприятном исходе лечения он останется инвалидом, — но мыслями он был с флотом и самыми близкими друзьями для него оставались подводники. Свою дружбу они доказали делами. Передо мной лежит папка, переданная мне близким другом Александра Ивановича Б. Д. Андриюком, живущим теперь в Киеве. Чего там только нет — письма, ходатайства, подписные листы... А какие подписи! Цвет подводного флота, командиры лодок, Герои Советского Союза, адмиралы и матросы...

Когда Александр Иванович уставал, хрипы усиливались. На помощь приходила Валентина Александровна. Она осторожно обмывала гортань. При всех процедурах, включая кормление, я выходил в коридор. Под конец нашей беседы зашел ненадолго сосед — капитан 2 ранга Ветчинкин, в прошлом тоже командир лодки. Александр Иванович был с ним приветлив, но разговор перешел на более общие темы. Не хотел говорить о себе, о своих заботах.

Сдержанность была ему присуща всегда. И взрывчатость тоже. Противоречие здесь только кажущееся. Сдержанность — свойство людей, которым есть что сдерживать. Иначе это просто вялость.

Мне не удалось тогда поговорить с врачом. Недавно по моей просьбе откликнулся письмом доктор Кондратюк, хирург, оперировавший Маринеско:

«К сожалению, я увидел Александра Ивановича уже в трудном положении. У него была декомпенсированная дисфагия, обусловленная опухолью пищевода.

О мужестве этого человека, его подвиге и заслугах перед родиной я знал. И в госпитале Александр Иванович вел себя мужественно, ровно, терпеливо переносил мучения, был, как ребенок, доверчив и застенчив. Он ни разу не упомянул о своих заслугах, не пожаловался на свою судьбу, хотя со мной был откровенен. Он любил и хотел жить, верил, что для него делается все возможное. Ему была наложена гастростома (метастазы!), и впервые пусть таким путем он был накормлен и напоен. Любил он флотский борщ. Его просьбу ежедневно выполняли госпитальные повара».

Значит, я не ошибся в своем тогдашнем впечатлении. Все знал, но не терял веры и не сдавался. Болезнь была враг. Склонить голову перед врагом Маринеско не мог, не умел, не хотел.

Не надо, однако, обольщаться. Не всегда больному Маринеско удавалось сохранять бодрость, бывали у него приступы отчаяния, знала о них только Валентина Александровна. И если, по свидетельству всех близких к нему людей, Александр Иванович держался с великолепным мужеством, то немалую роль в этом сыграла завязавшаяся в последние месяцы его жизни увлекательная переписка с Иваном Степановичем Исаковым. Перечитывая письма Исакова к Маринеско, трудно поверить, что они адресованы человеку незнакомому. Так пишут, когда люди знакомы семьями, и не месяцы, а долгие годы. О своих хлопотах и щедрой материальной помощи Иван Степанович пишет как бы мимоходом, пишет так, будто забота о здоровье и репутации Маринеско — это его, Исакова, общественный долг, нечто само собой разумеющееся и тем самым отходящее на второй план. А главное — это живое, заинтересованное общение товарищей по оружию, соратников и единомышленников.

23 сентября 1963 года (на бланке члена-корреспондента АН СССР):
«Дорогой Александр Иванович!

Я пишу на бланке не для того, чтобы похвастаться. А для того, чтобы Вы знали, что мне многое легче сделать, чем Вам. Поэтому если что нужно — пишите.

Вырезал выписку из Беккера у С. С. Смирнова, снял копию и шлю Вам. У него останется для работы свой экз.

Беккер хорош чем?

Скрывает, что погибли лучшие подводники, подготовленные на новые лодки.

Молчит о реакции Гитлера.

Но выпирает весь драматизм плохой организации, самоуправления нач. подплава и т. д. Поучительные ошибки. И не только для немцев.

Снимают копии с других переводов. По готовности — пришлю. Есть ли у Вас книги о подводниках? Может, случайно пропустили? (Следует перечень.— А. К.) О наших мемуаристах с ПЛ не спрашиваю. Наверное имеете. Напишите — чего нет, пришлю.

Поправляйтесь. У нас наступили холода, и я, как южанин, начал скисать. Привет. Ваш Исаков.

PS. Когда-нибудь для смеха расскажу, как я был подводником. Приписали к «Рыси» и посадили учиться на курсах <...>. Был 1919 год. Меня арестовали как бывшего офицера и хотя выпустили через 2 недели, я обиделся и ушел воевать в Астрахань (вторично) на миноносцы. Так и не вышел из меня подводник».

К концу сентября Иван Степанович уже не заблуждается насчет состояния здоровья своего корреспондента. Тем ярче выступают его сердечность и такт. Так не пишут приговоренным. Все письмо, включая постскрипtum, имеет совершенно ясный подтекст: все силы на борьбу с болезнью, главное — не терять веры, не сосредоточиваться на прежних обидах, как видите, со мной тоже всякое бывало, надо ценить каждый отпущенный нам день, читать и размышлять о прочитанном.

Иван Степанович хлопочет о пенсии Маринеско, посылает ему книги и лекарства, снабжает С. С. Смирнова материалами для будущей повести. Но книгу надо ждать годы, а время не терпит. Существуют более оперативные жанры.

К тому времени С. С. Смирнов был уже признанным мастером еще только зарождавшегося искусства прямого разговора с телезрителями. Искусство это до сих пор не имеет точного названия, но существует и развивается. Это искусство не чтецкое, не лекторское, не ораторское. Оно не похоже ни на проповедь, ни на исповедь. Оно импровизационно и, как всякая импровизация,— серьезное испытание на искренность. Телеэкран беспощаден к фальши. Ей негде укрыться. В течение ряда лет из месяца в месяц Сергей Сергеевич вел созданный им вскоре после войны и существующий поныне телевизионный альманах «Подвиг». Одно из своих выступлений он целиком посвятил подвигу «С-13». В Ленинград приходит телеграмма:

«Смотрите передачу телевизора Москвы 4 октября первой программы двадцать сорок пятницу писателя Смирнова относительно героизма Исаков».

Я тоже был предупрежден, но передачи не видел. Не помню уже почему. Видел и слышал ее Маринеско, отпущенный на побывку домой, и вместе с ним видели и слышали живой рассказ писателя миллионы телезрителей. Александр Иванович был счастлив.

Из беседы с В. А. Филимоновой:

«Саше становилось все хуже. Не мог есть, пришлось делать другую операцию, вывести пищевод, теперь у него в боку была трубка, через воронку туда вливалась жидкая пища. Другая трубка служила ему искусственным горлом. Каждые полчаса трубку надо было прочищать и промывать, она засорялась, и Саша начинал задыхаться и кашлять. Приходилось это делать и ночью. Саша день ото дня слабел. Надо было его мыть, на руках носить в туалет. Ему стало трудно говорить, писал записки. Держал себя с необыкновенным мужеством. Выпросился на несколько дней домой. Дома, лежа на кровати, смотрел и слушал передачу Смирнова. Был рад, разволновался, но глаза были сухие. А когда я везла его обратно в госпиталь, попросил провезти его по набережной. При виде кораблей заплакал: «Больше я их никогда не увижу»».

Наконец-то о подвиге «С-13» было сказано в полном смысле слова во весь голос, так, что этот голос был слышен от Балтики до Тихого океана, и это был голос человека, которого знала вся страна.

Выступление С. С. Смирнова по телевидению вызвало волну от-

клик. В маленькую квартирку на улице Строителей полетели письма со всех концов страны. Десятки, сотни, вскоре перевалило за тысячу. Не всякая книга вызывает такую лавину. Я видел эти перевязанные шпагатом толстые пачки, заполнившие все углы, нагроможденные на шкафы. Зачастили посетители — молодежь, пионеры. У Александра Ивановича уже не было сил прочитать все письма, встретиться со всеми, кто хотел его видеть. Дома он пробыл недолго. Надо было возвращаться в госпиталь.

Что было в этих письмах? Нетрудно догадаться. Слова благодарности и восхищения, недоуменные вопросы, горячие пожелания здоровья и долгих лет жизни. И нечто совсем неожиданное — деньги, трешки и пятерки рядовых советских тружеников. Сергей Сергеевич не скрыл от телезрителей, что герой тяжело болен, не утаил правды о материальных затруднениях, и самые разные люди немедленно откликнулись. Были и такие письма от совершенно посторонних людей: «Приезжайте к нам, мы Вас выходим...» Когда я рассказал об этом Сергею Сергеевичу, он был даже несколько испуган, он и не думал призывать на помощь. Из денег, присланных телезрителями и собранных моряками, образовалась порядочная сумма. Ее не успели истратить. Валентина Александровна от этих денег отказалась, и по решению друзей они были положены на сберкнижку до совершеннолетия младшей дочери Александра Ивановича — Тани.

Переписка с Исаковым продолжалась. Самому Александру Ивановичу писать было уже трудно, отвечала Валентина Александровна. Иван Степанович часто болел, но о Маринеско не забывал. Ему хотелось еще при жизни Маринеско написать о нем большую статью, и он просит Валентину Александровну записать со слов Александра Ивановича ответы на ряд вопросов. Из-за перегруженности основной работой и сильных болей в ампутированной ноге статью пришлось отложить. Она появилась только в 1965 году в журнале «Советский Союз». А в конце ноября 1963 года, за месяц до кончины Маринеско, он пишет:

«Глубокоуважаемые Александр Иванович и Валентина Александровна!

Спасибо за письмо.

Сам только что вернулся из санатория, чувствую себя лучше, но не особенно.

В свое время прошел через руки всех известных хирургов, почему знаю, какое у Вас состояние.

Будем надеяться на улучшение.

С. С. Смирнов еще в Китае. Скоро возвращается, и мы уговорились совместно написать Вам.

Пока посылаю 2 книги. На этот раз посылаю временно (можете держать сколько угодно, так как в ближайшие месяцы буду занят другой темой). Временно потому, что на обложке сделаны мои пометки и замечания, по которым собирался написать статью, да так и не собрался. Сейчас занят <...>, это поручение сверху и на долгое время.

На днях выходит мой рассказ об Вел. От. войне на Черном море в журнале «Москва» № 11. Я пришлю обязательно и буду ждать, как Вы оцените этот рассказ, на 95% списанный из жизни.

Желаю я и Ольга Васильевна вам обоим здоровья и успехов в делах.

Ваш Исаков.

PS. Правильно ли написал адрес? Могу ли чем помочь?»

Помочь Александру Ивановичу уже нельзя было, и Иван Степанович это понимал. Но ему хотелось, чтобы больший поменьше про это думал и в то же время твердо знал, что и после смерти не будет забыт. Очень существенно упоминание о С. С. Смирнове. Же-

лание взяться за эту тему самому и замысел будущей книги в том виде, как он изложен в «проекте», появились позже, когда ему стало ясно, что С. С. в обозримое время свою повесть не напишет.

Жить Александру Ивановичу оставалось недолго. Считанные дни. Свой конец он видел трезво и бесстрашно. В. А. Филимонова рассказывала:

«За несколько дней до смерти Саша решил отпраздновать свой день рождения. Пришли М. Ф. Вайнштейн и П. Н. Ветчинкин. Саша говорить уже не мог, но был веселый. Ему было разрешено все, и я сама лила коньяк в его воронку. Вскоре он умер».

Пишет доктор Кондратюк:

«С верой в улучшение он был выписан домой. Но спустя несколько месяцев поступил вновь и тихо, мужественно, терпя боли, ушел».

«Несколько месяцев», вероятно, ошибка памяти. Несколько недель. Но образ Маринеско не изгладился в памяти старого хирурга, оперировавшего сотни, если не тысячи больных. Удивительно хорошо в письме сказано — ушел. Не «ушел из жизни», как пишется в официальных некрологах, а просто — ушел. Так лучше потому, что из нашей жизни он не ушел.

Почему Александр Иванович захотел отпраздновать свой день рождения в ноябре? Родился он в феврале. Вероятно, не надеялся дожить до февраля. И чтоб не называть этот день днем прощания.

Исаковы были искренне опечалены смертью Александра Ивановича. Переписка с Валентиной Александровной не оборвалась.

«Прошу Вас помнить, что в лице моем и Ольги Васильевны Вы нашли друзей», — пишет Иван Степанович после похорон Маринеско. И через год вновь подтверждает: «...не ждите крайних случаев и пишите прямо мне. По всем вопросам. Я Ваш надежный друг. (23.10.64 г.)».

На похоронах Александра Ивановича я был и помню их хорошо. Но больше зрительно, как в немом кино. Помню полутемный клубный зал в здании флотского экипажа, где состоялась гражданская панихида. Помню, как сменялись в почетном карауле рабочие и моряки. А вот что говорилось у гроба — не помню. Не помню, был ли оркестр. Кажется, был. Народу набилось много.

Ехали на кладбище долго, в молчании. Шел мокрый снег. Запомнились на кладбище деревья, вероятно, когда-то на этом месте была рощица. По территории кладбища несли гроб на руках, тоже долго, в самый конец, и тоже молча. У открытой могилы никто не говорил, опустили гроб молча. Заговорили только на поминках.

Это были необыкновенные поминки. Я бывал на всяких. Помню поминки в большом ресторанном зале с расставленными покоем, побанкетному столами, с неким подобием президиума за центральным столом. О покойном вспоминали с микрофоном в руках. Помню и совсем тихие, приглушенно-семейные, где, кроме родственников, только двое-трое старых друзей и какие-то пожилые женщины с заплаканными глазами и без речей... На Васильевском острове все было иначе. Стол был накрыт в самой большой и все-таки тесной комнате коммунальной квартиры, и собралось помянуть Александра Ивановича более ста человек.

Решение было найдено в духе Маринеско: хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто в любом положении найдет выход. Выход нашелся. Из комнаты пришлось вынести все лишнее. Стулья и посуду призанять у соседей. Стульев все равно не хватило, пошли в ход табуреты и гладильные доски. Поминки шли непрерывно до поздней ночи, в две или даже в три очереди. Одни приходили, другие уходили. Только приехавшая из Одессы Татьяна Михайловна, мать Маринеско, не трогалась с места весь вечер. Ожидавшие своей очереди толпились на лестничных площадках, ку-

рили, переговаривались. Препятствий им никто не чинил, все этажи знали, кого поминают в тридцатой квартире.

А за столом шел непрерывный разговор. Все сидели вперемежку — балтийские моряки и рабочие с Выборгской стороны. Не все знали друг друга, но Маринеско знали все. Я сидел между контр-адмиралом и бывшим радистом с «малютки». Никто ни у кого слова не просил, говорили негромко и неторопливо, как в матросских кубриках после отбоя или у среза на полубаке, никто никого не перебивал, но каждый мог вставить слово. Прощаясь, не сразу уходили домой, а сливались с теми, кто стоял на лестничной площадке, и опять находилось что сказать и что вспомнить.

Помню, постоял на лестнице и я. Трудно было оторваться. И расходились тоже не поодиночке, а по двое, по трое. И все говорили, вспоминали...

Запись в моем дневнике от 6 декабря 1963 года:

«Вернулся из Ленинграда совершенно больной. Похороны были 29.XI. Описывать их нет ни времени, ни сил, да и незачем. Забыть их нельзя. Завод дал деньги на надгробие, оплатил расходы по похоронам, даже поминки. Валентина Александровна, Татьяна Михайловна, друзья-подводники — все эти люди вызывают глубокое уважение и укрепляют мою веру в неистребимость доброго начала в человеке. И все-таки не могу отделаться от чувства зияющей пустоты. И от чувства вины, хотя формально я как будто ни в чем не виноват. Но я знаю, оно еще долго не оставит меня».

XI. «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Эта небольшая глава возникла совершенно неожиданно, когда предыдущие десять были уже вчерне написаны.

В десятой главе мы проводили гроб с телом Александра Ивановича Маринеско к месту его последнего успокоения. Но его беспокойный дух не перестает меня тревожить.

Пришло время оглянуться. Перечитать составленный Иваном Степановичем Исаковым «проект». Сумел ли я хоть отчасти решить поставленную в нем задачу — «рассказать о героической жизни и судьбе Александра Ивановича Маринеско»?

Отчасти — на большее я не претендую. В «проекте» эта основная задача расчленилась надвое, и некоторые ее аспекты были по плечу только самому Ивану Степановичу. Дать развернутый стратегический анализ последнего периода войны на Балтике, создать на основе изучения всех имеющихся материалов наиболее точную и доказательную версию атак Маринеско и оценить их значение для окончательного разгрома врага мог только выдающийся флотоводец и ученый-историк, каким был Исаков. Сознывая это, утешаюсь мыслью, что моя повесть не единственная, а главная — не последняя книга, где читатель встретится с Александром Маринеско. Необъятный простор — от строго научного исследования до психологического романа. Но это дело будущего, а пока — несколько слов о том, почему у меня появилась потребность обсудить жизнь и судьбу моего друга с ученым-биологом, представителем науки, изучающей жизнь и поведение человека современными точными методами.

В числе наиболее спорных проблем, когда-либо стоявших перед человечеством, и поныне остается проблема свободы воли и вытекающие из нее вопросы о мере ответственности человека за свои деяния, о соотношении социальных и биологических факторов в поведении индивидуума. Мы сталкиваемся с этими вопросами повседневно как в великом, так и в малом — и когда пытаемся проникнуть в судьбы цивилизации, и когда обсуждаем проступок маленького ребенка. Изменился бы ход истории, будь у Клеопатры другая форма носа, а у Цезаря или Марка Антония другой характер? В чем при-

чина злобной выходки пятилетнего мальчугана — в наследственности или в воспитании, в физиологическом стрессе или в уже зреющей злой воле? Где пролегает граница между злостным асоциальным поведением, невротическим состоянием и психической невменяемостью? Нам свойственно искать на такие вопросы простые ответы, и в своем стремлении ответить однозначно мы часто скатываемся на крайние, полярные, взаимоисключающие позиции. Да или нет? Черное или белое? А ведь жизнь бесконечно многообразнее, в жизни все переплетено и нет ничего, что существовало бы в беспримесном, химически чистом виде. Понимать, рассуждать, иметь суждение — означает взвешивать, и недаром древние изображали Правосудие с весами в руках.

Состязательность судебного процесса — одно из древнейших завоеваний человеческой культуры, там, где этот принцип нарушен, властвует произвол. Но состязательность присуща не только судилищу. Она вообще свойственна процессу мышления. За последние годы я прочитал несколько отличных книг о том, как рождались основополагающие идеи современной физики. Увлекательнейшее чтение. Истина рождается в непрерывных спорах. Спорят между собой ученые. Теория оспаривает эксперимент, эксперимент — теорию. И наконец, спорит ученый сам с собой, сегодняшний с собой вчерашним. Так приходят к открытиям или терпят крах.

Исторический парадокс: преступление зачастую взвешивается гораздо тщательнее, чем подвиг. Судьба преступника, как правило, решается судом, судьба героя — административным усмотрением. Научные методы гораздо чаще применяются при расследовании преступления, чем при анализе героического деяния. Криминология уже давно наука, и на нее работают почти все известные нам области точного знания. Героическими деяниями занимаются преимущественно науки гуманитарные, не менее почтенные, чем физика или химия, но неторопливые и более других подверженные субъективным веяниям.

Стало почти обязательным исследовать душевное состояние преступника до, во время и после совершения преступления. В наше время суд, прежде чем вынести приговор, редко обходится без технической или медицинской экспертизы. Попытка прибегнуть к специальной экспертизе для дополнительной характеристики героя непривычна и может показаться причудой. Мне такая попытка представляется не лишеной интереса.

С членом-корреспондентом АМН СССР Георгием Николаевичем Крыжановским мы знакомы много лет. В руководимой им лаборатории общей патологии нервной системы я в свое время часто бывал, и с немалой пользой для романа, над которым я тогда работал. Наши добрые отношения тянутся с тех пор, и вполне естественно, что в одну из наших недавних встреч я поделился с ним тем, что меня в последнее время больше всего занимает. Рассказал сначала в общих чертах, а затем, почувствовав неподдельный интерес, вопреки своему обычаю дал прочитать незаконченную рукопись. Результат получился неожиданный — Георгий Николаевич увлекся. Помимо всегдашнего дружеского внимания к моей литературной работе у Георгия Николаевича был еще один немаловажный мотив, чтобы живо заинтересоваться личностью и судьбой Маринеско. Детские и юношеские годы ученого прошли в Одессе, оказалось, что и ему не чужда столь свойственный одесситам городской патриотизм и связанное с ним трогательно-горделивое отношение к своим выдающимся землякам. Выезжая в Одессу с научными целями, Георгий Николаевич нашел время отправиться вместе с группой молодых сотрудников к зданию мореходного училища, осмотреть и сфотографировать мемориальную доску, а в другой раз навестить живущую в Одессе сестру героя Валентину Ивановну. Расспрашивая ее о брате, Крыжановский

особенно интересовался годами, когда закладывались основы характера. Ну и, конечно, средой. Расспрашивал, вероятно, как-то по-своему, ученые наверняка задают вопросы несколько иначе, чем писатели.

И вот мы сидим друг против друга на террасе подмосковной дачи (мы к тому же дачные соседи), разделенные игрушечным столиком. На столике пепельница и блокнот. Для своих ученых степеней и званий Георгий Николаевич поразительно молод и легок на подъем. Очки его не старят, а синий тренировочный костюм только подчеркивает спортивность фигуры. Я без большого усилия мог бы представить себе будущего членкора в дружной компании Саши Маринеско, если б не одно обстоятельство — когда Саше Маринеско было пятнадцать лет, Жоре Крыжановскому было пять.

Раньше чем ответить на мой первый вопрос, Крыжановский предупреждает:

— Вы обронили слово «экспертиза». К нашей беседе оно применимо лишь весьма условно. Ни заочно, ни постфактум настоящая экспертиза невозможна. Но я охотно поделюсь с вами некоторыми своими соображениями. Итак, с чего мы начнем?

— Поговорим о характере Маринеско. Что такое в вашем понимании героический характер?

— Здесь также необходима оговорка. Героический характер — понятие социально окрашенное. Героическим деянием, или, проще говоря, подвигом, мы с вами назовем только такой экстраординарный по своей смелости поступок, который служит нравственно близкой нам цели. Героический характер складывается под влиянием среды и в результате полученного воспитания. С точки зрения биологической, можно говорить только о предрасположении, о наличии определенных данных. Среда, в которой воспитывался Маринеско, была несомненно здоровой. Характер его с юных лет складывался как волевой, целеустремленный. При наличии общей одаренности такие характеры нередко реализуются как героические. Вообще же человеческие характеры бесконечно многообразны, никаких средних норм для них не существует.

— Как так не существует? А нормы общественного поведения?

— Это опять-таки область социальных отношений. А в плане биологическом — норм нет. Существуют средние нормы для артериального давления, для содержания сахара в крови, но не для характера и не для способностей. Наш знаменитый психиатр профессор Ганушкин говорил, что если б такие нормы существовали, человечество погибло бы от застоя. Человек высокоодаренный, волевой нередко кажется нарушением нормы. Но вернемся к Маринеско. По своему характеру люди делятся на два основных психологических типа — на экстравертов и интровертов. Экстраверты — люди открытые, общительные; интроверты — замкнутые в себе. Судя по тому, что мне удалось о нем узнать, Маринеско представлял собой не часто встречающееся соединение обоих этих типов. Он был экстравертом для тех, с кем был близок по духу и кому полностью доверял. Поэтому его так любили сверстники и команды кораблей. Для всех остальных он был интровертом. Вспомним его упрямое молчание о своих заслугах в течение ряда лет. Соединение этих качеств в одном лице — свидетельство незаурядности их обладателя, нелегкое прежде всего для него самого. Ему жилось бы легче, будь он только экстравертом или только интровертом.

— Попробуем представить себе жизнь человека в виде некоей гомограммы вроде тех, какие вычерчивают на миллиметровой бумаге ваши самопишущие приборы. Правильно ли будет предположить, что гомограмма человека незаурядного будет отличаться от гомограммы человека посредственного большим размахом колебаний?

— Ну, вы сами понимаете, что практически такая интегральная

гомограмма невозможна. Наши самопишущие приборы способны фиксировать колебания только в ограниченных, заранее заданных параметрах. Но если вслед за вами вступить в область фантазии, то применительно к Маринеско я отчетливо вижу прерываемые спадами крутые подъемы, и в том числе три пика, три вершины, свидетельствующие о необычайной нравственной силе.

— Какие же?

— Объективно они несоизмеримы и неравноценны, но сейчас нас с вами больше занимает субъективная сторона. Первая вершина — добровольный отказ от мечты стать капитаном дальнего плавания. Мне кажется, вы недооцениваете глубину и страстность этой мечты. Мы, одесские мальчики, были влюблены в Черное море, многие из нас мечтали стать моряками, но мечты Маринеско простирались гораздо дальше, его манили океанские просторы, далекие, неизведанные материки. Его сестра рассказывала мне: «Временами Саша пропадал из дому, и только я знала, где он: сидит, обхватив руками колени, на парапете там, где Торговая спускается к морю, и смотрит вдаль. Так он мог сидеть часами». Бесспорно, решение перейти из мира своих мечтаний в чуждый ему мир холодных глубин было осознанным, продиктованным сильным патриотическим чувством. Но легким оно быть не могло. Вот почему я считаю ломку сложившейся с самых ранних лет жизненной программы, жертву, которую молодой Маринеско принес во имя своих гражданских идеалов, одной из вершин в его биографии. Нужно было круто сменить то, что мы называем доминантой, подавить прежние стремления и открыть дорогу новым. Добровольность решения не исключает стресса, несомненно это был стресс, и в преодолении этого стресса сказались выдающиеся волевые качества Маринеско. Но вот в чем сложность — наша нервная система так устроена, что в ней ничто полностью не стирается. Случайный пример: человек, много лет назад бывший в немецком плену и полностью забывший немецкий язык, заболев, в горячечном бреде начинает говорить по-немецки. Мечта об океанских походах продолжала подспудно жить в сознании Маринеско как некий фон, мешавший в нормальных условиях полностью отдаваться новому призванию. Но он существовал, этот фон, и когда перед войной, пусть на короткое время, Маринеско был изгнан из подводного флота, травма оказалась особенно глубокой. Поставим себя на его место — мы приносим жертву, быть может самую большую из возможных; вы отказываетесь от литературы, я от науки, и вдруг оказывается, что она, эта жертва, никому не нужна! Для Маринеско это был первый серьезный надлом. Появилась нужда в транквилизаторе. Самый близлежащий и доступный транквилизатор — водка. Вспомните, раньше ее в обиходе Маринеско не было. К счастью, ошибка была вскоре исправлена, и хотя нервная система ничего не забывает, душевное здоровье помогло Маринеско преодолеть все психологические трудности и подняться на новую высоту.

— Этой второй вершиной вы считаете январский поход?

— Не только. И предыдущие тоже. Все атаки Маринеско требовали от него высочайшего напряжения воли и ума. Не мое дело оценивать их объективную значимость, моя задача — напомнить, что нервная система Маринеско подвергалась чрезвычайным перегрузкам. Сегодня мы в своих лабораториях уже умеем моделировать на животных механизм порождаемых перегрузками неврозов. Постепенное усложнение поставленных задач и увеличение объема информации при сокращении сроков на ее переработку и повышении ответственности приводят к невротическим состояниям. Эта модель действительна и для человека. Мы живем в мирное время, и все-таки современная медицина разработала для подводного флота особые условия и целую фармакопею, смягчающую перегрузки и

во время плавания, и после возвращения из длительного похода. В конце последней войны ничего такого и в помине не было. Этим отчасти объясняются и некоторые срывы. Опять парадокс: человек обычно срывается не в обстановке крайнего напряжения, а когда тормоза отпущены. В мою задачу не входит ни обвинять, ни оправдывать Маринеско за поразивший меня своей психологической достоверностью эпизод его загула в Турку, но причины его мне понятны — бессемейность, неприкаянность, скука, следы недавних перегрузок. Если б этот эпизод произошел не в чужой, недавно вышедшей из войны стране, весьма вероятно, он не сыграл бы такой роковой роли в дальнейшей судьбе Маринеско. И если бы успешный январский поход сорок пятого года принес ему полное прощение и признание, многое сложилось бы иначе. Невротическое состояние, вошедшее в привычку употребление алкоголя, первые признаки эпилепсии — все это, вместе взятое, привело к тяжелым срывам и ошибкам, главной из которых я считаю упрямое решение уйти из Военно-морского флота. Вот это самое упрямое «демобилизуйте!» понятно: перед ним еще маячила юношеская мечта о дальних походах и неведомых странах, но жизнь показала, что обратного хода у него уже не было. Он уже подводник до мозга костей и разрыв с подводным флотом был для него трагедией.

— Что же вы считаете третьим пиком?

— Третьей вершиной я с полным убеждением считаю поведение Маринеско на суде, в пути на Дальний Восток и в порту Ванино. Больной, надломленный человек не рухнул ни физически, ни нравственно, не озлобился, а нашел в себе силы выйти победителем из тяжелейших испытаний, не только не теряя своего человеческого достоинства, но проявив выдающиеся качества вожака и организатора, доказав, какие неисчерпаемые возможности таятся в человеке волевого склада, когда он ставит перед собой достойную цель, в данном случае — сохранить себя как личность, добиться полной гражданской и партийной реабилитации. Какая победа над самим собой! За все время — ни капли алкоголя (а возможности были), ни одного эпилептического припадка! Вот почему неверно рассматривать Маринеско как человека, беззащитного от соблазнов и катившегося по наклонной плоскости. Если б не ранняя смерть, от него можно было ждать нового подъема.

— Тогда последний вопрос. В своей статье («Нева», 1967, № 7) Н. Г. Кузнецов признает, что Маринеско не был вовремя брошен спасательный круг. Каков он должен был быть, этот круг?

— На мой взгляд, нужны были два. Первый — чисто медицинский. Убежден, что при всем несовершенстве лечебных средств в послевоенный период Маринеско можно было полностью вылечить. Как показала жизнь, его воля не была сломлена, нужно было только дать ей направление, перспективу, создать соответствующую доминанту. Для этого был нужен второй спасательный круг — признание, доверие, которые помогли бы разомкнуть то, что мы называем *circulus viceosus* — порочным кругом. История жизни Александра Ивановича Маринеско кажется мне поучительной во многих отношениях. Она свидетельствует о том, какие огромные возможности заложены в человеческой личности, и одновременно напоминает о бережности, с какой следует относиться к натурам даровитым и волевым, полностью раскрывающимся в экстремальных ситуациях. Будем помнить, что даже некоторые их недостатки (к примеру, упрямство) — продолжение, или, точнее сказать, «издержки», достоинств...

Читатель, вероятно, догадывается, что приведенная выше беседа — не единственная. Это — экстракт. Говорим мы с Георгием Николаевичем о Маринеско при каждой нашей встрече, и эти беседы доставляют мне особое удовольствие, потому что для нас Александр Иванович еще не литературный герой, а просто близкий нам

обоим человек, и то, что Георгий Николаевич не был с ним знаком, не слишком нам мешает. Иван Степанович тоже ведь никогда не видел Маринеско. Наши беседы дороги для меня еще тем, что они как бы облегчают тот неизбежный, долгожданный, но всегда тревожный для автора процесс отчуждения, когда написанное мною перестает быть фактом моей личной биографии и становится общим достоянием.

Осталось досказать немногое.

Почему я назвал эту главу «Память сердца»? Так называется поисковая группа, созданная по почину старшекласников 105-й средней школы города Одессы. Это та самая школа, где учился Саша Маринеско, и нет ничего удивительного, что землякам дорога память о герое. Недавно мне прислали вырезку из одесской газеты. В заметке, озаглавленной «Память сердца», рассказано о музее, собранном следопытами 105-й, и о хранящихся в нем ценных экспонатах. Причину успеха автор заметки видит не только в энтузиазме ребят, но и в том, что «ім'я Маринеско відкривало чарівним ключем всі двері та серця».

Прекрасно сказано. Жаль только, что этот чудесный ключ еще до сих пор не подходит к иным заржавевшим замкам. Достойное увековечение памяти героя нужно не ему, оно нужно нам. Подвиг «С-13» еще жив в памяти воевавшего поколения и еще долго может служить примером воинского искусства и отваги для будущих командиров боевых кораблей. Это не пустые слова, десятки юношей выбрали военную профессию, вдохновленные той правдой, которую они узнали о Маринеско, и можно поручиться, что они выбрали свой путь не для того, чтоб повторять его ошибки. Не пришло ли время заново, с учетом всего накопившегося исторического опыта и общественного мнения положить на чаши весов подвиги и преступления Александра Ивановича? И может быть, пора многое простить? За большие заслуги перед родиной советский народ прощал грехи более тяжкие. Преданность Александра Ивановича своей советской родине может вызывать сомнения только у его врагов, его заслуги — тоже. И не пора ли вспомнить мудрый афоризм, принадлежащий германскому мыслителю XIX века Георгу Лихтенбергу: «Для оправдания человека достаточно, чтобы он жил так, что своими добродетелями заслуживает прощения своих недостатков». Думаю, что Александр Иванович жил именно так. Добродетель — слово старинное, но не умершее, оно по-прежнему включает в себя ум, честность, отвагу и верность. А недостатки — были. За них он уже расплатился сполна, а пожалуй что и с лихвой. Давайте взвесим еще раз.

И наконец последнее. Почему я назвал свою повесть «Капитан дальнего плавания»? Этот вопрос мне уже задавали. Как известно, Александр Маринеско окончил мореходное училище штурманом, затем командовал подводными лодками и, судя по его послужному списку, никогда не ходил в дальние походы.

В дальние действительно не ходил. А в боевые ходил. И повесть назвал так не я, а одесские моряки.

Перечитайте, пожалуйста, текст мемориальной доски на здании Одесского мореходного училища, послуживший мне эпиграфом. Училище это — учреждение гражданское, воинских званий оно не дает. Назвав своего воспитанника капитаном дальнего плавания, одесские моряки оказали ему высочайшую по своим понятиям честь. Стать капитаном дальнего плавания было заветной мечтой юного Саши Маринеско. Мечта сбылась, он им стал. И останется навеки в благодарной памяти земляков.

Имя Маринеско еще долго будет открывать чудесным ключом все двери и сердца.

ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Свежий звук прокатился над
за высокие сосны задел — садом,
это в темном бузиннике, рядом,
соловей-красношейка запел.
Начал нежно и тонко,
с почина,
а потом перешел на раскат.
Ах, какой прилетел молодчина,
ведь такие теперь нарасхват!
Бьет то дробью, то лешевой
дудкой,
за волной набегаёт волна,
а в недолгих литых промежутках
продолжает звучать тишина.
Для чего так сиять голосисто?

Что другим от его красоты?
Или вправду от яркого свиста
распускаются ярче цветы?
Сколько лет этим звонким
коленам?
Что он знает о песне своей?..

И над горем,
над прахом и тленом
все равно клекотал соловей.
И согбенный
на миг разгибался,
и ползущему снился полет.
А соловушка пел, разливался
и не думал, зачем он поет.

* * *

Не обман, не корысть, не
злодейство
И не хитрости ремесла —
Просто-напросто кончилось
действие,
К океану река принесла.
Плыл я, плыл по течению
жизни,
И выныривал, и тонул.
И не думал, что на сердце
брызнет
Этот мощный уверенный гул.
Вот он, рядом совсем,
за холмами.
Как раскаты его широки!
И спастись не кинешься
к маме —
Мама там, у истоков реки.
Что же делать? Петлять
и кружиться,
Холодеть от предчувствия беды,
Оттого, что речная водица
Повкусней океанской воды?

Оттого, что, огромен и светел,
Небосвод над тобою встает,
Что холодный торжественный
ветер
Слишком рано лицо обдаёт?
Но ведь были речные излуки,
Был рассвет настороженно-тих,
И счастливые женские руки
Трепетали в ладонях твоих.
Так спасибо же всем: человеку,
Птичьим гнездам, и ветвям
дубов,
И тому, кто пустил эту реку
Вдоль таких золотых берегов!
А теперь все припомнить
уроки,
Весь судьбою подаренный путь
И шагнуть в этот ветер
широкий,
С благодарной улыбкой
шагнуть...

В ПУТИ

★

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

* *

— Когда она приходит — зрелость?
— Когда еще всю спешишь,
Хоть понял: все, чего хотелось,
Ты ни за что не совершишь.
Когда и сердце не болело
И нервы вроде хороши,
Но чувствуешь уже, что тело
Совсем не часть твоей души.
Когда, не раз душой поранясь,
Поймешь: помимо наших воль
Любовь приносит боль и радость,
Но чаще — почему-то — боль!

Встреча

Я прохожего толкнул, я извинился,
Присмотрелся повнимательней — и вдруг..
Боже милостивый! Как он изменился —
Школьный мой товарищ, старый друг!
Он стоит, большой, черноволосый,
На себя тогдашнего похож,
Задаёт веселые вопросы
С присказкой своей: «Ну ты даешь!..»
А в плечах — какая-то сутулость,
В голосе ребячливом — надлом..
Друг мой, друг, вот время и коснулось
Нас испепеляющим крылом.

* *

Ты опять заглянула вперед
И губами твердишь неживыми:
— Неужели все это пройдет —
И однажды мы станем чужими?
Неужели однажды,
ничуть
Ни лицом, ни душой не печалась,
Ты отправишься дальше в свой путь,
Словно мы никогда не встречались?
Я же стану расчетливей впредь:
Только так может жизнь получиться..
Это невероятно, как смерть,
Но все именно так и случится!

ВИКТОР КРЮЧКОВ

Памяти отца

Часы не нужны сержанту,
 чтоб время атаки засечь.
 Надо преградой танку —
 гранитом в окопе лечь.
 Пусть танк тот окоп утюжит —
 надо в землю врати
 и в ярости надо сдюжить,
 чтобы с ума не сойти.

Потом, когда танк еще рядом,
 надо подняться в рост
 и бросить рывком гранату
 в его уползающий хвост.
 Метать мы научены метко.
 Взрыв. Пламя! И танк горит!
 ... И только минутная стрелка
 на том же деленье стоит.

* *
 * *

Солдаты уходят в запас,
 И каждый пути выбирает:
 Одни собрались на КамАЗ,
 Других Уренгой приглашает.
 Масштабные стройки, почет!
 Но надо немного сдержаться —
 Солдата село его ждет,
 Так ждет, что не может дождаться.
 Серебряный отсвет берез
 В солдатское сердце стучится,

Село, где родился и рос,—
 Отчизны великой частица.
 Там люди торопят весну,
 Чтоб землю родную лелеять.
 Кто завтра накормит страну,
 Если сегодня не сеять?
 Солдатские думы летят
 К полям, луговому раздолью...
 ...Мне нравится этот солдат,
 Солдат, присягающий полю.



А. ПРИСТАВКИН

★

ГОРОДОК *

Роман

Часть четвертая

В то время как Тамара Ивановна с утра, надев халатик и повязав свои золотые волосы лентой, осматривала хозяйство, степенно, без суеты расспрашивая мужа, Вовка успел обежать весь дом и теперь крутился у них под ногами и не давал толком поговорить.

— Папка,— спрашивал он,— а почему у тебя полы не крашены? А где туалет? А почему у тебя два крыльца?

Тут и Тамара Ивановна спросила, зачем в доме два крыльца. Или он предусматривает запасной выход?

— Здесь Петруха должен был жить,— отвечал Шохов, хмурясь.— Не захотел.

— Но почему?

Шохов пожал плечами, глядя в сторону.

— Я же писал, что он того... малый с загибом. Строились вместе, а потом вдруг взял да отказался. Вот и суди, какой он?

— Я бы хотела с ним познакомиться,— неожиданно решила Тамара Ивановна.

— Зачем?

— Ну... Интересно посмотреть на него. Вы же прежде дружили? Так как Шохов молчал, она добавила:

— Но я вообще со всеми хотела познакомиться, о ком ты писал. Может, стоит пригласить их к нам?

Шохов снова спросил:

— Зачем?

— Станный ты! Но ведь это наши соседи? Нам ведь с ними жить?

— Нам с тобой жить,— сказал Шохов и осторожно обнял жену. Он отвык от ее гладких красивых рук, от ее золотого взгляда и постоянно смущался, когда она смотрела.

Впрочем, крутившийся поблизости Вовка тут же стал их различать, втиснувшись между ними.

— Отойти от мамы,— сказал он вдруг отцу.— Чего ты к ней пристаешь?

Они рассмеялись, а Тамара Ивановна произнесла мягко, укорила:

— Дурачок ты у меня... Это же мой муж! Пойди-ка посмотри, где Валерий. Ему, наверное, скучно здесь.

— Он ПТУ окончил?— спросил Шохов озабоченно.— А где он будет жить?

— Ты как думаешь? Где?

Шохов промолчал, она опять спросила, заглядывая ему в глаза:

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

— Ты не хочешь, чтобы он с нами жил?

— Да мне все равно. Но, может, спросить его? У нас хорошие общезития, между прочим. Я могу и на своей койке поселить.

— Ладно. Спросим,— решила Тамара Ивановна, подумав.— Но не сейчас. Потом. Я хочу, чтобы он пока чувствовал себя как дома.

Тут прибежал Вовка и сказал, что Мурашка (он так и звал его по фамилии, уж очень она была прилипчивая) сидит во дворе.

— Что, просто сидит?

— Ага.— Вовка поправился: — Нет, сначала он поколол дрова. Потом сел отдыхать.

— Ну позови его сюда. Или нет, не надо. Мы сейчас придем сами.— Тамара Ивановна многозначительно посмотрела мужу в глаза. Мол, видишь, он каков: уже поколол дрова. Что ни говори, а парень старательный.

Шохов же, закончив пояснения по дому, вывел жену во двор. Показал, где будет сарай, а где баня и гараж, если думать о перспективе. Где можно разбить садик, а где огород. Увидев сидевшего в одиночестве Мурашку, окликнул:

— Валерий, как тебе мое хозяйство?

Юноша поднялся. Очень независимо, не спеша подошел.

— Нравится? Нет? — опять спросил Шохов едва ль не заискивающе. Уж больно суровый вид был у парня.

— Да ничего,— сказал он, дернув плечами.— А чего же вы уборную под окном поставили?

Шохов посмотрел на уборную, на Мурашку и натянуто засмеялся. — А ведь верно приметил... Это временно. Уборная в доме будет. Только не сразу.

— Тем более,— сказал Валера.— И крыша...

— Что крыша?

Валера задумчиво посмотрел вверх и произнес:

— У нас дома лучше! У нас черепица...

— Ну,— протянул Шохов,— у тебя отец был строителем номер один во всем Советском Союзе! — Он заметил, что Тамара Ивановна делает ему глазами какие-то знаки, с ходу поправился: — Но ты меня уговорил: мы сложим печь во дворе и сами смастерим черепицу.

И будто в отместку за столь придирчивое отношение к его пострадавшему дому Шохов спросил быстро:

— А скажи-ка, дружок, у вас учили в ПТУ грунты?

— Их классификацию?— уточнил Валерий.

— Ну да!

Тот подумал, посмотрел Шохову в лицо. Кажется, он сообразил, почему вдруг устроили ему испытание.

— Пожалуйста. Первая категория — это песок, супесок, растительный грунт, торф...

— Объемный вес песка?

— Тысяча пятьсот килограммов на кубический метр... Вторая категория — это...

Шохов перебил Мурашку:

— Глина — какая категория?

— Смотря какая глина,— отвечал резонно паренек.

Тамара Ивановна следила за странным поединком, чтобы при случае вмешаться. Но, кажется, Мурашка не собирался отступить.

— Жирная глина — третья категория, тяжелая — четвертая.

— Ничего,— кивнул Шохов примирительно.— Все верно. Так вот здесь кругом, и под домом, тоже глина. Жирная глина, годная для черепицы. Можешь представить, как мне досталось основание копать.

Но эти последние слова он уже относил скорей жене, чем Валерию. Оставив ребят, они пошли по двору, и Шохов продолжал пояснять.

Когда же он закончил, Тамара Ивановна в порыве благодарности обняла мужа и, поцеловав его крепко, произнесла:

— Шохов мой! Я тебя люблю! Ты совершил чудо. Спасибо тебе за наш дом.

«За наш дом» — вот что было главным в ее словах.

После обеда, как ни отговаривал Шохов, она решила познакомиться с Петрухой. Со всеми остальными, в том числе и Галиной Андреевной, она собиралась встретиться тоже, но с Петрухой в первую очередь.

Отправив Вовку с Валерой купаться на речку, сама как была в домашнем легком платье-халатике, в босоножках отправилась по тропинке к видневшейся неподалеку избушке. Она представляла по письмам эту избушку, но все-таки не такой маленькой.

Дверь, как и предсказывал Шохов, оказалась открытой. Внутренность же сумрачной, прохладной и довольно неухоженной, о чем тоже предупредил Шохов. Но для Тамары Ивановны вовсе не порядок в избушке был важен. Ей хотелось взглянуть на дом, где ее муж в содружестве со странным хозяином провел свою трудную одинокую зиму.

Она увидела печку не очень-то складную, и стол, заваленный радиоаппаратурой, и лавку справа, где спал Шохов, и самого хозяина, большеголового и глазастого. Вот только уродливым или некрасивым его никак нельзя было назвать.

Петруха ей понравился сразу: большие глаза, умные и выразительные, странный, но очень чуткий рот, чистое смышенное лицо с детской смущенной улыбкой.

Таким оно стало, когда Тамара Ивановна представилась женой Шохова и добавила, что много хорошего слышала о Петре Петровиче и хотела бы с ним поближе познакомиться. Тем более что жить им в добром соседстве придется долго.

Петруха пригласил ее присесть, извинившись за некоторый беспорядок в доме. В нем нет женщины.

— Да, я это поняла,— сказала Тамара Ивановна с мягкой улыбкой и вдруг предложила: — Хотите, я приберу? Я это быстро сделаю.

— Нет, нет,— почему-то испугался он. Добавил: — У вас и там хватает сейчас дел.

— Да! — воскликнула она непроизвольно.— Я пришла в ужас, когда увидела его белье! Он же все стирал в холодной воде. Все надо мыть, скрести... А где ваша семья, Петр Петрович? Или вы всегда один?

Тамара Ивановна спросила так просто и естественно, что Петруха нисколько не усомнился в ее искренности, как и в ее сочувствии.

Вообще оказалось неожиданным, что они, доселе не встречавшиеся и даже будто заведомо разъединенные разными сложностями в отношениях Петрухи и Шохова, с первых же слов, с улыбки, с момента, когда они увиделись, почувствовали друг к другу необыкновенное доверие.

— Вам, наверное, уже сообщили, что меня тут зовут чокнутым?— спросил с улыбкой Петруха. И по легкому смущению собеседницы, ее протестующему жесту понял, что так оно и есть.— Ничего,— сказал он добродушно.— Меня это никак не волнует. Да и вы-то при чем, что вам это сказали. А знаете, меня так и раньше звали. Я вообще среди детей рос, как выражаются нынче, нестандартным ребенком, очень неуравновешенным, со всяческими там психическими отклонениями. А все из-за своего ненормального воображения. Однажды, лет так семи, еще до школы, я прочел книжку (ее названия я не знаю до сих пор), как влюбляются двое, а потом девушка топится в реке, а сошедшему с ума юноше кажется, что с неба падают мешки с трупами. Меня так поразила эта картина, что я не спал по ночам, стал заговариваться, и меня направили на лечение. Было и другое, разное. И пошло, и пришло ко мне прозвище чокнутый.— Он задумался.—

И знаете, что интересно. Я часто переезжал с родителями (они у меня кадровые военные), и на новом месте это прозвище опять ко мне прилипало. Это поражало больше всего. Ну откуда, откуда? А потом привык, ведь знаете: если человека назвать сто раз свиньей, то на сто первый он сам захрюкает... А когда стал старше, вдруг понял, что все, в общем-то, правильно и придется мне до самой старости носить это клеймо.— Он помолчал, поглядывая в окно.— Вот был со мной случай, послушайте, может, вы лучше поймете меня. Я с детства страстен к технике. Дома все мастерил сам. Однажды заболел автомобилем и собрал его вручную. Не только собрал — добился, чтобы оформили в ГАИ, и долго на нем ездил, пока не купил настоящий «Москвич». И вот когда стало можно (хоть это всегда было можно) и все бросились копить на «Жигули», правдами и неправдами стараясь достать, добиться, выцарапать машину, я свою продал. Купил спящего жеребенка, которого держал в бывшем гараже за городом, и каждый день ездил к нему, чтобы чистить, кормить и гулять. Вы думаете, кто-нибудь меня понял? Постарался понять? Они вертели пальцем у виска, а за глаза говорили: «Так он же чокнутый! Машину на какого-то жеребенка сменял!» Так вот, открою чистосердечно: мне плевать на них. Раньше-то я переживал, понимая, что я не такой. А какой на самом деле, не знал. Нет, знал: что я хуже. Им удалось мне внушить, что я хуже. Но сейчас я знаю, кто я, что я могу, и знаю цену тому, как ко мне относятся. Впервые, может быть, здесь, притом что кличка за мной притащилась (хвост!), я не чувствую собственную неполноценность.— Он помедлил, будто колебался, продолжать ли.— То есть бывает... Но я могу спокойно удалиться. Как сделал в истории с вашим мужем.

Только это Петруха и сказал про отношения с Шоховым. Но о себе продолжал рассказывать еще долго. Тамара Ивановна, привыкшая и умеющая находить с людьми контакт благодаря общительному, сострадательному характеру, все-таки растерялась от такого запаха доверия. Она решительно заявила, что все-таки немного приберет в его избушке. И хотя Петруха неловко сопротивлялся, вытеснила легонько его за дверь и почти час мыла, терла влажной тряпкой, выскребая накопившуюся грязь.

Разрумянилась, раскраснелась и, поправляя золотые волосы, сказала на прощание, что она просит, чтобы Петруха пришел к ним в гости. Они собираются устроить маленький праздник по поводу воссоединения семьи, как выразился бы Шохов.

— Это завтра,— добавила Тамара Ивановна.

Петруха молчал. После всего происшедшего он не мог отказаться, но и не очень-то желал идти.

— Не знаю,— честно признался он.

— Ну пожалуйста,— попросила она, глядя ему прямо в глаза.— Ради меня. Ладно?

К вечеру стали собираться приглашенные. Пришли все: дядя Федя, который отнекивался сперва, пришел со своим неизменным парнишкой-гармонистом, гравмированным при избной помочи в язык, о чем немало потом шутили в Вор-городке. И Коля-Поля явились в куртках студотряда, в джинсах и кедах. Их особенно тепло встретила Тамара Ивановна и долго расспрашивала, где они учились, что сдавали и как устроились работать. Им предстояло открывать новый учебный год вместе в одной школе.

Пока Шохов водил дядю Федю по двору, объясняя свои хозяйственные дела, Тамара Ивановна с помощью Галины Андреевны приготовила стол. Поначалу было решено накрыть на воздухе, но потом раздумали и решили, что комары да мошка не дадут посидеть спокойно. Лучше уж потерпеть духоту, чем кормить гнуса весь вечер. Да

и был, определенно был смысл делать праздник в доме, все-таки справляли что-то вроде новоселья.

Дед Макар явился одновременно с Петрухой. Они чинно уселись на скамеечке у дома и вели свои долгие беседы. Последними пришли Вася Самохин и Нелька. Они поссорились еще по дороге в гости и теперь оба были взъерошенные, дерганые, их трудно было унять. Самохин по старой привычке с ходу пошел задирается к деду Макару, но тот довольно вежливо, но твердо отфутболил его, произнеся единственно: «Васенька, голубчик мой, я тебя люблю, ты знаешь, но больше на расстоянии. Тебя, кстати, Тамара Ивановна хотела попросить что-то по хозяйству».

На столе, кроме вина и водки, стояли всяческие разносолы, оставшиеся у запасливой Тамары Ивановны с прошлого года, в том числе соленые грибки.

Вовка тут же всунулся, что он-де тоже собирал грибы около Елабуги, что за Камой. Но Тамара Ивановна сразу же ему и Валере нашла дело — попросила сходить в магазин за хлебом.

Кто-то предложил свой хлеб, но она отмахнулась:

— Пусть сходят. Нечего им среди взрослых болтаться.

— А на мороженое дашь?— спросил Вовка.

— Дам. Бегите.

Тут же после первой рюмки разговор переключился на детей.

Вася был сегодня особенно не в духе, он крикнул Макару Ивановичу:

— Дед, ты почему не объяснил своей дочери, что тебя доить на старости лет неприлично? А?

— Ты что это сегодня особенно кусаешься?— спросила Галина Андреевна, но, как всегда, вежливо и с улыбкой.

— Не с той ноги встал,— ответила за него Нелька.

— Молчи! Я с той ноги встал бы, если бы ты вела себя как следует.

— Что ты городишь при людях?— вскипела Нелька.— Как это я себя веду?

— Друзья! Друзья! — попытался остановить скандал Шохов.

Но Вася уже ничего не слышал. Он даже себя не слышал, когда закричал:

— Сама знаешь как! Этот тип прилип, а ты и рада! А мне сегодня стыдно было сюда идти, потому что все пальцем указывают! Вот глядите, у Самохина рога прорезались! Вот тут!

И Самохин, кривляясь, стал показывать, где у него рога. Нелька выскочила из-за стола и бросилась вон. У порога она пообещала:

— Не было, но будут у тебя рога! Будут! Будут!

Женщины стали укорять Васю, но все было бесполезно. Он попросил не учить его, как жить, и тоже ушел.

Мужчины и даже дед Макар, которого Вася особенно допекал, начали говорить, что Вася тут ни при чем, а Нельке бы надо остеречься Семена Семеновича Хлыстова, который так активно за ней ухаживает на глазах у всего Вор-городка.

— А что, ему баб холостых мало?

— Да у Хлыстова небось тоже где-нибудь семья?

— Он говорит, что холост.

— Все вы мужики холостые, когда жены вдалеке,— произнесла Галина Андреевна строго и посмотрела на Шохова.— И оставьте вы в покое Семена Семеновича,— добавила она.— Что вы о нем знаете?

— Ну, положим, я кое-что знаю.— вдруг сказал Шохов.

— Помолчи,— попросила мужа Тамара Ивановна.

— Дорогие!— поднял голос дед Макар.— Ну, право, не хватало, чтобы вы следом за Васенькой начали ссориться из-за этого... человека. Вряд ли он стоит...

Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, но он прервался стуком в дверь. Никто, кроме Тамары Ивановны, не обратил внимания, а она сказала:

— Тише! Кажется, стучат? Входите! Кто там? Может, это дети балуются?

Она подошла и открыла дверь.

— Можно? — спросил высокий мужчина.

Он стоял на пороге стройный, энергичный, молодежавый. Шохов да и Тамара Ивановна сразу узнали Третьякова.

— Так можно? — переспросил гость. — Или я не ко времени?

Не подымаясь из-за стола, Шохов произнес:

— Проходи, раз пришел.

— А что же хозяйка, не рада? — спросил гость, входя в дом.

Тамара Ивановна молча прошла мимо него в дверь. Чтобы как-то разрядить обстановку, Шохов представил нового гостя:

— Мой бывший коллега Алексей Николаич Третьяков. А здесь мои друзья.

Нисколько не смущаясь возникшим молчанием, Третьяков присел на свободный стул, на котором сидела Нелька. Видно было, что он привык к разным ситуациям. Оглядел стол, людей, произнес, как бы извиняясь, что не знал, что здесь праздник.

— Ничего, — сказал Шохов, усмехнувшись и наливая рюмку. — Не спрашиваю, какими судьбами... Вот выпей.

— Это что же? Новоселье? — спросил Третьяков. — Ладно. Чтобы счастливо жилось! — Он чокнулся с одним Шоховым и залпом выпил.

Все молча смотрели на него.

— Простите, — вежливо произнес он и встал. — Нарушил ваш праздник. Спасибо. Я потом зайду.

Шохов не предложил остаться. Он поднялся следом и вышел проводить гостя. Вернулся минут через пять очень взволнованный. Какое-то мгновение смотрел на всех бессмысленно, с придыханием, упавшим голосом произнес одно лишь слово:

— Пожар.

Все довольно бестолково уставились на него.

— Вы что сказали, Григорий Афанасьич? Жарко?

— Пожар! Городок горит! — крикнул он в отчаянии.

Секунду еще никто не двинулся, но потом одновременно все повскакали. кто-то бросился к окну глядеть, другие сразу к двери.

Лишь дед Макар остался сидеть на своем месте, он задремал и ничего не слышал.

За несколько минут до этой страшной новости, ничего не ведая, Григорий Афанасьевич и Третьяков вели, стоя во дворике, разговор. В общем-то, Шохов знал, что этот разговор произойдет. Он должен был произойти там, в Челнах, да только Шохов уехал. Если не сказать проще — сбежал. Вспомнилось, как вернулся он из Москвы веселый, отдохнувший. Тамара Ивановна кучу пластинок накупила. А в первый день работы ему под нос приказ о понижении... И подпись Третьякова.

Два года тянул под руководством Третьякова лямку мастера. Грызлись, не без этого. Друг на то и друг, чтобы спихнуть на тебя всю неблагодарную работу. Попробуй-ка отказаться. А тут случилось на участке, трубу на котельной ОРСа завалили. Стали ее поднимать, а она рухнула, железная дура, снеся полкрыши на прорабке. К счастью, никого не убила. Шохов к трубе отношения не имел, он отказался ее поднимать, только котельную строил. Но выгораживая себя, Третьяков написал тот самый приказ: за аварию с трубой мастера Шохова перевести в рядовые рабочие. Ни строгого выговора, а вот так: как буйного для закланья.

Это потом Третьяков сказал, что он не думал, что все так круто

пойдет. Он еще после отпуска вызвал Шохова, предложил снова поднимать трубу. Мол, поднимешь — снимем наказание. А Шохов уже знал, что без него пытались ее поднять тремя тракторами. Да не вышло.

Не стал он тогда выяснять отношения с Третьяковым. Вдруг собрался, попросил Тамару Ивановну ждать и уехал.

— А ты, как вижу, Шохов, преуспел, — нарушил молчание Третьяков, окидывая взглядом двор, заваленный строительным хламом. — Ты, брат, живуч, а?

— Твоими молитвами, — в тон ему, но вроде бы мирно отвечал Шохов.

Они присели на скамеечку под окном. Помолчали, вглядываясь в густеющие сумерки, в отблески где-то в отдалении зажженного костра. Так им показалось поначалу, что горит костер, и Третьяков еще произнес:

— Ишь, запалили! Не боятся!

А Шохов, занятый своими мыслями, сказал:

— Ребятишки, наверное.

— Да уж больно шибко.

— А может, солярку... Она знаешь как горит.

И опять молчали.

— Значит, все-таки затаил?

— Да нет, я о тебе не вспоминал, честно говоря, — сказал Шохов. — Но вот сейчас увидел и вспомнил, как все было. Как ты мне эту трубу повесил.

— Я и говорю: затаил. Ну а в чем же я виноват-то был? Только в том, что дружил с тобой?

— Нет, это я виноват, потому что нельзя с другом вместе работать, — твердо произнес Шохов. — Учились, ладно. А работать надо было порознь. Подперло, ты и предал.

— Называй так, если тебе угодно, — спокойно сказал Третьяков. — Но ты тоже не золото. Ты зарывался так, что сам себя под монастырь подводил. И меня, конечно.

— Ну я и говорю, что я сам виноват, — повторил Шохов.

— Где, кстати, ты работаешь? — поинтересовался Третьяков.

— На водозаборе.

— Ну слава богу. А то могло бы совпасть: опять вместе... А я в СМУ Жилстроя.

— Тоже... не выдержал? Сбежал?

— Зачем? Я, в общем-то, закончил там...

— Не врите, Алексей Николаевич! Там работы на сто лет хватит.

— Я закончил свой цикл и уехал. Устал.

— Значит, простите за откровенность, ваша система вам счастья не принесла?

— Какая система?

— Ну какая... — Шохов усмехнулся. — Такая. Другого топи, а себя спасай.

— Нет, Гриша, — произнес Третьяков с грустью. Как-то очень по-человечески произнес, ему сейчас нельзя было не верить. — Нет. Я действительно лучше многих других работал. Но я заработал язву. А сейчас еще и нервы стали пошаливать.

— Не совесть?

— Это, милый, абстракция... Совесть! Конечно, я понимал, что я делал, когда ты уходил. Мне отец сказал: что же ты Гришку топишь?! Но ведь другого пути-то не было.

— Не было, значит? — переспросил вовсе без нервов, но определенно с горечью Шохов. — А здесь как ты собираешься работать?

— Так же, Гриша. По-другому я не умею.

Сумерки еще сгустились, и пламя теперь стало выше и красивее.

Но они вовсе не смотрели на него, занятые своим разговором, и даже его не замечали.

— Зачем же ты пришел ко мне? — спросил впрямую Шохов.

— А-а... Ну, просто. Ты же тут как-никак комендант? Без тебя вроде бы неудобно и вагончик поставить. Так мне сказали.

— Врут, — отрезал Шохов.

— Может быть. Но все-таки хотел заручиться твоей поддержкой. По старой дружбе, — вроде бы с иронией произнес Третьяков.

— А что ты собираешься строить? — равнодушно, чуть ли не зевая спросил Шохов. Ему и вправду надоел весь этот разговор.

— Да ничего особенного. Мне надо несколько месяцев пережить... Мне дадут приличную квартиру...

— Вот и я удивился — ты же номенклатура?

— Но я уехал без разрешения... Сейчас-то все улажено. Только они не могут сразу, а жить в гостинице, сам понимаешь... Мои рабочие приволят вагончик или на ходу что-то там сляпают. Ты не против?

— Твои рабочие? — переспросил со странной интонацией Шохов, пропустив последний вопрос.

— Ну а кто еще? Может, ты считаешь, что я сам должен лепить этот Шанхай?

Шохов не отвечая привстал, собираясь идти домой. О чем им тут толковать, когда высокий начальник, потерпевший служебное крушение, не представляет, как это он сам может что-то сделать без помощи подчиненных, а возможно, и государственных материалов... Да черт с ним в конце концов! Какая ему, Шохову, разница, кто, и как, и из чего строит себе дворец? Лешка Третьяков лучше его приспособился к жизни, а вот не удержался же... Тоже докатился, как сам считает, до Вор-городка! А пришел, так это не от чувства вины, а раз порядок такой, что прописываться надо у Шохова, то он будет следовать такому порядку. Он привык...

Так раздумывал Шохов, когда с громким криком во двор вбежали Вовка с Валерой. Они радостно закричали:

— Пожар! Пожар!

— Где пожар? — спросил Шохов, но, еще не закончив фразы, уже точно знал, что зарево, принимаемое им за костер, и есть тот самый пожар. Он хватился бежать к калитке, но тут же вернулся. Почти спокойным шагом зашел в дом и с порога, пытаясь совладать с собой, произнес: «Пожар!» — и потом уже в отчаянии:

— Пожар! Городок горит!

В то серенькое пасмурное утро, когда мужчины, прежде чем разойтись, стояли у бывшего хлыстовского дома, устало созерцая работу огня, кто-то, кажется дядя Федя, кинул эту мысль: мол, надо разобраться, отчего загорелось, чтобы знать на будущее.

Но с Хлыстовым разговаривать было невозможно. Он мало понимал, что творилось вокруг. Ночевал он у Шохова. Тамара Ивановна усердно отхаживала, отпаивала его.

Едва очухавшись, он не переставал повторять единственную навязчивую мысль о поджоге его дома Васькой Самохиным, который будто решил ему мстить.

— А кто это видел? — спросил Шохов прямо.

— Так кто же мог видеть, Григорий Афанасьич, если уж темно-то было? — на одной жалобной ноте завел Хлыстов. — Только я видел. Уж как я улядел, и сам не знаю. Может, предчувствие подсказало. Он мимо окошка все шастал. Я-то выглянул, а он что-то колдует у задней стенки...

Помолчав. Шохов спросил:

— А чего же ты, Семен Семенович, извини, конечно, с бабой-то

спутался? Замужняя женщина, все при ней, а ты, значит, устроил тут у всех на глазах спектакль...

Хлыстов будто съезжился от таких слов.

— Вон за тобой с топором ходить начали! До чего человека довел, а? Он ведь законный муж, переживал, это даже я знаю. А ты...

— Я? Я — не переживал, да? — закричал Хлыстов.

Шохов был поражен, как он переменился в один миг. И уже не плакал, не стонал, а кричал истступленно:

— Я, может, тоже переживал, да еще как! Она же в чувстве мне призналась, и я ей тоже! Ведь люблю ее, чего же тут сказать!

— Вон что,— протянул Шохов растерянно.— Ты извини...

— Так я знаю! Знаю, что вокруг трепали!— продолжал на высокой ноте Хлыстов.— Я говорил ей: «Уедем! Куда-нибудь на другую стройку подадимся!» Так ведь нет, ей тут сладко было встречаться.

— Может, это она нарочно...— предположил осторожненько Шохов.

— Не знаю. Ничего понять не могу. Как ослепший хожу, верно слово, поверь мне, Григорий Афанасьич. Глаза она мне залепила. Уши залепила. У меня ведь никого в жизни нет. Одинокий весь — и вдруг не одинокий, а? Вот и ошалел, вот и потерял голову! Хотя сказано: ешь с голоду, а люби смолоду. Уж об жизни и не думал, она и так гроша не стоит, когда одинок... Вот помните, я зашел во время болезни-то... Я ведь вас тогда жалел, очень жалел в этом доме. Увидел, как не увидеть, что вы-то не лучше меня... Хотя и бодритесь там, копошитесь чего-то, а ведь тоже в одиночку. Я тогда и подумал: «Ох, Григорий Афанасьич, сгинет тут!»

— Ага! — опять вспылил Шохов.— А ты бы рад тогда был, коли от несчастья загнулся бы? А? Ведь рад же, ну сознайся?

— А чего мне радоваться-то чужой беде?— просто и без нервов спросил Хлыстов.

— А потому и радовался бы, что я твою тайну в себе ношу!— крикнул Шохов, уж очень его зацепило, что так-то вот просто противник его и раскрыл с его ужасным одиночеством тогда. Может, он и про Наташу что-то знает?

Но Хлыстов сказал, пригибаясь к столу и качая головой:

— Нет на мне того ужасного, что вы мне все клеите! Нет, я вам клянусь, Григорий Афанасьич! Я там виноват в другом. Совсем в другом.

— В чем? — громко, прямо в лицо спросил Шохов.— В подговоре, да?

— В каком подговоре? — побледнев, переспросил Хлыстов. Именно и переспросил, чтобы протянуть время, и тем выдал себя.

— Дружка подговорил,— уже уверенно будто сам себе подтвердил Шохов.— Да не впрямую небось, а нашел такого, кому от Мурашки, от его напора житья не было. Ведь так, да?

Хлыстов не стал отвечать, а отвернулся и буркнул как бы про себя:

— Дело это похерено. Сейчас уж ничего изменить нельзя.

— Нет можно,— с расстановкой, но очень жестко произнес Шохов. Он поднялся из-за стола, не давая ему уйти.— Можно, потому что сыночек вырос... И уж если суда над тобой не было, так совесть же есть? Или нет? А может, расправа над тобой по твоему же методу и есть твой суд, а? Нет, ты погоди! Ты скажи уж, пока мы не расстались.

— Отпустите меня, Григорий Афанасьич,— попросил тихо Хлыстов.— Я, пожалуй, уеду отсюда. Пожалел я вас тогда, во время болезни, Григорий Афанасьич... Решил, что вы и без меня в одиночку скоро окочуритесь. А ведь у вас совесть-то насчет Мурашки тоже не совсем чиста, а? — В самой глубине его глаз, как в бездонной пропасти, горел желтый волчий огонек.

— Уходи, Хлыстов,— попросил Шохов угрожающе.— Уходи и больше у нас не появляйся! Слышь?

Как потом выяснилось, никуда Семен Семенович Хлыстов из Нового города не уезжал. Приспособился в общежитии, а потом и комнатку получил. Так рассказывали. Он будто бы и с Нелькой продолжал водиться.

Сам Шохов встретился с ним через год с лишним, в тяжкий момент, когда судьба Вор-городка была будто бы предрешена и все, что с таким трудом налаживалось, сыпалось на глазах.

В тот день было заседание исполкома, на которое Шохова пригласили. День был гадкий, серый, тротуар в мелких крапинах дождя.

На чрезвычайной комиссии, созданной по поводу сноса городка, которую называли ЧК (будто другого названия не могли придумать), долго и бессмысленно говорили о том, что расселить всех самостроевцев невозможно, что многие прописаны в общежитиях и это скрывают, а когда получают квартиру, времянку продают, а значит, кто-то селится снова. И уже будто бы спекуляция обнаружена такими времянками. А все потому, что прозевали, поздно взялись за эту проблему, упустили возможность придушить самострой в зародыше...

Шохов мысленно усмехнулся. Хоть весело ему в тот момент никак не было. Просто представилось, как его, Шохова, душат, выкуривают из-за Вальчика в ту прекрасную весну, когда забил он торжественно первый колышек в землю на месте своего дома.

А разговоры между тем продолжались, и все о том, что запрещать поздно, но разрешать нельзя, это означало бы взять на себя ответственность за обеспечение самостроевцев, тогда и вовсе жалобами завалят. А на них и сейчас на одной подвозимой воде расход составляет десятки тысяч в год...

Снести бы к черту, да кто же даст гарантию, что снова не придут? Объект там планируется, да ведь пока его начнут, этот объект. Вот если бы снести да место сеткой огородить! А сетку не снесут? А если стальную? А если милицию поставить на дежурство? И все подобное весьма и весьма неинтересное и даже глупое.

Когда Шохов возвращался домой после этого заседания, у какого-то магазинчика встретил Хлыстова с сеточкой в руках. А в сеточке кефир.

— Добрый день, Григорий Афанасьич.— В пиджачке, в белой рубашечке с расстегнутым воротом и сам непривычно ухожен и побрит. Смотрит с подчеркнутой внимательностью, только взгляд наискось.— Или не добрый?

Шохов сейчас полная противоположность ему: никакой былой лихости, даже самоуверенности в нем нет. Не здороваясь грубовато спросил:

— Что имеешь в виду?

— Да ничего, Григорий Афанасьич. Ровным счетом ничего. Просто домик ваш вспомнил. Цел? Вот ведь везуха! — воскликнул Хлыстов, будто восхищаясь. И кефирчиком в воздухе помотал.— У меня так двух месяцев не прожил — сгорел. А у вас звон сколько... А вы будто недовольны жизнью. Али и дом уже в тягость?

— Дом как дом,— произнес Шохов, с мучением соображая, отчего он вступил в этот бессмысленный, дурацкий разговор. И до того почувствовал себя устало, что не было силы сдвинуться с места. Да и куда торопиться: новость скверную всегда не поздно принести.

А Хлыстов как в мыслях читает, наперед знает, где побольней ковырнуть!

— Продавайте, Григорий Афанасьич. Пока не поздно. Вот мой вам совет!

И усмехнулся многозначительно.

— С чего ты взял, что я хочу продавать? — спросил Шохов устало. Даже злиться сил не было.

— Да не хотите, ясно, что не хотите! А ведь пока никто не знает о сносе городка-то... Так надо продать! Вы же ловкий парень, а? Вы же своего не упустите?

— Пойди к черту! — в сердцах, но без нервов и даже негромко произнес Шохов, подивившись, как в яблочко попал Хлыстов с его советом. А ведь была в загашнике подленькая мысленка насчет продажи. А теперь подло или нагло (нагло — вернее!) он отрезал Шохову пути к продаже.

— Да я что... — продолжал свое Хлыстов. — Вас-то жалко. Жалче, чем при той вашей болезни. Вот уж говорят: все любят добро, да не всех любит оно! Это про меня, про меня, Григорий Афанасьич. Смотрите, еще в Новом городе в одном домике жить будем, а? Вот и выходит, что черненький, что беленький, что чистый, а что не чистый, что горел, что не горел... Исход-то один?

— Поди ты... — ругнулся Шохов равнодушно и пошел, стараясь заглушить в себе еще торчащий, как гвоздь, и мешающий думать хлыстовский голос.

В тот день, июля прошлого года, после пожара он решил найти Васю Самохина, которого никто не видел. Да и Нелька будто провалилась сквозь землю.

Несколько раз утром до работы и вечером подходил Шохов к маленькому, наспех сколоченному домику Самохина (всем строил как надо, а себе схалтурил!), но никто не отвечал на стук. Наконец догадался: среди дня в перерыв заехал в Гидропроект и там в буфете нашел Нельку. Была она, как всегда, не в меру болтлива и многословна, но вот синячки все же углядел у нее Шохов и сообразил, откуда они взялись.

При всех разговорах о Васе заводить не хотелось. По этой причине пришлось обедать за компанию с Нелькой и ее подружками. Шохов взял стакан сметаны с ромовой бабой, чаю с лимоном и терпеливо выслушал все сплетни про деда Макара с Галиной Андреевной, которая частенько якобы к нему захаживает.

Шохов мог бы осадить болтливую Нельку, но куда там! Она уже галопом неслась дальше и успела пересказать какие-то письма, которыми дед Макара преследует дочка, требуя от старика то дубленку, то хорошую куртку для мужа или мебель... А теперь в Москве мода на хорошие книжки, так она написала, чтобы дед Макар сделал ей подписку и достал Булгакова, которого она может обменять на какие-то редкие украшения...

Когда обед кончился, Шохов отвел Нельку в коридор и спросил, где она живет.

Оказалось, у подруги. С тех пор как разругались с Васей, она сбежала к подруге.

— Он что же, бил тебя? — прямо спросил Шохов.

— Он запер меня дома, — отвечала Нелька откровенно.

— Но и бил?

— Кого люблю, того и бью... В поговорке сказано, — произнесла она, засмеявшись. Видно было, что она нисколько не расстроена этим. Просто решила показать характер. Вот и ушла.

— А он где? Самохин твой?

— Не знаю, — сказала Нелька. — Небось пьянствует... Кому он нужен?

— Мне. Я хочу с ним поговорить.

— О пожаре, что ли? А что о нем говорить? Что сгорело, не вернешь.

— А если он еще чего подожжет? — спросил Шохов, разглядывая Нельку и удивляясь, сколько же в ней легкомыслия и пустоты. Но ведь есть и другое, женское, и кому-то такая легкость даже нра-

вится. А может, все это внешнее, а поглубже копнуть, так она другой покажется? И серьезнее и чище? Может, все это самозащитное, от чужих глаз?

— Не подожжет,— сказала Нелька игриво. Она даже кокетничала с Шоховым.

— Но ведь это он поджег Хлыстова?

— Не знаю,— ответила Нелька быстро.— Мне-то что? Мне все равно.

Шохов, рассердясь, буркнул, что ему не все равно. И вообще Нелька врет, что не знает о поджоге. Не из-за нее ли весь этот сырбор разгорелся?

Нелька только повела плечом. Приблизившись к Шохову так, что он услышал ее странный запах, будоражащий (где-то краем прошла мысль, что не зря к ней липнут мужики, она ведь и правда сладко пахнет), она негромко и очень отчетливо сказала, что все не безгрешны, а если он, Шохов, считает себя чистеньким, так это в глазах наивной Тамары Ивановны, а вовсе не в ее, Нелькиных, глазах. Так что не суди — и не будешь судим...

Шохов остолбенел от такой откровенности, не нашел нужных слов. Потом-то он знал, как ей надо было ответить. А теперь только и произнес:

— Ну тебя не переговоришь! Ты все по-бабьи перекрутишь!

— Так я и есть баба, Григорий Афанасьич! — отвечала насмешливо Нелька.

— Хватит болтать,— разозлился Шохов.— Можешь передать своему Васе, что мы его ищем. А если он не придет, пусть пеняет на себя.

— А что вы можете ему сделать? — спросила, наивничая, Нелька.

Спросила естественно, но Шохов-то знал, что этот вопрос неспроста, потому что, перетрясая события, все спрашивали, а что, собственно, можно с Васей сделать, если он никому здесь не подчиняется.

— Что? — Шохов сказал решительно и уже не глядя на Нельку:— Подцепим ваш дом и отвезем в поле. Так и скажи. Не хочет жить с нами, так пусть живет с серым волком, он ему и друг!

Вася объявился не сразу, на третий день. Был он выпивши. Постучался в калитку и с самого начала стал куражиться, выставляя себя обиженным, потому что ничего он не поджигал и никуда не прятался.

Шохов попросил пойти проспаться.

— Завтра в это время мы тебя ждем,— сказал он.

— Кто это мы? — спросил Самохин с издевкой.— Мы, Николай Второй! Так тебе до него да-ле-ко!

— Мы, то есть комиссия,— терпеливо отвечал Шохов.

— Ах комиссия! Судить будете? Да? Хотите Васю сделать козлом отпущения? Я приду,— хорохорился Вася.— И покажу вам, как надо разговаривать! А то ишь придумали — судить... Мне это тьфу!

Надо сказать, что Шохов порядком устал от всех этих пожарных дел, а от семейства Самохиных особенно. Кончался июль, самое теплое время. Мечталось выехать на воскресенье куда-нибудь на речку, а то и на другую сторону в лес, где, по разговорам, уже пошли грибы. Хотелось побыть с сыном, показать ему и Валере здешние места, поплавать на лодке, порыбачить.

Валеру надо было уже устраивать на работу. Но Шохов медлил, хоть было договорено, что малый пойдет в одну из бригад на водозаборе. Жене он говорил, что хочет, чтобы парень немного обжился и отдохнул, но про себя считал другое. Стояли погожие денки, и всяческие доделки по дому требовали не одних рук. С подмастерьем Шохов мог управиться побыстрее.

В какой-то свободный вечер они вдвоем соорудили печечку на заднем дворе и попробовали формовать и обжигать кирпичи, а потом и черепицу на крышу. Глина и впрямь оказалась лучше некуда. А тут еще начала поступать из Москвы от матери Тамары Ивановны облицовочная кафельная плитка. Плитка была выбрана со вкусом: молочно-голубая с белыми разводами.

Бросив обжиг глины, Шохов переключился на кафель. И хоть Тамара Ивановна слабо протестовала, что Шохов не дает отдыхать ребенку (это Валерий-то ребенок!), Шохов, посмеиваясь, отвечал, что это ему как производственная практика.

— Чем крепят плитку? — спросил Валерия с ходу.

Тот помолчал, он вообще-то был молчалив, и ответил, что плитку надо крепить цементным раствором или бустилатом. Можно, конечно, и масляной краской, мастикой...

— А чем лучше? — настаивал Шохов.

Валера продолжал терпеливо отвечать, что все зависит от поверхности, насколько она ровная.

— Ну а если она как у нас, то есть не очень ровная? А если на печку?

— Тогда раствор нужен.

— Приготовь, — предложил Шохов.

И уже перед тем как класть плитки, снова спросил:

— Откуда облицовку кладут? Снизу аль сверху?

— Не знаю, — буркнул Валера.

— Не знаешь — учись. А не сердись. Облицовку кладут снизу, чтобы плитки не сползали. Смотри.

Шохов привычно мастерком бросил на кирпич раствор, разровнял его и положил плитку, удаляя выступающий раствор влажной тряпкой. Лепил и еще успевал поучать:

— Приехал сюда, у меня и был-то в чемоданчике, кроме белья, инструмент каменщика: мастерок, да кирочка, да отвес с уровнем. А еще кругляш. Видел в углу? Это отпил от моего деревенского дома. Где, значит, я родился.

— А зачем он нужен? — спросил Валера, пристально наблюдая за дядей Гришей, что и как он делает.

— Как зачем? Память!

— Кругляш-то?

— А что же... Вот смотри, как режут плитку. Стеклорезом проводишь поглубже, значит, до основания глазури. А потом ударом...

— Можно, я попробую?

— Пробуй, — сказал Шохов. И добавил как бы мимоходом: — А кругляш все-таки память. Его дед мой ставил, когда избу строил. А мне чего ж, забывать об этом, да?

После разговора с Васькой Шохов ходил к Галине Андреевне и к дяде Феде и предупредил, что назавтра они встречаются с, как он выразился, «поджигателем войны».

— Объявился? — спросил дядя Федя строго. Он копался у себя на огорожке в кепчонке, в рабочей куртке и с потухшей папироской в зубах.

С Галиной Андреевной разговор затянулся. Дело в том, что Шохову отказали в ходатайстве по поводу Кучеренко Николая. Ссылались на то, что его тут никто не знает и неизвестно, что он за работник. Пусть о нем пекутся там, где его судили.

— Это окончательно? — спросила Галина Андреевна.

Шохов пожал плечами.

Разговор был в ее домике за столом. Она предложила чаю и поставила перед гостем вазочку с конфетами.

— Ну что же, — сказала, опустив глаза. — И на том спасибо, Григорий Афанасьевич. Простите, что мы вас затруднили своей просьбой.

— Ну зачем же так! — воскликнул Шохов. — Я же на самом деле ничего больше не могу сделать.

— Я понимаю, — сказала Галина Андреевна. — Я искренне вам благодарна, что вы откликнулись на письмо Николая.

— Да что там... Может, в Усолье написать?

— Нет, — сказала Галина Андреевна. — Там его тоже не помнят. Случай еще помнят, а кто, что... Да уж столько лет прошло! — И неожиданно спросила: — А как вы думаете, Григорий Афанасьевич, может, ваше начальство право, что боится взять на поруки заключенного?

— В чем же оно право?

— Ну, в том хотя бы, что ответственность на них ложится...

— Так мы всегда за что-нибудь отвечаем, — резонно отвечал Шохов, не очень-то понимая, к чему клонит Галина Андреевна.

Она взглянула на Шохова мельком, но очень внимательно.

— А если бы от вас это зависело? Лично от вас?

— Я бы не задумывался, — сразу же сказал Шохов.

— Так вот это все и напишите, — предложила Галина Андреевна.

— А вы думаете, что это может...

— Милый Григорий Афанасьевич, — промолвила с какой-то мягкой грустью Галина Андреевна, — каждый из нас что-то может. Я уверена, что каждый, понимаете? И если бы Николай Анисимович был бы на свободе, а вы бы там, — «там» она подчеркнула коротким жестом, — я уверена, что он бы сделал именно так.

— Я почему-то об этом не думал, — смог лишь произнести Шохов подавленно. — Я, честное слово...

— Не торопитесь, у вас есть время, — так же миролюбиво, но и твердо сказала Галина Андреевна и встала. — А завтра я обязательно приду. Мы все тут друг за друга отвечаем. И за Васю тоже. До свидания, Григорий Афанасьич. Поклон Тамаре Ивановне. Скажите ей, что я всегда рада ее видеть.

Возвращаясь от Галины Андреевны и пребывая в некоторой задумчивости, Шохов не сразу увидел, что на соседней, недавно возникшей улице происходит необычное событие.

На крохотной площадке у последнего дома появились автокран, бульдозер и два грузовика. Целая бригада рабочих в считанные часы поставила фундамент, на него взгромоздила коробку из отборного строительного бруса, потом чердак и крышу.

Начали строительство они, по всей вероятности, во второй половине дня, а к вечеру, к тому времени, когда Шохов проходил по теплой, пахнувшей сухой пылью улице, дом в основном был готов. Шустрые парни-электрики тащили провода к ближайшему столбу и на длинном шесте, растянутом тросами, крепили телевизионную антенну.

— Вот, Григорий Афанасьич, как надо строиться! — произнесли за его спиной. Любопытствующих, подобно Шохову, в этот час оказалось немало.

— Кто строится? — спросил Шохов, оглянувшись на глазающих.

— Какой-то Третьяков... Говорят, шишка на ровном месте!

— Кстати, у нашего Самохина хлеб отбивает.

— А Самохин-то чего тебе дался? Он здесь свой.

— По-свойски пятый дом отгрохал на продажу!

— По крайней мере своими руками, не то что этот...

— Каждый тащит в меру своих возможностей.

Скоротечный разговор происходил у Шохова за спиной, будто его и не было.

Конечно, ему досадно было, что не посчитался Лешка с ним (хоть формально, как говорят, прописался) и так вот нахально, на глазах у всего народа чужими руками возвел себе хоромы.

Григорий Афанасьич еще раз, с прикидкой, оглядел складенький, удобно спланированный домик Третьякова. Но и отметил сразу, что террасу поставили неудобно, да и двор не рассчитали, скомкали площадку. А на подходе к себе окинул взглядом свой дом, чтобы еще раз увериться: построился интересней, лучше.

На следующий день комиссия собралась у Шохова. Галина Андреевна, несмотря на теплый вечер, пришла в гладком строгом платье, с кофтой, накинутой на плечи. Темные блестящие волосы были собраны в узел.

Дядя Федя надел отчищенный после пожара костюм, а на полосу сорочку повязал галстук. С левой стороны он приколот колодочку, заменявшую фронтовые награды.

Было решено, что председательствовать будет Григорий Афанасьевич, а Галине Андреевне сам бог велел вести протокол.

— Протокол? — удивилась она. — Но зачем протокол?

— Для самоуважения, — пояснил дядя Федя. — Чтобы Самохин знал и каждый, кто поинтересуется (а интересуются все), что дело нешуточное.

В это время заглянул в комнату Петруха. Он будто бы забежал к Тамаре Ивановне за какими-то бумажками, но узнал, что тут собралась комиссия, и нельзя ли ему поприсутствовать. Ну хотя бы в качестве зрителя...

Дядя Федя сказал сердито:

— У нас секретов от людей нет. Но для начала надо побыть с Самохиным наедине. Так оно откровенней будет!

— О чем, если не секрет, собираетесь откровенничать?

Петруха улыбался и ждал ответа. Вид у него был довольно приурковатый.

— Ну, Петр Петрович! Все знают, о чем будет разговор!

— Вы судить его собираетесь, да?

— В какой-то мере...

— А вы имеете право? Судить человека?

— Какое такое право? — подскочил на месте дядя Федя. — Право осудить поджог есть у каждого. А вас что же, адвокатом прислали?

Петруха не смущаясь ответил, что зашел попутно, он будто бы и не знал, что сегодня у них суд. Не комиссия, а он так и назвал — суд.

— Ну а раз так, идите, пожалуйста, по своим делам, — сурово попросил дядя Федя.

— Уходим! Уходим! — с улыбкой, пытаясь смягчить резкость последней фразы и даже чувствуя себя несколько виноватой за этот тон и разговор вообще, сказала Тамара Ивановна и увела Петруху.

С Петрухой у Шохова сложились странные отношения. Они продолжали здороваться, но вместе с тем никак не общались. А если в последнее время Петруха стал бывать в шоховском доме, так все это из-за Тамары Ивановны, не желавшей считаться с мнением мужа. Она добра, но придет время, сама разберется...

Шохов не успел додумать о Петрухе: появился Вася. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что он чист как стеклышко. Был он в помятом костюмчике, в рубашке, расстегнутой у ворота, и поначалу вел себя независимо.

— Явился, не запылится! — произнес он от дверей. Оглядываясь и напряженно улыбаясь, добавил: — Звали, говорят, меня?

— Звали, — подтвердил вежливо дядя Федя и указал на стул. — Садись, Василий. Будем разговаривать.

— Василий Васильевич, — подчеркнул Самохин.

— Да, да. Садитесь, Василий Васильевич. У нас есть кой-какие вопросы.

— У меня, между прочим, тоже есть вопросы,— сказал Вася и сел.

Оттого, что все трое, в центре Шохов, а по бокам Галина Андреевна и дядя Федя, смотрели на Самохина и молчали, Вася Самохин опустил глаза.

Молчание нарушила Галина Андреевна:

— У нас не только вопросы. Мы вообще хотели с тобой поговорить.

— О чем же?

— О жизни.— Галина Андреевна смотрела прямо на Самохина, и голос ее был вполне доброжелательный.— Мы хотим понять тебя, Вася.

— Вы судить меня собрались! — вскинулся Вася, и глаза его заблестели.— Я-то знаю! А что у меня за душой, так это вам, как говорится, плевать с высокой колокольни!

— Неправда, Вася.

Но он уже распалился. Все, что передумал перед этой встречей, одним залпом выстрелилось из него:

— Вы знаете одно, что Вася — халтурщик! Вася — рвач! Вася — поджигатель! И такой, и сякой, и немазаный. Еще жену бьет. Говорите! Выкладывайте! А про жизнь мне тут не врете! Я, может, ее не хуже вас знаю... эту жизнь. Я вот с таких ранних лет ее понял, если хотите знать. Вот тут домик один шишкоман построил, вчерась, кстати, на ваших глазах. Так он о жизни этим домиком мне больше сказал, чем вы все, вместе взятые! Да! Да!

Оборвал и голову опустил. Выдохся.

— Ты о Третьякове, что ли? — спросил дядя Федя.

— Небось сами знаете о ком! Его-то вы на суд не позовете?

— А что он такого сделал? — спросил Шохов.— Разве у нас запрещено строиться?

— Он за государственный счет строит. Там у него чуть не весь его грест работал!

— Ты его осуждаешь? — спросил опять Шохов.— А не кажется ли тебе, что ты-то не лучше его?

— Лучше! — прервал Вася.— Я своими руками халтурую. Я рабочих не использую...

— А технику?

— Ну, технику... Вы спросите, кто ее имеет, есть ли среди них хоть один человек, который не использует. А про трактористов да бульдозеристов и говорить нечего. Все тащат. А если еще до конца не растащили, так это оттого, что государство богатое!

— Тащат,— подтвердил дядя Федя и, оглянувшись, зажег папироску.— Но не все. Тут ты врешь.

— Почти все,— поправился Вася.— А кто не крадет, тот и бедствует.

— Тогда поясни, чем же ты богат? — полюбопытствовал дядя Федя.

— Речь не обо мне,— отмахнулся Самохин.— Жулики в ювелирном в очереди стоят. А я вон во времяночке отсиживаюсь.

— Тем более непонятно! — воскликнул дядя Федя.— Копишь, что ли?

— Нет,— ответил Вася серьезно.— Я просто не умею воровать. Я шабашник, но я не жулик.

— Еще и анархист!

— Во! — вскинулся Вася и даже кулаки сжал.— Так и знал, что судить позвали! Жулик Вася! Анархист! А еще кто? Говорите, говорите...

— Ну а ты разве не пытался судить, по-своему конечно? Когда поджигал чужой дом? А? — спросил очень ровно Шохов.

— Я не хотел! — крикнул Вася и поник. Все молчали, и он мол-

чал.— Я не хотел,— повторил он тихо.— Это ведь личное... В беспмятстве... Я люблю ее.

— Ну а если бы весь поселок сжег? В приступе любви? Да еще кто-нибудь сгорел, а?

И опять тяжелое молчание нарушила Галина Андреевна.

— Вася,— произнесла она очень доброжелательно,— а кто твои родители?

— А что? — спросил он, не поднимая головы.

— Где ты воспитывался?

Вася будто мельком взглянул на Галину Андреевну и снова уткнулся в пол.

— В детдоме.

— Сколько же лет?

— Сколько... Всегда.

— И что же? — спросил теперь дядя Федя.— Вас там учили так... ну, так относиться к жизни?

Вася с какой-то тяжелой, затаенной ненавистью посмотрел на дядю Федю, но, может, его и не видел, а вообще смотрел куда-то в пространство.

— А вы знаете, что такое всю жизнь жить без дома? — спросил он, обращаясь к дяде Феде, но и опять будто бы в пространство.— Жить и не иметь ничего своего? Знаете? Когда всю жизнь настороже, потому что рядом беспощадные дружки?

Вася слотнул комок не в силах произнести ни слова. Галина Андреевна первая поняла и быстро налила ему воды. Самохин схватил стакан, залпом его выпил и поставил на стол. Руки у него дрожали.

— Если я еще стал человеком... пусть не таким... это Нелька меня сделала. У меня вообще никого нет, кроме нее!

— Но разве таким, прости, методом... И потом, ты бьешь, говорят, ее? — произнесла жалобно Галина Андреевна.

— Я не помню,— ответил Вася едва слышно.— Я боюсь ее потерять...

— Может, нам с ней поговорить? А? Вася? — спросила Галина Андреевна.— А где сейчас этот... Хлыстов?

Шохов объяснил, что Семен Семенович будто бы не собирается здесь жить.

— А соберется, так я все равно не дам! — крикнул Вася.

— Ну, не горячись. Это и мы можем сделать,— отмахнулся дядя Федя.— И даже никого не поджигая...

— А я его убью,— вдруг спокойно сказал Вася, поднимая голову.

— Ну вот, договорились, называется!

— Убью. Точно убью,— повторил Вася спокойно.

И оттого, что так уверенно, так убежденно он произнес это, все поверили, что он способен исполнить свою угрозу. Да и кто бы усомнился, припомнив пожар!

— Глупости! Глупости это! — воскликнула Галина Андреевна.— Забудь про свои глупости! У тебя такая трудная жизнь... Тебе еще тюрьмы не хватало?

Шохов и дядя Федя одновременно посмотрели на Галину Андреевну, видимо оба поняли, почему именно сейчас она вспомнила о тюрьме и почему вспылала.

Только Вася ничего не хотел понимать.

— А какая мне разница? — спросил он с вызовом.

— Большая! — горячилась Галина Андреевна.— У тебя, Васенька, вся жизнь впереди. И любовь будет и все будет, поверь мне...

— Да нет,— отмахнулся он, погружаясь вновь в свои тяжелые размышления.— Мне ничего не надо без Нельки. Я потому и пришел,

что мне все равно, что вы со мной сделаете! Выселите, не выселите, а без нее мне кранты... Мне и жизнь-то не нужна...

— Никто тебя не собирается выселять,— сказала убежденно Галина Андреевна.— Сам только веди себя по-человечески. Слышишь?

— Ну, я пойду?— Вася привстал и посмотрел на Шохова. Не дожидаясь ответа, вышел.

Часть пятая

Среди паники, среди общих сомнений, сплетен, слухов самых невероятных, когда еще заседал растерянный исполком, когда писались коллективные письма и не была до конца изжита вера в чудо, что все образуется, а Григорий Афанасьевич Шохов демонстративно на глазах у всех достраивал кирпичный гараж, прошел слух, что Вася Самохин бросает дом и переезжает в Новый город.

Пока остальные жители (теперь их звали временные) паниковали, советовались друг с другом, подсчитывали сбережения и писали письма на родину на случай переезда, Вася Самохин не сидел сложа руки, а проявил необыкновенную практичность.

Он сходил в завком, партком своего треста, заручился поддержкой начальства и получил двухкомнатную квартиру, на которую у него два года была законная очередь.

Но и очередь и даже закон не много бы значили, если б Вася не ухитрился кого-то оттереть.

Это все выболтала Нелька одной из подруг в конторе Гидропроекта, а та, в свою очередь, поведала мужу, который поделился слухом с Галиной Андреевной. И пошло...

После «общественного суда», когда все сочувствовали несчастному Самохину, минул ровно год и многое изменилось.

Самохины помирились, и, хоть ругались иногда, крупных скандалов между Васей и Нелькой уже не было. Она даже собиралась заиметь ребенка, но сделала аборт, и об этом, конечно же, все кругом знали.

Дом их был утеплен, ухожен, а при нем по примеру остальных был заведен садик с огородом, а в саду выстроена теплица.

Правда, в огороде у Нельки, кроме лопухов да крапивы, ничего не росло и не могло расти, она как посадила редис и лук, так и забывала про них и не поливала никогда. А все потому, что жила, судорожно хватаясь то за одно, то за другое, ничего не доводя до конца.

Все прощали Самохину: халтуру, левачество, поджог Хлыстова, буйный характер и шумные сцены. Но бегство продуманное, трусливое, в общем-то предательское по отношению ко всем остальным — не простили. И не могли простить. Именно потому, что этого ожидали от кого угодно, от людей случайных, перелетных, от таких, как Третьяков, скажем, который был как бы на отшибе и ждал себе в городе законную квартиру. Вася был свой. Почти как член семьи!

Как бы то ни было, в воскресный день, теплый, без солнца, но и без дождя, Самохин пригнал трактор с прицепом и стал переносить вещи.

Все знали, что Самохины грузятся. Но никто не вышел на улицу, никто не предложил помощи, что было для здешних нравов необычно.

И когда сам Вася бросился по соседям с просьбой подтащить тяжелую мебель за поллитру, конечно, без нее Вася сам не брался да и другим не предлагал, никто не захотел ему помочь.

Вася после такого позора вернулся в дом мрачный. Попробовал было шифоньер с зеркалом тащить волоком с помощью Нельки, да разбил зеркало. А это была плохая примета. Тогда он стал кричать на Нельку, что все она со своим длинным языком, оттого на них все и плюют теперь и никто не хочет помогать.

Так он кричал, кричал, а потом успокоился. Принес уже уложенный вместе с инструментом в кузове топор и стал молча рубить мебель. Распался и порубил стол, табуреты, а из шифоньера сотворил такое крошево, что страшно было смотреть.

Нелька, не выдержав подобного разгрома, вышла во двор и громко разрыдалась.

А когда трактор, вышлевывая синий ядовитый дым, с поклажей и Нелькой, еще плачущей, поверх барахла с треском, даже демонстративно двинулся по улице Сказочной, весь городок прильнул к окнам и, затаясь, смотрел на них, первых отъезжающих в Новый город.

Еще бы, это все равно как у нового добротного дома бревнышко из-под основания вынуть! Ну не бревнышко, так подставочку, клинышек небольшой. Невелика потеря на первый взгляд, но и не маленькая. Начало-го распаду, разрушению положено. Первый камешек с горы, а там пойдет обвалом, не остановишь.

Шохов это понял сразу. Он тоже ведь смотрел через окошко за Васиними сборами (соседи все-таки), переворачивая в памяти прошедшие дни, месяцы, годы. И везде рядом с ним, как теперь оказалось, был Вася Самохин начиная с той сверкающей весны, когда воткнул он в снег свою наивную самоуверенную фанерку.

Как крыса с корабля...

Тамара Ивановна за спиной Шохова стояла. Все видела, все понимала.

— Уехал? Ну и скатертью! — произнесла спокойно.

Шохов ничего на это не ответил.

— Не переживай.— Она мягко тронула за плечо.— Кому хочется, пусть бегут. Мы-то с тобой все равно до конца!

«До какого конца?» — чуть не крикнул он, но сдержался. Острая морщинка прорезала вертикально переносицу, что бывало у него при крайнем раздражении.

Без слов надел резиновые сапоги, куртку и напрямик направился к самохинскому дому, резонно считая, что сейчас и другие подойдут туда.

Собрались быстро. Бестолково толклись перед домом, заглядывали внутрь.

Один дядя Федя, как всегда невозмутимый, сухонький, кряжистый, мусолил во рту папироску и смотрел на дом, где все было порушено мстительной рукой бывшего хозяина.

— Ишь, рубака! — ругнулся как бы про себя.

Галина Андреевна стояла побледневшая, не сводила глаз с окошек, тоже с побитыми стеклами. Дед Макар, обычно уравновешенный и даже насмешливый, сейчас был возбужден и повторял бессмысленно:

— Ах, Вася! Ах, Вася!

Все знали, что они пикировались с Васей постоянно, но простодушный дед все прощал Васе и даже по-своему его любил.

Галина Андреевна углядела полубморочный взгляд беременной Поли. Она обхватила молодую женщину за плечи и повела ее от дома, но слышно было, как Поля спрашивала: «А куда мы поедем? А мы?» Коля неуверенно поплелся сзади, не зная, как себя вести, догонять ли ему женщин или дать им выговориться и отвести душу. Было слышно, как Галина Андреевна произнесла: «Никто без крыши не останется. Будем добиваться жилья. Я вас не брошу».

Как только объявился Шохов, все взгляды обратились к нему. Будто он один знал, что в таких случаях надо говорить людям и чем их поддерживать.

— Ишь, рубака! — повторил дядя Федя сквозь потухшую папироску.— Видел, Афанасьич?

Шохов смотрел на побитые окошки, на валявшиеся обломки мебели, разбросанные у порога. Он уже взял себя в руки, но говорить не торопился. Надо было послушать других. Разговор, немного бес-толковый, кружил все по одному месту: что там Вася получил да ка-ким образом, законным или незаконным путем? И почему так срочно выехал, знал ли что-то, неизвестное другим? Если знал, мог бы и предупредить.

— Да ничего он не знал!

— А зачем ему, у него Нелька беспроводное радио!

— И Нелька ничего не знала.

— Врет она. У них на работе чертежи есть.

— Может, у кого и есть, но не у ней. Невелика шишка.

— Но делать что-то надо! Ведь правда?

Все сошлись, что надо что-то делать, и обратились теперь к Шохову:

— Афанасьич, как ты считаешь? Надо что-то делать? Писать?

Шохов раздумчиво повертел головой, что могло обозначать и да и нет.

Он поискал глазами Галину Андреевну, не вернулась ли она, проводив Полю, но ее не было. Ему до зарезу нужна была сейчас ее поддержка.

— Ну, во-первых, я думаю, что никакой трагедии не произо-шло,— спокойно рассудил он и посмотрел в лица окруживших его людей.

— Но ведь бегут же! — воскликнул кто-то.

— Почему бегут? — спросил он.— Уехал один Самохин. Ну так что же тут плохого? Разве плохо, когда люди получают квартиры в Новом городе? Я бы тоже, например, хотел получить, но...

— Неужели бросите усадьбу? Афанасьич! — Так и назвали: усадьбу. Шохову в другое время это было бы приятно.— Вы-то уж нас не бросайте! Мы за вами как за каменной стеной!

Шохов лишь вздохнул тяжко. Подумалось, что людям хочется верить в крепость, в непогрешимость других, вместо того чтобы на-деяться на самих себя. А он? Он ведь тоже ищет поддержки, интуи-тивно чувствуя, что один не спасется в этой заварухе и не спасет свою так называемую усадьбу.

— Это вы меня не бросайте,— ответил он очень серьезно.

— Кто захочет, того не остановишь,— произнес дядя Федя, вы-плюнув под ноги окурочок.— Тут все дело в совести...

— Так, может, бумагу, ну, то есть письмо? В Москву!

— А кто составит?

— Как это? Комиссия! Она у нас зачем выбрана? Она для того и существует, чтобы серьезные дела решать. Дядя Федя, чего ты молчишь?

Шохов отметил, что обратились-то к нему, но не прямо, а через дядю Федю, который был среди всех еще более свой, чем сам Шохов. А Григорию Афанасьевичу сейчас так не хватало Галины Андреев-ны. Она бы в этот сложный момент все рассудила толково, всех бы успокоила. Женский ум быстрее мужских дум.

— Хорошо. Письмо мы напишем,— согласился наконец Шохов.

— Ты, Афанасьич, всю правду им напиши.

— Пусть нам землю оставят... Мы ведь не тунеядцы какие!

— А может, квартир просить?

— Чтобы в первую очередь!

— А по мне, так уж лучше домик с огородиком... У меня тут ко-рова для детишек, для них приволье.

— Верно, Афанасьич! Так и напиши, что сами по своей воле мы никуда не свернемся... Мы к труду охочие!

— Мы не корчева какая.

Корчева — дерево, вырванное из земли, Шохов знал.

— Ты вообще напиши,— дотошно, по словечкам произнес дядя Федя,— что люди хотят быть хозяевами. А бесхозяйственных и без нас много. Что люди должны не только поселяться тут, но и добро своей земле делать. Они, может быть, каждый невелик по отдельности, но они и есть часть общей силы, которая делает дело и строит нашу страну. И людей за это уважать надо. Они тогда стараться будут.

В это время и подошла Галина Андреевна. Лицо ее было озабоченным. Ей еще издали крикнули:

— Письмо будем писать в Москву! Как?

Она хоть с натянутой улыбкой, но сразу поняла, оценила:

— Конечно. Только письмо. Только в Москву...— Подошла к Шохову и негромко произнесла:— У Поли схватки. Надо машину искать...

Санитарную машину вызвать не успели. Разыскали у кого-то мотоцикл с коляской, перетащили в него на руках охающую Полю, уложили в люльку и попросили терпеть, не рожать дорогой. Рядом села Галина Андреевна, а Коле крикнула:

— Скачи следом, если хочешь! Или же мы за тобой еще раз приедем!

Коля кивнул, но вряд ли сейчас что соображал. Он смотрел на люльку, где стонала жена, и морщился как от боли. Так он и побежал трусцой следом за мотоциклом по грязи, не разбирая дороги, и добежал, не отстав, до самого Вальчика.

Тут они сделали передышку, чтобы окончательно не растрясти Полю. А Галина Андреевна повторяла ей:

— Сейчас, милушка... Ты потерпи... Ты потерпи... Потерпи!

За Вальчиком повезло. Они поймали свободное такси и перенесли Полю на заднее сиденье. Впереди села Галина Андреевна, а Коля с мотоциклистом поехали вслед. Бедный мотоциклист боялся, что Коля от своей растерянности выпадет из люльки и разобьется, тогда отвечай еще и за него.

Коля остался в роддоме дежурить, а Галина Андреевна вместе с мотоциклистом и узелочком вещей вернулась домой.

Вечером комиссия собралась в доме Шохова и приступила к составлению письма.

Тамара Ивановна отослала Вовку в кино и дала еще денег на мороженое.

— По городу не шляйся,— сказала.— После фильма домой.

— Я к Мурашке зайду? — попросился Вовка.

Валера теперь работал в одной из бригад на участке Шохова и жил на его койке в общежитии. Ему нравилось так жить, чтобы не зависеть от Шоховых. К ним же он приходил каждую субботу в гости.

— К Валере можешь зайти,— сказала Тамара Ивановна.— Только не засиживайся. А лучше пригласи его к нам ужинать.

Сын ушел, а Тамара Ивановна села в уголке и взяв старую электрическую лампочку, занялась штопкой носков. Она слышала все, что говорилось по поводу письма, и в свою очередь предложила:

— Вы бы деда Макара пригласили, он умеет небось такие письма писать.

Галина Андреевна идею поддержала.

— Он человек образованный, знает, как начать и вообще как т у д а обращаться.

— Он насчет мирового счастья загнет,— с сомнением произнес Шохов.

— Ну и что? Пусть себе...

За дедом послали Тамару Ивановну. Отложив на стул носок с блестящей через дырку лампочкой, она оделась и ушла.

Пока же не было деда, приготовили план письма, чтобы не забыть, о чем надо писать.

План у них вышел из трех пунктов:

1. экономическое развитие региона и роль его в развитии производительных сил страны;

2. успехи строителей Нового города в социалистическом соревновании и выполнении плана четвертого года пятилетки;

3. производственные успехи жителей городка, их благосостояние и прочее.

Дед Макар, гордый вниманием высокой комиссии, заявился тотчас же вместе с Тамарой Ивановной. Он присел за стол, прочел план письма и категорически заключил:

— Ерунда.

Шохов, нахмурившись, поинтересовался:

— А что вам не нравится в нашем плане?

— Ничего не нравится,— весело блестя пенсне, ответил дед Макар.— Вы о чем письмо-то писать собрались, уважаемые? А?

— О жилье,— буркнул дядя Федя и стал разжигать свою папироску.

— А где же тут жилье? Где вы просите оставить ваше жилье?

— Ну... вот благосостояние и разное... Разное — о нашем поселке!

— Тогда мы с разного и начнем,— тоном, не терпящим возражения, сказал дед Макар.

— А они не поймут, что мы...

— Поймут,— твердо произнес дед Макар.— Там умные люди сидят, они все понимают не хуже нас. Итак, начнем мы вот с чего...

И тут дед Макар стал писать, а все смотрели на него и ждали результата.

Когда приступили к чаю с вареньем, предложенному Тамарой Ивановной, в дом без стука влетел Коля. Вид у него был растерзанный.

Все уставились на него, а Галина Андреевна моментально побледнела.

Коля безумно смотрел на сидевших за столом, нашел глазами единственное нужное и понимающее сейчас лицо Галины Андреевны и крикнул во всю силу, обращаясь прямо к ней:

— Родили! Два с половиной кило родили! — И только в конце членораздельно: — Де-во-чку!

— Поздравляю тебя, Коля,— сдержанно произнесла Галина Андреевна. И вдруг закрыла лицо руками.— Господи...

Все присоединились к поздравлениям, стали спрашивать, как чувствует себя Поля, но Коля лишь повторял бессвязно про два с половиной килограмма, а потом побежал разносить свою радость по всему Вор-городку.

Дед Макар тоже расчувствовался. Достал платок и, шмыгая носом, высказался так:

— Первенец как-никак... Вот когда родится человек да умрет человек, начинается настоящее селенье!

— Типун вам на язык! — воскликнула в сердцах Галина Андреевна и покачала головой...

Под самые ноябрьские праздники произошло два события. Одно касалось Нового города, другое же лишь Вор-городка.

Это второе — возвращение Поли из роддома. Ее встретили цветами, невеста где добытыми Галиной Андреевной, и на машине по дороге, которую к этому времени закрепило морозцем, подвезли до самого дома.

Ребенка, пока что безымянного (ждали совета родителей), никому не показали, соблюдая стерильность, но крестины сыграли очень шумные в доме самой Галины Андреевны. Ее же нарекли крестной.

На этом празднике перебивал чуть ли не весь городок, а молодым от всех жителей (собирали по рублю с дома) была преподнесена коляска и к ней памятная грамота. В грамоте, составленной опытной рукой остроумного деда Макара, писалось, что коллектив поздравляет Колю-Полю с первенцем, гордится молодым новоселом, который, как они надеются, будет воспитан добрым, отзывчивым и оптимистичным...

Поля крестин, можно сказать, не видела, прибежала на несколько минут, пока ее подменяла Тамара Ивановна. Коля же ходил счастливый и пьяньский, рассказывая всем, какие голубые глаза у его дочери.

Второе событие касалось Григория Афанасьевича Шохова и имело к его работе непосредственное отношение. В самый канун праздника досрочно были сданы государственной комиссии водозабор и станции очистки воды.

Шохову пришлось сопровождать высоких гостей из министерства. Водозабор прошел без замечаний, а на станции очистки воды было обращено внимание на голубей, которые на зиму поселились под куполом огромного, похожего на зимний бассейн здания. Не будут ли эти голуби загрязнять воду?

Начальник эксплуатации, замученный тощий человек, по виду язвенник, стал жаловаться, что с голубьями идет настоящая война, их пытались выселять, даже стреляли из духового ружья, но все бесполезно. Есть вариант до пуска попробовать их травить, но неизвестно, разрешат ли...

Комиссия ничего не ответила и убралась восвояси. Она торопилась в ресторан, чтобы отметить приемку водозабора.

К Шохову неожиданно подошел Третьяков, он был среди начальства.

Деликатно поздравил со сдачей объекта, с премией. Но Шохов уже понял, что Лешка подошел вовсе не для этого, и ждал начала.

— Вы там с письмом затеяли? — будто ненароком вспомнил он. — Ну которое в Москву... Зря время теряете.

— Почему же зря?

— Приходи после работы, скажу.

Шохов молча раздумывал. Он понимал, что означают такие слова. Лешка приглашал его к себе домой. Приглашал, хорошо зная, что Шохов никогда бы ради любопытства или добрых отношений не переступил его порога... Но ведь тема-то не личная, дело касается судьбы всего городка.

Стройный, всегда подтянутый, спортивный Третьяков за этот год, пока не приехала к нему жена из Челнов, стал попить и сразу же погрузил, обрюзг. Поговаривали, что в тресте он с трудом сходилась с начальством и подчиненными, дела его шли туговато. Но Шохов по своему опыту знал, что легче сто раз набрать новые кадры, даже в условиях Севера, чем входить гостем в сложившийся годами коллектив, приспосабливаться к нему и подбирать из него людей, которым можно доверять.

Не за этим ли вызывал его на разговор Третьяков?

До Шохова доходило, что Лешке дают новый крупный объект, а значит, предстоит расширение штатов. Но если он собирается таким образом купить расположение Шохова, то напрасно теряет время.

Но чтобы выслушать Третьякова, чтобы узнать, что он на самом деле хочет, необходимо было Шохову перешагнуть через себя (да и Тамару Ивановну преодолеть) и прийти к Лешке в дом. Прийти, не взирая на всех в Вор-городке, где точно знали, что Третьяков не свой

здесь человек. И все-таки после короткого, но трудного раздумья он решился.

— Я найду,— произнес, потупясь в землю, чтобы Третьяков не догадался о том, что он переживал.— В праздники... Но точнее пока не скажу.

— Чем быстрее, тем лучше для тебя,— буднично заявил Третьяков и заторопился в машину.

Он уже чувствовал, чувствовал, и в этом проявлялся его спортивный азарт, что он дожмает, говоря языком борцов, Шохова к ковру. А это было для него сейчас чуть ли не главной задачей.

Дома ждал еще один праздник.

Дело в том, что Валерий Мурашка, как и остальные рабочие на водозаборе, в связи с досрочной сдачей пускового объекта получил первую в своей жизни премию.

Теперь он счел необходимым как истый работяга (хоть только ученик), купить бутылку вишневой наливки и демонстративно поставить ее на стол.

Все было в этом жесте: признание семьи Шоховых как близких ему людей и радость по поводу сдачи и получения премии.

Тамара Ивановна тут же соорудила холодную закуску, поставила вариться картошку и подала рюмочки, не сделав никакого замечания по поводу принесенной бутылки.

В другой раз. Шохов знал, она не преминула бы турнуть его с этой бутылкой.

Сейчас Шохов разлил по рюмкам вино (Вовке, который закричал: «А мне, а мне!» — компоту) и поднял, глядя на Валеру:

— Твой отец, Мурашка, поучая меня, молодого строителя, сказал, что у поляков есть поговорка: пан бог создал землю, а все остальное на ней создали мы строители...

При упоминании об отце юноша нахмурился. А Тамара Ивановна под столом толкнула мужа ногою.

— Я рад,— продолжал Шохов,— что ты стал настоящим строителем! Я тебя поздравляю...

— Мы тебя поздравляем,— поправила Тамара Ивановна ласково.

— Да, да. Мы все тебя поздравляем и желаем удачи!

И все выпили.

Мурашка закусывал сосредоточенно и лишних слов не произносил. А сама Тамара Ивановна, пригубив рюмку, посмотрела на мальчика долгим задумчивым взглядом.

— Валера,— спросила она как бы невзначай,— а много ты получил? Я имею в виду премию.

— Сто рублей.— сказал он, не отрываясь от тарелки.

— Что же ты собираешься с ней делать?

Валерий взглянул на нее и опустил глаза.

— Не знаю. Надо подумать.

Тут Вовка закричал изо всех сил:

— Валера! Валера! Ты же хотел мотоцикл купить!

— Тише,— приструнила Тамара Ивановна сына.— Правда? Мотоцикл?

— Ну, я не решил... Я думал... мопед, он дешевле стоит.

— А сколько он стоит? — не отступалась Тамара Ивановна.

— Сто семьдесят пять.

— Они у тебя есть?

— Я накоплю, тетя Тамара,— произнес Валера тоном немножко раздраженным.

— Ты прости, Валера, если я вмешиваюсь в твои дела,— миролюбиво произнесла она,— но, может, мопед оставить на потом? А сейчас помочь матери?

Он молчал. А Вовка опять влез в разговор:

— Мам, он меня катать будет... Он обещал.

Тамара Ивановна и Шохов смотрели на Валеру и ждали ответа. — А чего ей помогать? — наконец выдавил тот. — Она пенсию получает.

— Большую пенсию? — сразу спросил Шохов.

— Не знаю...

— А мы знаем. Мало получает.

Так как за столом возникла неловкая пауза, Шохов налил вина и бодро предложил выпить за маму Мурашки, которая тоже была женой строителя и прошла с отцом Валерия большой путь: и Братск, и Хантайку, и другие места.

Тамара Ивановна ушла посмотреть кипящую картошку, а Валерий после второй рюмки немного расслабился:

— А я правда похож на отца?

— Нет, не совсем. — Шохов смотрел на него в упор.

— А вообще... Какой он был?

— Честный, — сказал Шохов. — Он терпеть не мог несправедливости. Поэтому и погиб.

— А вообще? — повторил юноша. — Ну, за столом?..

— Шумным он был, — засмеялся Шохов. — Очень шумным. Громко разговаривал, громко ел и вообще... сопел.

— А у нас тоже много несправедливости, — сказал Валера, помедлив.

— Это ты о чем?

— Вообще... И приписки, и пьянка. Вы начальник, вы не видите, наверное.

— Вижу, Валера, — сказал Шохов и посмотрел мальчику в глаза. — Но это так быстро не исправишь.

— А папа... А отец — он бы исправил?

Шохов покачал головой. Всплыл тот вечер, когда в окошко их комнатки при школе постучалась детская рука: «Папку убили». И он, Шохов, бежал, отчаиваясь, задыхаясь и вытирая слезы, по улице к Мурашке домой, а потом к больнице. А в уме уже колотилась эта ненавистная фамилия Хлыстова... Знает ли Валера, что Хлыстов был тут, что он и сейчас работает по соседству, в Новом городе? А если бы узнал, что бы он сделал?

Появилась Тамара Ивановна с горячей картошкой на тарелке. Поглядела внимательно на обоих и женским чутьем догадалась, что состоялся у них свой, мужской разговор.

— Ну, мужички, — произнесла, присев, — под горяченькое выпьете или хватит? Да, Валера может остаться у нас, завтра еще праздник.

— Нет, — сказал юноша. — Спасибо, тетя Тамара, но я не останусь. Мне завтра надо быть... ну, в одном месте.

— Свидание? — угадала проницательная Тамара Ивановна.

— Она у него в магазине работает, — беззастенчиво влез Вовка.

— А ты молчи! — прикрикнула мать. — Ешь и катись спать.

— Мы у нее пинг-понговые шарики покупали, — опять вставился сын.

— В спортивном отделе, значит? — спросила Тамара Ивановна Валеру.

Тот кивнул, не отрываясь от картошки.

— Ну, если девушка серьезная, так почему бы и не встречаться...

— Серьезная, — буркнул он в тарелку.

Потом они всей семьей проводжали Валеру до Вальчика по темной дороге, и на прощание Тамара Ивановна велела заходить и при случае познакомить с девушкой. Конечно, не забывая про мать. Она ведь болеет...

— Ладно. — И Валера ушел в темноту.

Весь следующий день промаялся Шохов в неопределенности: идти или не идти к Третьякову? Но к вечеру собрался, воспользовав-

шись отлучкой жены к Коле-Поле. «Не убудет меня, если схожу. А пить я с ним не стану».

Так и решил. И настроился. И все-таки, пока шел, продолжал сомневаться и боялся кого-нибудь встретить на улице.

Третьяков жил на противоположном краю. С тех пор как рабочие сварили ему домик, хозяин даже забора вокруг себя не огородил. Считал, что скоро переберется в Новый город и все это бросит.

Но, начиная от порога, было в домике ухожено и чисто. Коврики, половички и щеточка для вытирания ног. Недавно приехала жена Третьякова, сухая, выглядевшая лет на десять старше мужа. Она и в Челнах в компании с ним не ходила, проводя все вечера за телевизором. Шохов помнил, что их в бывшей квартире Третьякова было два: один, огромный, цветной, в гостиной, а другой, транзисторный, в спальне.

Теперь оба телевизора стояли в одной комнатухе рядом. Домик изнутри был совсем небольшой.

Лешка встретил его на пороге, углядев в окно. Наверное, ждал.

Немного развязный от первых натянутых минут, произнес, что давно пора коменданту посмотреть, как живут вверенные ему жители...

Он проводил Шохова в комнату, небрежно, на ходу представил жену:

— Вы, кажется, знакомы?

Та поздоровалась сухо, глаза ее, как показалось Шохову, были откровенно злы.

— Ну, с праздничком по маленькой? — спросил Лешка и, не дожидаясь ответа, дал знак жене.

Она быстро, его и правда ждали, собрала на стол, а сама оделась и вышла, демонстрируя свое отношение к гостю, а может, и к мужу.

Третьяков будто не заметил этого, предложил садиться, сказав, что давно они вместе не сживали.

Шохов сел за стол, произнеся все-таки, что он ужинал и вообще зашел ненадолго.

— Какой тут ужин, — отмахнулся Лешка и опять как бы невзначай укорил Шохова, что он ни разу сюда не заглянул, и зря... Было бы о чем поговорить.

— Кстати, — сказал Шохов, глядя на Третьякова, — сживали мы последний раз, как ты изволил выразиться, у тебя в доме месяца так за три до моего увольнения... До того как ты меня из мастеров выгнал...

Он намеренно напомнил это именно сейчас, чтобы у бывшего приятеля не осталось никаких сомнений, что старое не похоронено. Этим и себя настропал для будущего разговора.

Третьяков был занят бутылкой. Распечатал, налил в обе рюмки и поднял свою. С несвойственной ему сентиментальностью произнес:

— Да, время идет, а мы стареем... Стоит ли копать в наших обидах? Нас многое связывает, не правда ли? Давай выпьем просто за нас обоих, а?

И прямо, глаза в глаза посмотрел на Шохова. Тот не выдержал, голову опустил. Но к рюмке не прикоснулся.

— Не хочешь? — И усмехнулся. — Как хочешь. — И залпом свое выпил.

Быстро, Шохов знал эту привычку, похватал что было на столе: хлеб, на него масло, на масло шпротину и еще на другой бутерброд икры красной из баночки (в ресторане небось доставал?) и салату из свежих, сбереженных до ноября красных помидоров.

И сразу отвалился довольный, причмокнув губами.

— Так вот, дорогой, нам не только сидеть за одним столом — нам теперь в одной организации вместе пиликать придется!

И уставился на Шохова, поблескивая наглово глазом, каков бу-

дет эффект. Он мог удовлетвориться, Шохов и вправду не был готов к такой новости.

— Что ты имеешь в виду? — спросил он растерянно.

— Наши тресты объединили. Вы же закончили свой объект?

Шохов уже догадался. Уверенно спросил:

— Под твое начало?

— Угу.

— А наш бывший?

— Замом.

— А приказ?

— После праздника.

— Так... Что же мы будем делать?

— Гришенька, — Лешка специально его назвал так, — ты всю жизнь был догадлив, даже в те времена, когда тебя по молодости заносило. — Третьяков поднялся и направился к двери, поманил Шохова пальцем. — Сюда, сюда. Не бойся! Я давно не дерусь!

Шохов направился вслед за Алексеем к двери. А тот уже стоял на крылечке домика и смотрел перед собой, будто бы задумавшись.

— Ну и что? — с вызовом спросил Шохов.

Третьяков подозрительно молчал.

— Ты хочешь сказать, что...

— Верно, черт! — гаркнул он. — Верно, Гриша! Не падай только в обморок. Дело это решенное...

И он рукой повел, как бы ребром ладони подрезая под корень всю улицу, начиная от ближнего дома и далее, к самому краю, к дому самого Шохова.

— Врешь же!

Шохов крикнул, уже точно зная, что это правда. И Третьяков понял, что Шохов поверил ему, и лишь мрачновато усмехнулся.

— А кем? Кем решено?

— В Госплане... — Вдруг сгорбясь (вспомнилось: Лешка длинносогнутый), направился в дом, бросив на ходу: — Тут такое, друг мой Гриша, заваривается...

Возвращался Шохов поздно, в том странном для себя состоянии, когда и сам уже не мог понять, опьянел ли сгоряча или просто одурел от длинного разговора.

Он двигался неровным зигзагом по замерзшей бугристой дороге. Против некоторых домов останавливался, сился вспомнить, кто же его хозяева, и, грозя в святающееся окошко пальцем, приговаривал: «Ах вы... Спице! А тут!» И двигался дальше.

Два голоса все еще терзали его.

— План, дорогой мой, план — это основа всей нашей жизни... Без плана мы никуда не двинемся.

— План-то для кого? План-то для людей?

— Конечно.

— А здесь что же, живут не люди?

— Эти? Так когда они здесь появились? В прошлом году? А план был составлен лет пять, а то и десять назад. Он привязывался к местности, к энергетической базе, к лесным ресурсам... Тогда не только твоих людей — и Нового-то города в помине не было. Новый город ведь и создали как базу рабочей силы для будущего завода...

— Ты считаешь, что там никто ничего о нашем поселке не знает?

— Конечно, нет. Он же административно нигде не числится! Он даже и в районе не числится! На всех картах тут обозначено пустое место. О твоей халупе, я думаю, проектанты даже не догадываются. Они свое дело сделали. Уже постановление принято.

— А постановление что же... Его нельзя... отменить?

— Ты с ума сошел, Гриша. Ты же старый строитель, не тебе объяснять, что это такое. Миллионы рублей на проектирование. Гене-

ральный строитель, подрядные организации, координация поставщиков, сроки, поставки, договора. Десятки зарубежных фирм, закупка валютного оборудования и технология... И против этого ты выставишь ценность своей халупы?

— Ну, предположим, я не об одном своем доме пекусь...

— Но пусть их будет сто! Тысяча! Три блочных башни — и вся проблема.

— А ты им дашь три этих блочных башни?

— Тебе дам как работнику нашего треста. Ты получишь двухкомнатную квартиру через десять дней в доме, который был принят нами перед праздниками. Хочешь письменно?

— А им ты тоже дашь квартиры?

— У них есть свои подразделения, свое начальство, своя очередь.

— Но ведь эта очередь сто верст до небес — и все пехом!

— Но зато очередь. Она гарантирует порядок и какой-то срок, пусть и отдаленный...

— А сносить когда будете?

— На этой неделе.

— Так что же им делать?

— Пусть ищут тот золотой край, где квартиры с веток в рот сыплются...

— Но это же кадры! Да какие!

— В этом ты прав. О тех, кто мне полезен и необходим как работник, я проявлю максимум беспокойства. Как о тебе, например. Думаю, что и другие руководители рассуждают так же.

— Но ясно же, что всем жилья не хватит!

— Верно. Но существуют общежития, коммуналки, подселения... Тут Север. Каждый, кто сюда ехал, знает, на что он шел. Здесь и так можно в сто раз быстрее жилье получить, чем в любой центральной области России. А Вор-городок — поселение временное, незаконное.

— А почему бы его не узаконить?

— Вспомни. Гриша, индивидуальные поселки там, где мы с тобой прежде работали... Минимум удобств, бездорожье, и никто ими не занимается.

— Так нужно заниматься! Ты посмотри, что выходит. Население закрепляется намертво в новых районах — раз. Строится своими средствами — два. Огородники, они сами себя частью снабжают. Они рабочие кадры...

— В идеале бы ничего. Но на практике иное. Считается, что затруднение с кадрами дело временное, а спроектированные удобные большие города в конце концов решат эту проблему.

— Когда решат! Даже ты... ты, который это все говорит... живешь во времянке! Или... у тебя ключи в кармане?

— Ты угадал. Я годик без малого прожил с вами... Нет, не с вами, рядом! В этой вот халупе. А когда мне летом предложили квартиру, я уступил ее рабочему с тремя детьми. Кстати, хороший рабочий, из нашего с тобой треста.

— Ты гуманист... А домики-то будешь рушить, не оглянешься!

— Ну а чего эту гниль жалеть? Да и, кстати, это будешь делать ты.

— Я?!

— Конечно!

— Этого-то ты от меня не дождешься. Я скорей уеду, чем трону пальцем хоть одно бревнышко. И опять ты меня гонишь! Вторично!

— Не гоню. Наоборот. Хочу на этот раз тебе помочь. Будем снова вместе работать.

Шохов молчал.

— Подумай о жене. Она устала от твоих переездов, у нее молодость пропала за твоей беготней по стройкам. Тебе ее не жалко?

Шохов молчал.

— Вовка практически без тебя вырос. Мальчишка только начал привыкать, что у него есть отец, а не легенда... Ох, Гриша, смотри!

Шохов прорвался — как отодвинул все наговоренное:

— Снесут нас, а может, еще и не снесут. Но у тебя я работать не стану...

— Не хочешь ломать — не ломай, — предложил Третьяков миролюбиво. — Возьми отпуск и сиди дома, пока другие это сделают...

— И сидеть я не стану! Я еще поборюсь! До свидания!

— Счастливо, — произнес Третьяков. И уже вслед: — После праздников зайди ко мне, сразу только. Я приказ подготовил о назначении тебя начальником участка...

Шохов даже не обернулся.

— Это на сто сорок рублей больше!

Через два дня Шохова уже как официального представителя строительного треста пригласили на комиссию исполкома, где решалась проблема сноса временного поселка.

Но еще по дороге, когда Шохов сходил с автобуса на центральной площади, его окликнули.

Маленький седой человек в огромных темных очках, в дубленке и добротной меховой шапке рысцей направлялся к Шохову, делая на ходу призывные знаки.

— Простите, Григорий... Григорий... Забыл вас по отчеству...

— Григорий Афанасьич, — представился Шохов, ему показалось, что он знает этого человека.

— Вы меня не узнаете, Григорий Афанасьич? — спросил человек и снял темные очки.

— Мы виделись, да? — произнес Шохов неуверенно.

— На КамАЗе, помните? Мы еще приезжали снимать новый фильм.

Вот только когда Шохов вспомнил: Костя, затурканный человек из киногруппы...

Сейчас Костя никак не выглядел забитым, затюканным, наоборот. Был деловит и разговаривал по-иному, не как на КамАЗе.

— Я вас помню, — подтвердил Григорий Афанасьевич. — Какими судьбами?

Человек развел руками.

— Наша работа — ехать туда, где что-нибудь интересное творится. Я, знаете ли, первый раз в этих местах и потрясен, какой вы отгрохали город!

— Ну, я тут мелкая сошка. — Шохов торопливо посмотрел на часы. Ради вежливости спросил: — Снимать будете?

— Обязательно. Тут заваривается огромное дело! Слышали небось? Нас возили сегодня на площадку за город, где эти хибары...

— Хибары? — переспросил Шохов.

— Да, времянки... Там их, кстати, как-то очень смешно прозвали... Городок жуликов, что ли... Мол, тащили стройматериалы... На днях их будут сносить, и мы хотели запечатлеть этот факт. Тут со мной, — он указал на машину, — сценарист, редактор, они уже строчат... Эффектно будет выглядеть на экране конец старого, отживающего и начало нового...

— Эффектно...

Шохов передернул плечами, будто замерз. А Костя заторопился, стал прощаться. Бодрой рысцей добежал до машины с надписью на борту «Киносъёмка» и, оглянувшись, помахал Шохову.

Картина крушения их городка, которую Третьяков так бодро выложил позавчера, не произвела такого сильного впечатления на Григория Афанасьевича, как эти несколько слов про хибары да городок жуликов.

С этим настроением Шохов и появился в исполкоме. Секретарша Риточка, не признав его, да и времени сколько прошло, спросила, по какому он вопросу, и указала на кабинет:

— Потихонечку... Они уже заседают.

Федор Иванович, председатель исполкома, который вел комиссию, тоже спросил Шохова, от какой организации, и одобрительно кивнул:

— Хорошо. Наши помощники!

У Шохова мелькнула мысль: знал бы он, каков помощник явился!

Федор Иванович продолжал докладывать то, что в общих чертах Шохов знал. О подписанном в Совете Министров постановлении о начале грандиозной стройки, которую с нетерпением все ждали, о немедленном развороте работы на участке, который начнется у самой реки и пойдет вдоль Вальчика, где сейчас времянки, и дальше, в направлении Новожилова. Десяток заводов, выстроенных в технологическую цепочку, плюс ТЭЦ, монтажная площадка, склады, гаражи, ветка железной дороги от ныне существующей линии, ЛЭП и масса подъездных бетонных и гравийных дорог свыше двух тысяч километров.

Цифры — тысячи, десятки тысяч, миллионы, — привычные для шоховского слуха и необычно интересные в другое время, сейчас будто скользнули мимо.

Никто, ни эти деловые люди, ни жители Вор-городка, ни даже Тамара Ивановна, никто не подозревал, как близок он, Шохов, к полному краху.

А милая, неутомимая, доверчивая Галина Андреевна, подождав его вчера и отругав за безалаберность, еще ходит по домам, еще собирает бессмысленные подписи под бессмысленным письмом и верит в какие-то возможности что-то спасти.

Господи, как это далеко от него! Если бы она знала то, что знает сейчас Шохов! Но ведь он молчит — второй день...

До Шохова доносились слова, едва достигая сознания:

— Все осложняется недостатком рабочих... Люди знают, что их на улицу не выкинут, потому и строятся.

— Так куда их переселять? Может, отвести участки и всех перетаскать?

— А как вы будете переносить времянку? У многих там подвалы, бани, теплицы.

— Хозяйство хозяйством, а место-то незаконное? Захотят, так построят на новом месте. А саму времянку оттащить с нашей техникой не проблема.

— Не проблема? Тут один посреди Нового города в гараже устроился, и то целый месяц решали, как с ним быть...

— Это все наша мягкотелость. Сто девяносто пятая статья: уголовная ответственность за незаконный захват земли!

— И что же, все полтыщи судить?

— Это, товарищ, не простой момент, когда подъезжают с бульдозером, а там люди...

— Хотят или не хотят, у нас нет выхода. Надо сделать так, чтобы одновременно жилую площадь давали. А тех, кто не хочет, надо убеждать... Может быть, и садовые участки скорей отводить? Вы об этом размышляли, товарищ... как вас, из треста?

Шохов вздрогнул, спрашивали его.

— Сижу и размышляю, — произнес он, привставая.

— Так что же?

Все смотрели на него и ждали ответа. А ему хотелось крикнуть: он и есть тот, кто хочет защитить свой дом от бульдозера, в который посадят дисциплинированного водителя! Но как? Не решил...

— Не решил пока, — произнес Шохов.

— Решайте скорей, — тоном почти приказным сказал Федор Иванович. — У вас в резерве не больше недели.

— Знаю,— сказал Шохов.

В эту ночь он не спал. Крутился, несколько раз вставал пить. Под утро не как сон, а как реальность привиделось ему чудо-юдо на гусеничном ходу, на котором было написано: «Комбинат». Он напоминал снегоочиститель. Загребущими лапами с хрустом перемалывал доски шоховского дома, выплевывая через выхлопную трубу розовенькие рулончики туалетной бумаги. «Вот и все,— подумал Шохов во сне.— Вот и все».

Пожалуй, самой популярной комнатой у женщин Гидропроекта был женский туалет. Здесь с чьей-то легкой руки на заре возникновения самой конторы повесили объявление о продаже импортных туалетов тридцать пятого размера. Объявление было приклеено к стене около умывальника, и все его прочли. Тут же сообразили и повесили рядом еще одно объявление — о потере варежки, потом книги, и началось...

Теперь любая чертежница, забежав сюда перед началом работы, могла обозреть за несколько минут всю многосложную жизнь своего учреждения и выбрать из полусотни бумажек необходимую.

Продавались кофты, сумочки, помада, шерстяная пряжа, цветные попугайчики, талон от макулатуры на Дюма, джинсовый костюм, детская коляска, резина для «Жигулей», посуда, мебель, цветы, зонтик и так далее и так далее...

Были объявления о потере диплома и перчатки, пропуска на работу. Были призывы помочь в работе над курсовым проектом и предложением о сколачивании детской группы по английскому языку у частного учителя, а также поиски преподавателя музыки...

Были предложения об обменах: квартир, подписок и просто книг, коллекции деревянных ложек на изделия Хохломы.

Были предложения о хорошей раскройщице и чей-то неистовый призыв: «Товарищи, надо заниматься йогой, русская женщина толще европейской!» И все в том же духе. Многие из объявлений не были лишены юмора, особенно это касалось мужчин. Так, появлялись вдруг обнадеживающие, невесть кем добытые сведения о мужчинах-разведенцах или поступивших на работу холостяках.

Они носили как бы шуточный характер, но это была все-таки информация немалой важности. Конечно, случалось, что и соперницы сводили на стенке свои счеты и пускали слухок о чьей-нибудь измене... Издержки в целом довольно ценного, как все считали, дела. Начальство, а оно сплошь состояло из мужчин, никак не касалось нелегальной стороны жизни конторы, да и не могло бы ее коснуться... Кто же рискнет приходить в женский туалет и контролировать чистоту стен?

И вот в какое-то утро сразу после праздников где-то рядом с объявлением о продаже сиамской кошки появилась такая нестандартная информация:

«Женщины, деду Макару сегодня исполняется семьдесят! Он наша реликвия! Он наша милочка! Неужели мы не поздравим его?»

Кто-то внизу карандашом приписал: «Даю рубль на банкет! Кто еще?»

Еще оказалось много, и через несколько часов уже вся контора, включая и мужчин, знала о том, что у деда Макара юбилей и его вечером будут поздравлять женщины, которые собрали больше сорока рублей.

Общественники засуетились, потому что такое мероприятие никак не могло пройти мимо месткома и самой дирекции. Крошечная пирушка, которую пытались сымпровизировать в отделе, разрослась до мероприятия общегидропроектного, требовавшего солидной подготовки, подарков, граммот, адреса, всяческих поздравлений и речей. И все-таки женщины не спланировали и купили свой подарок деду, не

смешивая его никак с официальным. Они же принесли цветы в горшках и как могли украсили конференц-зал для юбилея.

Когда после работы деда Макара позвали и посадили в президиум, он был смущен и чуть-чуть растерян. Сидя за широким столом рядом с начальством, он поглядывал то на ораторов, то на зрителей в первом ряду и все протирал скомканным и не очень чистым платочком свое пенсне.

О деде Макаре говорили как об одном из видных ученых, отдавшем свою жизнь изучению сибирских и северных рек и заслуженно в свое время получившем Государственную премию. Все бурно захлопали, потому что никогда и никто не слышал о дедовом лауреатстве.

Деду преподнесли адрес и подарки. От имени руководства конторы был вручен транзисторный приемник «Океан», а от женщин отдела — два комплекта постельного белья в розовый горошек. В отделе от Нельки уже знали, что у деда быт налажен недостаточно хорошо.

Когда потребовалось выступить, дед сперва отказывался и только повторял, что сердечно тронут и всех, всех благодарит за этот неожиданный и радостный праздник. Но вдруг разговорился и сказал, что начало познания Сибири было для него положено еще дедом, ссыльным польским революционером, который мальцом привез его на Ангару перед самой первой мировой войной.

— Я тут ненароком вспомнил одну занятную историю, связанную как раз с этим дедом, — сказал дед Макар, и в зале зашептались, потому что знали, что он занимательный рассказчик и вообще человек неожиданный, остроумный.

Дед Макар посмотрел в зал и помолчал, видимо припоминая нечто действительно занятное, а все заинтригованно ждали. Начальство за столом президиума с любопытством уставилось на него.

— У нас в семье очень любили свежую рыбу, а Сибирь ею, как вы понимаете, была обильна. Так вот временами шел у нас не таймень, не хариус, а обыкновенная щука, как выражаются, сорная рыба. Мой дед самолично разделывал ее, отдавая гостям туловище, а себе всегда брал голову. Вот с этой самой головой он творил чудеса... Он тщательно ее обглаживал, а косточки — вы знаете, как их много в рыбьей голове, — складывал в десять кучек, подбирая их по признакам, одному ему понятным. И тут же на столе, прямо на скатерти из этих десяти кучек дед на глазах изумленных гостей составлял десятки картинок по Евангелию. Называл он их так: десять остановок Христа по пути на Голгофу. Картинки, я сам помню, были как живые, поразительно рельефные и потрясали всех присутствующих. А потом мой дед умер, и никто не помнит, как же надо составлять эти картинки... — Дед Макар сделал многозначительную паузу и добавил, хитро усмехнувшись: — Я не о Библии, как вы понимаете. Даже не о наших в жизни остановках. Кстати, мой юбилей пусть будет одной из последних и прекрасных остановок на этом пути, потому что, как сказал другой не менее прекрасный старик, Шоу, песок в моих часах иссякает. Так вот нынешним молодым я хочу лишь сказать, что, открывая новое, бойтесь потерять навсегда и то, что было до вас открыто. Я, понимаете сами, не про себя лично говорю. Тут обо мне всякого наговорили, а тот же Шоу повторял, что когда вы читаете биографию, помните, что правда никогда не годится для опубликования...

Все засмеялись и захлопали в ладоши. А дед, стараясь перекрычать, закончил:

— Не утрачивайте ничего из прошлого — вот мое слово! Без него невозможно сотворить будущее! Прекрасное будущее, как я верю!

Дед сел, а ему все хлопали. Не все и не всё поняли, тем более про Голгофу, но про косточки история почему-то очень понравилась. А более дошлые вроде бы отыскивали в притче какой-то особый смысл и качали головами: «Ай да дед... Остер, остер, нечего сказать!»

Тут в соседнем зальчике накрыли стол и завели радиолу, и молодежь, схватив наспех по бутерброду, бросилась танцевать. Но при этом и деда Макара не забывали, и женщины наперебой приглашали его на танец.

Нелька, сияющая, как именинница (она и вправду много сделала для этого юбилея, и, собственно, от нее и стало известно о семидесятилетии деда), тоже пригласила деда Макара и, конечно же, у всех на глазах кокетничала с ним. И все это одобряли.

— Макар Иваныч,— говорила она вдохновенно,— отчего бы вам не воспользоваться таким случаем и не попросить начальство, которое все тут, о квартире?

— Простите, милейшая, не понял? — спросил учтивый дед Макар. — О какой квартире? Зачем?

— Ну а как же вы будете без жилья? — поинтересовалась Нелька. — Не в общежитие же вам возвращаться.

Дед Макар слушал партнершу вполуха, потому что всем улыбался и кивал на добрые улыбки и поздравления.

— В общежитие? — переспросил он. — Но почему же в общежитие?

— А где вы собираетесь жить? — настаивала любопытная Нелька.

Она была очаровательна и ласлилась немного, совсем немного, кокетливо прижимаясь к деду Макару. Кругом это понимали, девчонки хихикали. Но дед-то, он-то как раз ничего не замечал.

— Как где, милейшая? В домике! В том самом, который помогали строить и вы с Васенькой!

— Так ведь его снесут, Макар Иваныч!

— Не снесут, не снесут... — отмахивался он и пытался кружить свою партнершу, и это у него так ловко вышло, что кругом зааплодировали.

— Макар Иваныч,— твердила Нелька с улыбкой,— на следующей неделе будут ломать все дома. Весь городок. Разве вы не знаете?

— На следующей? — повторил дед Макар задумчиво и впервые взглянул на свою партнершу серьезно. — Откуда, уважаемая, у вас такие сведения?

— От мужа. Он назначен в трест, который будет ломать, а потом строить завод.

— Григорий Афанасьич ничего подобного не говорил!

— Григорий Афанасьич не говорил? Так ему и поручено ломать...

— Бросьте, Неля, вы что-то путаете,— сказал дед Макар без улыбки.

— Ничего не путаю,— обиделась Нелька. — Шохов назначен начальником участка, и на следующей неделе он приступит к сносу городка. Уже и постановление есть...

Все это Нелька выпалила скороговоркой, вгорячах не заметив, что дед Макар давно уже не улыбался и взгляд его стал настороженным и пугливым. Он даже танцевать перестал, а отошел в угол как бы выпить воды, но и стакан не донес до губ, а застыл, над чем-то напряженно раздумывая. Про Нельку он не вспомнил.

— А я думала, что вы все знаете,— произнесла та немного разочарованно, все еще следуя за дедом Макаром.

— Что? — спросил он.

— Я думала, что вы знаете... Что Шохов вам рассказал, что...

— Ах, Шохов? — произнес дед Макар и опять задумался. И далее в течение всего вечера оставался молчалив.

Он и ушел раньше других, и подарков своих не забрал. Женщины лишь посмеялись над такой забывчивостью деда Макара и заперли их до завтрашнего дня в сейф.

А дед Макар вернулся домой в очень тревожном состоянии и тут же направился к Галине Андреевне. Той не оказалось дома. Соседи сказали, что она собирает подписи под письмом и ее будто видели на улице Болотной.

Не разбирая дороги, разжиженной оттепелью, грязь со снегом, он в тех же праздничных туфлях напрямик пошел по улице и около одного дома наткнулся на Галину Андреевну. Она в обычном своем плашике, сапожках стояла возле какого-то рабочего и внушала ему что-то. Завидев деда Макара, тут же энергично позвала его:

— Макар Иваныч! Я вас вспоминала! Вы хоть объясните этому чудаку, что женщину нельзя держать взаперти... Он, понимаете, ее ревнует и не отпускает на работу. Как вам это нравится?

— Да, да,— поддакнул жалко дед Макар.— Надо отпускать, милейший. Надо отпускать.

На большее его не хватало.

— Вы будете мне помогать? — спросила Галина Андреевна, не замечая состояния деда, она была настроена, как всегда, по-боевому.— Я на сегодняшний день обошла больше половины. А Григорий Афанасьевич меня забросил. У него какие-то дела.

— Я не могу вам помочь, уважаемая...— промямлил дед Макар.— Я, видите ли, смущен одной новостью... Я не знаю, как ее принимать...

— Макар Иваныч! Что с вами? — воскликнула Галина Андреевна, только теперь в свете чужого окошка разглядев, что тому явно не по себе.

— Ничего, милая... Но я... понимаете..

И дед Макар выложил не очень внятно услышанную новость.

Галина Андреевна соображала недолго и панике не поддавалась.

— Надо идти к Шохову,— предложила она, помолчав.— А пока не будем паниковать. Мы знаем цену Нелькиным сплетням. Если всем им верить, знаете...

— Да, да,— кивал дед Макар, но подавленность, нервозность его не прошли.

У Шоховых горел свет, но самого хозяина дома еще не было.

— Посидите, он сейчас придет,— сказала радушная Тамара Ивановна.— Я Валеру чаем угощаю. Присоединяйтесь и вы...

Гости разделись, присели за стол. Сперва чаевничали молча, лишь Тамара Ивановна укладывала Вовку спать, а он канючил, ему хотелось еще побыть вместе с Мурашкой.

Галина Андреевна спросила Валеру, правда ли, что он работает в подразделении Шохова.

— Я работаю в бригаде монтажников,— сказал тот, занимаясь чаем.

— А что вы сейчас делаете?

— У нас реорганизация,— сказал юноша.— Говорят, будем технику с водозабора перегонять.

— Куда?

Галина Андреевна спрашивала мягко и поглядывала при этом на молчавшего деда Макара. Вид у него был какой-то смятый.

— Не знаю,— пожал плечами юноша.— Говорят, завод будем строить.

— Какой завод? Где?

Тот опять пожал плечами.

В это время объявился Шохов. В прихожей, пока снимал он сапоги и ругал погоду, Тамара Ивановна сказала, что его ждут.

— Кто? — произнес он, и в голосе прозвучала будто настороженность, даже испуг.

— Галина Андреевна и Макар Иваныч... Да и Валера у нас.

— Ага. Я только умоюсь,— произнес он, и Галине Андреевне опять послышались в голосе хозяина некоторая усталость и досада.

Пожалуй, это встревожило больше, чем переданная дедом сплетня.

Шохов долго умывался, вытирался, все медлил к ним выходить. А когда ступил в комнату, торопливо и, как показалось Галине Андреевне, неприветливо кивнул, присел к столу и уткнулся в бутерброд. Жевал хлеб с маслом, не проявляя любопытства к столь поздним гостям и будто совсем их не замечая. По всему его виду можно было догадаться, что устал, измотан, издерган и, конечно, голоден. Ни к какому разговору он сейчас не расположен.

Но, может быть, он и сам почувствовал неловкую паузу, обратился к Валере:

— Ты чего пришел? Случилось что?

— Нет,— отвечал тот.

— А на работе как?

— Нормально.

— Ночевать... у нас будешь?

— Если не помешаю...

— Не помешаешь.

Все это отрывисто и уткнувшись в чашку.

А Галина Андреевна многозначительно взглянула на деда Макара. Они сейчас одновременно подумали, что Нелька-то права и Шохов просто побаивается разговора с ними.

Галина Андреевна вздохнула и, отставив чай, произнесла:

— Мы ведь, Григорий Афанасьич, по делу... Поговорить надо.

Шохов оглянулся, слышит ли их Тамара Ивановна. Но убедившись, что та вышла на кухню, спросил торопливо:

— А что случилось? Что за спешка?

— Случилось, Григорий Афанасьич.

Галина Андреевна посмотрела на руки Шохова, держащие чашку, и увидела, что они дрожат.

— Мы хотели у вас узнать,— «у вас» Галина Андреевна подчеркнула, не сводя глаз с Шохова, с его рук,— правда ли, что есть постановление о нашем сносе?

Валера оторвался от чая и с удивлением уставился на хозяина. Наклонив голову, тот ответил, что постановление такое есть.

— А кто будет сносить?

— Ну как кто, организация.

— Какая организация? — Галина Андреевна несколько не повышала голос и была сама любезность. Но от ее вопросов веяло холодком.

— Наша,— выдавил Шохов обреченно.

Валера совсем забыл про свой чай и не отрывал от Шохова пораженного взгляда. Он даже ложечку уронил на пол, никто не заметил. Дед Макар словно бы чего-то стеснялся. Одна Галина Андреевна никак не выдавала своих чувств. Голос ее был хоть и тверд, но доброжелателен. И даже нечто вроде сочувствия сквозило в ее обращении к Григорию Афанасьевичу.

— Когда будете сносить?

— Да скоро.

— Когда все-таки?

— На следующей неделе...

— И вы — молчали?

В этот момент в комнату вернулась Тамара Ивановна с горячим чаем, и все немного отвлеклись. Она налила гостям свежего чайку и с улыбкой присела на свободный уголок стола. Галина Андреевна не собиралась щадить Шохова и потому переспросила:

— Почему же вы молчали, Григорий Афанасьич?

Тот покосился на жену и лишь вздохнул. Все, в том числе Мурашка, глядели на него выжидающе.

— И о чем вы молчали, Григорий Афанасьевич? — с улыбкой

спросила Тамара Ивановна, почувствовав какое-то напряжение и желая перевести его в шутку.— Молчание не всегда достоинство, а? Но никто не поддержал ее и не улыбнулся.

— Но я сам только что узнал, Галина Андреевна! Честное слово.

— Когда же — сегодня, вчера?

— Вчера,— сказал он и тут же поправился: — Нет, позавчера. Но эти дни...

— Тамара Ивановна,— перебила его Галина Андреевна и обернулась к Тамаре Ивановне. Та хоть уже и понимала, что их разговор необычен, но все еще не догадывалась, о чем идет речь.— Бога ради, простите нас за резкость, но речь идет о сносе нашего городка. Я поднимаю, что уже поздно. Еще один вопрос, и мы уйдем...

— Сидите, что вы,— отвечала хозяйка растерянно.

Галина Андреевна обратилась теперь к Шохову:

— Григорий Афанасьич, вы... вы будете сами сносить... нас?

— Как сами сносить! — воскликнула Тамара Ивановна и посмотрела на мужа.— Гриша, скажи им, почему же ты молчишь? Скажи так, как мне говорил... Что мы до конца будем здесь жить, что бы там ни случилось... Ведь правда же?

Шохов снова ничего не ответил, а за него сказала Галина Андреевна:

— Григорию Афанасьичу поручили снос поселка... Я так поняла...

— Гриша, это правда? — спросила Тамара Ивановна.

Он кивнул и отвернулся. Валера привстал, желая что-то сказать, но его перебила Тамара Ивановна:

— Что же мы будем делать, Гриша? Я ничего не понимаю! — в отчаянии произнесла она, сильно побледнев и обращаясь теперь ко всем сразу, в том числе и к деду Макару, который сидел отрешенно, будто посторонний. Несколько капелек пота блестело на его лбу.

Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, если б не дед Макару, который двинул рукой как в полусне и опрокинул на себя чай. Чашка же скатилась по его коленям на пол и расколосась пополам.

Женщины бросились помогать неловкому деду, стали собирать осколки, а Шохов воспользовался паникой и вышел. Огорченный дед бормотал извинения, а Тамара Ивановна повторяла, что посуда бьется на счастье и нечего ее жалеть, главное, что чай был уже холодный и Макару Иванович не обварился...

Под шумок исчез и Мурашка. О неприятном разговоре никто больше не вспоминал. Поговорили о погоде, о японских зонтах, появившихся в магазине, и как только убедились, что штаны у деда Макара немного обсохли, распрощались с милой Тамарой Ивановной, которая вышла их проводить.

Галина Андреевна довела деда Макара до самого дома. Дорогой они шутили по поводу подмоченных штанов, но ни слова не было сказано о случившемся. Оба старательно обходили эту тему. Галина Андреевна на прощание сказала:

— С юбилеем вас, Макару Иванович, спите спокойно. Пусть вам приснятся золотые ангелы.

— Так же и вам,— кивал дед.— Вы уж извините, милейшая Галина Андреевна, что я вас не провожаю. Я сегодня устал...

— Крепче будете спать,— сказала она.

Галина Андреевна постояла мгновение, неясная мысль шевельнулась и пропала навсегда. Это потом, когда что-то случается, мы начинаем придавать последним услышанным словам непомерно большое значение. Она тоже вспоминала это, произнесенное про усталость. Чувствовал ли он или просто было сказано походя — кто теперь скажет...

Она дождалась, когда у деда загорится свет в окошечке, и направились к себе.

В эту ночь Галина Андреевна спала беспокойно. Несколько раз просыпалась и забылась лишь под самое утро. Проснулась на рассвете от тяжкого и неожиданного предчувствия, поразившего ее в самый момент пробуждения.

Тут же в панике торопливо оделась. Не умылась, едва подобрала волосы пучком и побежала к дому деда Макара. Еще до того как постучалась, уже знала, что ей никто не ответит. И все-таки сердце холонуло, когда на долгий и громкий стук ей отозвалось молчание. Она обежала дом и стала барабанить в окошко. Даже ладонь занозила о какую-то деревяшку, но в горячах не заметила.

Так же бегом, не разбирая дороги, по грязи, чуть примороженной за ночь, она добралась до избышки Петрухи и торопливо ему все рассказала. Петруха попытался ее успокоить, сказав, что дед Макар стал чуть-чуть глуховат. Впрочем, он собрался с ней, чтобы самому попытаться разбудить. Дорогой они еще забежали к дяде Феде.

Дядя Федя уже колот дрова во дворе. В кепочке, в телогрейке, вечный огрызок папиросы зажат в зубах. Втроем они походили вокруг домика деда, постучали, и дядя Федя сказал:

— Будем взламывать.

Топором, который притащил с собой, он чуть отжал дверь, и щеколда отлетела. Он вошел первым и с порога, взглянув в сторону постели, произнес коротко:

— Готов.

И тут же вышел вон.

Галина Андреевна со страхом посмотрела на дядю Федю, потом на постель и сразу увидела, что дед Макар лежит в необычной позе, на боку, лицом к полу и губы у него вытянуты трубочкой, как от обиды. Одежда сползло, обнажив неестественно желтую согнутую в колене ногу, будто он собирался сойти с кровати. Кургузая маечка открывала задубевшее тело.

— Вы можете подождать, пока я схожу в милицию? — спросила Галина Андреевна Петруху.

Тот кивнул и приблизился к покойнику, не сводя с него глаз.

— Подождите, пожалуйста, — повторила она и не узнала своего голоса, так он вдруг сел. — Здесь или... на улице.

У домика дождался дядя Федя.

— Звонить?

— Тут близко. Я без звонка дойду.

— Пойдемте вместе. — сказал дядя Федя. — Мне на работу. Я только забегу переодеться.

Дорогой спросил:

— Отчего же он? Он же не жаловался?

— Жаловался... Вчера... Я его последняя видела. Он говорил, что жмет сердце.

— Может, инфаркт? — предположил дядя Федя.

Галина Андреевна покачала головой.

— Ах, ну какая теперь разница! Ведь умер же! Вы можете помочь... сколотить ему... это...

Галина Андреевна не смогла произнести «гроб», но дядя Федя понял, кивнул. На перекрестке за Вальчиком простился.

Милиция приехала часа через полтора. Галина Андреевна с Петрухой замерзла, пока ожидали ее на улице. Из милицейского «газика» вышли капитан и молодая женщина в белом халате под пальто.

— Где? — спросил капитан.

Галина Андреевна указала на дверь и вошла последней.

Капитан проворно огляделся, взял валокордин со столика, понюхал и передал докторше. Потом перелистал книгу, лежавшую тут

же на столе. Мельком осмотрел бумаги и задержал взгляд на стоявшей посреди стола машине с планетами.

— Астроном? — спросил без интереса и пододвинул стул. Достал из портфеля листок бумаги и стал быстро писать.

Галина Андреевна и Петруха молча стояли у дверей и смотрели на капитана.

Докторша, не притрагиваясь, обследовала тело, что-то шепнула капитану.

— Да, можно, — отвечал тот.

— Вы родственница покойного? — спросила докторша, повернувшись к Галине Андреевне.

— Нет, — сказала она негромко.

— Он что же, один? Ну все равно. Его нужно доставить в морг. У вас машина найдется?

Галина Андреевна пожала плечами и посмотрела на Петруху.

Докторша опять шепнула капитану, тот кивнул, не отрываясь от бумаги.

— Ладно. Не ищите. Мы придем.

Капитан, ни слова не говоря, оставил листок на столе и пошел к машине. Галина Андреевна слышала, как он на ходу произнес, обращаясь, по-видимому, к докторше, а может к шоферу:

— Шараповка. Вот и разберись тут. На днях мы это все сроем...

Милицейская машина уехала, а Петруха и Галина Андреевна остались у домика.

— Вы завтракали? — спросил Петруха.

Она покачала головой.

— Пойдемте, я приготовлю яичницу.

— Спасибо. Не смогу.

Они даже здесь, на улице, разговаривали тихо, будто боялись потревожить умершего.

— Надо бы на работу к нему позвонить, — сказала Галина Андреевна. — И дочери. Да нет адреса...

— Сейчас найдем, — сказал Петруха. — Я видел на столе письмо.

Письмо они не стали бы читать, но надо было удостовериться, что адрес на конверте именно тот, который им нужен. По первым же строчкам о том, что дед не шлет им денег, что он не следит за подпиской, которая им нужна («Вот-вот будут подписывать Даля и Толстого!»), стало ясно, что пишет дочь. Петруха сунул письмо в конверт и отдал Галине Андреевне.

— Ну потомство, — заключил он. — От такой и на Северный полюс сбежишь!

Галина Андреевна, не отвечая, вернулась в домик и от дверей в последний раз взглянула на деда Макара, стараясь запомнить и эту кургузую маечку, и одеяло, сползшее с ног, и губы, вытянутые трубочкой, будто старик обижался на весь мир.

Хоронили деда Макара в морозный и впервые такой солнечный после осенней хмари день. Неожиданно из Москвы поступило много телеграмм от его бывших коллег, сослуживцев, друзей. Прислали и организации своиболезнования. Одну из телеграмм от министерства на правительственном бланке во время панихиды зачитали. В ней было сказано, что дед Макар — виднейший советский исследователь сибирских рек и его имя вошло во все учебники по гидротехнике, а его практический вклад в дело освоения Ангары по заслугам оценен правительством.

Тело было выставлено для прощания в том же конференц-зале, где состоялось юбилейное чествование. Женщины из отдела плакали, а у гроба стоял почетный караул из руководителей Гидропроекта и комсомольцев.

С небольшим опозданием из-за погоды прилетела дочь покойного, рыхловатая бесцветная молодая женщина с настороженным взглядом. Ни с кем не разговаривая, она проследовала на кладбище — это было в Новом городе, у реки, — а потом ее отвезли в домик старика. Сопровождала ее Галина Андреевна. Пока дочь знакомилась с жильем, она стояла на улице и ждала.

Дочь вышла необычно быстро и спросила, глядя в упор на Галину Андреевну:

— Вы здесь бывали?

— Да. Я ходила к нему в гости, — отвечала она.

— А кто входил, когда отец умер?

— Мы... Я и тут еще двое...

Галина Андреевна хотела объяснить, как это произошло, но женщина сказала:

— У него же нет половины серебряной посуды, которую он увез! А бокальчики?

— Какие бокальчики? — едва произнесла Галина Андреевна еще не в силах уразуметь, чего хочет от нее эта женщина.

— Золотые! Их дарили на шестидесятилетие! Он же их увез сюда!

Только теперь Галина Андреевна поняла, что ее подозревают в воровстве.

— Что вы хотите сказать? — спросила она растерянно, поглядев на приезжую со страхом. И тут же ушла.

А дочь переночевала в домике отца, собрала его вещи, оставив лишь дурацкий аппарат с планетами. Домик попыталась продать. Зашла в Гидропроект, забрала подарки отцу: приемник и постельное белье. Да никто и не собирался их от нее прятать, пусть берет. Так решили женщины из отдела. Кому это нужно, если нет деда Макара.

Перед самым отъездом она снова пришла к Галине Андреевне будто бы попрощаться. И хоть про золотые бокальчики больше не упоминала, но, пока они разговаривали, все высматривала посуду у Галины Андреевны и даже сходила на кухню якобы попить воды.

Галина Андреевна никак на это не реагировала и даже не смотрела на нее. Пусть лезит, пусть смотрит.

Та пожаловалась, что старик всю жизнь был прижимист и у него, судя по всему, должны быть деньги, хотя она их не нашла. Конечно, может быть, при переезде он и потратился и на этот глупый домик тоже, мог бы жить в своем общежитии, но ведь не могло же не быть у него сбережений!

— Он вам ничего не говорил?

— Нет.

— Я его не понимаю! — воскликнула дочь («Вот уж точно: не понимала», — пронеслось у Галины Андреевны). — В таком возрасте человек — и такое легкомыслие. Я ведь говорила ему: папа, не бери никаких ценностей, это тебе уже не нужно. Да и стащить ведь могут. Но он любил широко жить... Он и женщин красивых любил, и тратить на них любил.

Галина Андреевна и на это ей не ответила.

— Но... что стащили, то стащили, — сказала дочка, высморгавшись и убрав платочек. — Может, у вас есть какая-то организация, которая способна компенсировать затраты на домик?..

— Он не тратился на домик, — произнесла Галина Андреевна ровно, стараясь держать себя в руках. — Он даже на себя не тратился. Он тратился лишь на вас...

— О! — воскликнула та истерично. — Это он вам пудрил мозги! Он нас держал впроголодь...

— А почему вы считаете, что он вообще вам должен был помогать? — спросила Галина Андреевна. Негромко спросила, но сил у нее не было больше молчать.

Та сразу все сообразила как надо.

— А потому что мы живем в Москве. И несколько иначе, чем вы тут! — с презрением сказала. — А с вас бы особенно надо спросить, вы у него бывали, как поговаривают люди, особенно часто. Не вам ли знать, куда отцовское добро делось!

— Оставьте мой дом! — тихо, не повернув головы, произнесла Галина Андреевна.

Женщина ушла, стукнув на прощанье дверью, а Галина Андреевна долго сидела без движения. Потом приподнялась и глянула в окно, чтобы убедиться, что гостя убралась от дома. И только теперь рухнула на кровать и громко, в голос зарыдала. С тех пор как осудили Николая, не плакала она так сильно, так безнадежно.

Шохов пошел на похороны деда Макара в Новый город. Жители Вор-городка по-своему простились с дедом. Они вывесили сообщение на доске объявлений: «12 ноября скончался один из старейших граждан нашего городка — Макар Иванович». Люди читали, приходили к домику старика и стояли подолгу, глядя на занавешенные окошки.

В здании Гидропроекта в вестибюле, у самого входа был вывешен портрет деда Макара, оправленный в траурную рамку, а под ним некролог. Люди читали и, не раздеваясь, поднимались на второй этаж в конференц-зал. Шохов поднялся вслед за остальными. Смешавшись с незнакомой толпой, он подошел к гробу и задержался, вглядываясь в лицо деда. Оно было спокойным, вполне умиротворенным, но чужим. Впрочем, вспомнилось, что еще в тот вечер, когда дед и Галина Андреевна так неожиданно оказались в его доме, он уже наблюдал в деде Макаре эту отчужденность.

Виноват ли в его смерти Шохов? Ровно в такой же мере, как и все другие. Не он придумал этот злосчастный разговор, как и все, что произошло с их городком. Шохов страдал не меньше от сноса, чем остальные. И неизвестно, не позавидуют ли они еще деду Макару, у которого все проблемы так естественно разрешились...

Господи, о чем он мог думать, стоя перед телом покойного? Шохову стало не по себе. «Прости, дед, — произнес он мысленно. — Прости, прости».

Отходя в сторонку, в стоящую кучкой толпу, он увидел сидящую в головах у гроба Галину Андреевну в темном платье и темном платке. Не дочь, не сослуживцы, а она, странная, печальная женщина, была безотрывно рядом с усопшим, не обращая ни на кого внимания. Хотя известно, что могли болтать да и болтали уже о ней за глаза.

А потом среди толпы Шохов увидел и свою жену. Они встретились глазами, и Шохову показалось, что у Тамары Ивановны взгляд похож на тот, что бросила на него у гроба Галина Андреевна, — настороженно-пытливый.

Ни в тот критический вечер, когда произошел разговор, ни следующие несколько дней они не разговаривали с женой о происшедшем. Шохов был занят реорганизацией, а, как известно, событие это хоть и не столь уж редкое, но все равно чрезвычайное. Не случайно еще Мурашка-старший называл рак да реорганизацию неизлечимыми болезнями строителей. Прибавилось людей, техники, писанины, и все надо было осмотреть, принять, познакомиться. Когда приступят к работе, этим заниматься будет некогда. Уж он-то знал. Но такая оголтелая занятость была ему только на руку, она помога-

да избежать, пусть на короткое время, домашней нервотрепки. Хотя было очевидно, что объяснения с женой ему не миновать.

Оно произошло на другой день после похорон деда Макара. Обнаружилось, что пропал Валерий Мурашка. На работу утром он не вышел, а когда послали в общежитие человека, тот принес письмо, которое нашел под подушкой. Вещи, кстати, были на месте.

Письмо было адресовано Шохову лично. Мурашка писал: «Уважаемый Григорий Афанасьевич! Прошло два года как я устроился у вас работать, и мне тут понравилось. Хотя в бригаде, где я тружусь, есть и плохое. Некоторые рабочие, несмотря на то, что я призывал их быть честными, воруют стройматериалы и пьют вино во время работы. По этой причине я хотел уехать, но удерживало меня то, что вы с Тamarой Ивановной были рядом. Вы говорили: твой отец был честным и он боролся с негодьями. Но недавно я узнал, что нам, нашей бригаде, досталось рушить временный поселок, где проживаете вы с Тamarой Ивановной и многие другие люди. И вы об этом знали и даже получили первый квартиру, хотя никто не знал и потому не приготовился. Я вам верил, как верил бы только своему отцу, а теперь я вам не верю. И не поверю. Поэтому я решил уйти от вас...»

Шохов позвонил в милицию, а потом зашел в бригаду, поговорил с рабочими. Мурашка и правда вел себя с опытными строителями вызывающе и делал им замечания по разным поводам.

— Какие замечания-то? — спросил Шохов.

— Да какие, Григорий Афанасьич... Учил нас, как говорят, жить. Яйца курицу...

— А в чем это заключалось?

— Ну в чем... Сперва пристал к одному: тут, мол, нельзя домой ничего брать...

— Так верно же пристал? Или можно домой тащить что ни попадя? — спросил Шохов.

— Верно-то верно. Но кто же пойдет в магазин, если оно тут, под рукой лежит? Ну и насчет выпивки категорический был...

— Всё вы знаете, — сказал Шохов. — А мальчика не уберегли. Теперь все на поиски, понятно?

— Найдем, — сказал кто-то. — Куда он денется?

— А куда сейчас делся? — спросил Шохов.

Винил Шохов себя, но чувствовал, что побаливало, саднило изнутри вовсе не оттого, а от дурацкой записки, косвенно упрекавшей Шохова в бесчестии. Мол, Мурашка-старший так не смог бы поступить... Откуда ему, мальчишке, сосунку, знать, как бы поступил отец и как еще поступит сам Шохов?..

Вот уж застрял между ними двумя. Старшим Мурашкой и младшим. Они как два сигнальных флажка в его жизни. Он зашел в общежитие, чтобы поговорить с соседями Валерия Мурашки. В комнате молодой парень сидел на подоконнике и кого-то высматривал. Про Мурашку ничего толком рассказать не смог. Сказал, что парень аккуратный, но молчаливый и с жалобами и откровениями никогда не лез.

— А вчера вы его видели? — спросил Шохов.

— Видел. После работы.

— Что он делал?

— Лежал.

— Так просто лежал?

— А как же еще можно лежать? — спросил пареньек. — Он еще в окошко смотрел. Встанет, подойдет, поглядит и ляжет.

Шохов подошел к окошку и с удивлением обнаружил, что из окна общежития удобно просматривается Вор-городок. Но его, шоховского дома отсюда видно не было.

— Ну ладно,— сказал Шохов и, попрощавшись с пареньком, направился домой.

Он решил записку Тамаре Ивановне не показывать. Ее и дома не оказалось. Она последнее время все вечера проводила у Коли-Поли. А Вовка спал. Шохов было обрадовался, но она быстро вернулась и еще от входа спросила, что с Мурашкой.

— Не нашли,— отвечал он быстро.— А ты откуда знаешь?

— От людей.

И опять, как вчера на похоронах, издали пытливо посмотрела на мужа.

— Гриша, что же мы будем делать?

Шохов сразу же понял, о чем она спрашивает, но постарался увернуться от вопроса.

— Искать будем... Его уже ищут и милиция и бригадиры. А все его романтические бредни! Наслушался, начитался!

— Но ведь он же из-за сноса! Разве не так?

Шохов мог поклясться, что жена ничего не знала о записке, но сразу же правильно оценила поступок Валерия.

— Я боюсь за него... За нас...

Сейчас было бы удобно с досады заявить ей, что она к нему придирается, и уйти от разговора. Но поссориться с Тамарой Ивановной было трудно. В самые тяжелые времена, когда ругались, она просто замолкала. Ни упреков не было, ни скандалов. Молча все перемалывала в себе, а потом первой приходила к примирению.

Что-то в себе преодолев, она прикоснулась к нему. У нее были удивительно легкие руки. Она знала, что такие прикосновения делают Шохова податливой, мягче, гасят в нем агрессивность. А ей надо поговорить именно так, без страстей, спокойно. Срок такой несчастный подошел, что без разговора невозможно жить. А на нервах его не выдержишь.

— Гриша,— повторила она совсем тихо, поглаживая его плечо, прикасаясь к нему щекой, лицом,— Гриша, скажи мне, как ты решил? Как мы будем дальше жить?

И он затих, покорился ее ласке.

— Сам не знаю.

— Давай уедем.

— Куда?

— Какая же разница. Ты ведь не можешь рушить свой собственный дом?

— Другие разрушат.

— Другие пускай. Не ты... Только не ты!

Они стояли у окна. В темном проеме улицы светились окна. Вор-городок продолжал жить, вернее же, как подумалось Шохову, доживать свои последние часы. Никто здесь, даже Тамара Ивановна, не знал, что это произойдет на днях. Ждут лишь морозов, чтобы перегнать сюда технику... Краны, экскаваторы, грейдеры... Случись посильней мороз завтра — и завтра это начнется.

— Посмотри на меня,— шепотом приказала Тамара Ивановна.— Вот так. А теперь слушай. Я хочу, чтобы ты был честен перед ними. Да, да, и перед мной тоже. И перед Вовкой. Перед Мурашкой... Его побег — это вызов тебе, разве ты еще не понял? И только с таким тобой я могу начать все сначала. Где угодно, как угодно, понимаешь? Потому что до сего дня я тебе верила. И мне страшно разувериться. Остальное... черт с ним! Не удалось здесь — в другом месте

удастся. Обязательно удастся. Руки у тебя золотые, но еще важно, чтобы они чистыми были!

Шохов слушал жену, и обмякло сердце, таял и исчезал камень, давивший его. Как выдохнул:

— Выдержишь?

Стало ему так жалко эту беззащитную, не прикрытую никакими стенами женщину, которую он опять обрекал на бездомье. В горле запершило.

Она поняла все и с напускной бодростью, почти легкомысленно воскликнула, что со своим Шоховым, конечно же, выдержит.

— Послушай,— сказал он решительно,— нам ведь дают квартиру.

— Квартиру? (Шохов почувствовал, как она напряглась, как растерялась перед этим словом.) Настоящую квартиру?

— Да. Двухкомнатную. В Новом городе.

— А почему ты молчал?

— Боялся сглазить.

— Это что же... компенсация за наш дом?

— Да нет,— с досадой произнес он, почувствовав ее реакцию.— Трест выделил в новом доме.

— Ах трест? Третьяков?

— Трест, где я работаю. У нас завком жильё распределяет, между прочим.

— Прости, а рушить... сносить то есть ты будешь от имени этого самого треста?

Тамара Ивановна спросила и посмотрела ему в глаза. Вот так, заглядывая в его глубину, в самое тайное тайных, умела она распознавать и читать все, что было в нем потаенного, до самой последней, упрямой глубоко мыслишки.

Нервничая, Шохов спросил:

— Но разве есть что-то дурное в том, что мы получим жильё? Ведь мы сюда затем и ехали, чтобы здесь устроиться... Ну пусть не дом, квартира. Но ведь своя, законная, которую уж никто не может тронуть!

— В этом разве дело? — спросила она с грустью.

— А в чем, в чем?

— В совести.

— При чем тут совесть? — разозлился он.— Что ты заладила? Я не за взятку получаю. Я за свою честную работу получаю.

— Ты получаешь, а остальные? — Она кивком показала в окошко.

Она била его в самое больное место.

— А почему, почему, скажи, мы должны оглядываться на остальных? — закричал он.— Мы порознь сюда съехались и порознь разъезжаться будем. Мы с тобой ничего о них толком не знаем. Кто, что и сколько имеет. Вася имеет, говорят, и Коля-Поля комнату отхватили... Может, у каждого из них в запасе что-то есть.

— Не ври, мы знаем. Мы одинаковые тут...

— Да если, к примеру, мы с тобой откажемся от квартиры, что, им всем станет легче?

Они словно перестали друг друга понимать. Говорили и не слышали, кто из них и о чем говорит. Но Тамара Ивановна знала, что решается их, ее и мужа, судьба. И она умела бороться за них обоих, на том и стояла все эти годы.

— Шохов мой... — Она произнесла совсем тихо, как всегда, когда хотела сказать что-то очень важное для обоих.— Шохов мой! Не в них дело, а в нас с тобой. Как ты не понимаешь, что мне тяжело будет жить в удобной квартире, если я буду знать, что Галина Андреевна

или Коля-Поля с грудным младенцем живут хуже. Да я не смогу им на глаза показаться. Тем более что каждый может мне ткнуть в глаза твоим трестом, который тебе дает, но твоими руками и рушит...

— А если бы я получал квартиру, но не рушил?

— Но ты ведь рушишь? — Тамара Ивановна отмахнулась от каких-то своих очень навязчивых и мучительных мыслей.

Шохов ничего не отвечал. Так они и легли спать. Но оба не спали. Страх перед новой передвижкой, перед ломкой, неизвестностью, неустроенностью изматывал, угнетал Шохова.

И вдруг спасительная неожиданная мысль о деревне.

Не написать ли на родину письмо? Там-то уж точно свое. Земля, деревня, дом... И он там свой. А руки его, все умеющие, охочие до дела, найдут себе работу, деревне все сейчас нужны. А там и братья и родня, с которыми (не то что с улицы Сказочной) можно гуртом пришибить любое неустройство. Как там легко, среди родного-то, дышаться им будет! И Вовка, его Вовка научится лошадью править по лесной дороге...

Так Шохов под утро и высказал жене.

— Напиши, конечно,— шепотом произнесла она и заплакала.

Он рассказал Тамаре Ивановне, как после отъезда из Челнов заезжал в родную деревню, как на тракторе «Беларусь» ночью с выпившим братом Афоней, который жил на центральной усадьбе, они неслись по бездорожью в родное Васино и как увидел он свой дом... Три окошечка, палисад впереди и пристрой под покатою крышей.

Он вспомнил, как потом тот же Афоня в желтом молоковозе, на котором работал, отвез его на автостанцию.

Здесь толпился народ, но автобуса не было и никто не знал, будет ли он вообще. Афоня быстро смотал на маслозавод, сдал молоко, вернулся, а Шохов все торчал на утоптанной площадке, заметный издали в своей голубой синтетической куртке. Тогда Афоня снова сгонял на какую-то базу и договорился насчет попутки.

Купе Шохову досталось шумное, солдатики пили за столом портвейн и закусывали свежими огурцами. Тут же налили и Шохову, назвав почему-то студентом, наверное, все из-за легкомысленной голубой куртки, он отказался. Залез на вторую полку и пролежал до утра с открытыми глазами.

Он думал о маме, худенькой, такой замотанной и, в общем-то, заброшенной, одинокой в собственном доме. Она будто отвыкла от обычных слов и начинала сразу плакать, как только сын что-то ей говорил. Но сама-то по мере сил старалась сделать ему все по-лучше, он это чувствовал. Оберегала его сон по утрам, стараясь пройти бесшумно, утихомиривая не в меру шумных братцев Мишку и Алексея, в миску клала ему всегда побольше и получше, а временами, когда она считала, что сын не замечает, чуть стесняясь, на состоянии рассматривала его. Видать, чутьем дошла до его беды, до его нынешнего состояния и, не умея ничем помочь, старалась хоть как-то по-своему облегчить ему этот короткий отпуск.

Жалел Шохов и отца, белого, растопыренного, как дикобраз. Он засыпал прямо за столом, а проснувшись, виновато всех оглядывал голубыми слезящимися глазами. Только братьям Шохов, пожалуй, немного завидовал. Оба работали в лесу, один лесником, другой пильщиком. Они жили там, где родились, рядом со своей землей. Конечно, они не были похожи на своих предков, на деда и даже отца, и уже не пахали землю, да и огородом занимались кое-как, лишь бы росло. Но все-таки они, а не Шохов оказались устойчивее в этой жизни.

Именно там, в деревне, он понял это. Понял и другое — что он, не найдя еще себя на чужой сторонке, как бы потерялся и на родной. Хотелось плакать, до того казалось тяжким его открытие. Да ведь разучился плакать, с тех пор как похоронил Мурашку.

А сейчас вспомнил и подумал: а ведь, прощаясь, обещал, хоть не надеялся, вернуться. Братьям обещал, Мишке, Алексею и Афоне. Им-то он и напишет письмо.

Тамара Ивановна давно спала, а он все вертел в голове слова, пока тоже не заснул.

На следующее утро Шохов всю рабочую смену поднял на поиски Мурашки. Обыскивали подвалы домов, пригород, реку, лес... В конце дня он зашел к начальнику милиции с вопросом, давать ли матери телеграмму. Время идет, и неизвестно, как может все обернуться.

Начальник, крупный седоватый мужчина, попросил подождать еще сутки. Если не найдут, можно извещать, делать нечего.

В этот же день Шохову вручили ордер на квартиру. Он посмотрел на ордер и лишь вздохнул. Неизвестно еще, счастье или несчастье принесет ему этот ордер.

А наутро, лишь только он пришел в трест, раздался звонок из милиции и веселый голос сообщил:

— Григорий Афанасьич? Нашли вашего парня. Зайдите побыстрей!

Шохов бросился в милицию, влетел в кабинет начальника.

— Где он? Жив?

А сердце колотилось от страха. Да еще вчера Тамара Ивановна как бы мимоходом произнесла, что если с Валерой что-нибудь произойдет, она Шохову не простит этого. Так и сказала. А глаза были заплаканные.

— Жив, жив,— сказал начальник милиции и осклабился.— В Новожилове в отделении милиции сидит. Его в лесу нашли... Заблудился, понимаешь. А куда шел, не говорит.

— Пусть запрет его, я сейчас приеду,— решил Шохов.

Пока отпросился, пока искал «газик», доехал — наступил обед. В милиции проверили у него документы, спросили:

— А вы кто задержанному будете?

Шохов лишь на мгновение задумался.

— Да вроде опекуна.

— Он что же, без родителей?

— У него мать, она далеко живет.

— То-то он такой кусачий.

— Да, он парень с характером,— подтвердил Шохов.

Минут через десять выдали Мурашку.

Когда выходили на улицу из милиции, Шохов спросил:

— Голодный небось?

Мурашка кивнул. Они зашли в столовую, пообедали. Во время обеда оба молчали. В общем-то, Шохов не злился, был рад, что вся эта криминальная история закончилась благополучно. Ко всем его неприятностям не хватало бы еще и с Мурашкой... Но отчитать парня все равно следовало. И когда сели в машину, выехали за город, Шохов повернулся к Мурашке.

— Тебе не стыдно? — В упор спросил, жестко.

Кажется, Мурашке было стыдно.

— А что я вам сделал? — пробормотал он, отворачиваясь.— Я тут сам по себе. Могу собой распорядиться..

— Ерунда! — громко произнес Шохов.— Ты не сам, а ты с нами! Поезжай к себе домой и там прыгай хоть под автобус! А тут мы пока за тебя отвечаем. Кто тебя позвал сюда? Кто устраивал?

А какой удар для матери, ты о ней подумал? Слава богу, что не успели ей сообщить... Сам по себе! Тебя вон около сотни рабочих по лесу два дня искали!.. А ты... Бродяжничал, что ли? Куда отправился?

Все это Шохов высказал как бы в запале, но не в сердцах. Самое опасное было позади. Теперь вся история с Мурашкой смотрелась как глупый и нелепый эпизод. Сейчас приедут, накормят и уложат спать. Тамара Ивановна так настрадалась, что и ругаться неспособна. Завтра разве отчитает, да и то навряд ли...

— А как я буду жить? — спросил вдруг Валерий, стрельнув серым глазом в Шохова.

— Как! Как! — прикрикнул он. — Как все живут! Будешь работать, есть, спать... Ходить в кино, смотреть телевизор... Вот так!

— Это вы сами так живите, а я буду по-другому жить.

— Чего это, дружок, ты меня вздумал учить? — вскипел Шохов. — В бригаде всех учишь, меня наставляешь на путь истинный, а сам-то, прости, чему ты научился? Север от юга среди деревьев не можешь отличить!

Чего он распалился, и сам не понял. Но где-то, в самом дальнем уголке памяти мелким уколом всплыло сейчас письмо Мурашки. Там же ясно было сказано, что он не может жить бесчестно. А Шохов, значит, может. Вот на каком уровне, выходит, у них шел разговор.

Оба теперь молчали. Грязноватая дорога, раскатанная машинами среди соснового бора, шелестела под ними. Шофер, человек, знакомый Шохову, не лез ни с какими разговорами, но вел машину хорошо.

Когда из-за длинного, чуть припудренного серой пеленой поля показалась вдаль белая колоннада домов, похожих в туманной дымке на мираж, Мурашка, оторвавшись от окна, произнес громко:

— Вы думайте что хотите, но я уеду. Уеду, и все.

— Да черт с тобой, уезжай, — произнес Шохов равнодушно, но не без скрытого раздражения. — Меньше забот будет. А куда?

— Не знаю.

— Вот то-то же! — вдруг воскликнул он. — Думаешь, что где-то легче будет? Фигу тебе с маслом! Я тоже уехал, когда с твоим отцом случилось несчастье. Думал, где-то будет лучше... Спокойнее. Я, мол, строитель и меня ничто другое не касается, так... А жизнь, она, дружок, везде одинаковая, и нигде медом нас не кормят. Вот я и доездився, доискался, смотри на меня! Хочешь таким же быть?

— Нет, дядя Гриша, — сказал Валерий упрямо. — Я таким, как вы, не буду.

— А каким ты будешь? — закричал Шохов. Довел его до нервов этот сосунок.

— Как отец...

— А я, по-твоему, какой?

— Приехали, — прервал Шохова молчаливый шофер. Первый раз вмешался в их разговор. Да уж больно Шохов горячился.

Когда вышли из машины неподалеку от Вальчика, Шохов сказал, но уже вполне миролюбиво:

— К нам пойдём. Тамара Ивановна беспокоится же... И потом... Пойми, ты нам и правда не чужой... Ну пошли, пошли... Тебя в порядок надо привести, умыться...

Мурашка шел за Шоховым и до самого его дома не произнес ни слова. «Ну и бирюк, — с удивлением подумал Шохов. — С отцом легче было, у него хоть все наружу, а у этого внутрь ушло все...»

Шохов шел по улице Сказочной. Встречные не попадались, хотя была суббота. Последние несколько дней Вор-городок жил затаенно.

Все смотрели друг на друга и ждали. А чего ждать, если дело решенное. Многие бросились в общежития на старые места, хватались за комнатку. Некоторым уже выписали ордера. И все-таки выжидали...

По городку стало известно, что ломать поручено Григорию Афанасьевичу. И потому как бы на расстоянии присматривались, не верили до конца, что он, такой хозяин, свое хозяйство пустит под нож бульдозера. Да еще сам, лично. Не может такого быть... Шохов хват, что-нибудь да придумает...

Люди привыкли верить в чудеса. И чем хуже им, тем больше верят.

Остановился посреди улицы, стал смотреть на дома. Выглядывал, где дымок закурчавится. Суббота, куда людям идти? Сиди у печки да смотри телевизор. Ан нет, печки топились кое-где, а часть домов сыла без дымка, без движения за окошком. Может, уехали? Это он, Шохов, так считает, что на него оглядываются, а они без оглядки да прежде его!

Расхристанный, с грудью нараспашку, повел измученными глазами вдоль улицы, и страшновато стало. Прямо как в мертвой деревне. Закричать, что ли, так не выйдут. К Шохову сейчас никто не выйдет. Его обходят как зачумленного. А завтра, как в день отъезда Васи, будут тайно в окно выглядывать и шепотком передавать про него несурезицы...

И тут решил, что надо сегодня, сейчас, немедля прийти к ним и все начистоту выложить. Отходную он не делал, горькую не пил, повод, как говорят, не тот. А вот проститься по-человечески надо, адресок свой оставить и в гости пригласить. В городской квартире тоже по-людски надо жить.

Так он и решил, что пройдет по домам, ведь не хлопнут же перед носом дверью, пустят небось...

В возбужденном состоянии, готовый к отпору, упрекам, даже к оскорблениям, шагнул он в домик-временку дяди Феде. Его домик стоял ближе всего к Шохову.

Дядя Федя в одиночку жил. И времяночка у него на полозях, крошечная вовсе, о ней и печься-то нечего. Шохов никогда не бывал у дяди Феде. Да и сейчас не тот случай, чтобы в гости напрашиваться. Сказал, что заглянул на секундочку, словцом перемолвиться. Дядя Федя не удивился и никак не проявил своих чувств. Сухонький, коряжистый, лысеющий (не зря кепчонку всегда носил), он пододринул Шохову табурет и сам сел. Приготовился слушать.

Для начала еще и вопросик подбросил про Валеру, мол, слава богу, что нашелся, они сейчас тяжелые... И стал мусолить папирску.

— А у вас что ж, нет никого?

— Как нет? Трое гавриков,— оскалился дядя Федя.— С бабой, значит, четверо. В деревне сидят.

— Так вы и правда временные,— протянул догадливый Шохов.— Посидели да обратно?

Дядя Федя не согласился с таким определением:

— Как вам объяснить, Афанасьич. У земли давно непонятное происходит. То ее поднимают, то ее опускают. Город-то стабильнее, что ни говори. А мы как бы в промежутке застряли. Сейчас в той деревне, где половчее, тоже городское ремесло развивают более, чем свое. А некоторые, те уходят в город, сразу как в пруд головой. А мы еще мхом городским не обросли. У нас ход, обратный есть. Так артелью и стоим. Круговня по-нашенски. Круговщина. Круговая связь, значит. Порознь и пальцы из кулака разогнешь, а когда вместе, так и знаешь: где мы, там и деревня... Не то что вы — корчева!

— Я — корчева? — удивился Шохов.

— Ты...

Дядя Федя помусолил папироску, исподлобья взглянул на гостя. И тут Шохов открыл для себя, что заковыристый мужичок дядя Федя. Зайти бы к нему раньше, многое бы полезное для себя услышал. Да не о том теперь речь, если и он Шохова своим не считает.

— Я скажу вам, что я такой же деревенский, как и вы! — будто вызывающе сказал Шохов и сам услышал, как жалко, необидительно у него прозвучало.

— А сколько же, прости, лет? Из деревни? А?

Голос у дяди Федя неприятный, ехидный, как это прежде Шохов не замечал? Так и жди подковырочки с таким подзуживающим голоском.

— Какая разница сколько? Закваска что-нибудь стоит?

— Что твоя закваска!

И неприятно эдак усмехнулся. Оба сейчас думали об одном и том же. Шохова подперло к горлу высказать про свой отъезд. Но начал обиняком, с обратной стороны. Что написал он в деревню письмо и собирается туда ехать. Все дорожает жизнь, а в деревне, если подумать, легче прожить около огородика да коровы...

Дядя Федя глядел в пол, вроде бы соглашаясь. Но вдруг хмыкнув, произнес, вскидывая озорные глаза:

— А чего же квартира?

Без нажима, без попрека, но с ехидцей, это уж непременно. Или голос у него такой, что едкость таит. А Шохов растерялся. Он-то замыслил про квартиру как секрет выложить, как повод для совета, а тут все уже знают! И без Нельки бабий телефон сработал не хуже.

— Так вот, дядя Федя, весь и вопрос в том, что квартиру мне и вправду дают, а семья туда ехать не хочет.

Дядя Федя мог бы спросить: «Почему не хочет?» Или же: «Если дают, надо брать». И даже такое: «Ты хозяин, куда иголка, туда и нитка...» Но он ничего не сказал, не спросил и никаким ободряющим словом Шохова не поддержал. Курил да помалкивал.

— Так что же делать? — спросил Шохов прямо.

Дядя Федя пустил дым, потом встал, форточку открыл и опять сел.

Неопределенно, присказкой высказался: мол, жили-были журавль да овца, наносили они стожок сенца, не начать ли опять с конца...

— А я перееду, — сказал Шохов то, что хотел сказать. Затем, видно, и шел сюда, чтобы сказать, утвердить себя. — А потом посмотрю.

— Да, да, — неопределенно поддакнул дядя Федя. Он интерес к разговору потерял, потому что понял Шохова.

— Кто же от квартиры сейчас отказывается?

— Да, да, да... — кивнул дядя Федя.

— Ногой куда-то ступить надо? Надо же?

— Да, да, да...

— Вот и я так думал. А деревня у меня, вы не думайте, как тыл у фронта! Всегда есть куда отступить!

Вот так разошелся Шохов. И дядя Федя кивал ему. И так получилось, что и спорить Шохову не с кем и опровергнуть некого. А себя что же, как нанайская борьба — видел в цирке: один человек в двух лицах, сам себе подножку сделал и сам себя положил на лопатки. Удобно так положил... Эффектно, на глазах зрителей.

Прощаясь, спросил про Галину Андреевну, у себя ли она. Что делает?

— Да что,— хмыкнул дядя Федя.— Эвакуацию готовит, значит.

— Какую... эвакуацию?.. Городка?— подивился Шохов. И не тому подивился, что Галина Андреевна готовит эвакуацию, а что и это тоже помимо него. Все вокруг как бы стало жить вне Шохова, никак его не затрагивая.— Что же она делает?— Голос выдал некоторую уязвленность.

Дядя Федя будто не заметил, пояснил, что ходила в исполком со списками, значит. Доказывала, что некоторым нужна квартира. В чем-то убедила... Она ведь такая...

Шохов кивнул. Характер Галины Андреевны он знал.

— А вы что же? Не будете хлопотать? Уедете?

— А чего нам?— усмехнувшись, ответил на вопрос вопросом.

— Куда?

— Ах, Афанасьич! Россия велика. Я такую избу на полозьях в день могу срубить. У нас круговщина: мы где встали, там и наша деревня. А город, ему только палец дай...

Много спать — мало жить. Так отец Григория Афанасьевича, бывало, приговаривал. На другое утро встал Шохов до света, часов в пять, и в одиночку обошел свое (но уже и не свое) хозяйство. В погреб спустился, опустошенный уже, полки сорваны, а сделан-то на сто лет, бетоном стены обмазаны, как бункер какой... В банюшку зашел, не банюшка, мыльня, красиво сложенная, с выдумкой, с кафелем. В сараюшечку заглянул, очень ладная сараюшечка, лабазенка, слева дрова под крышу (пропадай, родненькие), справа полки да гвозди набиты, чтобы всему свое место. Уже и забарахлить успели, а куда его, барахло, в город брать? Там своего накопится до потолка...

И гаражик недостроенный посетил. Тут был замысел далекий, и все по нему выстроено: для лодочки отсек, для мотоцикла отсек да для машины, если она будет. А уж для горючки, для масла особое хранилище, даже бочки приготовлены да рельс наверху, чтобы блочок сделать для подъема тяжестей, и стеллажи для резины, и ящики для запчастей! Ах, черт, Шохов этот! Изобрел на свою голову такой гараж, такую мыльню, такой подвал, да сарай, да парник, да веранду, что век бы ему и его детям жить — и на всех бы хватило... Чего же ты, Григорий Афанасьич, маху-то дал? Разве на болоте муравьи кучу строят? А им вон какие мозги даны, меньше булавочной головки! А все оттого, что природу нутром слышат. А ты корчева и есть, дядя Федя в точку попал. Да не плачь, Шохов, слышь ты... Мужик, наедине, а все равно стыдно. Все можно обернуть сначала, лишь бы себя да своего здоровья не растерять... Ну-ну... Григорий Афанасьич, пора, пора! Сейчас машина загудит, и тогда не до себя будет. Иль гудит? Ну так и есть. Мурашка-то не придет помогать, билет домой купил, да бог с ним. Шофер да Тамара Ивановна, неуж не справимся? А вчера вечером сели, взглянули со стороны и ахнули: сколько же добра своего! Куда в новой квартире все разложить, если ни кладовочки для картошки и капусты и ни метра лишнего! Бетонная коробка, со всех сторон стены, стены... Один лишь кусочек вне: балкон. Ну, Шохов, приободришь, как ты все эти дни держался. Начало трудно, конец мудрен.

Уж и Вовка по двору бежал с радостным криком: «Машина! Машина!» Этому уже ничего не будет страшно. Говорят, новое поколение не то что жилье, а вещи, мебель, даже игрушки не бережет... Чем чаще менять, тем, мол, лучше. А в чем же тогда мир утверждаться будет? Ладно. Пусть хоть этот радуется, и то резон...

После отъезда Шохова Вор-городок стал распадаться на глазах.

Следом за ним в тот же день к вечеру убрался дядя Федя со своими ярославскими, и будто клок в одежде вырвали, половина улицы Сказочной оголилась: темные квадраты на земле, времяючки на полозьях оттащили в Новожилов и там продали на дрова.

Так и отпадал дом за домом, как от массивной льдины в половодье куски. Чтобы избежать пожара да замыкания, провода, идущие от Вальчика, отстригали. Городок потух. Кто не торопился, и те стали манатки в кучу собирать. Потом, правда, подключили свет дня на два, чтобы оставшимся, тем более с детишками, дожить, досидеть.

Галина Андреевна в исполкоме машину на все дни эвакуации выпросила. Бегала по всему городку со списком, расписывала, рассовывала кого куда. Некоторым с детишками, таким, как Коля-Поля, она комнатки выбила. О себе до самого конца не вспомнила. Как капитан с тонущего судна, последней грузилась на машину, а тут Шохов уже со своей техникой приспел.

Когда подошел, она стеклянные вещи переносила, чтобы на руках в кабине довести. С этими стекляшками показала она Шохову растерянной и жалкой. Прядки выбились из-под платка. А глаза темные, прекрасные смотрели из глубины скорей вопросительно, чем враждебно.

— Будущие владения обходите, Григорий Афанасьич?

— Кто же знал, Галина Андреевна.

— Жизнь — престранная штука, — так она произнесла. И все стояла перед ним, а в руках как остатки доброго быта стекляшки, посуда какая-то.

Шофер возился в кузове, подтягивал веревкой мебель.

— Вы-то устроились на новом месте? Тамара Ивановна довольна? — Вот уж беспокойная душа, не о себе опять же, о них завела разговор.

От вопроса про Тамару Ивановну он уклонился.

— А вы что решили? — спросил.

Она отмахнулась:

— Николай выйдет — уедем. Не станем мы тут жить.

— Почему?

— Не знаю. Расхотелось.

— Мне тоже, — сознался Шохов. — А куда? Если не секрет...

Она ответила так же туманно, как и дядя Федя. Что Россия велика и место они себе найдут. Они мечтают свой домик поставить где-нибудь в районном городке. После всех передрыг они мечтают в спокойствии и уединении жизнь дожить.

— Займите на меня местечко. Я приеду, — попросил Шохов как бы в шутку, но прозвучало это с нескрываемой горечью. Он знал, что не позовут. И вдруг с невыразимой тоской ощутил как невозвратимую потерю все, чего они сейчас лишились. Нет, не домика, не хозяйства, а чего-то другого... большего...

Шофер уже все закрепил и недовольно смотрел в их сторону.

— Вы где остановились-то? — спросил Шохов торопливо.

— Ну где... Мое место с Колей-Полей, — отвечала она, усмехнувшись, и опять в ней проглянуло во всей прекрасной полноте это бабье. Именно то, что он углядел еще раньше. Но сразу понял, что она не пригласила его к себе. Даже эта всепрощающая женщина обрывала с ним навсегда.

— Всего вам, — произнесла и уже собралась идти, но обернулась. — Вы у Петра Петровича не были?

— Не был, — сказал Шохов. — А разве... разве он не уехал?

— Не уехал, — подтвердила Галина Андреевна и странно посмотрела на Шохова, явно чего-то недоговаривая. — Вы сходите.

— Схожу,— пообещал он.

— Обязательно сходите... И вот еще... Не обижайте его, пожалуйста, ладно?

Шохов пожал плечами.

— Его не обидишь. Скорей он сам кого хочешь обидит.

Галина Андреевна постаралась не заметить этого выпада против Петрухи. Она повторила просяще:

— Я хочу оставить о вас, несмотря ни на что, добрую память. Прощайте.

С помощью шофера забралась в высокую кабину и больше не оглянулась на Шохова. Машина медленно тронулась по едва заметной под снегом дороге. Не было на ней никаких следов, да и откуда они теперь возьмутся. Шохов не спеша двинулся следом за машиной.

К вечеру того же дня после работы Шохов собрался к Петрухе. В ту странную зиму, когда они только-только познакомились с Петрухой, он каждый день ходил этой дорогой. Тогда ноги сами бежали в ту сторону, а сейчас... Из новой-то квартиры...

Тамара Ивановна не спрашивала, сама догадалась, куда он идет. Она почти повторила слова Галины Андреевны, чтобы он не ссорился с Петром Петровичем, а поговорил с ним по-хорошему. Он не такой человек, как все...

— Снюхалась, да? — спросил Шохов, недобро усмехнувшись.

— Да,— отвечала Тамара Ивановна серьезно.— Снюхалась... Именно так.

— Ну и шла бы сама к нему! — крикнул он, вспыхив.

Теперь дорогой он думал, отчего же так получилось, что бабы в один голос умоляют Шохова не обижать бедного Петруху. Оттого ли, что его легко обидеть, или же именно от Шохова ждут, что он непременно явится обижать?..

Но они ошибались, не хотел Шохов обижать Петруху. И не затем он шел, если разобраться. В последний момент он даже зашел в магазин и купил вина.

Шел по старой дороге и все придумывал, с чего разговор начнет. И, не придумав, решил, что лучше всего поставить на стол бутылку да и выложить как есть откровенно: мол, зашел по душам потолковать!

Ох, эта душа, не чужая, а своя — тоже потемки. Поймет ли его Петруха, ведь давненько не толковали, остыло у них друг к другу.

И на подходе к избушке уже не сомнение, а предчувствие одолело Шохова, что не выйдет у них разговора и напрасно открываться и вино выставлять. С тем предчувствием он шагнул в темноватую Петрухину избу, в которой от века ничто не менялось и сам хозяин был, как всегда, дома.

И первое, что увидел Шохов от входа, была машина. Игрушка деда Макара. Она стояла посреди Петрухиного забарахленного стола, и планетки разноцветно и празднично светились.

— Откуда? — спросил с порога Шохов и указал на машину.

Петруха ужинал, сидя спиной к двери, и даже не встал, лишь повернулся, ответил с набитым ртом:

— Дочка деда Макара выбросила... А я подобрал.

Шохов помялся у порога, но все-таки решился: достал бутылку и поставил на стол рядом с машиной. В блестящем стекле отразились бесчисленные разноцветные миры.

Петруха удивленно взглянул на Шохова, но встал и пододвинул табурет. Принес два стакана.

— Садись. Я тебя ждал. Уговаривать пришел?

— Почему уговаривать?

— Тогда зачем?

— Не знаю...— сознался Шохов. И посмотрел на дедовскую машину.

Отрешенно подумалось, что деду с его отвлеченной идеей общечеловеческого счастья жилось все-таки легко.

Петруха тем временем разлил по стаканам красное вино и, несколько не пытаясь подделываться под Шохова, сказал:

— Ну, Григорий Афанасьич, будь здоров. Тебе небось худо?

— Худо,— сознался Шохов и выпил.

— Но я твоих страданий не облегчу.— Так прямо и сказал Петруха.

— То есть?

— Не поеду я отсюда.

— Как так не поедешь?

— Никак не поеду,— без вызова, даже весело произнес Петруха, глядя Шохову в лицо.

Ко всему был готов Григорий Афанасьевич, а к такому ходу нет. И растерялся. Сам налил по второму стакану.

— Ну послушай, это же глупо!

— А я глупый и есть,— просто вывел Петруха, как рукой отмахнул довод Шохова.— Разве ты обо мне не так думал прежде?

— Н-нет. Я тебя дурачком не считал.

— Зачем дурачком — чудачком! А от чудака не знаешь чего и ждать...

Петруха громко рассмеялся, и смех у него был и вправду идиотский, а Шохов насупился: тот угадал его мысли. На лбу прорезалась напряженная складочка.

— Не куксись ты, не куксись! С моим барахлом в общежитие не пустят... А квартиру — мне после всех! Разве только твою занять? — ухмыльнулся Петруха.— Вот и сбылась бы наша мечта — вместе пожить! Не пожалеешь уголка для бывшего дружка?

Петруха, как видно, валял дурачка, а Шохов никак не мог себя пересилить и выйти. Он знал, что с уходом отсюда разорвется последнее, что связывало с Вор-городком...

На экране это выглядело так. Бульдозерист забрался в кабину, махнул оттуда рукой, и массивный нож бульдозера свалил заборный столб. Забор накренился, но не упал, и тогда на него наехала (крупный план) неумолимая гусеница, брызнули щепки, и забор был повергнут.

Двуглазое ревущее чудовище нацелилось на темную стену дома, но вдруг замерло. Минуту, другую оно дергалось как в судорогах, но никак не продвигалось вперед... Заело. Что там заело, диктор не стал объяснять. Но было видно, как бульдозерист что-то закричал из кабины, высунувшись по пояс и указывая на дом, а Шохов, который находился рядом, объяснял ему, опять же указывая на дом. Все это было как бы в порядке вещей и не вызывало сомнений. Более того, закадровый голос объяснил, что даются последние указания перед началом сноса. Далее и вовсе невнятно вышло, потому что бульдозерист вдруг покинул машину и в нее забрался сам Шохов. Двинул рычагами, машина взревела и круто с ходу пошла на стену дома. Резанула ножом под самый фундамент раз, другой и, отступив, третий, и вдруг все это деревянное, огромное покосилось и пошло валиться.

Поставленный голос диктора возвестил, что рушится под напором мощной техники мир старого, для того чтобы уступить место новому...

И валились, валились темноватые времяночки, снятые так, что понятно было, что они и вправду отжили свое. И вдруг — это уже фокус кинооператоров — площадка проросла множеством металлических конструкций, в которых пока лишь опытный глаз мог угадать черты белых корпусов нового завода...

Шохов выключил телевизор и задумался. Совсем недавно знакомой, ставшей чуть ли не родной дорожкой добрал он до Вальчика и глянул вниз, на свой строительный участок. Там шла работа (вторая смена), светили прожекторы и лилась огненным потоком электросварка. Шохов наизусть знал, как прозрачной сквозной геометрией поднимаются от реки до Вальчика стальные конструкции будующих цехов...

О чем тогда кричал Вася Самохин из бульдозера?

Он орал, стараясь перекрыть рев машины:

— Не могу, Григорий Афанасьич! Убей меня бог, но не идет машина! Не... и-дет!

— Как так не идет? Сломалась, что ли? — в свою очередь орал ему Шохов.

— Да нет, рука не поднимается ломать такой дом... Любой, понимаете, готов даже свой, но не ваш!..

А Шохов специально начал со своего. Именно со своего. Чтобы потом не говорили. А Вася, вишь, хоть циник, но спасовал.

— Уходи из машины! — крикнул Шохов злобно, остервенело.

— А чего я... Не могу. Честное слово...

— Убирайся к черту! — заорал Шохов вне себя и оглянулся на операторов, которые за спиной примостились со своими камерами. Впрочем, вряд ли они что-нибудь слышали. Пусть крутят, их дело такое, пафос труда снимать.

Вася вылез из кабины, и Шохов одним рывком вскинул туда свое сильное тело. Включил на полный газ и, крепко ухватившись за рычаги, нацелился на стену собственного дома, не испытывая сейчас к нему никакой жалости, никаких вообще чувств, кроме сильного желания покончить с ним побыстрей.

Он рванул бульдозер, целясь ударить ножом под самое основание, как под дых, чтобы сразу лишить опоры и свалить наземь. Но не свалил, крепко он был построен и поставлен на своем листовничном фундаменте.

Шохов дал задний ход, отступил на несколько метров и, разъярясь, во всю мощь швырнул бульдозер на стену; раздался треск, подрубленные стояки стали гнуться, и вдруг все рухнуло, обдав Шохова опилками и пылью.

А он уже не в силах остановиться, хоть ело глаза и слезы катились градом от этой пыли, горько осаждавшейся во рту, перемалывал и перемалывал груды досок, стекла, черепицы, все, что осталось от поверженного им дома. И если бы даже попытались его остановить, не остановили бы, наверное, пока не перемолол в труху все, что могло напоминать жилье. А потом остановился и долго сидел в бульдозере, не желая никому показываться...

ЕВГЕНИЙ ЕЛИСЕЕВ

★

ШИПОВНИК

Детский утренник, а не мороз,
представленья снегилям и сорокам!
И меня пронимает до слез,
как стакан газировки с сиропом.
Лес присыпан бертолетовым снежком,
а по стеганым ватным сутробам
строчка заячья — стежок за стежком,
и везет же мне с этим народом!
За двумя зайцами погнался —
вместо двух шапок нет ни одной.
Снег, как правда, колет глаза
незапятнанной белизной.
Как во сне — бреду,
я иду, бреду,
бреду по снегу,
по воде бреду,
будто посуху.
А вода в реке
на замке,
и замерзли звуки
в пастушьем рожке,
лишь на том бережке,
где цветы росли полюбовно
и согласно, — на том берегу
было некогда поле боя,
люди падали на бегу.
Боже правый! — на том берегу
сколько их полегло под кручей!
И шиповник торчит в снегу
вроде проволоки колючей...

* * *

Ночью гоголевской, майской
дастворю-ка я окно!
Ни звездинки мало-мальской,
все, как в подполе, темно.

Только мысль по звездам шарит,
обжигается впотьмах:

что Земля? — бильярдный шарик!
Вот вселенная — размах!

И презрев земное лоно,
норовя хоть к богу в рай,
безнадежно, исступленно
ищет — где же? где же край?..

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН



«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ»

Главы из книги

ГЛАВА I. «ПО УШИ ВЛЕЗ В РУССКУЮ ИСТОРИЮ»

Тысяча восемьсот третий год отмечен в русской культуре исключительным событием: Николай Михайлович Карамзин, один из первых литераторов (а по мнению многих — первейший, рядом с Державиным), известный автор «Писем русского путешественника» и еще более известный автор «Бедной Лизы», издатель лучшего в ту пору журнала «Вестник Европы», — тридцатисемилетний Карамзин решительно оставляет прозу, поэзию, журналистику и записывается в историки.

Бывало, что по своей воле отрекались от престола монархи — принимались сажать капусту, запирались в монастырь. Однако мы не можем припомнить другого примера, чтобы знаменитый художник, на высоте славы, силы и успеха подвергал себя добровольному заточению — пусть даже в храме науки, монастыре истории...

Карамзин меняет, ломает биографию именно в том возрасте, в каком позже погибнет Пушкин.

Мы же сейчас обратимся к его первой жизни лишь для того, чтобы легче понять вторую.

1766—1803

Карамзин точно знал, что родился в Симбирской провинции (будущей губернии), в деревне Карамзинке (Знаменское тож) 1 декабря; но он не знал года рождения: почти всю жизнь был убежден, что — в 1765-м (и поэтому восклицал в 1790-м — «мне скоро минет двадцать пять», а в 1800-м — «мне уже 35»). Лишь к старости историк государства Российского уточнит и собственную историю: надежные документы заставили помолодеть на год и отныне начинать биографию с 1 декабря 1766 года.

Подробность знаменательная! При записи в службу дворянским детям постоянно прибавляли или убавляли возраст, да и вообще куда меньше, чем в XIX и XX столетиях, интересовались точным счетом времени.

Какая разница, в конце концов, 1765-й или 1766-й?

Каракозовы, Карамзины (может, и Карамазовы) — характерные симбирские, волжские фамилии с плохо спрятанной восточной «чернотой» (Кара...).

Некий Семен Карамзин числился в дворянах при Иване Грозном (может быть, за опричные заслуги), три его сына, Дмитрий, Томило и Курдюк, уже владеют землями на Волге; один из прапрапраправнуков — отставной капитан Михаил Егорович Карамзин.

Мать рано умерла, отставной капитан женился во второй раз на тетке Ивана Ивановича Дмитриева — и две будущие знаменитости породнились, да еще и подружались. У отца — от двух браков — шестеро детей: Николая сначала учат дома, затем — Московский пансион; с пятнадцати лет в Петербурге — в Преображенском полку, откуда выходит в отставку поручиком, имея от роду семнадцать лет.

Семнадцатилетний отставной поручик живет все больше в Москве — жизнью, по

существо, «разночинской», трудовой: зарабатывает переводами, встречается с хорошими людьми; двадцатитрехлетним отправляется в заграничное странствие — возвращается с «Письмами русского путешественника», затем сентиментальные повести, поэтические сборники: с л а в а...

«Акселерация», о которой столько писано в наши дни: но кто же тогда семнадцати-двадцатилетние офицеры, литераторы, двадцатипятилетние генералы? Или (на другом общественном полюсе) — шестнадцати-восемнадцатилетние крестьянские отцы и матери семейств?.. Пик способностей, который, как выяснила современная наука, относится к двенадцати—четырнадцати годам, был, выходит, максимально близок к пику социальному, что имело последствия разнообразные, но преимущественно благие...

Впрочем, без матери, без отца, занятого большой семьей, без особых средств к существованию легко было, кажется, загулять или духом пасть, сбиться с пути... Соблазны! А симбирский мальчик не ангел: «...литература наша не была выгодным промыслом... В молодости, в течение двух-трех лет прибежал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре»¹.

К друзьям доходили слухи, будто молодой Карамзин «прыгает серною с кирасирскими офицерами» (позже будет в числе «старшин» московского танцкласса). Одно из писем Дмитриеву обрывается на словах «бьет 11 часов, пора ехать ужинать»²; Николай Михайлович хочет обменяться с братом Василием дворовыми, ибо «купить хорошего повара никак нельзя; продают одних несносных пьяниц и воров»³, и хотя в другой раз писатель посылает отпускную дворовому человеку Александру (прежде предполагалось это сделать после смерти владельца, но — «я не хочу, чтобы он ждал конца моей жизни»), при всем при том грозит и манит жребий светского человека, игрока...

Не сбилось.

Случайность... Однако восточная мудрость гласит, что каждый человек встречает на свете тех, которых должен был встретить: разнообразие характеров и типов в мире столь велико, что есть возможность встретить любого, но уже вы б р а т ь по себе: вору — вора, труженику — труженика...

Карамзин встретил, выбрал Дмитриева, Петрова, Новикова, Тургеневых, и они, конечно, его выбрали. Видно, сработал добрый заряд: домашний, полковой, товарищеский...

Те качества, которые у Пушкина так ясно (или, по крайней мере, нам кажется, что ясно) выявлялись в Лицее, для Карамзина, наоборот, приходится угадывать через результаты обратным движением от его поздних известных лет к ранним, едва различимым.

Хорошо бы написать историю дружбы в России. То была бы, разумеется, книга с примерами из двенадцати столетий: дружба военная, общинная, монастырская, дружба в беде, счастья, странствиях, мечтаниях, дружба в труде, в семье... До XIX века, правда, совсем почти не нашлось бы места для столь привычной нам дружбы школьной по той причине, что большинство вообще не училось, дворян чаще обучали дома. У Карамзина были прекрасные друзья, но, кроме неизменного Дмитриева, мы почти их не видим до его перехода из Преображенского полка в русскую литературу. Зато с 1784-го они при нем, он при них.

В Москве «работа, ученье, плоды праздных и веселых часов какого-нибудь немца, собственная фантазия, добрый приятель... и все эти противоскучия можно найти, не выходя за ворота». Так пишет восемнадцатилетнему Карамзину Александр Петров, один из важнейших в карамзинской жизни в с т р е ч н ы х — тот, с кем начинал писать, с кем мечтал о новом, свободном русском литературном языке, но кого вскоре оплакал и всю жизнь считал себя в долгу «пред своим Агатоном, которого душа была бы украшением самой Греции, отечества Сократов и Платонов».

Иван Петрович Тургенев, директор Московского университета, заметил молодого Карамзина по «масонским отношениям» и «отговорил от рассеянной светской жизни и карт».

¹ П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений в XII томах. СПб. 1878—1896, т. VIII, стр. 113.

² Здесь и далее постоянно цитируется издание «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб. 1866.

³ Письма Н. М. Карамзина брату Василию Михайловичу цитируются по журналу «Атеней», 1858, №№ 19—28.

Сколь же много скрыто за этой фразой (из записок Дмитриева): отговорил — то есть переменял направление жизни. Но можно ли переубедить молодца, если тот сам себя прежде не оспаривал? Главное событие, может быть определившее все дальнейшее, выходит, почти не отразилось в письмах, документах: памятью о нем осталась дружба, любовь к Карамзину четырех сыновей Ивана Петровича — братьев Тургеневых, столь заметных в пушкинскую, декабристскую эпоху.

Старший, годами воспитывавшийся на карамзинском «Детском чтении», Андрей Тургенев, — одна из замечательных личностей конца столетия: если бы не смерть на двадцать втором году жизни, наверное, вышел бы в первые российские имена, второй брат, Александр Тургенев, — тот, кто позже отправит Пушкина в Лицей и проводит в последний путь к Святым горам: его имя часто будет являться на страницах нашего рассказа, так же как имена двух младших — Сергея и особенно Николая, «хромого Тургенева», будущего известного декабриста и одного из тех, кто столь же много спорил с Карамзиным, сколь уважал его...

Наконец, литературно-философское Дружеское общество (название говорит само за себя: наука и словесность неотделимы от дружества, нравственности, «внутреннего просвещения»). Здесь признанным лидером был славный Николай Иванович Новиков, заживавший «молодых любословов» огнем просветительства и духовного обновления, «мистической мудрости». Племянник И. И. Дмитриева, очевидно со слов дяди, запишет, что в конце концов «Карамзин оставил [общество Новикова], не найдя той цели, которой ожидал».

И снова — одна строка вместо целой важной биографической главы. Да, Карамзин приходил в дом Новикова, что на углу Лубянки и Мясницкой, приходил за целью, то есть сам искал ее. И не согласился с их целью — не укрепился в уверенности, что цель должна быть. Он своим путем пошел — и они огорчатся, конечно, а следовало бы им радоваться: молодой литератор испытал, укрепил себя и благодаря тому, что к ним зашел, и оттого, что — вышел. Он всегда будет ценить возвышенное, духовное просвещение, но избежит масонско-мистического тумана и сохранит свой ясный, здоровый, чуть иронический взгляд для лучших дел жизни.

«Отъезжает за границу поручик Николай Карамзин» («Московские ведомости», 25 апреля 1789 года).

«Простите! Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего рыцарем веселого образа!»

Рига—Кенигсберг—Берлин—Дрезден—Веймар—Швейцария — Париж — Лондон — Петербург.

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!..

Карамзин блажен: Европа 1789—1790-го — жерло великого вулкана, пламени которого станет на все XIX столетие. Год как взята Бастилия, и еще осталось два года Людовику XVI.

И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли...

Но Максимилиан Робеспьер — пока еще сравнительно незаметный депутат Национального собрания от города Арраса, а Наполеон Бонапарт — всего лишь артиллерийский лейтенант...

Нет! Нам сегодня, привыкшим к революционному гулу во всем мире, все же нелегко понять, что 1789 — 1793 годы были первым всемирным переворотом после более чем тысячелетней феодальной тишины (нидерландская, английская революции были замечены в десятки раз меньше: мир в XVI—XVII веках был куда более разьединенным, да и не созрел еще, чтобы заметить...).

Кажется, наступает конец «главнейшим бедствиям человечества»: Карамзин ждет, что люди вот-вот «уверятся в изящности законов чистого разума».

Минуты роковые...

Возвращение на корабле из Лондона в Петербург в июле 1790 года.

В столице доброе знакомство с Державиным, который обещает литературную поддержку. А затем — карамзинское путешествие из первой столицы во вторую, о котором не стоило бы и вспоминать (кто не приезжал из Петербурга в Москву и обратно), если бы не два обстоятельства.

Этим летом, 30 июля, за свое «Путешествие...» арестован Радищев. Второе

же обстоятельство частное: в следующий раз Карамзин окажется на Неве «жизнь спустя», через двадцать шесть лет.

Вот как ездили и расставались в ту пору.

Карамзин торопится в Москву, любезную Москву!

Слава

1791 и 1792: два года Карамзин издает «Московский журнал», где публикуются лучшие авторы — Державин, Дмитриев, Херасков, более же всего сам издатель. Главный, самый сенсационный материал, из номера в номер, — «Письма русского путешественника»: Карамзин доволен и числом подписчиков (пренумерантов), очевидно достаточным, чтобы свести концы с концами, — 210 человек!

1792-й — «Бедная Лиза».

1794-й — повесть «Остров Борнгольм».

В следующие годы — несколько очень популярных (наподхват, как тогда говорили) поэтических альманахов: «Аониды», «Аглая» (где опять же сам Карамзин, Державин, Дмитриев, другие...).

Федор Глинка: «Из 1200 кадет редкий не повторял наизусть какую-нибудь страницу из „Острова Борнгольма“».

В дворянских списках разом появляется множество Эрастов — имя прежде не частое.

Ходят слухи об удачных и неудачных самоубийствах в духе «Бедной Лизы».

«Ни одна живая Муза, — признается один из современников, — не стоила мне в жизни столько слез, сколько я пролил по Бедной Лизе Карамзина».

Ядовитый мемуарист Вигель напоминает, что важные московские вельможи уж начали обходиться «почти как с равным... с тридцатилетним отставным поручиком».

Цена слова

От успехов дохода почти не было — переиздания дополнительно не оплачивались, приходилось постоянно подрабатывать переводами. Слава худо превращалась в золото, но — платить за славу пришлось сразу же: «Боги ничего не дают даром». Когда друг Дмитриев, петербургский офицер, пишет о желании выйти в отставку и заняться словесностью, Карамзин ему объясняет: «Русская литература ходит по миру, с сумою и клюкою; худая нажива с нею».

К тому же поругивают старики, привыкшие к более сдержанному, классическому писательству, нежели у раскованного, сентиментального, «разговорного» Карамзина.

Обиделись и некоторые друзья, особенно из круга Новикова (А. М. Кутузов, И. В. Лопухин, Н. Н. Трубецкой). Люди примечательные и во многих отношениях почтенные: вот что они говорили и писали:

«...молодой человек, сняв узду, намерен рыскать на поле пустыя славы? Сие больно мне»;

«Не в состоянии был дочитать... дерзновенный дурак... Одержим горячкою... Быв еще почти ребенком, он дерзнул... предложить свои сочинения публике»;

«Он называет себя первым русским писателем, он хочет научить нас нашему родному языку которого мы не слышали...»;

А. М. Кутузов удивляется: «Может, и в нем произошла французская революция»⁴. Сравнение мы запомним, пока же только заметим, что буквально в те дни, когда Карамзин подплывал к Кронштадту, почт-директор Иван Борисович Пестель вскрывает и читает письма Плещеевых А. М. Кутузову и Карамзину⁵.

Почт-директор три года спустя родит сына — знаменитого декабриста, а еще через двадцать семь лет будет с Карамзиным обедать, однако это другие времена, другие песни. Пока же за старую дружбу с вольнодумцами Карамзин «попадает под колпак»: многого не зная, о многом догадывается (и не оттого ли вовсе не стремится сохранить свой архив для потомков?).

⁴ Я. Л. Барсков. Переписка московских масонов XVIII века. Пгр. 1915, стр. 99.

⁵ Там же, стр. 286.

Весной 1792-го Новикова и нескольких друзей арестовывают, других (в том числе Ивана Петровича Тургенева) высылают. «Состояние друзей моих очень горестно», — сообщает Дмигриеву. В Петербурге распространяются слухи, будто и Карамзин из Москвы удален, на допросах же в Тайной экспедиции об издателе «Московского журнала» крепко спрашивают тех самых друзей-критиков, которые недавно сердились на «молодого человека, снявшего узду»; спрашивают, между прочим, о том, не Новиков ли с «особенным заданием» послала «русского путешественника» за границу. Новиковцы были людьми высокой порядочности и, разумеется, Карамзина выгородили: нет, он пустился в вояж даже вопреки советам Новикова.

Гроза отступила — подозрения остались. Возможно, из-за этого «Московский журнал» не был продолжен в 1793-м.

Под черными облаками

Парижане торжественно сжигают «дерево феодализма».

Королевский дворец взят штурмом; 22 сентября 1792 года объявлено первым днем первого года новой эры.

Большинством в один голос конвент приговаривает Людовика XVI к смерти.

Почти все страны Европы объявляют Франции войну, но четырнадцать санкюлотских армий побеждают повсюду и занимают одну страну за другой.

Гильотина («национальная бритва») работает не переставая.

Под конец террор поглощает и тех, кто его провозгласил, — последние слова Робеспьера в конвенте: «Республика погибла, разбойники победили».

17 августа 1793 года Карамзин — Дмитриеву (из Орловской губернии, где время проходит «с людьми милыми, с книгами и с природою»): «Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов — но мысль о разрушаемых городах и гибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кихотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинеку свою так страстно, как я люблю — человечество».

Позже П. Хераскову: «Политический горизонт все еще мрачен. Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачество вышло из моды на земном шаре»⁶.

Франция, Франция — «дурачество на земном шаре»; двадцатисемилетний писатель теряет охоту жить в свете и ходить «под черными облаками».

Через полгода после того как эти слова появились в одном из писем Дмитриеву, новой бурей принесены новые облака — Екатерина II умирает, на престоле Павел: из тюрьмы и ссылки возвращены Радищев, Новиков, друзья... Но не успели обрадоваться, как — новые жесточайшие гонения на литературу и литераторов; пугающие французские армии меж тем занимают Голландию, Италию, Египет — а новый царь получает донос о «вредности для правительства безбожника Карамзина». Расправа на этот раз могла быть скорой — позже Карамзин скажет, что Павел лишил «награду прелести, а наказание — стыда»...

Черные облака все же пронесли и на этот раз: граф Ростопчин, один из главных павловских фаворитов, к писателю благоволил. Тем не менее о новом журнале и думать нечего. Остаются переводы, стихи — и то с опаскою, что, впрочем, не помешало Карамзину напечатать в сборнике «Аониды» (за 1798—1799 годы) стихи о древнем Риме, но, понятно, не только и не столько о Риме. Жестокие, горькие стихи:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
 Достоин ли пера его?
 В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
 Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
 Жалеть об нем не должно:
 Он стоил лютых бед, несчастья своего,
 Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

Эти строки вполне можно было понять и как программу бунтовщиков...

Будущий историк, видимо, считает, что о тех, кто все «с подлостью» терпит, вряд ли стоит писать...

И если так — может быть, истина у французов, не стерпевших в 1789-м и после?

⁶ «Библиографические записки», 1858, № 19, стлб. 588.

Как известно, царица Екатерина, узнав о казни Людовика XVI, слегла. Худо ей было, страшно.

Карамзину же — много хуже.

Тем, кто с самого начала боялся разрушенной Бастилии, ненавидел парижскую вольницу, тем жить теперь нелегко, но — просто: им ясно, кого любить, понятно, что ненавидеть.

Но как быть тем, кто надеялся, уповая на Париж первых трех лет революции,— и ужаснулся от следующих двух?

Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Пушкин, вечный Пушкин (который в эти дни еще не появился на свет), он заставит своего Андрея Шенье в 1825 году произнести слова, объясняющие и карамзинское: «Все худо! Видно нам не бывать счастливыми».

Декабрист Николай Тургенев позже вспомнит, будто Карамзин был одно время на стороне санюлотов и даже пролил слезы, узнав о смерти Робеспьера. Сказано сильно, краски стущены — нет, Николай Михайлович не был революционером, но надеялся. Надеялся на новую историческую весну, на быстрое, светлое торжество разума, просвещения... Надеялся в хорошей компании — с Шиллером, Гёте, Радищевым, множеством лучших умов Европы.

Но грохочут исторические громы; разлетаются по Европе грозные парижские формулы: «Свобода должна победить какой угодно ценой. Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных» (Сен-Жюст).

«Гражданин, что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?» (из надписей на якобинском клубе).

Карамзин... «Может быть, и в нем произошла французская революция».

Он жил в сем мире для того,
Чтоб жить — не зная для чего...

Оказалось, что история не ходит путями сентиментального просвещения. Оказалось, что рай наступит не завтра, даже не послезавтра. Оказалось, что надо многое пересмотреть, а человеку сложившемуся, убежденному это необыкновенно трудно. И пока старые идеи утрачены, а новые не обретены — до тех пор неясно, как и зачем жить. Честный мыслитель в эти переходные месяцы и годы максимально открыт, беззащитен. Личные неприятности, которых прежде не заметил бы или мужественно пережил, теперь, в период «потери смысла» (выражение Тынянова), бьют наотмашь, насквозь, случается — наповал. Именно так полвека спустя другой русский писатель, разочарованный и потрясенный печальным, кровавым исходом другой французской революции, окажется на краю пропасти, куда его притом сталкивают запрет вернуться на родину, гибель сына, матери, жены, разбилась первая жизнь Герцена, но выжил, устоял, сумел начать вторую, а с нею — два главных дела: «Былое и думы», Вольную типографию.

Непохожесть Карамзина и Герцена тем более оттеняет сходство, подобие обстоятельств. Кризис, духовная драма, настигает обоих близ сорокалетнего рубежа; драма личная — не замедлит.

1793-й Смерть любимого друга-единомышленника Петрова.

В деревенской глуши на Карамзина нападают разбойники — он чудом спасся (две легкие раны): не окажись вблизи нескольких мужиков, кинувшихся на подмогу, кончилась бы жизнь в июле 1794 года.

Любовь сначала счастливая — потом несчастная: не знаем даже ее имени. Только в письме И. И. Дмитриеву: «Теперь главное мое желание состоит в том, чтобы не желать ничего, ничего: ни самой любви, ни самой дружбы. Да, я люблю, если ты знать хочешь; очень любил, и меня уверяли в любви. Все это прошло; оставим. Никого не виню».

Слабеет зрение писателя, опасность слепоты.

Тяжелейший упадок духа.

Приближается возраст гибели Пушкина. Как спастись? Кто спасет? Друзья зовут в Петербург — но опасно: «близ царя, близ смерти».

Карамзин серьезно задумывается, не пуститься ли в новое путешествие, по сравнению с которым европейский вояж 1789—1790 годов пустяк,— в Чили (то есть Чили), в Перу, на остров Бурбон (нынешний Реюньон в Индийском океане), на Филиппины, на остров Святой Елены (о котором до ссылки Наполеона почти никто и не знал): «Там согласился бы я дожить до глубокой старости, разогревая холодную кровь свою теплотою лучей солнечных; а здесь боюсь и подумать о сединах шестидесятилетия».

Это строки из письма Дмитриеву от 30 декабря 1798 года. Угадываем тоску, которая гонит в теплые края из «павловских заморозков». С трудом можем сегодня вообразить, что значило в ту пору отправиться на Филиппины или в Чили: год на дороге, десятилетия на разлуку.

Наконец, печалимся даже от случайного пророчества: седина шестидесятилетия, будто Николай Михайлович точно знает, что проживет не пятьдесят пять, не шестьдесят пять, но именно шестьдесят лет (без нескольких месяцев). Многие, видевшие его в конце жизни, запомнят «благородную седину».

Историком еще не стал, а уж сделался провидцем. И предстоящие странствия точно определил. Только не в пространстве — во времени!

Неужели Рюрик, Иван Калита ближе, чем Перу или остров Бурбон?

Но чтобы пуститься в путешествие до конца жизни, до седин шестидесятилетия, требовалось как можно быстрее одолеть самого себя, Николая Карамзина. Отправить хандру прочь с уходящим XVIII столетием

У 1800-го

«Поэт имеет две жизни, два мира. если ему скучно и неприятно в существенном, он уходит в страну воображения и живет там по своему вкусу и сердцу, как благочестивый магаметанин в раю со своими семью гуриями» (Карамзин — Дмитриеву).

В карамзинской «стране воображения» — огромные события, его «французская революция», которой мы снова почти не видим, не слышим, только удивляемся результату, тому, что выходит наружу закрепляется печатным и письменным словом. Делается вывод, что время все-таки движется не вспять и нужно лишь разгадать законы движения.

Французская революция страшна, но не поглотила цивилизацию, как некоторые полагают, а принесла пользу — хотя бы потому, что «государя вместо того, чтобы осуждать распад на безмолвие, склоняют его на свою сторону»

Фраза, появившаяся в карамзинском журнале не столько верноподданная, сколько автобиографическая: низкий поклон парижской буре за то, что о многом важнейшем думать заставила всю Европу вообще. Николая Карамзина в частности. История, казавшаяся до 1789-го довольно однообразной, вдруг преломилась; и сразу стали много интереснее и прежние, даже тусклые с виду исторические главы: все связано, сцеплено. Сегодня начиналось всегда — и нет более интересного дела, чем размышлять об этом.

Размышлять — не печатать... Однако и тут обстоятельства вдруг улучшаются.

Павел гибнет, на престоле Александр I, режим смягчен, просвещение амнистировано, Карамзин пишет «Оду на восшествие...»:

Весна у нас, с тобою мы...

Как и десять лет назад, он начинает журнал, очень скоро «Вестник Европы» становится самым интересным самым читаемым: редакция выписывает двенадцать лучших иностранных журналов, обсуждаются главные, самые интересные вопросы европейской, российской умственной жизни и истории

Снова почва под ногами: возвращение в литературу, журналистику... Все эти хорошие обстоятельства, разумеется, притягивают и домашнее счастье — подобно тому как прежние «черные облака» губили друзей и любовь.

Каждый день с покинувшим столицу Дмитриевым, постоянно — с Тургеневыми, Андреем Вяземским, Херасковым, Василием и Сергеем Пушкиными (Сергей Львович много лет спустя будет настаивать, что маленький Александр Сергеевич при появлении Карамзина оставлял игрушки и не спускал с гостя глаз). Однажды появляется восемнадцатилетний Жуковский...

24 апреля 1801 года Карамзин извещает брата о женитьбе на Елизавете Протасовой, «которую 14 лет люблю и знаю».

Итак, кажется, опять счастливая полоса в литературе, в личной жизни, удовлетворение общественное: среди послереволюционных бурь и первых наполеоновских походов — в России «дней Александровых прекрасное начало».

«Главное то, что можем жить спокойно... желательно, чтобы бог не отнял у меня того, что имею» (Карамзин — брату).

Мгновение, прекрасно ты...

Но близок пушкинский, тридцатисемилетний рубеж.

1802—1803

«Я лишился милого ангела, который составлял все счастье моей жизни. Судите, каково мне, любезнейший брат. Вы не знали ее; не могли знать и моей чрезмерной любви к ней; не могли видеть последних минут ее бесценной жизни, в которые она, забывая свои мучения, думала только о несчастном своем муже... Все для меня исчезло, любезный брат, и в предмете остается одна могила. Стану заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотела. Простите, милый брат, я уверен в вашем сожалении».

Несчастья еще не кончились. Новая жизнь, однако, начиналась.

31 октября 1803 года — указ Александра I о назначении Карамзина историографом с жалованьем в год по две тысячи рублей ассигнациями.

Отказ от дальних странствий, от предлагаемой в Дерпте профессуры. Отказ от прозы, поэзии, журналистики.

До конца дней — в историк.

Это было похоже на прыжок в пропасть — будто в ответ на некий ему одному слышный зов.

Тридцать семь лет по-тогдашнему много больше, чем теперь: это уже поздняя зрелость; еще немного — и старость. Пушкин позже оценит подвиг Карамзина, начатый «уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению».

Решиться на такую перемену всего — цели, занятий, быта, так решиться!

Разумеется, у поступка имелся свой пролог (о котором уже кое-что говорилось). Карамзин-историк начинался в Париже 1790 года, в минуты роковые, и в «Письмах русского путешественника», когда об этих минутах пришлось писать.

Еще не предвидя свой удел, он поместил в «Письмах...» важнейшее пророчество, обращенное как бы к другим:

«Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы! Говорят, что наша История сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант... У нас был свой Карл Великий: Владимир — свой Лудовик XI: царь Иоанн — свой Кромвель: Годунов — и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в Истории человечества».

Карамзин-историк образуется и в те мгновения, когда «парижские ужасы» были поняты как яркая вспышка тысячетной истории, когда он «шутит» в одном из писем о необходимости ухода в кабинет «для философских мечтаний и умствований», о предпочтительности Юма. Гельвеция, Мабли «томным элегиям»: «...таким образом скоро бедная Муза моя или пойдет совсем в отставку, или... будет перекладывать в стихи Кантову Метафизику с Платоновою Республикою»¹.

¹ «Русский архив», 1872, №№ 7—8, стлб. 1325.

«Я,— признался он Дмитриеву еще 2 мая 1800 года,— по уши влез в русскую историю; сплю и вижу Никона с Нестором».

Все как бы устроилось само собою.

Карамзин постоянно делится с Иваном Ивановичем Дмитриевым своим желанием бросить все и заняться историей.

«Так приступай к делу, медлить нечего»,— сказал Дмитриев. «Я человек частный,— отвечал Карамзин,— без содействия правительства не достигну желанной цели; притом лишусь главных доходов моих: шести тысяч рублей, которые приносит мне Вестник Европы». «Ты ничего не потеряешь, трудясь для славы отечества»,— отвечал Дмитриев,— пиши только в С. Петербург: я уверен в успехе». «Тебе все представляется в розовом виде»,— произнес Карамзин. Долго спорили они, наконец последний должен был уступить убедительному красноречию друга своего и сказал: «Пожалуй, я напишу, но берегись, если откажут». Письмо было отправлено товарищу министра народного просвещения М. Н. Муравьеву, воспитателю императора Александра, знаменитому покровителю просвещения. Результат письма известен: 31 октября состоялся высочайший указ...

Эпизод этот достоверен — позднейший биограф Карамзина М. П. Погодин пользовался надежными сведениями, в том числе рассказами Дмитриева и самого Карамзина. Чего же не хватает в погодинской истории?

Во-первых, личной трагедии 1802 года, завещания умирающей первой жены Карамзина («Лизанька того хотела»); резкого, при тех обстоятельствах очень понятного желания переменить жизнь.

Но как ни важен этот эпизод, необходимо и второе, самое важное дополнение к рассказу Погодина. Почему Карамзин заводил такие разговоры с Дмитриевым? Чем плоха была ему литература, журналистика, где он занимал первые места и имел в достатке славу и читателей? Что за таинственный зов увлек так сильно — его, давно уж не мальчика, человека сдержанного, чуждого экзальтации? Ведь десятки замечательных современников с огромным интересом наблюдали за историческими вихрями конца XVIII века; не только наблюдали — постоянно думали о них, писали; но ни Гёте, ни Кант, ни Шиллер, ни Державин не пойдут в своем интересе к истории так далеко, чтобы бросить поэзию, философию, чтобы из девяти муз столь же решительно выбрать Клио. Тут были какие-то глубоко скрытые, особенные, коренные причины. Иначе не совершил бы Николай Карамзин в себе самом тайной «французской революции»...

Однако, прежде чем определять причину причин, заметим, что через два месяца после царского «посвящения в историки» состоялась вторая его женитьба: при замеченной уже нами в Карамзине закономерной связи общего и личного это кажется совершенно естественным. «Император пожаловал мне как историографу пенсию в 2000 рублей. Я отказался от своего журнала, чтобы заниматься лишь нашими анналами. После этой новости — вот другая, более важная для моего счастья. Погруженный 18 месяцев в глубочайшую печаль, я снова нашел в себе способность к тому, чтобы любить и быть любимым. Я смею еще надеяться на счастье; провидение сделает остальное... Моя первая жена меня обожала; вторая же выказывает мне более дружбы. Для меня этого достаточно...»⁸. Екатерина Андреевна Карамзина — наверное, лучшая из жен русских писателей.

«Будущего зов»

Прежде чем углубиться во вторую, «историческую» жизнь Карамзина, попытаемся все-таки понять...

Карамзин шел русскую историю открывать. Много лет спустя Пушкин запишет: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом».

Карамзин — Колумб, то есть первый... Между тем и сам Карамзин, и Пушкин, и еще немало число образованных людей хорошо помнили, что в XVIII столетии древнюю Россию искали и находили Ломоносов, Татищев, Щербатов, Болтин и не только они. Пять томов русской истории составил и француз Левек...

Из этого ряда двое должны быть выделены особо.

Василий Никитич Татищев (1686—1750): после его смерти вышла

⁸ Письмо В. Вольцогену 17 декабря 1803 года на французском языке («Отчет Императорской публичной библиотеки», 1894, стр. 168).

«История российская с самых древнейших времен», где рассказ о событиях останавливался на XVI веке.

Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790), выпустивший 15 частей «Истории российской от древнейших времен», которые оканчивались на 1610 году.

Карамзин будет часто на них ссылаться: много раз обратится к тем летописям, хронографам, духовным сочинениям, которые были обнаружены и впервые введены в оборот предшественниками.

Позже научный авторитет Татищева и Щербатова, в общем, возрастал. В середине XIX столетия крупный историк-юрист С. Ешевский станет сожалеть, что российская публика забыла «почтенный труд князя Щербатова», великий историк Соловьев тоже скажет немало добрых слов в адрес ученых XVIII столетия; в наши дни труды Татищева переизданы, подтвердились многие его сведения, к которым прежде относились скептически. Открыв любой современный курс историографии, мы найдем, что Татищев, Щербатов уважаемы там примерно так же, как Карамзин...

Но Карамзин — Колумб, а его предшественники, выходит, вроде тех доколумбовых путешественников, которые тоже достигли Америки, но мир об этом не скоро узнал, не оценил?

Дело в том, что Татищева, Щербатова не читали (за исключением узкого круга знатоков). Для большинства читающей публики, для круга Пушкина, декабристов — Карамзин станет действительно первым.

Восклицание известного Федора Толстого (после прочтения Карамзина): «Оказывается, у меня есть Отечество!» — выражает ощущение сотен, даже тысяч образованных людей...

Карамзин в нашем повествовании только еще приступает к работе, а мы, опережая события, толкуем о плодах... Но все же повторим (это нужно для объяснения карамзинского феномена): «История Государства Российского» имела больший о б щ е с т в е н н ы й у с п е х , чем любой другой исторический труд до и после Карамзина.

Могут возразить — а разве Соловьев (1820—1879), Ключевский (1841—1911) не издавались при жизни куда большими тиражами, чем Карамзин, разве не имели они настоящего признания? Да, все так. Но ведь тираж в три, шесть тысяч экземпляров в начале XIX века мог означать больший успех, нежели 10, 20, 50 тысяч сто лет спустя: он охватывал практически всю читающую публику.

Другие исторические труды имели не меньшее, иногда и большее научное значение; но о ком же еще как не о Карамзине могло быть записано: «Все, даже светские женщины, бросались читать историю своего отечества... Несколько времени ни о чем ином не говорили» (Пушкин).

Пред нами культурное событие, сопоставимое скорее не с другими трудами по истории, а с выдающимися общественно-литературными явлениями, такими, скажем, как грибоедовское «Горе от ума»...

Ни один последующий исторический труд, пусть много более совершенный, не мог иметь подобного значения, не мог быть первооткрытием, как не может быть «колумбовым плаванием» великолепный короткий бросок через океан суперсовременного лайнера.

Но отчего же Татищев, Щербатов, писавшие за несколько десятилетий до Карамзина, — отчего же не они? Ответ поверхностный таков: не было у них карамзинского таланта, скучно было разбирать их труды, «почтенные, но тяжелые по изложению» (Ешевский). Карамзин переводил «тяжеловесный, неудобочитаемый слог кн. Щербатова в изящные литературно-отточенные, плавно-текущие периоды»⁹.

Сказано хорошо, красиво — но мало. Не удовлетворяет нас это объяснение. Возможно, и не было у первых историков карамзинского пера, но писать умели, недурно высказывались на языке своего времени.

Итак, дело не в недостатке дарований. Дело прежде всего в языке. «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова» (Пушкин). Свидетельство, согласитесь, достаточно авторитетное.

Мы не беремся даже вкратце представить здесь борьбу за новый язык; пока же вот что повторим. Без обновленного литературного языка невозможно было начать ту русскую историю, о которой мечтал Карамзин.

Меж тем как часто в современных книгах и статьях о нем его языковое и ис-

⁹ «Русский исторический журнал», 1917, № 1-2, стр. 16—17.

торическое дело рассматриваются порознь: первое — по ведомству филологов, второе — историков. Мы же не устали соединять: новый литературный язык — новая историография; живой язык письма — существенная причина того, что Карамзин был «обречен на успех».

Очень важная причина. Но — не самая главная!

На вопрос: «Что нужно автору?» — Карамзин однажды ответил, что «таланты и знание, острый, пронизательный ум, живое воображение все еще недостаточны». Надо еще, «чтобы душа могла возвыситься до страсти к добру, могла питать в себе святое, никакими сферами не ограниченное желание всеобщего блага»¹⁰. Мы же за него «языком XX века» скажем несколько иначе:

Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов...

Карамзин услышал. Дело в том, что российским читающим людям 1800-х годов нужна именно такая история, которую он принялся писать. Очень нужна и с каждым годом нужнее.

После Татищева, Щербатова прошло немного времени — зато годы какие!

Чему, чему свидетели мы были...

Французская революция, дворянский энтузиазм против Павла, похороны Суворова, где резко выразились национальные, оппозиционные чувства; приближающаяся к русским границам волна наполеоновских войн; 1812-й, который еще впереди, но который словно предчувствуется лучшими умами — Карамзиным более всего.

Итак, в 1800-х годах ощутима та общественная, национальная потребность, которая, конечно, не в один день развилась: потребность исторического осмысления самих себя, своего места в родной и мировой истории, своего будущего, которое существует уже сегодня, взывая, чтобы его разглядели. Скажем и по-другому (вслед за Ю. М. Лотманом): лучшим результатом, итогом столетнего развития после Петра были люди, определенный, численно небольшой, а по значению огромный слой русских людей: мыслящее меньшинство, великий русский читатель! Карамзин — один из них; его друзья — среди них; будущие читатели его «Истории...» — тысячи людей, которых он не знает лично, но ощущает, угадывает, слышит «будущего зов».

Мы попытались ответить, определить причины карамзинского обращения в историю. Угадана общественная потребность: новый язык... А затем исторический труд Карамзина будет уж сам по себе образовывать новый язык, развивать и обогащать зовущий, призывающий век.

Однако до того «Историю...» следовало написать.

1803—1816

Карамзину казалось сначала, что за несколько лет дойдет до воцарения Романовых. Однако путь от Рюрика до Ивана Грозного занял тринадцать лет, и каких!

1805-й — пишет о первых киевских князьях — узнает об Аустерлице.

1807-й — татарское нашествие и Тильзитский мир.

1809-й — Наполеоном захвачена почти вся Европа — у Карамзина Куликовская битва.

Новый, 1812 год историк встречает близ 1500-го.

Так и чередуются в хронике жизни историографа дела домашние и всемирные: рождение детей, смерть стариков, собственные болезни; и притом — Батый и Мюрат, древняя Литва и новейшая Европа, князь Александр Невский и царь Александр Первый.

Годы трудов и трудов: писатель, поэт, историк-дилетант берется за дело неслыханной сложности, требующее огромной специальной подготовки. Если бы он избегал серьезной, сугубо ученой, «сухой» материи, а только бы живо повествовал о былых временах, «одушевлял, раскрашивал», это еще сочли бы естественным; но с самого начала каждый том делится на две половины: в первой — живой рассказ, и кому этого достаточно, может не заглядывать во второй отдел; там же — сотни примечаний,

¹⁰ П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 331—332.

ссылка на летописи, на латинские, немецкие, шведские, польские источники; там производится разбор их достоверности, тщательное сравнение версий.

Суровая наука. Положим, историк знает много языков. Но сверх того появляются источники арабские, венгерские, еврейские, греческие... И пусть к началу XIX века наука история еще не столь резко выделилась из словесности, как это случится позже, — все равно вчерашнему литератору придется теперь углубиться и в палеографию, и в географию, и в археологию... Татищев и Щербатов, правда, совмещали историю с серьезной государственной деятельностью, но ведь с каждым годом профессионализм возрастает; из Англии, Германии приходят серьезные труды; стародавние, летописно-наивные способы исторического письма явно отмирают...

Карамзину помогают отовсюду знаменитые ученые, молодые ученики, и это, разумеется, не умаляет заслуг самого историографа: его дело — как бы дело всей России; пишет же он сам, отыскивая наиболее точную, уникальную форму для соединения строгой науки с живым искусством.

Для своего труда Карамзин использует около сорока летописей (некоторые в разных списках) — прежний «рекорд» принадлежал Щербатову, изучившему двадцать одну летопись.

В «Истории...» упоминается 350 авторов и названий, они сопровождаются 6538 ценнейшими научными отсылками и примечаниями.

Но вот наступает 1812 год, и мастер прошедшего, как в 1790-м в Париже, снова свидетель роковых минут человечества. Историк покидает Москву за несколько часов до прихода французов, вскоре узнает, что любимый город сгорел, что погибли тысячи книг и рукописей, в том числе «Слово о полку Игореве», Троицкая летопись.

Кровь, огонь да еще смерть малолетнего сына — все это едва не сломило Карамзина, некоторое время считавшего, что уж не сумеет вернуться к «Истории...». Однако он чувствует себя обязанным хотя бы завершить, сдать уже сделанное; к тому же ощущает в 1812—1814 годах конец одной исторической эпохи, начало другой, необходимость понять самому, объяснить другим!

ГЛАВА II. «ПРИВРАТНИК БЕССМЕРТИЯ»

В конце января 1816 года, дождавшись разрешения Екатерины Андреевны вторым сыном, Александром (будущим приятелем Пушкина, Лермонтова), Карамзин вместе с Жуковским и Вяземским едет в Петербург; на время, в последний раз, расстается с женой, зато пишет ей ежедневно, а письма, к счастью, сохранились...

В Петербург, где он не был двадцать шесть лет, с момента возвращения «русского путешественника»...

Приехав в столицу 2 февраля, он в конце марта вернулся в Москву. 18 мая, отправив вперед обоз и людей, со всей семьей в карете покидает Москву окончательно — и через пять дней снова в Петербурге.

Месяцы важнейших для Карамзина событий. Петербург непривычен, впечатлений слишком много, суета, расходы: 500 рублей в месяц за карету, 70 рублей — лакей, 60 рублей — «на пищу двум человекам»¹¹.

Историографа всюду приглашают, принимают.

Обеды у Державина, Румянцевых, Олениных, Мордвиновых (между прочим, со старым приятелем Пестелем, тем самым почт-директором, что четверть века назад распечатывал для царицы Екатерины II карамзинские письма), чтение глав из «Истории...» у императрицы Марии Федоровны. Одна из ее дочерей удивлена, за что уж так ласкают этого человека; старинный остролов Ростопчин удачно отвечает — «потому что он привратник бессмертия».

И, конечно, постоянно — лучшие друзья: один раз до второго часу ночи, другой раз, кажется, всю ночь...

Арзамасцы — веселый литературный союз с шутовскими атрибутами (арзамасский колпак, обязательное угощение — арзамасский гусь, постоянные надгробные речи литературным противникам и самим себе, обязательные прозвища, заимствованные только из стихов Жуковского: Светлана, Дымная печурка, Чу, Вот я вас!, Сверчок...). Так дурачатся примерно три года, но как не вспомнить пет-

¹¹ Н. М. Карамзин. Неизданные сочинения и переписка. СПб. 1862, стр. 144.

ровские «потешные забавы», переросшие в военные дела; сначала шутки под Кожуховом, затем победы над Азовом... Здесь дурачатся Жуковский, Вяземский, Денис Давыдов, Батюшков, братья Тургеневы, Никита Муравьев, Михаил Орлов, чуть позже — Пушкин, а из «галиматши» выходит лучшая русская литература...

«Не заводя партий, мы должны быть стеснены в маленький кружок... Должны быть под одним знаменем: простоты и здравого вкуса... Министрами просвещения в нашей республике пусть будут Карамзин и Дмитриев... И верно, верно отдадим со временем святой долг отечеству» (Жуковский)¹².

Одной вечно, как говорят, проблемы у этих шутников не было: проблемы отцов и детей. Для семнадцатилетнего Пушкина (Сверчка) Жуковский, Александр Тургенев, Батюшков — это тридцатипятилетние отцы, пятидесятилетний же Карамзин — дед. Однако равенство отношений паразитическое: Жуковскому и в голову не приходит учить Пушкина, Карамзину — Жуковского. Нет ни детей, ни отцов, ни дедов — все дети: время такое, люди такие!

Впрочем, Карамзин единственный не имеет шутейного прозвища. «Вам, арзамасцам, — наставляет друзей Вяземский, — должно лелеять его и, согревая арзамасским союзом, не допускать до него холодный ветер Невы».

Ну они уж — не допускали! «Наш евангелист Карамзин!» — восклицает Жуковский.

Карамзин читает своим арзамасцам описание взятия Казани, и они довольны — до потери юмора (впрочем, Александр Иванович Тургенев вернул им эти привычные радости, когда вдруг громко всхрипнул при чтении, историограф же бровью не повел, и — не стали будить).

Однако спящий все расслышал и написал братьям Сергею и Николаю, что «История...» Карамзина «послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, бог даст, русской возможной конституции».

Такого, кажется, еще никто не говорил об историческом труде: зная хорошо тайные мысли братьев-декабристов, более умеренный Александр Иванович предлагает им «Историю Государства Российского» как устав и программу... «Брат всем восхищается», — недоверчиво откликается Николай Тургенев, но «Историю...» ждет с нетерпением...

Они очень нужны друг другу — старый историограф и молодые арзамасцы. Вот лучший способ для мастера не отстать от эпохи! Вот постоянная питательная сила. В нескольких письмах Карамзин восклицает: «Да здравствует Арзамас!» — радуется связи «дружбы и воспоминаний», мечтает «жить и умереть» с этими арзамасцами.

И они с ним.

Батюшков — Жуковскому: «...если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин; он избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений: гайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной. Последуй его примеру».

Молодые арзамасцы везут своего «евангелиста» в Царское Село, и там возобновляется знакомство с кудрявым отроком, которого более десяти лет назад Карамзин изредка наблюдал в доме Сергея Львовича Пушкина. Дядя-арзамасец Василий Львович наставляет племянника насчет Николая Михайловича — «люби его, слушайся и почитай». Но даже такая любезная племяннику мораль, даже то обстоятельство, что Карамзину было не до стихов юного Пушкина, — даже все это не помешало симпатии и уважению лицезнателя к историографу (тем более что все прочие лицезнательские «скотобратцы» завидовали; только Пушкин да еще Сергей Ломоносов — по старинным детским связям — могли запросто беседовать с самим Карамзиным!).

Аудиенция

Меж тем царь почти два месяца не принимает: идут придворные церемонии в связи с бракосочетанием младшей сестры Александра.

От того, как будут приняты во дворце восемь томов, зависит вся жизнь, благосостояние — но не таков историограф, чтобы просить: «Знаю, что могу съездать

¹² «Русский архив», 1900, № 9, стр. 26.

и возвратиться ни с чем...», «Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков».

Если же царь не одобрит, ну что же: «...продать часть имения и жить по-мещански» (Карамзин — брату).

«Сколько дней для меня потеряно»...

«Твой друг знает свой долг по отношению к государю, но он знает также и свой долг по отношению к собственному моральному достоинству» (Карамзин — Дмитриеву).

Умные люди намекают — и Карамзин (в письме престарелому Николаю Ивановичу Новикову) сообщает, что «в Петербурге одного человека называют вельможею: графа Аракчеева».

К Аракчееву проситься не хочет, в середине марта решительно собирается восвояси...

Однако Аракчеев сам позвал...

Стоило посетить Аракчеева, как и царь пригласил. Карамзин получает аудиенцию — и неслыханные милости. Чин статского советника, Анну I степени — Карамзин при всем политесе, как видно, не сумел, или не желал, скрыть своего безразличия ко всему этому: «...не мое дело умножать число аннинских кавалеров при дворе и слушать фразы: наобно работать...»

Главное — «История...».

Царь дал изрядную сумму — 60 тысяч — на публикацию, разрешение печатать в военной типографии. Без специальной цензуры.

Карамзин опасался цензоров: «Надеюсь, что в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности; но, быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае, что будет история?»¹³.

Действительно, что будет «История...»? Следует неожиданное: «Я буду твоим цензором»; вот когда это было впервые произнесено, вот кого копировал Николай I, беседа с Пушкиным.

Милость — и зависимость; Пушкин хорошо это знал, когда писал: «...государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности».

Карамзин не просил — царь сам дал.

Петербург

Если печатать в Петербурге — значит, надо там жить и проститься с Москвою, где Карамзин, по его словам, провел «три возраста жизни».

Карамзин гуляет по Петербургу и округе — все отыскивает московские виды: «Я не в России, когда слышу вокруг себя язык чухонский»; «Берега Невы прекрасны; но я не лягушка и не охотник до болот»; с первых петербургских дней историк жалеет жену, которая, по его мнению, «приносит жертву», оставаясь в столице: «...двор не подходит ее характеру и складу ума»...

И снова Дмитриеву 27 июня 1816 года (сколько лет переписывались оттого, что Карамзин в Москве, а Дмитриев на Неве; теперь вдруг на старости лет поменялись местами — Дмитриев в отставке, историограф во дворце): «Меня еще ласкают, но московская жизнь кажется мне прелестнее, нежели когда-нибудь, хотя стою в том, что в Петербурге более общественных удовольствий, более приятных разговоров... Люби, люби Москву; будешь веселее».

Чуть позже: «Вижу перед собою... смерть или Москву в 1818 году».

Но постепенно все добрее к новому месту: «Вообще, не обижая Москвы, нахожу здесь более умных, приятных людей, с коими можно говорить о моих любимых материях». После встречаем такие слова: «Помышляю иногда о Москве, но не хотелось бы на старости переменять места, тем более, что и сыновья подрастают»; еще позже: «Люблю Москву как душу, хотя и не смею сказать, чтобы я желал теперь возвратиться в ее белокаменные стены»...

И все-таки до последних дней, как будто предвосхищая мечту трех сестер, время от времени восклицает: «В Москву, в Москву!»

Вот, думал, выйдут восемь томов — и в Москву; даже ящики архивных бумаг

¹³ Это и другие письма Н. М. Карамзина А. И. Тургеневу цитируются по журналу «Русская старина», 1899.

до поры до времени не велел высылать со старого места — может, не понадобятся до возвращения; восемь томов выйдут — однако сразу новое издание: опять нельзя уехать. А там Екатерина Андреевна в положении — дорога вредна, «пусть жена родит — и в Москву» (вторая столица даже чин имеет: «...пора возвращаться в объятия бригадирши»). Но вот жена родила — пора еще том сдавать в печать; затем новые семейные обстоятельства, а там царь просит задержаться...

В общем, никогда больше Николаю Михайловичу Карамзину не увидит Москву: 18 мая 1816 года в последний раз у заставы обернулся, 22 мая 1826 года окончится жизнь. Последние десять лет и четыре дня пройдут в Петербурге или его окрестностях...

Пространство сужалось, расширялось историческое время.

Перед новой славой

В Петербурге Карамзины стараются, не всегда с успехом, сохранять московские привычки. Зимой — в городе, сперва на Фонтанке у гостеприимной Е. Ф. Муравьевой, затем «около Литейного двора, на Захарьевской за 4000 р., Нева в 100 саженях, не далек и Таврический сад; двор хорош и с садиком; всего довольно, и сараев, и амбаров, комнаты весьма не дурны, только без мебели»¹⁴. Летом и осенью они за городом, в Царском Селе, где по приказу царя для историка отделан китайский домик в царскосельском парке — с маленьким кабинетом во флигеле (друзья удивляются — как в столь малой келье помещается вся «История Государства Российского!»).

День Карамзина. Утром обязательный час прогулки (в любую погоду; в Царском Селе — верхом). Если очень холодно — утепляется: «...под сюртук — тетрадь». Особым царским разрешением государственному историографу дозволено ходить не только по дорожкам, но и топтать царскосельские лужайки...

После прогулки — чашка кофею, трубка и до трех-четырех за рабочим столом (если только ревматизм или жестокая лихорадка не скручивают — на неделю, случается и на месяц). Первые петербургские годы — корректура, корректура... Пока отодвинуты в сторону летописи XVI века, записки иностранцев, разнообразные документы о царе Иване Грозном: повествование замерло на 1560 годе. Идет тяжкая, нудная подготовка к печати восьми томов.

В четвертом часу обед, за которым допускается рюмка мадеры или специально присылаемой из Москвы другом А. Ф. Малиновским белой водки, «в которой желудок иногда имеет нужду». В эти часы сходится вся большая семья: отец сам обучает сыновей немецкому; дети спрашивают о религии — приходится «удерживать их любопытство ответами: «это непостижимо». Они молчат, думая может быть: «что же вы нам изъясняете?»...» (Карамзин — Дмитриеву).

Досуги куда более разнообразны, чем в Москве (чему хозяева не всегда рады). Забегают друзья-приятели, «и мы проводим вечера не скучно». Многодневный праздник — появление Дмитриева в Царском Селе (летом 1822 года): несколько лет не виделись, больше не увидятся — но около месяца живут рядом, «через садик». Каждое утро Карамзин заходит и застаёт друга-брата в постели, целый день не разлучаются, но не помнят, «чтоб хоть четверть часа мы были без свидетелей»

Кроме друзей, к вечеру являются постоянно иностранные визитеры, просители, надеющиеся на влияние историографа при дворе. Один из них замечает, что Карамзин «знал в совершенстве искусство беседовать, которое вовсе различно с искусством рассказывать».

Присылают приглашения ко двору, чаще всего от царя старой и молодой: надо надевать нелюбезный мундир и пудриться. Во дворцах все очень любезно и ласково — «но многие ждут моей Истории, чтобы атаковать меня... Суетность во мне есть... но я искренне презираю ее в себе, и еще более, нежели в других» (Карамзин — Дмитриеву).

Историк постоянно отказывается от почетных званий: соглашается в академики после долгих уговоров, не желая обидеть уговаривающих: «Где люди, там пристрастие и зависть: иногда славнее не быть, нежели быть академиком. Истинные дарования не остаются без награды: есть публика, есть потомство. Главное дело не получать, а заслуживать. Не писатели, а маратели всего более сердятся за то, что им не дают патентов».

¹⁴ Это и другие письма Карамзина А. Ф. Малиновскому цитируются по изданию «Письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому...». М. 1860.

День Карамзина подходит к концу. Поздно вечером чтение «не по древней Руси», вслух — чаще всего Вальтера Скотта «Айвенго», «Квентин Дорвард»: Карамзин настолько любит шотландца, что мечтает когда-нибудь у себя в саду поставить ему памятник. Иногда же историку приходится читать свое...

Лицейский Горчаков — дяде: «Некоторые из наших, читавшие из нее [«Истории...»] отрывки, в восхищении». Одному из первых учеников завидно, что он сам незнаком с историографом. «Некоторые» — это более всего Александр Пушкин, постоянный карамзинский гость (знаем, к примеру, что 1 июля 1818 года на озере в праздничном катере оказалась очень примечательная компания: Александр Тургенев, Жуковский, Карамзин, Пушкин).

«Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...» (Пушкин).

В другой раз Карамзин говорит Пушкину по поводу сенаторов и других важных лиц: «Заметили ли Вы, мой друг, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу».

Опять равный арзамасский разговор «деда» с «внуком». Младшему разрешено делать выписки из «Истории...»; старший рекомендует, чтобы именно первому лицейскому поэту заказали стихи в честь принца Оранского («Довольно битвы мчался гром...»).

Но вдруг семнадцатилетний Александр Пушкин пишет любовное послание тридцатилетней Екатерине Андреевне.

Пятидесятилетний Карамзин получает от жены или случайно прочитывает любовную записку юного лицеиста — да сколь нервного, ранимого! Какие же слова нашел вторе старший знаменитый писатель, чтобы такой «внук» во время этой сцены (как утверждали современники) плакал и смеялся, но притом не обиделся, не разъярился от собственной неправоты или чужой морали (как это было при нравоучениях, например, такого вполне положительного лица, как директор Лицея Энгельгардт)? Мало того, в пушкинских письмах с юга постоянный мотив — «где, что Карамзины?», «это почтенное семейство ужасно недостает моему сердцу»...

Отношения с историком однажды осложнились, но это произошло через полтора года после «записки и слез»; дело было в эпиграммах (о чем еще скажем), а история с любовным признанием тут совершенно ни при чем...

Какое же слово знал Карамзин, чтобы в столь невыносимом, щекотливом положении сохранить дружбу и любовь молодого гения? Ах, если б угадать...

Дальним отзвуком этой таинственной сцены и всего царскосельского романа остались на всю жизнь особые отношения Пушкина к жене, потом — вдове Карамзина. Гипотеза Тынянова, будто именно эта женщина была пушкинской Лаурой, Беатриче, потаенной возвышенной любовью, пронесенной через всю жизнь, — не подтверждена и не отвергнута... Она, однако, отражает (может быть, преувеличенно) некоторую безусловную истину: то особое отношение Пушкина, которое заставило смертельно раненного прежде всех других послать за Карамзиной.

Как жаль, что так молчалива была эта замечательная женщина. Но, может быть, иначе она не была бы такою...

Петербургский (или царскосельский) день окончен. Счастье: «...счастье... когда жена, дети и друзья здоровы, а пять блюд на столе готовы. Заглянуть в умную книгу, подумать, иногда поговорить неглупо: вот роскошь! К ней прибавить можно и работу без всякого отношения к славолюбию» (Карамзин — Дмитриеву).

«Карамзин... создал себе мир, светлый и стройный посреди хаоса тьмы и неустройства» (Вяземский — Александру Тургеневу).

Мы говорили о вещах безусловно важных вперемежку с «бытовой мелочью». Цель же была — приглядеться к личности историка. Ведь вклад в культуру — отнюдь не только книги, картины, промышленные и полевые плоды. Вклад каждого человека в культуру — это и его личность; биография же таких деятелей, как Пушкин, как Карамзин, — культурное явление высокого порядка.

Одно из любимых упражнений автора этой работы — по тексту сочинения определять характер, личность незнакомого сочинителя. Иногда это на поверхности, но чаще выявляется косвенно, многосложно...

Николай Михайлович Карамзин печатает восемь готовых томов и думает о следующих; одновременно гуляет, умеет вести беседу, учит детей немецкому, радуется

штофу московской водки, понимает, как не обидеть виновного Пушкина. Все вместе это связано куда больше, чем принято думать. Культура карамзинской личности глубоко запечатлена в его сочинениях, где, таким образом, сливается несколько элементов тогдашней и любой цивилизации.

Вскоре к ним прибавится еще один: это общественный отклик и одна из высших его форм —

Слава

«История Государства Российского, сочиненная Н. М. Карамзиным, в осьми томах, продается в Захарьевской улице, близ Литейного Двора, в доме Баженовой, во флигеле, у комиссионера Александра Косматова. Цена, с родословными росписями и с картою древней России, 50 рублей»¹⁵.

Иначе говоря, на той же улице, в том же доме, где живет Карамзин, патриархально продается его «История...», а Екатерина Андреевна считает привозимые из типографии экземпляры.

К этому времени по восемь книжек на веленовой бумаге отосланы царю, царицам, Дмитриеву и еще нескольким особо важным читателям. Завершено почти двухлетнее превращение карамзинской рукописи в печатные тома. Нетерпение столичной публики и разные слухи опережают события.

Восемь томов — от древнейших времен до 1560 года.

«Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною... Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле».

Самые интересные мемуары о главном труде Карамзина написаны Пушкиным несколько лет спустя.

Пушкинский отрывок, кажется, не пропускает ни одной стороны события — и поэтому позволим себе прибегнуть к способу медленного чтения, то есть комментирования и попутного разговора при движении — от одной пушкинской фразы к другой.

«3000 экземпляров... пример единственный». Как трудно нам, в эпоху гигантских тиражей, сопоставлять числа: классический тираж XVIII — первой половины XIX века — 1200 экземпляров. В таком количестве выходили главы «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», а прежде карамзинские повести, «Письма русского путешественника». Потом, правда, следовали переиздания — еще 1200, еще... Но чтобы сразу 3000 — неслыханно! Удивление Карамзина хорошо видно по его письмам Малиновскому, Дмитриеву, родственникам.

12 февраля 1818 года — «...осталась только половина экземпляров».

К 19 февраля — продано 1900.

27 февраля — «Сбыл я с рук последний экземпляр моей Истории... Это у нас дело беспрецедентное. В 25 дней продано 3000 экземпляров». Карамзин, как видим, говорит почти что пушкинскими словами (или Пушкин это письмо прочитал?).

К 11 марта — Карамзин получил еще 600 заказов сверх проданного тиража. 8 июня — объявление о начале печатания второго, «исправленного» издания. Газеты извещают о готовящемся переводе на французский, немецкий, итальянский...

Пушкин: «Все, даже светские женщины, бросили» читать историю своего отечества, дотеле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили».

«Все...»

Петербургская цена была по 50 рублей за восемь томов в обыкновенном переплете, в Москве продавали за 58, в провинции и того дороже: цена обычная, и немалая. Если бы грамотный мужик-средняк пожелал приобрести «Историю...», она обошлась бы ему примерно в два годовых оброка.

Понятно, простых читателей совсем немного. Больше всего покупает Петербург — литераторы, чиновники, военные, придворные... И все же нашлись покупатели среди «податных сословий». Такие люди очень интересовали историка, надеявшегося

* «Сын отечества», 1818, № 5, стр. 225.

на будущую российскую образованность. Он не забывает и в нескольких письмах упоминает бурмистра одной из деревень Вяземского, который просит у своего барина «гостинца» — «Историю...» Карамзина. «Я писал для русских,— восклицает автор в одном из посланий к Дмитриеву,— для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметева» (см. имена пренумерантов в VIII томе).

Итак, «все... бросились читать»: завтрашние декабристы и вчерашние новиковцы; из рук в руки — по известному рассаднику вольнодумства, училищу колонновожатых; об «Истории...» толкуют в гимназиях, семинариях, салонах, в ученых и литературных обществах...

Вот лишь некоторые из первых откликов.

Жуковский: «...я гляжу на Историю нашего Ливия, как на мое будущее: в ней источник для меня и вдохновения, и славы».

Вяземский называет восемь томов «эпохой в истории гражданской, философической и литературной нашего народа».

Историк, публикатор старинных документов И. П. Сахаров: «Здесь-то [в «Истории...» Карамзина] узнал я родину и научился любить русскую землю и уважать русских людей».

Еще и еще отклики: царь спрашивает мнение Вяземского об «Истории...» сразу после ее выхода — тот еще не успел прочесть; Александр же объявляет, что прочел «с начала до конца».

Заинтересовался и Запад (любопытство к российской истории подогревается усилением международной роли страны после 1815 года).

Зато суровый декабрист Николай Тургенев очень насторожен. Он готовит важные возражения — но притом признается в дневнике: «Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении... Что-то родное, любезное».

Такого успеха, мы уже говорили, не было (и в известном смысле не будет!) ни у одного из историков. Размышляя об этом несколько позже, Карамзин заметит друзьям, что кроме всего прочего винит в своей славе и удачу: «Есть же и у других таланты, которым не было средств не только развиться, даже и обнаружиться при обстоятельствах неблагоприятных; есть и трудолюбие, которое не имеет удачи»¹⁶.

Если бы не он, другим пришлось бы открывать древности, преподносить соотечественникам «историю, дотоле им неизвестную».

Но все же именно он успел.

Всеобщий энтузиазм слишком заметен, чтобы не вызвать и толков самых разнообразных, в том числе критических, иронических,— неизбежные спутники, а впрочем, и признаки славы...

Если бы Карамзин выдал свои тома до Бородина, до пожара Москвы и взятия Парижа — эффект хоть и был бы, но, думаем, много меньший. Россия, вернувшаяся из великого похода, желала понять саму себя, и, наверное, никто лучше родственника Вяземского не оценил этого обстоятельства:

«Карамзин — наш Кутузов двенадцатого года: он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в двенадцатом году»¹⁷.

Карамзин — Кутузов...

Но для того чтобы так понять свой народ и свое время, надо было самому стоять выше, глядеть дальше других. Герцен позже советовал мыслителю, деятелю быть на шаг впереди «своего хора», но никогда не на два. Если не опережать, сливаться с хором — не увидишь главного; слишком опередив, можно главного не услышать.

Противоречия с читателем, известное непонимание, таким образом, были в природе вещей, как и восторг, слава...

Пушкин: «В журналах его не критиковали. Каченовский бросился на одно предисловие».

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты «Русской истории» свидетельствуют обширную ученость Карамзина.

¹⁶ Здесь и далее записи разговоров Карамзина, сделанные его секретарем К. С. Сербиновичем, цитируются по журналу «Русская старина», 1874, №№ 9—10.

¹⁷ «Остафьевский архив князей Вяземских» в пяти томах. СПб. 1899—1913, т. III, стр. 353.

приобретенную им уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению».

Пушкин пишет эти строки много позже, когда улеглись первые восторги... Собственно говоря, поэт впадает, как легко заметить, в некое противоречие: невиданный тираж, успех, открытие русским их прошлого — но «никто не сказал спасибо». Мы видим, что многие — ска за ли; и сам Пушкин, читая «с жадностью и вниманием», таким образом, благодарил, признавал...

Но критики в журналах действительно критиковали — и немало; в этом была даже смелость — нападать на сочинение государственного историографа, где на обороте титульного листа каждого тома значилось: «Печатано по высочайшему повелению». Пушкин, однако, в главном прав: такой ли критики было достойно это сочинение, необыкновенное во многих отношениях?

«Никто не в состоянии...»

Критиковал московский профессор Каченовский, позже — казанский ученый Арцыбашев, с печатной критикой выступил польский профессор Лелевель (один из будущих вождей восстания 1830—1831 годов); несколько специалистов разобрали «Историю...» в публичных лекциях, в письмах, впрочем предназначенных для многих. Была и критика политическая, эпиграмматическая, но это жанр особый и разговор особый... В «Истории...», понятно, находили неточности, ошибки, делали дополнения; Карамзин благодарил, многое учитывал, кое с чем не соглашался; это естественно. Уровень точности соответствовал эпохе, грубых, смешных просчетов не было — речь не о том шла, и главная критика — за другое. Не вдаваясь в тонкости, оттенки, подробности, скажем коротко, что в основном критиковали ученые — художника. Умный знаток митрополит Евгений (Болховитинов) позже запишет: «Татищев редко витийствует, подобно Карамзину, которого уже винят за то»¹⁸.

Первые же критики сформулировали многое из того, что повторят вторые, пятые, десятые: вместо научной истории — художество, «сказочки»; слишком много авторской личности, слишком мало строгого разбора причин, следствий.

Здесь было много верного, серьезного. Действительно, как бы в стороне осталась главная дорога, трудно пролагаемая многими европейскими и русскими специалистами, — от «наивной летописи» к серьезной науке. Карамзин как будто оживлял умирающую, отжившую традицию, все более нелепую для века разума и анализа.

И в то же время критики с водою постоянно выплескивали ребенка: действительно, никто не исследовал замысел Карамзина по законам, им самим провозглашенным. Сравнения с другими историками были справедливы; разбор именно этого историка был явно недостаточен.

К тому же критика, не привыкшая к гибким, академическим формулам, постоянно переходила на личность. Некоторыми двигало раздражение, зависть. Так, благородного Лелевеля подталкивал на критику Карамзина неблагородный Булгарин. Мотивы последнего были таковы: хорошо бы публично высмеять ошибки историка, «ставящего себя выше всех писателей, называющего и Тацита и Фукидида глупцами, а греков и римлян дикими людьми».

Дмитриев уверен, что Карамзин должен отвечать на резкие атаки Каченовского: «Иначе литература будет раздольем бумагомаракам»; он поощряет к антикритике Батенькова, Жуковского, упрекает их за «робость».

Вяземский еще горячее: «Я вовсе не приверженец самовластных мер; но у нас, где свобода печатания не разрешена, где об актере придворном говорить запрещается... честь [историографа] должна быть ограждена законами от ругательства презренного мерзавца?» Чуть позже: «Каченовский хрипит», его пора «отпендрячить по бокам»¹⁹.

Пушкин сочинит на Каченовского четыре эпиграммы; напомним только:

Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки.

¹⁸ «Русский архив», 1890, № 12, стр. 443.

¹⁹ «Остафьевский архив князей Вяземских», т. I, стр. 115, 197.

Вяземский «выдал» тоже четыре эпиграммы.

Друзья знают, что историограф будет недоволен, всякую защиту в печати «почитая ниже себя», но Вяземский признается, что он в этих вопросах «сын алькорана, а не евангелия» и хочет «за пощечину платить двумя»²⁰.

Взгляд же Карамзина на критику не переменялся: все читать, ни на что не отвечать. Некогда отругиваться — надо работать. Если б это правило легко давалось, если б имелась нужная доза безразличного равнодушия — тогда не было бы никакой проблемы; но и не было бы, наверное, истории...

Немногие особенно близкие собеседники знали, сколько сдавленной нервности таилось под внешней маской благоразумия. Александр Тургенев однажды вдруг слышит, как историк досаждает на холодные разбор в печати, после которых — не бросить ли работу? Наконец по настоянию Дмитриева Карамзин составил целую тетрадь антикритики, услышал, что старый друг очень ею доволен, — и тут же кинул рукопись в камин!

Когда же Каченовский баллотируется в Российскую Академию, Карамзин объявляет, что «критика его весьма поучительна и добросовестна»: он не только сам за него голосует, но (воспользовавшись правом выступать от имени отсутствующих) присоединяет голоса Дмитриева, Жуковского, Оленина.

ГЛАВА III. МОЛОДЫЕ ЯКОБИНЦЫ

Пушкин: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал «Историю» свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что «История Государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

Затем Пушкин кратко сообщает о критике «Истории...» «умным и пылким» Никитой Муравьевым, о требованиях, предъявленных к восьми вышедшим томам декабристом Орловым, о «некоторых остряхах», которые «за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью, — конечно, были очень смешны».

В наше время пушкинские намеки и отсылки почти полностью расшифрованы, проанализированы в работах В. Э. Вацуго, С. С. Ланды и других. Тогда-то и раскрылась впервые серьезнейшая полемика первого историка с первыми революционерами.

Якобинцы — декабристы; Карамзин привез свою «Историю...» в столицу 2 февраля 1816 года. Ровно через неделю, 9 февраля, образовалось первое тайное общество будущих декабристов — «Союз спасения». «Шум, впечатления» от восьми томов разносятся в те месяцы, когда сложился «Союз благоденствия»: двести его членов и сотни сочувствующих все резче задают тон в журналах, гостинных, в армии...

Карамзин — сторонник просвещенного самодержавия, по его мнению, это исторически естественная для России форма правления.

Декабристы — противники самодержавия и рабства. Еще до выхода карамзинских томов они рисуют в своих письмах рядом с именем историографа знак ∇ : г а с и л ь н и к, то есть враг света, свободы.

...«Молодые якобинцы негодовали...»

Отсутствие «исторической философии» (главный научный упрек) декабрист Николай Тургенев объясняет просто: «...автор видел, что рассуждать хорошо трудно, а иногда опасно; и потому молчал»; «хромой Тургенев» решает не посылать такому историку свою книгу «Опыт теории налогов».

Ситуация осложняется еще и тем, что со многими из лидеров тайного союза Карамзин не только близко знаком, но видит их с пеленок, подолгу живет в их домах, встречается чуть ли не каждодневно. Более всего это относится как раз к Нико-

²⁰ «Остафьевский архив князей Вяземских», стр. 219—220.

лаю Тургеневу (с этой семьей тридцать лет дружбы), а также к Никите Муравьеву — сыну того, кто выхлопотал Карамзину должность историографа (или, как объявил о нем слуга в одном доме, графа истории). Именно в 1818—1820-м «левые настроения» очень сильны у Вяземского, Пушкина...

Мы знаем, к примеру, что 16 ноября 1818 года Карамзин целый день проводит в разговорах с Николаем Тургеневым и Луниным, 20 ноября опять с Тургеневым, — и так постоянно.

Именно через посредничество Карамзина Никите Муравьеву передается царское разрешение вернуться из отставки в военную службу. Для тех лет, когда еще не определились, резко не разделялись общественно-политические лагеря, совершенно обычно, к примеру, что на Николин день (в 1819 году) именники Карамзин и Гнедич заезжают к имениннику Гречу и застают у него Николая Бестужева, Розена, Рылеева, Дельвига и Булгарина!

Подвиг честного человека — определяет великий поэт; но разве он хоть на миг сомневается и в честности «молодых якобинцев»? И разве у суровейших левых критиков «Истории...» настороженность не сочетается с восхищением? К тому же сохранились искренние радостные строки Тургенева и Батенькова о разрешении печатать «Историю...», о 60 тысячах отпущенных на это рублей; и кто изытительнее Николая Тургенева издевается над тупыми светскими толками о Карамзине?

Итак, спор честных: явление всегда примечательное и открывающее, как правило, больше истины, нежели ясное противоборство черного и светлого. Прислушаемся же...

Около 1820 года декабрист Никита Муравьев перечитывает «Письма русского путешественника» (переизданные Карамзиным в 1814 году) и делает на полях замечания²¹; к этим замечаниям (даже не зная их) присоединяется Тургенев.

Итак, сопоставим тексты Карамзина и ответы Муравьева...

Карамзин (в Париже 1790 года, о королеве Марии-Антуанетте): «Нельзя, чтобы ее сердце не страдало; но она умеет сокрывать горесть свою, и на светлых глазах ее неприметно ни одного облачка».

Муравьев (на полях): «как все это глупо».

Декабриста не устраивают оценки личных качеств, когда сокрушаются миры, тем более что через три года королеву поведут на эшафот.

Карамзин (о наследном принце): «Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шляп; все с радостью окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. Народ любит еще кровь царскую!»

Муравьев: «от глупости».

В связи же с грядущей расправой над Бурбонами умильная фраза Карамзина о «крови царской» приобретает второй, зловещий смысл (и декабрист, ставя в конце ее восклицательный знак, кажется, это заметил). Тут писатель, кстати, мог бы «перехватить инициативу»: ах вот как, народ любит «кровь царскую» от глупости (темноты, невежества, исторической отсталости), — но могут ли массы быстро поумнеть, перемениться и на что следует рассчитывать — на сегодняшний или завтрашний дух народа?

Карамзин: «Но читал ли [маркиз-революционер] историю Греции и Рима? Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстие гроба для добродетели и — самого злодейства».

Муравьев: «вероятно мораль скверная».

Ответ не очень уверенный, потому что ведь и сам декабрист не хочет вовлекать народ в российскую революцию; но он все же находит скверной мораль, которую настойчиво выводит отсюда Карамзин.

Карамзин: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку».

Подчеркивая последнюю фразу, Никита Муравьев не сдерживается и прямо между строк вписывает — дурак.

²¹ Е. И. Верещагина, «Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на «Письмах русского путешественника» в девятитомном издании «Сочинений» Карамзина 1814 года» (в сборнике «Из коллекции редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета». М. 1981).

Любимому другу дома, «евангелисту арзамасцев» (а «беспокойный Никита» ведь один из них!) — самому Карамзину отвешено дурака!

Впрочем, про себя или в своем кругу сердятся и сильнее...

Муравьев не ограничился грубостью между строк, но еще и на полях откомментировал карамзинское «всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня»: «Турция святыня,— иронизирует декабрист,— и Алжир также».

Назвав два тиранических, рабских режима, Муравьев думает, что опроверг историка. В других сочинениях лидер Северного общества не раз выскажется о гнусности всякого деспотизма. В проекте своей декабристской конституции скажет: «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества: что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства — произвол одного человека, невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и не достойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне законов, вне человечества! Что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идет о других, и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух: или они справедливы — тогда к чему же не хотят и сами подчиняться оным; или они несправедливы — тогда зачем хотят они подчинять им других. Все народы европейские достигают законов и свободы. Более всех их народ русский заслуживает то и другое».

Карамзин же уверен, что общество, государство складываются естественно, закономерно и всегда соответствуют духу народа,— преобразователям нравится или не нравится, а придется с этим считаться. Он не сомневается, что и алжирский, и турецкий, и российский деспотизм — увь! — органичны; эта форма не подойдет француз, шведу — так же как шведское устройство не имеет российской или алжирской почвы. В письме Дмитриеву историк язвит: «Хотят уронить троны, чтобы на их месте навалить кучи журналов». Идеал Карамзина, он не раз повторит,— республика, демократия, но — в будущем, когда страна «просветится». Однажды поведает Дмитриеву: «По чувству останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского; вот противоречие, но только мнимое».

Пока что историк декларирует: «История народа принадлежит царю»; декабристы решительно отвергнут: «История народа принадлежит народу» (позже Пушкин вмешается в спор: «История народа принадлежит поэту»).

В «Письмах русского путешественника» мысль продолжена: «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни».

Муравьев подчеркивает слова «во всяком правлении» и замечает: «Так глупо, что нет и возражений».

Ах, не так уж глупо, даже если не согласиться! Несколько лет спустя Пушкин заставит своего Гринева сказать по-карамзински: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

Революционер, конечно, возмущен «благополучием... при всяком правлении»: а как же миллионы крепостных, двадцатипятилетняя солдатчина, военные поселения, затхлое взяточничество, «неправда в судах»? Не сам ли Карамзин не раз замечает народное ожесточение, надеется на перемены?

Из-за этого всего, как видно, схватились осенью 1818-го умеренный историк и очень левый в то время родич Вяземский; Карамзин чуть позже досылает в письме резюме разговора (которое вполне подойдет и к заочному спору с Никитой Муравьевым): «Мы оба думаем так, как нам думать свойственно. Мысль не дело; а дело будет не по нашим мыслям, а по уставу судьбы. Между тем желаю знать, каким образом вы намерены через или в 10 лет сделать ваших крестьян свободными; научите меня: я готов следовать хорошему примеру, если овцы будут целы и волки сыты. Это и шутка и не шутка»²².

²² Сборник «Старина и новизна». СПб. 1897, ян. 1, стр. 65—66.

Волки сыты, овцы целы; но декабристы вовсе и не стремятся к такой гармонии, готовя охоту на волков!

После подобного же обмена мнениями с Николаем Тургеневым тот записывает (точно как Никита Муравьев): «Не о чем говорить».

Во Франции, пишет «русский путешественник», «...жизнь общественная украшалась цветами приятностей; бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком». «Неправда!» — негодует Муравьев.

Действительно неправда; иначе зачем бы восставать? Иначе и в России мужички благоденствуют.

«Но дерзкие,— продолжает Карамзин,— подняли секиру на священное дерево, говоря: „Мы лучше сделаем!“»

«И лучше сделали»,— вписывает декабрист прямо между книжных строк.

И лучше сделаем, надеются члены тайных обществ.

И хуже будет, пророчествует Карамзин, соглашаясь, что рабство — зло, но быстрая, неестественная отмена его губительна.

Русский путешественник: «Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».

Муравьев подчеркивает слова о бунтовщике, эшафоте и пишет на полях: «Что ничего [не] доказывает».

Поразительное столкновение мнений и судеб. Карамзин, свидетель «роковых минут» великой революции, помнит реки крови, предсказывает новые, заклинает не торопиться, пугает бунтовщиков эшафотом... Никита и не спорит, что, возможно, в перспективе — эшафот, Сибирь. И через четверть века, оканчивая дни в глухом селе Урик близ Иркутска, может быть, и вспомнит карамзинское предсказание, которое, впрочем, ничего не доказывает. Ибо можно, должно и на эшафот и на Тарпейскую скалу, если дело справедливое...

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утешителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

И последняя апелляция Карамзина к естественному ходу истории и времени: «Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению».

Никита Муравьев: «революция была без сомнения в его плане».

Главные слова произнесены.

Карамзин считает то, что есть, естественным, не случайным; и он прав. Да и Муравьев согласен, только он в число естественных обстоятельств включает и саму революцию: французскую, что уже была, и русскую, которая впереди. Если «разумно и действительно» только сущее, то откуда же берутся перемены, кто их делает? Не считает разве сам Карамзин, что 1789—1794 годы закономерны, не признает ли (в письме А. Ф. Малиновскому), что «либерализм сделался болезнью [века]»?

Замечательная черта

Пушкин: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменялся. Скоро Карамзину стало совестно и, прощаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: «Вы сегодня сказали на меня, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили...»

Пушкинская зарисовка замечательна; Карамзин очень симпатичен. Выходит, реакционеры П. Кутузов, Шихматов называли его якобинцем, обстреливали справа; а теперь «молодые якобинцы» зачисляются — в «невежды», сторонники рабства. Пушкин «оспоривал Карамзина» не только явно, но и тайно: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни».

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Поэт уклончиво говорит об авторстве — «мне приписали»; однако сегодня в науке по этому поводу почти нет сомнений.

Притом мы слышим и несколько «любимых парадоксов»: о монархисте сегодня — республиканце завтра, об обязанности порядочного человека суметь сказать все — и не быть повешенным, о праве на любое мнение, в чем он, Карамзин, куда больший свободолобец, чем его молодые противники. Однажды в сердцах заметит: «...те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и в лимфе». А в другой раз восклицает, что «если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь»; то есть Россия не готова, не созрела, надо постепенно внедрять «медленные, но верные, безопасные успехи разума, просвещения, воспитания, добрых нравов». Резкая отмена цензуры выведет наружу черное, сдавленное, рабское и т. п.

Наконец, Пушкин напишет через несколько лет, что сказанное в пользу самодержавия у Карамзина красноречиво опровергнуто «верным рассказом события».

О том, как выходил этот главный парадокс, еще поговорим; пока же повторим, что критика слева была серьезна. К тому же если Николай Михайлович находит доводы и факты против декабристских идей — он, как человек честный, очевидно, обязан одновременно опровергать и самодержавно-крепостническую, аракчеевскую систему, иначе — «рабство предпочитает свободе».

Многое сказать наверху — такая возможность имела!

Близ царя

Двора, дворца Карамзин не любил — «не есмь от мира сего...». «Я не придворный! Историографу естественнее умереть на гряде капустной, им обработанной, нежели на пороге дворца, где я не глупее, но и не умнее других... Мне бывало очень тяжело: но теперь уже легче от привычки. Его уединение — в Царском Селе». Он признавался (все больше Дмитриеву), что ему близ царей бывало очень тяжело; что скучал от необходимости оставлять жену ради приглашения на иллюминацию в связи с бракосочетанием великого князя Николая Павловича; что не может серьезно относиться к придворному трауру, когда разрешаются танцы, но обязательно без музыки; что отказался от почетного придворного предложения написать об умершей благодетельнице великой княгине Екатерине Павловне, так как не видит возможности при том не говорить о себе. Время от времени вдруг замечает охлаждение придворных — «у того я не был с визитом; другому не оказал учтивостей и проч; иной считает меня даже гордецом, хотя я в душе ниже травы». Порою вообще считает, что расстался с двором (и тогда-то особенно тянет в Москву).

Впрочем, царицы Мария Федоровна и особенно Елизавета Алексеевна постоянно приглашают к обеду. В Павловске все замирали за столом, слушая, как вольно, почти без этикета Карамзин беседует с царицей-матерью, например, «о нравственной философии». Жена Александра I читала Карамзину свои дневники, но в некоторых местах «слишком интимного свойства» протягивала историку тетрадь, и он прочитывал молча.

Наиболее интересные отношения — с царем. Александр постоянно любезен, на балах постоянно танцует с Екатериной Андреевной, и Карамзин даже думает, что монарх к ней равнодушен. Чаще всего видятся летом в Царском Селе, где Александр имел обыкновение в семь утра встречаться и прогуливаться с историком, подолгу беседуя в «зеленом кабинете», то есть под деревьями старого парка. Бывало, царь появлялся внезапно: однажды вспугнул стайку арзамасцев, в другой раз — «лицейского Пушкина»...

Царь присматривается к историографу, пытается понять место этого странного человека среди обширного многообразия двора — и не может. А ведь с тайными и действительными тайными советниками, с министрами Александр не может подружиться — никому не верит (только Аракчееву!); с низшими же не может по другой причине: во-первых, тоже не верит, во-вторых, для сближения должно их повысить, а тут — корысть и т. п. Что за дружба?

Карамзин не министр и не мелкий чиновник. Он — между; или скорее в не... Еще и еще раз царь убеждается, постоянно, каждодневно, что этот человек органически правдив и что, в сущности, он нужен царю больше, чем царь ему.

Александр кажется, что вот — второй друг (рядом с Аракчеевым!). Как можно

догадаться, историк говорит смело, но на душевное сближение идет неохотно и уверен, что, соблюдая дистанцию больше, чем хочется самому императору, он свободнее, спокойнее...

Однажды царь поинтересовался, отчего Карамзин решительно ничего не просит, и даже остро намекнул, что «друг человечества» теряет таким образом возможность помочь другим, если уж не желает — самому себе. И Карамзин принял ходатайствовать, да как! Действительный статский советник Рябинин был отставлен из-за каких-то денежных дел. Карамзин ходатайствовал чисто по-карамзински: прямо объявил императору, что сути дела не представляет, с Рябининым незнаком, но Екатерина Андреевна знает этого человека очень давно и утверждает, что он благороден. Царь простил Рябинина — Карамзин же написал Дмитриеву, что «из всех милостей Александровых ко мне — эта есть главная».

Ему удалось устроить Жуковского педагогом при царской семье; по ходатайству Карамзина молодого приятеля Николая Кривцова назначают губернатором в Туле; оказана помощь в устройстве на лучшее место и выхлопотаны средства родному Вяземскому, не менее близкому Александру Тургеневу, беспокойному Никите Муравьеву, юному историку Погодину; не раз придется хлопотать за Пушкина. Не все получалось: ряд близких людей все равно обижен, удален... Но немало и получалось, кое-какие несправедливости пресечены.

И вот отметим известный перекосяк: о спорах историка с «молодыми якобинцами» мы знаем немало, а разговоры с царем едва слышны — это тайна. В результате позиция Карамзина кажется потомкам более односторонней, чем была: нарушено равновесие суждений и доводов, обращенных к обеим сторонам.

Между тем Карамзин толковал с царем обо всем. По его собственному признанию, «не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».

Другого надо бы проверить — Карамзина не надо, скорее наоборот: он столь редко говорит о собственных заслугах, что можно за него и прибавить, тем более что сохранились кое-какие подробности. Вяземский свидетельствует, что, «много оспаривая у Лагарпа, [Карамзин] не сочувствовал крутым мерам Аракчеева» (бывший учитель царя Лагарп — это либеральный, европейский вариант; то есть тут историк говорил, что многое западное для России не подходит, но притом Аракчеев — это Аракчеев). Вообще «два друга» Александра не часто виделись; у историка своя сфера, у Аракчеева своя. Последний, обеспокоенный критицизмом Карамзина, однажды берет его в «образцовое поселение» близ Петербурга, и, конечно же, там не к чему придираться (Карамзин удивляется селениям на месте осушенных болот). Однако во всей поездке историка поразило более всего одно неожиданное обстоятельство: «Я не мог не заметить, что граф сам был в числе недовольных». Очевидно, Аракчеев, чтобы расположить собеседника, говорил о тяжелой жизни крестьян, солдат и о благородной идее облегчения их участи.

Впрочем, в те же дни Карамзин показывает своему секретарю восторженный, по его мнению, отчет Сперанского о военных поселениях и комментирует: «...этот государственный человек, так блистательно начавший и продолжавший свое поприще, взял, наконец, на себя обязанность аракчеевского секретаря».

Искренне, даже шумно радуясь, когда введение того или иного налога придерживается, Карамзин вообще, про себя, кажется, куда больший пессимист, чем в спорах с декабристами. Когда один из ближайших друзей приветствует освобождение прибалтийских крестьян (без земли), историограф охлаждает его пыл, справедливо сомневаясь, что эта реформа — пример для россиян. Намерения Александра он постоянно считает благородными (наверное, сомнения подступали, но Карамзин еще и умел надевать собеседника собственным прямотушием) И так, «царь желает добра», но утверждает, будто «некем взять», то есть мало достойных людей наверху; и тут уж в «зеленом кабинете» звучит много нелестного о знатнейших вельможах, опасливо глядящих издали на эти вольные диспуты и частенько старающихся заискивать перед историком-фаворитом.

Нет, Карамзин, который собирался и умереть республиканцем (то есть сторонником свободного обсуждения главных дел страны многими людьми), не видит

пользы для родной страны в завтрашней конституции, парламенте; он надеется на менее радикальные и более надежные, по его мнению, лекарства — просвещение, литературу, печать; притом и в столь близких ему сферах он побаивается чрезмерных вольностей (при полной отмене цензуры собирается в Константинополь).

Наверное, Карамзин умел защитить перед Александром кое-какую литературу и образованность, но, по всем признакам, Аракчеев, Шишков лучше умели обвинить...

И секретарь Сербинович оставил нам очень сильную запись, открывающую, как переживал Карамзин из-за всего этого: «Без свободы в деле просвещения нельзя быть успеху. Покровительствуя исключительно одну систему, один образ мыслей и воспрещая все другие, нельзя дать правде обнаружиться и защитить себя от возражений тайных. Не стесняя никого, должно дозволить каждому идти своей дорогой, преподавая между тем народу всевозможные средства к образованию».

К тому же общее пессимистическое, усталое расположение царя (передававшееся, конечно, дворцу) выдвинуло на первый план не хорошие книги, статьи, мысли, а истового архимандрита Фотия, разговоры о мистике, загробных чудесах...

Карамзин говорил наверху обо всем; говорил сильно, как и свойственно честному человеку, который вообще — за эту систему и позволяет себе смелую критику именно потому, что за, потому что мечтает об исправлении... Противник же системы, скажем декабрист, так откровенно никогда не станет объясняться, опасаясь, во-первых, слишком себя обнаружить, а во-вторых, не видя проку в том, чтобы уговаривать врага...

Карамзин говорил сильно и налево и направо; слева все больше сердились, возражали, писали меж строк «дурака», справа вежливо выслушивали, улыбались, награждали, пожимали плечами — и все шло своим чередом. В чем историк, впрочем, и не сомневался. Он совсем не был наивен. Все своим чередом, все будет как будет, но и он не станет ни о чем молчать...

Когда царь спрашивает, он отвечает; однажды резко высказывается о том, о чем не спрашивают, и пишет царю: «Ваше величество, у Вас много самолюбия — у меня никакого. Мы равны перед богом... Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не сможет меня лишить». Эта фраза чуть не поссорила их, но Александр стерпел.

Итак, историограф царю нужнее, чем царь ему. Карамзин, человек признанных высоких добродетелей, возвышает царя в собственных глазах, улучшает его репутацию в образованном обществе... К тому же царь мечется, нетверд, подозрителен, а его друг-историк спокоен, открыт, знает, чего хочет. Александр ищет моральной поддержки... И затем продолжает искать ее у Аракчеева.

Но напомним о логике нашего повествования. Обрисовав споры Карамзина с декабристами, мы пытались показать, что он и с царем спорил, толковал обо всем.

Крупнейшим же противовесом тем «любимым парадоксам», которые не нравились «молодым якобинцам», станет следующий, самый трудный и страшный том «Истории Государства Российского» — Россия 1560 — 1584 годов.

Государь «не расположен мешать исторической откровенности», — пишет Карамзин Дмитриеву, — но меня что-то останавливает. Дух времени не есть ли ветер? А ветер переменяется. Вопреки твоему мнению, нельзя писать так, чтобы невозможно было прицепиться. Впрочем, мне еще надобно много писать, чтобы дописать царя Ивана».

На годичном заседании Российской Академии 5 декабря 1818-го историк спокойно мог произнести: «И власть самодержцев имеет свои пределы». Присутствовавший на заседании Александр Тургенев комментирует эпизод Вяземскому: «В Европе это почли бы за общее место, пошлою истиною; у нас верно дерзостию, которую вслух говорить опасно. Со временем это станут цитировать между характеристическими чертами нашего времени, безременного будущего».

(Окончание следует)

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ



САМАЯ ТРУДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

«**Б**удто эти два июля не разделены двадцатью годами. Такие же благодатные дни, пронизанные солнцем, такое же небо в разрозненных торопливых облаках, тот же ветерок, не приносящий пролады... Точно так же грузовик подымает на полевой дороге облако пыли. Но тогда пыль, поднятая гусеницами танков, тягачами и орудиями на прицепе, копытами батарейных лошадей, смешивалась с землей, взметенной снарядами, вполнебосклона стояло пыльное затмение и тусклое солнце уподобляло ясный день вечеру.

Шоссе, бегущее из Курска на юг, перерезает на шестьсот восьмом километре глубокая лощина... Мы бродим по опушке роши, по крутояру, обходим старые воронки и рвы, полужасыпанные землей. На дне их уже растут дубки, акации, дикие яблоньки...»

Корреспонденция «Поле боя» написана на курской земле, опубликована с фотографиями в журнале «Огонек» (1963, № 32). Симонов настоял на подзаголовке «Репортаж бывших фронтовых корреспондентов Евгения Воробьева, Якова Рюмкина, Константина Симонова».

В первых числах июля Симонов сказал мне:

— В нашем распоряжении всего два месяца. Пятого августа праздник. Годовщина первого салюта. Двадцатилетие. А нам пора ехать. На днях ехать. Рассматриваю эту работу как свой солдатский долг. Ты, кажется, согласен со мной? Вот и хорошо!

Симонов старался вырвать из забвения имена многих и многих погибших воинов, с которыми находился рядом в дни орловско-курской битвы.

Поиски шли с весны. Симонов начал их, когда этим, в сущности, еще никто серьезно не занимался. В штабных документах полков, бригад находили списки захороненных, составленные писарями в дни боев под Поньрями. Симонов привлек к работе бывших командира полка И. Ф. Мельникова и заместителя командира бригады И. И. Боднарчука.

Конечно, такая работа не под силу нескольким доброхотам. Но идею поддержали и генералы, и ветераны, и журналисты. «После розысков, шедших несколько месяцев,— читаем в очерке «Поле боя»,— благодаря деятельной помощи Управления кадров Министерства обороны и Курского облвоенкомата были уточнены списки бойцов и офицеров 1023-го полка и 129-й танковой бригады, похороненных под Поньрями. В первом списке 173 фамилии, во втором — 113. Мельников и Боднарчук — один приехал с Поволжья, другой с Украины — увидели на старых пожелтевших листах свои подписи».

По пыльной привокзальной улице, мимо палисадников с незрелыми яблоками бежала простоволосая женщина в железнодорожном кителе, ее обгонял босоногий белоголовый подросток. Они кричали на всю улицу:

— Ходьте до сквера! Константин Симонов приехал! Чекай на мене.. Говорить будет. Все ходите до памятника. Писатели в Поньрях!

Самодетельные гонцы-завывалы бежали и в другую сторону поселка. Группа ветеранов собралась у памятника, стояли в строю пионеры.

Мельников напомнил Симонову о дне, когда школьное здание, где учатся сейчас эти ребята, захватили фашисты. Лишь несколько классов удерживали бойцы батальона Петра Зозулина. Симонов успел до стихийного митинга обойти с Мельниковым вокзал. Вот здесь в билетной кассе сидел с рацией Зозулин, в зале ожидания лежали без глотка воды раненые, в будке «кипяток» краны были сухими. Вспомнили, как до войны в короткие минуты стоянки проходящих поездов гадел, суетился при вокзальный рынок, пассажиры ведрами покупали знаменитую местную антоновку...

К скверу подходили, прибежали запыхавшиеся жители. Приковыляли на костылях, тактично не обгоняя друг друга, два инвалида. Толпились уже и вокруг сквера. В руке Константина Михайловича диктофон, он записывает на пленку выступающих, но перед тем как самому взять слово, диктофон выключил. Отчетливо помню, он говорил об этой братской могиле, где нашли вечный покой несколько тысяч безымянных воинов, сказал, что всех нас привела сюда наша общая беда.

Другой митинг состоялся у подножия памятной ветеранам высоты 254,6, возле безымянного обелиска. На нем значится: «В памяти народной вы будете чтимы в веках». Симонов проговорил эту фразу в диктофон.

Итак, в масштабах одного полка, одной бригады и одной битвы задача решалась успешно.

5 августа 1963 года, когда всенародно отмечалась годовщина победы на орловско-курской дуге, торжественно открыли две мемориальные доски. На одной обнародовали 173 фамилии, на другой — 113. Доски установили у памятника в привокзальном сквере в Поньрях и в селе Никольском возле здания школы. По адресам, найденным в документах двадцатилетней давности, за подписями работника военкомата и Симонова (просьба местных товарищей) были посланы письма родственникам.

Как знать, может быть, именно здесь, в Поньрях, за восемь лет до опубликования зародились пронзительные строки: «А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет... И ставит, ставит обелиски».

Уже были написаны «Солдатами не рождаются». Но автору очень хотелось побывать под Могилевом, проверить приметы местности, описанной в четвертой главе романа «Живые и мертвые». После редактирования, всех корректур провести, так сказать, авторскую рекогносцировку. В будущем (1965) году романы выйдут в «Советском писателе»...

Вот здесь, недалеко от путевой будки железной дороги, под насыпью был врыт блиндажик лейтенанта Михаила Хорышева. Он воевал с забинтованной головой, в сбитой набок пилотке; совсем молодой парнишка. Путевой обходчик сидел на насыпи, закатав до колен штаны, грел на солнце худые, со вздувшимися венами старческие ноги. Хорышев подарил обходчику трофейные сапоги и темно-зеленый мундир немецкого лейтенанта. Заодно и подкормил старика: хлеб, три тараньки, котелок воды...

На обратном пути из лета 1941 года Симонов молчал, но миновав шлагбаум у переезда, вспомнил вслух:

— Хорышев потерял в одном бою половину роты, около тридцати человек. А какие потери понес капитан Тушин под Шенграбенем, помнишь? Не помнишь. У капитана Тушина за час боя из сорока человек прислуги выжили семнадцать. И при этом Тушин, в фигуре которого было что-то совершенно не военное, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении...

Капитан маленького роста Тушин понравился в деле не только Андрею Болконскому. Он был любимцем своих солдат и стал любимым героем Симонова.

Спустя десятилетие Симонов писал:

«Места, где ты был тридцать лет назад, иногда совершенно не узнаешь, а иногда узнаешь сразу... Неподалеку при дороге стоит теперь обелиск с надписью, говорящий о том, как 388-й стрелковый полк в июле 1941 года «с беспримерной стойкостью» отбивал здесь атаки немецких танков. Имен погибших на обелиске нет, да в данном случае вряд ли и возможно было написать их все; 388-й полк лег здесь, в боях за Могилев, почти целиком».

Но были пропавшие без вести, к которым Симонов обращался памятью часто и с волнением. Это список бойцов, сержантов, офицеров 388-го полка Кутепова и артиллеристов, сражавшихся вместе с ним. Всего 22 фамилии, у иных указаны инициалы и должности.

«Само упоминание в блокноте всех этих фамилий говорит о том, что каждый из этих людей совершил тогда, в боях под Могилевом, нечто такое, что, по мнению их прямых начальников, заслуживало быть отмеченным в печати», — читаем мы во фронтовом дневнике «Разные дни войны».

За пять лет до издания дневников Симонова я привез из Белоруссии еще маленький сигнальный экземпляр сборника «Солдатами были все», выпущенного издательством «Беларусь», летопись могилевского сражения.

— Самый дорогой подарок из всех, какие я от тебя получал. — Симонов жадно перелистывал книгу.

Напечатали отрывок из его воспоминаний о 12—14 июля; те дни он провел у деревни Буйничи в полку Кутепова. Заканчивался отрывок словами, не вошедшими позже в дневник: «Кто знает, может быть, кто-то из этих людей все-таки еще отзовется. Это одна из тех надежд, которые, то загораясь, то снова потухая, неотступно сопровождают мою работу».

Надежда то загоралась, то потухала вновь, но не тускнели в памяти эти 22 пропавших без вести. Жила духовная совместимость с этими людьми, близость, привязанность к ним. Если бы я не шагал рядом с Симоновым по буйничскому полю четверть века спустя после боев, я бы не понял, как он предан пожизненно своим однополчанам.

До нашей поездки в Буйничи Симонова не оставляла какая-то непроходящая, стойкая озабоченность. А когда мы вернулись оттуда и он убедился, что его не подвела зрительная и эмоциональная память, что в романе точно воссоздана позиция роты Хорышева, — настроение улучшилось. Это ощущалось все последующие дни, когда мы выступали в частях Белорусского военного округа. В Могилев мы приехали из Минска, дальше дорога лежала в Кричев, в Чаусы.

Симонов хотел побывать на лесной опушке, где когда-то находился штаб фронта. Без труда нашли опушку, побродили, увидели блиндажи, полузасыпанные песком, смутно приметные за молодым сосняком, и Константин Михайлович пожалел, что с нами нет режиссера Столпера, который в эти дни искал, выбирал натуру для фильма «Живые и мертвые».

— А теперь займемся вторым нашим делом, — напомнил мне Симонов после обеда.

Мимо давно парализованной мельнички, бездельно стоявшей у мостика, отправились мы в предместье Заречье, отделенное от города речкой Басей. Речка растеклась по двум протокам; левый называют Переплюшкой, правый — Самоволкой. Нашли в Заречье остатки фундамента того дома, в котором провел детство и юность Лев Маневич. В самом городке на улице Маневича (бывшей Кооперативной) разыскали товарища его юных лет Савелия Давыдова, сына водовоза.

Нужно признаться, что когда мне предложили написать книгу о жизни и деятельности Героя Советского Союза Льва Маневича, я отказался. Сослался, в частности, на то, что никогда не писал о военных разведчиках, детективный жанр мне чужд. Но еще в Москве Симонов посоветовал мне не давать окончательного ответа до поездки в Чаусы.

Вернувшись поздно вечером, почти ночью, с улицы Маневича в нашу неказистую гостиничку, Симонов сказал убежденно:

— Будет безнравственно, если ты откажешься. По твоей вине жизнь героя, ныне рассекреченная, может еще надолго остаться в неизвестности.

После вчерашних пеших прогулок и позднего ужина с жареными грибами и грибными соленьями у Савелия Давыдова встали поздно. Я подошел к окну, увидел толпу ожидающих — пожилые люди в военном, пионеры — и сказал об этом Симонову. Тот брызгался над тазом из рукомойника.

— Разве мы уславливались о встрече? — обеспокоился он, глянув в окно.

— Нет.

— А все же неловко.— Он наскоро вытерся.— Тем более ветераны. Гимнастерки на плечах повыгорали. В кирзовых сапогах. Столько лет прошло, а солдатское обмундирование не сносили. Бэу. Срок носки четверть века.

Симонов торопливо сошел вниз

Непредусмотренная встреча с читателями. Автографы Симонова на книгах, в школьных тетрадах, по слезному настоянию ветерана войны — политрука — на чистой страничке его военного билета. Взлохмаченного, рыжеволосого, сверхобильно веснушчатого парнишку Симонов осчастливил надписью в учебнике химии. Я прочел через плечо: «Химия — великая наука. Жаль, я этого не понимал, когда учился в школе. Не повтори моей ошибки...»

На следующий день, уже далеко от Чауса, нас ждали встречи с танкистами; мы присутствовали на учениях, бывали и застолья. Самочувствие у меня было неважное, давала о себе знать старая контузия, часто кружилась голова. Симонов наблюдал, как я за столом отбояривался от настырных угощателей. Звучали стихи, тосты следовали один за другим, гостеприимство било через край. Рядом со мной всякий раз садился подполковник из политотдела округа. Он внимательно, заботливо ограждал меня от почти принудительных возлияний.

Через три дня мы уезжали, и генерал устроил прощальный ужин. Я выпил свои наркомовские граммы, и мне вдруг захотелось высказаться. В ту минуту мне, чуток подвыпившему, тост мерещился глубокомысленным и остроумным. Однако подполковник, которому я протянул пустой стаканчик, начал осторожно отговаривать:

— Может, хватит? Вы уже приняли, товарищ Воробьев...

— Налейте немного. Хочу на прощанье сказать несколько слов...

— Может, все-таки не стоит, товарищ Воробьев? — Он отодвинул бутылку и с опаской, растерянно посмотрел на Симонова.

Веселую разноголосицу, гомон и суматоху застолья перекрыл громоподобный — иначе не назовешь — хохот. Не слышал, чтобы Симонов так смеялся. С трудом перебарывая смех, объяснял: чтобы уберечь меня от сорокаградусной «демяновой ухи», он загодя провел за моей спиной оперативный инструктаж. И тут же стороживший меня за обедами и ужинами подполковник огласил полученную им три дня назад от Симонова инструкцию:

— «С Воробьевым нужно быть очень осторожным... Стопку водки еще куда ни шло. Но это для него предел. После второй он совсем неуправляем. Мы с ним все наплачемся и горя не оберемся. Отличный товарищ, но крепенько закладывает. Совсем недавно лечили от запоя...»

Когда Александр Столпер готовился к съемке фильма «Живые и мертвые», Симонов, по своему обыкновению, писать сценарий не стал, поручив и доверив это самому режиссеру. Это не значит, что Симонов отстранился и не принимал участия в доводке сценария. Много авторских подсказок, поправок, находок вошло в окончательную редакцию. Столпер говорил мне, что Симонов еще никогда так усердно не работал над текстом. Наступила пора приглашать актеров. И именно этим были заняты автор и режиссер, когда мы втроем прогуливались по Южной аллее дачного поселка в Красной Пахре.

Симонов и Столпер — старые друзья. В дни кратковременного творческого отпуска Симонова, единственного за годы войны, они виделись в «Алма-Ате, куда эвакуировалась киностудия «Мосфильм». Столпер снимал тогда фильм по пьесе Симонова. В повести «Двадцать дней без войны» можно найти выразительный, пластичный портрет Столпера: «...хотя режиссер старается идти быстро, ему это трудно; сильно нагнувшись вперед, закинув руки за широкую, словно надломленную в пояснице спину, он разговаривал на ходу с тем чуть заметным напряжением, с которым люди говорят, когда преодолевают боль».

Симонов на роль Синцова предложил Кирилла Лаврова. Столпер охотно согласился, на днях Лаврова вызовут на кинопробы из Ленинграда.

Значительно труднее было подобрать актера на роль Серпилина. Перебрали несколько фамилий — не то, не то, не то... У мостика, ведущего на Малую аллею, Симонов остановился как вкопанный, сосредоточенно помолчал и неожиданно выпалил:

— А что, если нам попробовать Папанова?

Нужно было видеть в тот момент выражение лица Столпера. Он вообще не очень хорошо слышал и решил, что ослышался... Но Симонов внятно и твердо еще раз произнес фамилию. Столпер растерялся:

— Ты, Костя, серьезно или шутишь?

— Совершенно серьезно. Недавно я видел пьесу Назыма Хикмета «Дамоклов меч». Папанов играл безработного боксера. Неожиданно мне открылась трагическая сторона его комедийного дарования, и я подумал, что он может подойти на роль Серпилина.

— Но при появлении его на экране зрители начнут улыбаться, предвкушая нечто смешное... Легко сказать — сыграть генерала... А хватит ли у него значительности?

— Не в том дело, хватит ли у него генеральской значительности. А дело, Шура, в том, что у Папанова лицо старого солдата. Не знаю его биографии, но даю руку на отсечение, что он был на фронте и хлебнул солдатского лиха Ты понимаешь меня? В свое время, если бы не было Тегина, Папанов вполне мог сыграть «человека с ружьем». Глядя на Папанова, зритель поверит: прежде чем надел генеральскую папаху и галифе с лампасами — наматывал портянки, ходил в кирзачах или ботинках с обмотками.

В то время я работал со Столпером на «Мосфильме», был главным редактором Второго творческого объединения, которым руководил Иван Александрович Пырьев (там и будут снимать фильм «Живые и мертвые») Был близко знаком со Столпером, но никогда не видел его в таком недоумении и веселой растерянности: «Опять ты меня, Костя, разыгрываешь».

Папанова пригласили на кинопробу и по совету Симонова сыграли эпизод — знакомство Серпилина с комиссаром полка Шмаковым (артист Любецкий) Прозвучала реплика о том, что Серпилин незадолго до войны был разжалован, демобилизован и сидел в тюрьме, а позже реабилитирован по всем статьям.

«— Ну вот и окончательно познакомились! — рассмеялся Шмаков радуясь концу напряженного разговора.— А то вдруг кому-нибудь из нас помирать, и вышло бы даже неудобно: не знали бы, какие инициалы в похоронной писать».

— Эх, Сергей Николаевич, брат мой во Христе и в полковой упряжке! — покачал головою Серпилин.— Уметь помирать — это еще не все военное дело, а самое большее — полдела. Чтоб немцы помирали — вот что от нас требуется... Вот вы тут о смерти заговорили, и я вам тоже скажу, чтоб не возвращаться, чтоб вы меня до самых потрохов поняли. Помереть на глазах у всех я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права! Поняли?»

Посмотрели кинопробу, у Симонова и режиссера сомнений не было: вот он, Серпилин!

Позже Симонов признавался, что когда писал роман «Солдатами не рождаются», перед его глазами стоял Папанов с его характерной негероической внешностью, его бытовыми интонациями; они оказались очень сочными и точными в устах генерала. Папанов помог автору сделать образ более пластичным

Чрезвычайно любопытно, как была описана внешность Кутепова во фронтовом дневнике (цитирую по белорусскому сборнику «Солдатами были все»): «Это был высокий, худой человек с очень некрасивым усталым лицом, с ласковыми не то голубыми, не то серыми глазами и доброй детской улыбкой». Можно не сомневаться, что именно внешний облик Папанова побудил автора через пять лет вычеркнуть из текста выделенные мною слова.

Забегая вперед скажу, что спустя годы Симонов в безоговорочном согласии с молодым режиссером Алексеем Германом хотел поручить роль военного корреспондента Лопатина цирковому артисту Юрию Никулину. В этом, конечно, был известный риск. Может быть, Никулин понравился Симонову в отличном фильме «Когда деревья были большими»? Не знаю. Но кандидатуру Юрия Никулина не утвердили, не решились на клоуна надеть майорские погоны Помню. Симонов в сердцах сказал: «Мы еще посмотрим, кто будет лежать на лопатках» — и сломил сопротивление кинодеятелей. Никулин надел очки, мешковатую военную форму, зажил на экране Василием Николаевичем Лопатыным. Можно спорить о частностях, но Симонов считал работу Юрия Никулина чрезвычайно интересной Занятая в этом фильме актриса Лия Ахеджакова сказала в интервью: «Если бы меня спросили, где лучше Юрий Никулин — в «Двадцати днях без войны» или кинокомедиях, я бы затруднилась ответить».

Симонов приступил к заключительному тому трилогии — «Последнему лету». Название прижилось сразу, а вот крестины предыдущего романа затянулись. Первоначальный вариант «Середина войны» не нравился никому и вскоре разодрался самому автору. Роман был окрещен «Солдатами не рождаются», но неожиданно в редакции «Знамени», где рукопись готовили к печати, возникли сомнения. Кому-то в названии померещился пацифизм. Симонов, желая проверить редакторов, а заодно и себя, попросил генерала армии Алексея Семеновича Жадова провести мини-плебисцит среди маршалов и генералов: насколько правильны опасения? Алексей Семенович отнесся к просьбе со всей серьезностью, провел устную анкету и доложил своему зятю: военачальники одобрили название, двусмысленности не нашли, опасения абсурдны.

Симонов уединился на даче и засел за роман «Последнее лето» (1965—1970). В те годы просьба, приглашений приехать и выступить было множество, но Симонов от выступлений отказывался. И лишь когда пришло приглашение заведующей библиотекой Дворца культуры Ярцевского хлопчатобумажного комбината Т. А. Андреевой, писатель дал согласие. Он не решился отказать читателям, а прежде всего читательницам с многострадальной Смоленщины. К тому же Симонов вскоре после войны баллотировался в Ярцевском округе в Верховный Совет СССР.

Почти трехмесячные упорные бои группы генерала Рокоссовского в районе Ярцева и партизанская война в этом крае унесли много жертв. Среди 1150 прядельниц, ткачих, рабочих, служащих, приветствовавших 18 ноября 1971 года Симонова, были вдовы, получившие некогда похоронки, сироты, пришли старые матери, приехали издали смоляне, кровно заинтересованные и близко принимавшие к сердцу творчество любимого ими писателя.

Несколько неожиданным для Симонова было почти единодушное несогласие, острое сожаление читательниц, вызванное гибелью Серпилина, и многочисленные просьбы оставить его в живых. Там эти просьбы прозвучали впервые. Магнитофонная пленка сохранила возражения автора:

— Тут возник такой вопрос, он имеет отношение ко всем трем книгам: почему Серпилин не дожил до конца трилогии? Вопрос для меня очень серьезный, о тяжелом всегда тяжело рассказывать... А для того чтобы рассказать, должен заново пережить. И только когда я заново это переживу, я заставлю читателя пережить вместе со мной. Моя цель — дать почувствовать читателю, какой была война. И если мы в ней вначале терпели поражения, если у нас были тяжелые ошибки, если победа нам досталась столь дорогой ценой, если для победы понадобились невероятные усилия, которых, наверное, никто и нигде, ни один народ на свете не выдержал бы,— так об этом же надо рассказать. Все, что я скажу, имеет отношение и к внутренней необходимости для меня распрощаться с Серпилиным. В первом романе он не был главным героем, оставался для автора второстепенным, но постепенно становился все крупнее и крупнее, и к концу работы в нем заключалась душа книги. Ну оставил бы я в живых Серпилина. Но как мне было дать почувствовать читателю, что мы потеряли на войне двадцать миллионов человек, что в каждом доме у нас помнят об этих потерях, что нет таких семей, где не живут отзвуки войны? Самый дорогой или один из самых дорогих людей ушел из каждой семьи. Как вот это мне дать почувствовать, не называя цифры двадцать миллионов? Я же не историю пишу, не публицистическую статью. Значит, я должен расстаться в книге с самым дорогим мне человеком, его жизнью заплатить за победу. Я Серпилина оживить не могу. Хотел бы, но это невозможно. Если вы на меня сердитесь, значит, верите, что он убит, а если верите, что убит, как же я могу его оживить?..

Симонов уже ответил на записки, пришедшие из зала, на все устные вопросы, но и после того как конференция закрылась, он долго стоял за кулисами сцены, окруженный ткачихами. Они не могли примириться с гибелью так полюбившегося им Серпилина!

Не забыть мне, как Симонов утешал бывшую партизанку. Словно у нее случилось непоправимое несчастье и она, потеряв близкого человека, безутешна. Автор, отказавшийся воскресить Серпилина, по-сыновьи нежно положил ей руку на худое плечо. Ткачиха провела по лицу уголком неспящего платка, наскоро вытерла слезы, наворачившиеся на большие, в притемненных впадинах, давно выплаканные глаза...

Не только распорядок дня, не только образ жизни, но даже какие-то привычки, можно сказать, сам характер Симонова менялся по мере того, как он вживался в новую книгу. Впрочем, может быть, характер оставался неизменным и подобная эволюция таилась в его неистовой требовательности к самому себе, в его вдохновенной целеустремленности? Чем ближе, интимнее он знакомился с персонажами будущей книги, тем решительнее отрешался от окололитературной сутолоки, от будничных хлопот и забот, тем больше бывал одержим своими замыслами, записями, рукописью, предчувствием романа или повести.

Помню зимние месяцы «великого сидения» за письменным столом. Симонов изо дня в день с раннего утра до позднего вечера работал самозабвенно, иступленно, ненасытно. К телефону не подходил. Из-за тяжелой двойной двери смутно слышалось, как он глуховатым, усталым голосом наговаривал в магнитофон. А если Симонов правил, переписывал набело уже расшифрованные записи, за дверью было тихо-тихо. Пересуды о том, что он свою прозу не писал, а диктовал, — зряшные. Я не раз видел листы исчерканной рукописи Симонова после очередной правки, безжалостно перекоженные стенограммы того, что он рассказывал будущему читателю, опираясь на свою блистательную, цепкую память. Он вел многочасовые диалоги с героями книг и пьес, психологические поединки с ними.

В разгар работы над пьесой «Четвертый» Симонов обмолвился за ужином, что за весь день к столу вообще не присел — мерил шагами кабинет, включал-выключал диктофон. Все реплики действующих лиц многократно произносил вслух.

— Разговорная интонация, если ее удастся точно найти, услышать, формирует, лепит фразу, делает ее более выразительной. И жестов не следует стесняться — пластичнее воображать себе персонаж. Иногда я мечусь из угла в угол кабинета, как по сцене — от одного действующего лица к другому. Хочется избежать унылой похожести реплик в диалогах, ссорах, нравственных дуэлях, драках между ними.

Прежде чем написать пьесу, Симонову необходимо выговорить, вышагать ее, отмахать рукой с зажатой в ней трубкой.

В конце 60-х годов — зима запомнилась жестокими стойкими морозами — мы делились ежедневно еще и потому, что Симонов взял меня, жившего тогда одиноко в соседней даче, на котловое довольствие (по его выражению), и я дней десять — двенадцать подряд обедал у него. Он заканчивал «Последнее лето», а я корпел над своей «Землей, до востребования».

В тот продрогший день Симонов уже просидел около шести часов за столом перед незрячим, покрытым толстым слоем инея окном во всю стену. Изрядно устал и потому затеял за обедом назидательный разговор о том, что необходимо устраивать перерывы в работе.

— Хотя бы два круга на своих на двоих вокруг квартала — и снова к столу... Говорилось так, будто он сам строго придерживается этого правила, а я не уразумел, как это полезно при таком творческом напряжении.

— Давай сегодня наденем валенки, овчинные полушубки и прошвырнемся по морозцу в конце рабочего дня. Согласен?

— Конечно. Когда за тобой зайти? Часов в шесть, в половине седьмого?

— Это, пожалуй, будет рановато. Понимаешь, старик... Хочу сегодня главу закончить.

— Тогда, может, в восемь, в половине девятого?

— Согласен... — произнес он в нерешительности, с плохо скрытым оттенком сожаления. — Впрочем, пожалуй, удобнее всего будет часов в десять. А лучше — знаешь? В половине одиннадцатого! Я сам зайду за тобой. Пройтись по морозцу перед сном тоже очень полезно...

Затворником Симонову стать не удалось — ему время от времени приходилось наведываться в Москву по неотложным делам и надобностям.

Еще в молодые годы он научился водить машину. Но после войны забыл о своих водительских правах, как объяснил мне, ради экономии времени. Я не встречал людей, кто умел бы лучше его дорожить своим и, кстати сказать, чужим временем. Едучи ли на дачу, с дачи, колеся по городу, Симонов нередко брал лежавшую на сиденье или у заднего стекла алюминиевую доску с зажимом для бумаг — какое-то подобие портативного шопитра. Он читал почту или, если дорога позволяла и не слишком трясло, на ходу делал пометки, строчил ответы.

Почта его была весьма обильна и разнообразна. Помимо писем от читателей, ветеранов войны, начинающих поэтов, писателей, к нему обращались со всякими просьбами, в том числе вздорными, анекдотичными. Один просил оплатить его пай в жилищном кооперативе, другая хотела сыграть главную роль в фильме по его сценарию, какая-то девица жаждала исповедаться наедине, кто-то, пребывая в длительном запое, требовал выслать ему телеграфом сотню рублей и последний сборник стихов. Симонов очень страдал от всевозможных беспокойщиков (так однажды назвал назойливых и настырных просителей Антон Павлович Чехов), но в меру сил отвечал всем. Нехватка времени, но неиссякаемый запас вежливости, такта и терпения...

В машине он просматривал также материалы присылаемые из Бюро газетных вырезов, листал журналы, прочитывал рецензии, публикации, откладывал иные газеты, журналы для чтения на сон грядущий. В подобных поездках с дачи или из Москвы на дачу мы теряли его как собеседника; пассажиры, если они были, ехали молча.

И осенью страда «Последнего лета» не кончилась... Изредка семейство отправлялось в дальний лес. Это называлось «за кислородом и за грибами». Разбирался Симонов в грибах неважно, за что ему в одну из дальних прогулок присвоили ученую степень кандидата мухоморных наук.

На иных полянах, лесных опушках Симонов замедлял шаг, останавливался, нарочно отставал от спутников, доставал из кармана куртки диктофон и что-то наговаривал. Он гулял по лесу пропахшему палыми листьями и грибами, неразлучный со своей компанией: с Серпилиным, маленькой докторшей, генералом Львовым, Синцовым. Такие прогулки Симонов называл активным отдыхом.

Я пытался оспорить формулу «активный отдых»:

— Какой же это отдых? Та же работа. Только не за письменным столом.

Неосторожно добавил, что любой портативный диктофон, когда его все время включают-выключают, опасаясь оборвать нить повествования, становится тяжелым...

— Какая в нем тяжесть? — Симонов демонстративно подержал диктофон на ладони вытянутой руки притворяясь непонятливым. — Вот у художника Фалька жизнь потруднее моей. Эренбург рассказывал об этом кудеснике. С рассветом надеет рабочую блузу, навьючит на себя мольберт, ящик с красками, складной стул — и в лес или в поле. А после обеда короткого отдыха Фальк садится за второй холст и ловит предвечернее освещение. Надеюсь, чувство внутреннего такта подсказало тебе, насколько необоснованны все придирки к моему активному отдыху при дневном освещении...

В 1966 году Симонов был участником большого кинематографического форума в Москве. Присутствие обязательно, а слушать подряд все речи ему не хотелось. Сидел в президиуме, не внимая чьим-то пустопорожним словам, и — я видел из зала — держал перед собой блокнот и что-то записывал. В перерыве, когда мы прогуливались по фойе, он, заговорщики улыбнувшись, признался:

— Вчера форум прошел успешно. На вечернем заседании перевел четыре эпитафии Киплинга. Силен старик Редьярд, ох силен!.. А вот сегодня работа застопорилась. Всего две эпитафии. Может после перерыва дело пойдет успешнее. Если, конечно, не будет серьезного разговора о художестве, о киноискусстве.

В следующем перерыве Симонов отчитался:

— Мне помог один маститый балаболка. Под его речь перевел еще одну эпитафию.

Он бывал доволен, как озорник мальчишка, когда ему удавалось остановить ручеек быстротекущего времени, чтобы время бесследно, бездельно не просачивалось сквозь пальцы.

В конце лета 1973 года Симонов вместе с Ларисой Алексеевной отправился из Гульрипши в Краснодар. В местном музее хранятся малоизвестные работы художника Малевича и материалы о нем, необходимые для монографии, которую писала Л. А. Жадова, кандидат искусствоведения. В путешествие отправились на «Волге».

— Дорога сильно утомила? — спросил я, когда мы увиделись в Москве.

— Дорога как дорога.

— Помнится, после Новороссийска крутые подъемы, спуски у станции Тоннельная.

— Разве? Откровенно говоря, не заметил. Особенно любоваться пейзажами было некогда.

В словах его прослушивалась та лукавая интонация, за которой почти безошибочно я угадывал желание огорошить меня. Посмеяться над моей недогадливостью, о самом существенном упомянуть как бы между прочим. Дескать, сам не придает этой мелочи большого значения, а если великодушно делится ею, то лишь для того, чтобы унять мое преувеличенное любопытство.

— Некогда? А чем был занят?

— Чтобы не слишком уставать в дороге, переводил попутно Галактиона Табидзе. Могучие поэты Тициан и Галактион!

— И много успел?

— Трудный вопрос. Чем измерять работу переводчика? Если с точки зрения касира — успел совсем немного. Но худо-бедно — пять стихотворений...

И я вспомнил запись Симонова во фронтовом дневнике, где он рассказал, как «без отлучки от колес» сочинял «Корреспондентскую застольную». Ехал в открытом «виллисе», сидел, закутавшись в бурку, на холодном ветру неохота даже вытянуть руку. И он бубнил себе под нос, сочинял, а потом зубрил только что сочиненные строфы, чтобы закрепить в памяти все, начиная с первой. Водитель решил, что подполковник тронулся умом — всю дорогу громко разговаривал сам с собой. — и по приезде сигнализировал об этом в санчасть штаба фронта.

Тридцать лет отделяют «Корреспондентскую застольную» от впервые зазвучавших по-русски пяти стихотворений Галактиона Табидзе. Сколько же сотен, тысяч часов транзитного труда осталось за спиной Симонова на проселочных шоссе-ных дорогах, железнодорожных, морских и воздушных путях!

За два последних десятилетия я был частым свидетелем того, как Симонов успешно спрессовывал, сгущал свое время, но запомнился лишь один разговор на эту тему.

— Эх, поспешил господь бог, когда выделил нам на сутки только двадцать четыре часа. Не надо было скаредничать! Что ему стоило добавить еще несколько часов, — вздохнул Симонов, итожа наш разговор. — В твоей пухлой книге «Земля, до востребования» мне все же удалось выудить одну хорошую фразу про время, которое стремительно убегает от нас даже тогда, когда мы держим свои часы на цепочке... Тем более преступно транжирить время. Будто его у нас навалом невпроворот. Разве прожигать жизнь — только кутить в ресторанах? Прислушайся: «неплохо убили время». Будто время — какое-то бремя, обуза, непосильная ноша. Или вдумайся в слово «времяпрепровождение». Я всегда, еще с юности, боялся этого страшного слова. — И он проскандировал: — Вре-мя-пре-про-вож-де-ние!..

От площади Маяковского в Москве до Могилева мы доехали в «рафике» киностудии. Ехали со съемочной группой фильма «Шел солдат...». От «Волги» Симонов отказался.

2 июля 1974 года, спустя десять лет после первой совместной поездки, мы вновь шагали в Буйничихах по полю, о котором автор фильма скажет с экрана зрителю: «Одному человеку этот мирный пейзаж ничего не говорит, а для других — это поле боя... Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть кусок земли, которой мне век не забыть, — поле под Могилевом, где я впервые видел в июле сорок первого, как наши сожгли тридцать девять немецких танков...»

Шагая по этому полю, Симонов вдруг остановился и произнес:

— Может быть, я только потому и остался в живых, что тринадцатого июля половина роты Хорышева и сам лейтенант полегли здесь...

Огромную усталость, а одновременно много творческой радости, упоения работой принес автору фильм «Шел солдат...» (режиссер М. Бабака). Экран во весь голос рассказал о солдатском житье-бытье на переднем крае, о солдатских горестях и маленьких радостях в минуты передышки между боями.

Тогда же Симонов обратился к нравственному и боевому солдатскому опыту и в течение нескольких лет провел 70 дотошных интервью с полными кавалерами ордена Славы. Опасался, как бы бесценный фронтовой клад не остался втуне, дожидаясь и не дождавшись своего слушателя и тем более читателя. «Не быть у времени в долгу!»

20 апреля 1976 года Симонов пригласил друзей на просмотр телефильма об Александре Твардовском. Режиссер Дмитрий Чуковский свел в этом фильме артиста Ми-

хаила Ульянова и поэта Константина Симонова. Впрочем, идея этого дуэта принадлежала Симонову. Талантливейшее чтение стихов Ульяновым часто проецировалось на лицо Симонова, снятое крупным планом. У зрителя-слушателя телефильма надолго остались в памяти «Перевозчик-водогребщик», отрывок из стихотворения «Я убит подо Ржевом», много других прекрасных строк. Не забыть страдальческих и восхищенных глаз Симонова, который внимал тещу Ульянову; оба были потрясены поэтической силой Твардовского.

Одновременно со съемками фильма «Александр Твардовский» шла трудоемкая подготовка к изданию двухтомника «Разные дни войны». Симонов вернулся к своим фронтовым дневникам, ширилась переписка с ветеранами, участились поездки в Подольский военный архив, во фронтовых событиях многое уточнялось, дополнялось, исправлялось.

Публикация дневников и съемки шести (за полтора года!) телевизионных фильмов из серии «Солдатские мемуары» были сопряжены с изнурительной работой.

По просьбе Симонова в фильме «Пехота есть пехота» Булат Окуджава, сам хлебнувший окопного лиха, проникновенно исполнил новую песню «А мы с тобой, брат, из пехоты». Помню, Окуджава стеснялся, отказывался сниматься, а Симонов уприсил его. Брала за душу не только мелодия. В песне, как и во всем фильме, звучала доверительная, братская, но при этом далекая от панибратства интонация фронтовика.

Подробные рассказы полных кавалеров ордена Славы и несколько тысяч читательских писем — это шесть-семь тысяч страниц на машинке. Но разве только листажом стенограмм, метражом киноплёнки и магнитофонных записей измеряется труд в эти годы Симонова, ревностного летописца войны?!

Зимой 1977/78 года шли съемки документального фильма о Михаиле Булгакове, его также делал Дмитрий Чуковский, с которым Симонов творчески сроднился.

Поздним зимним вечером, близко к полуночи, Симонов, продолжая править свою рукопись, сказал крайне устало, что рано-рано утром его будут ждать на киностудии.

— Приходится работать и при утреннем освещении. Знаешь, как Фальк рисовал букет? Не отрываясь. Пока цветы не увянут и не поблекнут краски.

Я осмелился заметить, что все краски потускнеют, если работать на износ, перебивая чрезмерную усталость.

— Ты у нас верхолаз человеческих душ, много строек объездил,— сказал Симонов колюче, раздраженно.— Допускаю, можешь объяснить, что такое усталость металла. Но, к сожалению, ошибочно судишь об усталости человека при исполнении им своего долга.

— Неосторожное обращение с самим собой. Неугомонный мученик! Сверхурочный подвижник! Чувствуешь себя скверно, а работаешь под высоковольтным творческим напряжением. Это жизнеопасно. Ты к себе безжалостен, Костя.

Обычно ироничный, уклоняющийся от подобных разговоров, на этот раз он заговорил в несвойственной ему манере, облизавшись:

— Безжалостным можно быть к кому-либо или к чему-либо. Но к самому себе? Какая может быть жалость к самому себе, если речь идет о нравственном долге? — Он закашлялся.— Ты забыл, что я председатель комиссий по литературному наследию и Твардовского и Булгакова. Мои обязанности не исчерпываются тем, чтобы сочинить воспоминания для сборника, который прочтает узкий круг родных и знакомых. Я не могу отказаться от телетрибуны перед многомиллионной аудиторией. Надо, чтобы люди знали, какое они получили богатое наследство! Своим безжалостным разговором ты лишь,— он никак не мог откашляться,— вызвал у меня сожаление, что я не сделал такого же фильма о Назыме Хикмете. Обязан был сделать как председатель комиссии и по его наследию! А ты разглагольствуешь о жалости...

Еще до ноября семьдесят восьмого года, когда фильм был показан впервые по телевидению, Симонов рассказал мне о последней прогулке Михаила Афанасьевича, безнадежно больного, с женой. Разговор — его можно назвать предсмертным — касался того, как Елене Сергеевне вернее, надежнее сберечь рукопись романа «Мастер и Маргарита». Булгаков считал роман своей главной книгой.

Симонов хотел убедить в этом и телезрителей; они всмотрелись на экране в рукопись восьмой главы романа, помеченной «30.X.34». В верхнем правом углу заглавного листа сохранилось воззвание Булгакова к самому себе: «Дописать раньше, чем

умереть!» Прочитав эту надпись, автор фильма Симонов обратил наше внимание на то, что слово «умереть» Булгаков подчеркнул.

Всего сорок девять лет прожил Булгаков. Однажды Симонов, забыв о моем присутствии или отрешась от меня, погруженный в себя, вслух прикинул:

— Доживи я только до этого возраста, не успел бы даже написать «Последнее лето».

А я ужаснулся мысли, что никогда не прочитал бы дневник «Разные дни войны», две последние повести Лопатина и многое другое, без чего мне и сегодня трудно было бы представить свою жизнь на склоне лет.

Рассказ об отчаянной перегруженности Симонова останется неполным, если умолчать о том, что он готовился к изданию десятитомного собрания сочинений. Напряженного труда потребовал первый том. Никогда еще ни один сборник его стихов, избранных переводов не был столь полным и одновременно столь строгим по отбору. Симонов подарил мне абонемент на собрание сочинений и первый том с надписью на титуле: «Дорогому Жене Воробьеву 1/10 моих сочинений и всю наличную любовь! Твой К. С. 12.IV.79».

Он очутился в трагическом цейтноте, «в узком промежутке», понимал, что не увидит всех томов своего сочинения. Что может быть горше для писателя? И работал не покладая рук, пытался сделать максимум того, что хотел и что мог. Увидел Симонов лишь первый свой том — «Стихотворения. Поэмы. Вольные переводы», одну десятую своих сочинений... В этом томе впервые опубликован перевод эпитафии Редьярда Киплинга «Просьба»: «Заканчивая путь земной, всем сплетникам напомним я: так или иначе, со мной еще вы встретитесь, друзья! Я вам оставляю столько книг, что после смерти обо мне не лучше ль спрашивать у них, чем лезть с вопросами к родне!»

Перелистывая теперь книгу, я уверился, что эпитафия «Просьба» не случайно напечатана на последней странице.

У Симонова не найти образа фронтового солдата, равноценного Василию Теркину по масштабу, эмоциональной и психологической глубине. Но несправедливы упреки некоторых критиков, которые, желая уколоть побольнее, называли Симонова офицерским писателем.

Всю войну писатель служил специальным корреспондентом центрального органа армии «Красная звезда». Оперативному, бесстрашному спецкору Симонову поручалось освещение самых значительных, ключевых событий войны, его командировали на горячие участки. Представьте себе разочарование, даже недоумение читателей «Красной звезды», если бы газета осталась без материалов Симонова об обороне Одессы, о Сталинградской битве, об орловско-курской дуге, о переходе наших войск через границу, о подписании фельдмаршалом Кейтелем акта о капитуляции в Карлсборсте.

Да, у Симонова нет книги, где рядовой по званию может быть назван главным героем. Но каждый рассказ, каждая повесть, каждый роман полон почтительного внимания, сочувствия к многотрудной солдатской судьбе, полон скрытого восхищения неброской солдатской храбростью, выносливостью его духа и тела, его мудрой окопной сноровкой и нравственным богатством.

Только тот фронтовик имеет моральное право писать о солдатской доблести, кто сам не раз смотрел «в глаза опасности глазами смелости»... Специальный корреспондент Константин Симонов, никем и ничем не понуждаемый кроме как своей честью и воинским достоинством, отправлялся с матросами в разведку в тыл врага на полуостров Рыбачий, плавал во вражескую Констанцу на подводной лодке, ходил в атаку на Арабатской стрелке на Сиваше, высаживался вслед за нашим десантом в Феодосии, не раз переправлялся через нагретую осколками Волгу в пылающий, грохочущий, рушащийся Сталинград. Если вспомнить, в каких передрягах побывал спецкор К. Симонов и при этом остался жив,— его можно назвать баловнем судьбы.

Он рассказывал редактору «Красной звезды» генералу Д. И. Ортенбергу: «Мне пришлось в эту поездку быть в таком переплете, когда много испытываешь на своей шкуре: и прицельный огонь по тебе, и ощущение человека, идущего в атаку, и ощущение человека, которого поднимают, когда он залег, и ощущение человека, который уже сам после этого поднимает других. Все это мне потом помогало и беседовать с людьми, и давать более достоверно в очерках какие-то черточки психологии солдат и офицеров, оказавшихся в сложных боевых обстоятельствах».

Не только в очерках, добавлю я, но в главах каждой новой книги Симонова ставилось все больше окопных подробностей, крупниц солдатской психологии.

Присмотримся пристальнее к образам офицеров, генералов, живущих на страницах Симонова, и мы заметим характерную эволюцию авторских симпатий к ним и критериев в оценке командирского авторитета, всего поведения на войне. Справедливо сказать, что образы Артемьева и Синцова, с которыми мы познакомимся в «Товарищ по оружию», поблекли (отчасти потому, что эти два персонажа дублировали в чем-то друг друга), а образы офицеров, генералов с солдатской закалкой и закваской оказались более полнокровными, живучими. В офицере, завоевавшем симпатии автора, почти всегда можно обнаружить солдатскую сердцевину.

Автору небезразлично, что заместитель командира полка Чугунов «не хотел носить офицерской шинели с отворотами. И погоны нашивал и перешивал все на ту же, солдатскую... И капитанские, и майорские. Говорил: на крючках удобнее! Рассчитывал до конца войны ее доносить...»

Эта подробность обязана появлением в «Последнем лете» Ивану Федотовичу Мельникову, который в дни операции «Багратион» командовал полком. Познакомились мы еще на фронте — поехал к нему, прослышав такое: когда полк делал марш-бросок, Мельников слезал с кобылы Лысухи и топал во главе полка с матушкой пехотой. Мельников заинтересовал Симонова своим солдатским нутром, благородным демократизмом. Сочиняя роман, Симонов обстоятельно беседовал с Мельниковым. Судя по длине пленки, беседа продолжалась три с половиной часа. В расшифрованной стенограмме Мельникова можно прочесть: «За всю фронтовую жизнь я не имел офицерской шинели. Не любил. По ночам лазал по переднему краю, в солдатской шинели все подогнано, застежки на крючках, ползешь — прекрасно. А у офицерской лацканы мешают. Да и пуговицы — сразу видно кто».

Наиболее острые моральные конфликты связаны у Серпилина с пониманием солдатского долга, с его неприятием трусости, безнравственного поведения. Вспомним негодование комбрига Серпилина, отказавшего паникеру и дезертиру Баранову в своем сочувствии и прощении («Живые и мертвые»). Вспомним поведение генерала Серпилина, который отказался штурмовать без должной подготовки населенный пункт Грачи («Солдатами не рождаются»). В те минуты он подвергал опасности не только свою служебную репутацию — жизнь! Но при первой же возможности Серпилин взял штурмом деревню Грачи, избежав лишних жертв. Вспомним, наконец, день, когда командарм Серпилин («Последнее лето») вызвал к себе солдата Никулина, отданного под военный трибунал. Солдату угрожал расстрел за нечаянное убийство им офицера на учениях. Серпилин взял на себя огромную ответственность, вызволил неудачника и отправил на передовую, исповедуя при этом и строгость и справедливость.

Одну из последних бесед с Симоновым провел литературный критик В. А. Косолапов по просьбе издательства «Книга». Симонов был очень откровенен:

«Бывают и такие читательские письма и выступления на читательских конференциях, которые подталкивают писателя на активные действия. Заставляют его поразмыслить. Поершиться сначала, может быть, но потом поразмыслить над сутью сказанного. Меня, например, в ряде случаев упрекали на читательских конференциях и в письмах в том, что я больше пишу офицеров, чем солдат. Подчас выражали это даже в более резкой форме, иногда и в статьях. что я, дескать, офицерский писатель и так далее. Проанализировав, посмотрев, что я написал, в общем, можно найти долю истины в этих упреках..

Я где-то затаил это недовольство собой, и отчасти именно оно меня подтолкнуло: что я не сделал в прозе, сделать в кино. Сделать фильм «Шел солдат...». Сделать целую серию телевизионных фильмов «Солдатские мемуары». Вот сейчас, если мне кто-нибудь скажет, что я офицерский писатель я отвечу что мы можем поспорить!.. После нескольких лет работы над этими фильмами я знаю войну сейчас лучше, чем знал ее в день окончания».

Было бы несправедливо умолчать о том, что Симонову удалось вылепить интереснейшие фигуры военачальников. чьи характеры проявились не только во взаимоотношениях с подчиненными (включая порученца и ординарца), но и во всеоружии глубокой стратегической мысли. Сколько уже перелистано военных книг, где командиры, командиры, члены военных советов комиссары фигурируют как принудительный антураж. Существует неписаное, но принятое иными писателями к исполнению обязатель-

ное «штатное расписание», согласно которому несколько действующих лиц романа разгуливают в брюках с лампасами и в генеральских папахах. Заслуга Симонова как романиста в том, что конфликты, которые приходится решать персонажу в высоких чинах, лежат на стратегической глубине.

Погожим летним днем 1966 года на даче Г. К. Жукова шли съемки документального фильма «Если дорог тебе твой дом». Киноинтервью у маршала брали Симонов и редактор «Военно-исторического журнала» консультант фильма генерал Н. Г. Павленко.

Много неожиданных фактов, острых эпизодов — четверть века хранились они в памяти — ожило в рассказе маршала. Проблескивали неизвестные нам драгоценные подробности, касающиеся дней и ночей трагического октября и зимы 1941/42 года на Западном фронте. Маршал, генерал и полковник запаса обсуждали и вопросы военной стратегии. Содержательность беседы была обусловлена не только нашим высоким уважением к хозяину. Откровенность, значительность разговора объяснялись и тем, что Георгию Константиновичу был чрезвычайно интересен, симпатичен Константин Михайлович как собеседник, любящий и знающий военную историю. Познакомились они еще на Халхин-Голе, не раз встречались на фронтах Отечественной войны, встретились и 8 мая 1945 года в Карлсхорсте, когда капитулировал германский вермахт.

Я не принимал участия в обсуждении масштабных фронтовых проблем, но иногда, как старожил фронта, набирался смелости и подсказывал даты боев, названия географических пунктов, фамилии командиров. Мне довелось видеть Жукова на рубеже августа — сентября 1941 года. Это было на дальних подступах к Ельне в штабе полка, которым командовал Батраков (107-я стрелковая дивизия). Был и очевидцем боя за освобождение селения Угодский Завод, той же фронтовой зимой рассказал некоторые подробности уроженцу тех мест Г. К. Жукову.

Наша беседа касалась не одного Западного фронта, вспоминались и далекие от Подмосковья разные разности, начиная со стародавней службы Жукова в кавалерии под командованием Рокоссовского, когда они, бывало, соперничали в Ленинграде в конкур-ипшиках, в турнирах по фехтованию. Рассказал Жуков и о своем прилете осенью 1941 года в Ленинград, где он сменил Ворошилова, о драматических событиях тех дней, об их тогдашних спорах и разногласиях, о стратегических планах обороны города.

Стенограмму киноинтервью с Г. К. Жуковым и все, что засняли операторы, увезли в громоздком тонвагене на «Мосфильм». Но сколько любопытного прозвучало в кабинете маршала до съемки, в минуты технических заминок, после съемки!

Возвращаясь в город, Симонов не отрывался от своей портативной алюминиевой доски. Зачем перегружать память и всецело ей доверяться, если можно записать немедленно, не откладывая на поздний вечер. Я вслух вспоминал фразы Жукова, а Симонов, продолжая писать, одобрительно кивал своей контуженной головой:

— Ухо хорошо, а два лучше...

Выступления Симонова я слышал в Москве, Минске, Ленинграде, Курске, Могилеве, Поньрях, Смоленске, Чаусах, Бресте, Рязани, Ярцеве, Зембине, Кричеве и других местах. Не раз приходилось выступать вместе с ним. Бывал на поэтических вечерах Симонова, когда аудитория накалялась до температуры всеобщего восторга; не забыть его поэтических вечеров в Бресте, Курске, в Центральном доме работников искусств.

На городском активе в Курске Симонов читал стихотворение «Если бог нас своим могуществом...». Впервые на моей памяти он запнулся, перепутал очередность строк. И нужно было слышать, как зал стоило с громогласным наслаждением проскандировал строчки: «Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой, самой малой малости на земле бы не бросил я...» Симонов признался после вечера, что его взволновало это синхронное сочувствие.

Не помню случая, чтобы Симонов, прочитав впервые какую-нибудь мою рукопись, похвалил ее. Если нравилось, в ходу были два слова скупой похвалы: «годится» или «получилось» — высшая мера одобрения чего-то, сделанного мною. Щедрее оценивал мои выступления перед читателями, иногда даже не скупился на комплименты.

В феврале 1978 года Симонов проводил в Минске заседание совета по очерку и публицистике Союза писателей СССР, обсуждалась военно-патриотическая тема.

Совет завершил работу дневным заседанием, а вечером предполагалось выступление группы писателей в большом зале окружного Дома офицеров.

Перед обедом мы спустились в вестибюль гостиницы «Минск». Симонова поджидала группа офицеров и суворовцев — делегация из училища. Товарищи упрашивали Симонова поехать к ним. Жаль, времени в обрез, через два с половиной часа ему надо быть в Доме офицеров. Но суворовское училище совсем близко, машина ждет у подъезда, она же отвезет после встречи. Отказать суворовцам? У Симонова просто язык не поворачивался, за много лет я не помнил такого случая.

— Ну что ж, — вздохнул он, — считайте, что уговорили. Вот мы вдвоем с товарищем Воробьевым к вам и поедем.

Я уже подготовился к вечеру в Доме офицеров. Перед Симоновым извинюсь, подумал я, что он несколько минут будет вынужден вечером слушать меня повторно.

Напомнил суворовцам слова Хемингуэя, посвященные американцам, павшим в Испании: «Весной мертвые почувствуют, что земля оживает... Мертвые стали частицей испанской земли, а испанская земля никогда не умрет... Те, что достойно сошли с нее... уже достигли бессмертия».

С Хемингуэем, сквозь годы мчась, перекликается Александр Твардовский в гениальном стихотворении «Я убит подо Ржевом». Разве убитый боец, обративший к нам свою надежду, веру и тревогу, не остается нашим современником? Не чувствует себя частицей русской земли, не чувствует каждую весну, как земля оживает?

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Всходит рожь на холме...
.....
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет...

Мы сидели с Симоновым за столиком с микрофоном. Я посмотрел в его сторону и внезапно увидел, что он плачет — слеза течет по щеке. Симонов не заметил моей нечаянной наблюдательности, и, кажется, мне удалось уберечь его от смущения. Сбивчиво, не очень-то складно закончил я выступление, к тому же и время было на исходе.

— Может быть, это получилось у тебя случайно, — сказал Симонов, подсмеиваясь, когда мы одевались, торопились в Дом офицеров, — но ты сегодня был в ударе. Суворовцы остались довольны...

«Газик» училища прыгал по наледям и рытвинам февральской мостовой, а я не мог оправиться от пережитого Симоновым волнения. За долгие, долгие годы лишь дважды видел его плачущим: когда хоронил отца — Александра Григорьевича и когда умерла мать Александра Леонидовна. Но слезы Симонова, вызванные стихами Твардовского, потрясли своей необъяснимостью.

Я держался за спинку переднего сиденья и неотрывно думал: почему Симонов, обладая такой выдержкой, не совладал со своими чувствами? Наверное, представил себе, как «корни слепые ищут корма во тьме», подсознательно побывал «там, куда на поминки даже мать не придет»...

Невеселую эту загадку я, к горечи и боли своей, отгадал в будущем году.

В середине январского дня 1979 года раздался поджидаемый мною телефонный звонок, и я услышал:

— Шагай к подъезду, нам пора.

Мы ехали в Дом кино на гражданскую панихиду. Накануне вечером условились вместе проводить в последний путь Александра Борисовича Столпера.

Столпер преданно любил творчество Симонова и создал по его произведениям шесть фильмов: «Парень из нашего города», «Дни и ночи», «Жди меня», «Живые и мертвые», «Возмездие» и «Четвертый». Лучшим из этих фильмов Симонов считал «Живые и мертвые». Когда мы возвращались с «Мосфильма» после просмотра, я сказал, что картина очень волнует, а первая серия безусловно лучше второй.

— Что же ты удивляешься? — ответил Симонов. — Ведь и первая часть романа написана лучше, чем вторая. Шура не виноват...

По дороге на Васильевскую я спросил:

— А где Шуру захоронят?

Симонов раздраженно отмахнулся от вопроса:

— Неужто под конец так важно: где три аршина нам дадут? — процитировал строчку из своего стихотворения.

Мне суждено было услышать от него эти стихи несколько лет назад, но не помню, где и когда их позже напечатали.

В Доме кино было уже многолюдно, а народ все прибывал. Симонов увидел стоящего у колонны Анатолия Дмитриевича и шепнул мне:

— Серпилин тоже пришел отдать долг.

Ответственный за траурный ритуал снаряжал очередной трехминутный почетный караул. В изголовье гроба рядом с Симоновым встал Папанов, человек с лицом старого солдата.

Первое слово на панихиде дали Симонову. Он говорил глухим, неузнаваемым голосом, то и дело покашливая. Да, горько навсегда расставаться с близким другом. Сама потеря непоправимо тяжела, но выразить словами это горе легко потому, что, перечисляя достоинства Столпера, никому не придется прибегать к преувеличениям и завышенным оценкам, как часто бывает на панихиде, а также на юбилеях.

— Истинные, высокие достоинства этого благородного человека таковы, что сегодня здесь не прозвучит ни одно неискреннее слово, ни одна не заслуженная им похвала. И вся трагедия заключается в том, что он этих слов не услышит.

Я удивился тому, что врачи отправляют Симонова в Гурзуф, на самый солнцепек. Но если вести себя осторожно, не сидеть на пляже и держаться тени, может сказаться и положительная сторона отъезда — удастся отторгнуть его на месяц-полтора от постоянной и все более непосильной работы.

Судя по багажу, который брал с собой Симонов, не оставалось сомнений — он собирается не только лечиться, но и работать.

— Тебе не холодно? — спросил он на перроне Курского вокзала.

— В такую-то жару?

— А мне и душно и зябко.

На Симонове в тот жаркий день была плотная темная рубашка, свитер и пиджак.

Багаж уже погрузили — много книг, рукописей. В купе было душно, я обнаружил, что не работает вентилятор, и побежал искать начальника поезда. Узнав, о ком и о чем идет речь, начальник поезда обещал, что тотчас же, как поезд отойдет, исправят. Приследит также, чтобы не перестарались, чтобы в купе не было сквозняка.

— Где ты пропадал? — Симонов уже стоял в тамбуре вагона.

Я промямлил что-то невнятное в свое оправдание.

— Самый суетливый провожающий на всем Курском вокзале!..

Симонов 5 июля дал в санатории одно из своих последних интервью сотруднику газеты «Крымская правда» В. Дружинскому:

— Никогда не забуду бесед в землянках, последних перекуров перед атакой, не забуду солдат, этих самых главных людей войны... Хочу снова приехать в Крым и пройти-проехать по местам боев сорок первого года. Хочу вспомнить друзей, хочу встретиться с авторами писем, с очевидцами событий. Хочу, чтобы эти письма и воспоминания вошли в новую книгу. Это будет книга, написанная от имени всех солдат, своим горбом добывших победу, от имени дошедших и не дошедших до нее, награжденных и не награжденных, живых и мертвых...

На следующий день после возвращения из Гурзуфа Симонов позвонил вечером и предложил прогуляться возле дома. Видимо, заметил при встрече мой встревоженный взгляд. Остановился у крыльца в поликлинику Литфонда и сказал удрученно:

— Потерял еще три килограмма с довеском... — При этом невесело улыбнулся и тронул пальцами воротник рубашки, который стал широк.

Я осторожно упрекнул его: наверное, не удержался и, несмотря на запрет врачей, продолжал в Гурзуфе работать. Он грустно возразил:

— Хотел работать, но не смог. Совсем новое для меня ощущение: нужно работать, хочу работать, а не могу. Так много нужно делать! Помнишь, у Михаила Афанасьевича? Он сделал для памяти себе зарубку за шесть лет до смерти: «Дописать раньше, чем умереть...»

Через несколько дней принес недавно вышедшую книгу «Так называемая личная жизнь» — роман в трех повестях из записок Лопатина. Первая повесть вобрала в себя четыре рассказа. Сюжетные скрепы между ними усилены, и повесть получила новое название — «Четыре шага». По обыкновению спросил, нравится ли название, в этом наши вкусы нередко расходились. На сей раз название понравилось, удачное, оно сразу переносило читателя в «Землянку» Алексея Суркова — «а до смерти четыре шага». Симонов невесело поправил меня:

— Ты ошибаешься, старик. Эти самые четыре шага судьба отмеряет не только на фронте...

Вручая мне книгу «Так называемая личная жизнь», он по стародавнему своему обычаю предварил ее экспромтом. Прежде строчки бывали окрашены иронией, юмором, как всегда добротным, первосортным. Называл это — «послать книгу с рукоприкладством».

На этот раз надпись на титуле была грустная: «Женечка! Хотя судьба порой строга и мы ведем с врачами бой — но за четыре-то шага все ж будем видеться с тобой? А? Твой К. С.»...

В кабинете Симонова самоотверженная, все помнящая Нина Павловна Гордон плотно выстраивала на полках многочисленные папки с рассказами фронтовиков. После расшифровки магнитофонной ленты папки правдиво и сурово заговорили. Будто не папки стояли, а сами кавалеры ордена Славы трех степеней выстроились в одну шеренгу, держа строгое равнение.

Последний фильм из серии «Солдатские мемуары» — о танкистах...

Последняя прижизненная книга...

Последнее выступление по телевидению...

Последние интервью...

Последний автограф...

Последнее напутствие в литературу... Предисловие к повести Вячеслава Кондратьева кончалось так: «„Сашка“ — это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской»...

Я узнал, что сегодня, 23 июля, за Симоновым в Красную Пахру придет больничная машина. Его отвезут на Мичуринский проспект, и поедет он один. Зашел к нему на дачу, сочинил, что мне нужно по киноделам в город, и напросился пассажиром в черную «Волгу» с красным крестиком на ветровом стекле; машина ждала у ворот. Считал своим долгом проводить его, помнил, как он полгода назад стоял у моего подъезда в городе и помогал загружать меня в машину «скорой помощи».

— Неисправимый ты человек, — сказал Симонов притворно-сварливым тоном, выслушав мою просьбу. — С трудом вырываешься на чистый воздух — тянет в духоту. Меняешь озон на смог. Неужели так срочно?

— Да, срочно. К тому же «Мосфильм» там рядом...

— Ну что же, понедельник — день тяжелый. Придется еще терпеть твое соседство...

В дороге, чтобы извлечь Симонова из мрачного молчания, я напевал песенку о фронтовом шофере. Он дослушал песню, помолчал, затем поудивлялся вслух:

— Какой смысл снова делать мне какие-то исследования? Разве не целесообразнее было, не логичнее проделать все процедуры до того, как меня отправили в Гурзуф? «Отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек»...

Он замолчал на несколько километров Старо-Калужского шоссе, а я, чтобы увести его подальше от тревожных догадок, затеял разговор о том, что хорошо бы выпустить грампластинку с песнями на его стихи. Незадолго до окончания сезона мы провели в ЦДА вечер из серии «Советские полководцы». В худосочном дивертисменте, которым иногда сопровождаются такие вечера, выступала певица. Она исполнила песню «Как служил солдат службу ратную», а перед тем объявила: «Музыка Блантера, слова народные».

— Ну и прекрасно объявила! Как ты не понимаешь? Самая большая похвала автору, какая только может быть. Слова народные! Польщен и рад ее ошибке.

Я гнул свое и вспоминал песни, которые могли бы составить диск поэта Константина Симонова: «Как служил солдат службу ратную», «Жди меня», «Песня фронтовых корреспондентов», «Чемодан» и «Давай споем, подруженька-гитара» Матвея Блан-

тера; «Я помню в Вязьме старый дом», «Седина» и песни Модеста Табачникова из спектакля Товстоногова «Четвертый», цикл, или, лучше сказать, венок, песен, сочиненных талантливым ансамблем Хабаровского театра юного зрителя к спектаклю «Парень из нашего города».

— Вместо того чтобы сочинять свои долгоиграющие прожекты, ты бы лучше пригубил несколько куплетов из моей «Фляги».

Отличную песню на эти стихи сочинили дальневосточники и прислали автору пленку. В Москве, кажется, только я помнил мелодию, а слова знал еще со времени войны. В последние годы я эту песню нередко напевал Симонову, нравилась обоим.

Успел я пропеть: «Когда в последний путь ты отправляешь друга...» — и только тогда содрогнулся. Острое предчувствие разлуки перехватило горло. Нельзя, нельзя было так необдуманно, легкомысленно соглашаться на его просьбу. Но нельзя и оборвать «Флягу» на полуслове. Собрался с душевными силами и продолжил, отсекаясь: «Есть в дружбе, не забудь, посмертная услуга...» Лишь бы Симонов не почувствовал, что я понял скрытый смысл его просьбы, поскорее бы, следуя строчкам песни, встряхнуть флягу над ухом и, чтоб влага не пропала, разделить на два глотка зеленый хмель солдатский...

Последняя поездка по Старо-Калужскому шоссе, Профсоюзной улице, мимо площади Гагарина, мимо Ленинских гор, на Мичуринский проспект...

«Слезами измеренный чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз...» Последним трактом стало для Симонова шоссе, ведущее в Бобруйск. На шестом километре от Могилева, возле деревни Буйничи чернеет пашня, бывшее поле боя. Симонов стал частицей той земли.

Откуда-то с берега реки Гайна притащили танковым тягачом «серый камень гробовой» и установили на обочине. Валун вдавлен в белорусскую землю не только каменной тяжестью своих двенадцати тонн. Земля под камнем с бессмертным автографом «Константин Симонов» испытывает тяжесть горя миллионов читателей.

1982.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ БЕЛОВ



НЕВОЛЬНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

Западный образ жизни и «массовая литература»

Известный западный философ и социолог Эрих Фромм в работе «Бегство от свободы» заметил, что даже самое деспотическое правление не может существовать одним лишь принуждением. Искусство управления людьми, продолжал Фромм, как раз и заключается в том, чтобы, исполняя чужую волю, люди полагали бы, что действуют по собственному усмотрению. Западное общество традиционно рекламируется как «открытое» — предоставляющее якобы своим членам самые широкие возможности в смысле исполнения их желаний. Вместе с тем (и это уже рекламированию не подлежит) важнейшей заботой правящей элиты является создание таких условий, при которых потребители приобретали бы именно то, что необходимо сбыть изготовителям. Это относится не только к сбыту вещей, но и к сбыту идей, стереотипов мышления, ценностных ориентиров.

Заметно возросшее количество свободного времени у западного человека второй половины XX века указывает на то, что пренебрегать этой важной сферой «ловцам человеков» было бы неразумно. Поскольку же искусство стало в наши дни частью досуга подавляющего числа людей, оно используется в качестве одного из основных каналов, через которые и осуществляется воспитание членов общества, в том числе и тех, что мнят себя свободными от его идеологических клише.

Словечко «бестселлер» родилось в Америке в преддверии XX столетия, отразив собой и ставшую притчей во языцех национальную предприимчивость, успешно осваивавшую заповедные области высокого и ~~прекрасного~~, и надвигающиеся перемены

в производстве и потреблении продуктов творческой активности человека. В ту далекую пору, однако, в этой сфере с нынешней точки зрения царила настоящая анархия. Книготорговцы, радуясь взлетавшему вдруг спросу на отдельные издания, в общем-то, не умели воздействовать на капризного читателя. Их сегодняшние коллеги не ждут милостей от стихии книжного рынка. Призвав на помощь психологов, социологов, специалистов по рекламе, они постигают тайны изготовления книг массового потребления.

Бестселлер надо организовать. Это дело хлопотное и с немалыми расходами сопряженное, но в конце концов, как правило, прибыльное. Покупатели, по давнему убеждению торговых экспертов, «сами не знают, чего хотят», и тем легче поддаются внушению, чем незаметнее (и настойчивее) оно делается. Нет необходимости взывать к разуму покупателя, достаточно намекнуть, что эту книгу покупают другие. Почему — не важно, главное, что она нравится всем вокруг. Среди проверенных способов подогреть любопытство публики — интервью с автором в разгар работы над будущим шедевром, публикация отрывков из него, а сразу же по выходе (а бывает, и до выхода) — аннотации и рецензии престижных критиков в престижных же журналах. Известному у нас Артуру Хейли неплохо помогает его жена Шейла: недавно она опубликовала книгу о личной и творческой жизни автора «Отеля» и «Аэропорта», а заодно и о себе, о тяготах своего удела — быть женой знаменитости.

Умело и вовремя создать вокруг книги ажиотаж — значит сильно повысить ее шансы на коммерческий успех. Подлинным триумфом такого «творчества книго-

торговцев» стал, по мнению английского критика Дж. Сазерленда, роман Э.-Л. Доктору «Рэгтайм», еще перед выходом получивший мощнейшую рекламную поддержку, а впоследствии удостоенный у американских критиков иронического титула самого переоцененного романа года.

Разумеется, бестселлер бестселлеру рознь. Среди бестселлеров разных лет в США, например, можно найти и «Гроздь гнева» Стейнбека, и «Над пропастью во ржи» Э. Линдгера; в Америке и за ее пределами раскупались романы Хемингуэя, Фолкнера, Воннегута, Стайрона. В последнее время, однако, среди книг-миллионеров все больше и больше преобладают сенсационные однодневки, ловко скроенные поделки. Всегда считалось, что «низкая» литература существует за счет высокой, тиражируя и опошляя ее находки. В последние годы получается наоборот: серьезная литература оказывается у книгоиздателей на положении этакого нахлебника, своим существованием обременяя литературному ширпотребу, прибыли от которого позволяют выделять средства на публикацию книг, увы, моментально не раскупающихся, а посему хозяевам книжного бизнеса невыгодных.

Размышляя о понижении художественного уровня продукции, выбрасываемой миллионными тиражами на западный книжный рынок, Дж. Сазерленд в своем исследовании «Бестселлер» (1981) ответственность возлагает на неблагоприятные экономические условия, в которых оказалось, на его взгляд, западное издательское дело, как и другие отрасли производства, испытывающее воздействующие процессов концентрации и монополизации. Если еще полтора-два десятилетия назад американские издательства были в основном самостоятельными организациями, то теперь они неумолимо поглощаются индустриальными конгломератами-гигантами, нередко международными, ведающими производством всего на свете от авиалайнеров до носовых платков, где книги — лишь одна из многих и часто далеко не самых важных статей дохода. Среди «съеденных» — крупнейшие издательские фирмы «Харпер энд Роу», «Саймон энд Шустер», «Бэнтэм» и другие. Утратив самостоятельность, они превращаются в филиалы чисто коммерческих предприятий, заинтересованных только в рентабельности, даже если таковая обеспечивается путем реализации художественно убогой книжной продукции.

Экономическая ситуация на Западе, безусловно, отрицательно сказывается на качестве духовной пищи, преподносимой

западному читателю, но было бы неверно во всем винить лишь большой бизнес. Кто-то справедливо заметил, что если бы случилось невероятное и массовое искусство вдруг перестало бы приносить гигантские доходы, то власть предрержащим имело бы смысл взять на себя заботу о нем: идеологическая прибыль с лихвой окупила бы все затраты. Теоретики искусства на Западе не часто говорят о воспитательной роли искусства. Не стремится обнаружить нравоучительные функции и массовое искусство, рекомендуемое как чисто развлекательное. Развлечение, однако, весьма тесным образом связано с определенными идеологическими рекомендациями и стандартами. О том, как развлекает и воспитывает «массовая литература» на Западе, и пойдет речь дальше. В основе предстоящего разговора — произведения последнего десятилетия.

Но сначала несколько общих замечаний.

Массовая литература (детектив, вестерн, мелодрама) — это литература «с формулой»: с высокой степенью предсказуемости сюжета. Казалось бы, серьезный изъян. Но именно в предвкушении знакомого, понятного и заключается одна из причин притягательности таких жанров. Подобно тому как дети просят рассказать им новую сказку, но со старыми персонажами и знакомыми сюжетными ходами и огорчаются, если рассказчик пренебрегает «традициями», так и их папы и мамы, берясь за книгу, чтобы отдохнуть и развлечься, менее всего хотят новаций, требующих, как известно, затрат умственной энергии. Изменения и нововведения допустимы лишь в малой степени, в мелочах, не посягающих на целостность формулы: легко представить негодование читателей детектива, где преступник так и не отыскан бы. Есть формулы жанровые — романа ужасов, вестерна, мелодрамы и т. п. Есть авторские — в пределах жанра. Так, внутри детектива существует конандойловский канон, есть канон Агаты Кристи, есть и полемически противостоящие им формулы американцев Хеммета и Чандлера. Однажды найденное индивидуальное клише способно породить немалое количество копий, отличающихся друг от друга лишь конкретным наполнением.

Плодовитость — родовый признак тех, кто трудится в области массолита. Более 200 любовных романов — «романов судьбы» — сочинила популярная в Германии 30-х годов Хедвиг Куртс-Малер. 43 тома составила библиотека Фантомаса, создан-

ная французами Пьером Сувестром и Марселем Алленом. Более 100 романов общим тиражом около 70 миллионов в активе француза Фредерика Дара, пишущего под маской-псевдонимом полицейского комиссара Сан-Антонио. 250 — а теперь, пожалуй, и больше — книг на счету англичанки Барбары Картленд, пишущей про любовь. В одном лишь 1978 году она продиктовала своим сотрудникам и опубликовала два десятка книг, а общий тираж написанного ею перевалил за 100 миллионов. Рекорд же по части тиражей держит американец Гарольд Роббинс. По сравнению с Даром и Картленд он написал маловато — десяток с небольшим романов, зато их общий тираж превысил 200 миллионов — в три раза больше, чем у Агаты Кристи.

На общем фоне массовой литературы Запада американский массолит заметно выделяется не только своим количеством. Его отличительный признак по сравнению с литширпотребом других стран — повышенная активность в смысле утверждения идеалов «открытого» (читай — буржуазного) общества. Исторически сложилось так, что в Америке буржуазная идеология всегда самым тесным образом была связана с идеями национализма, а национализм, в свою очередь, постоянно подчеркивал свой буржуазный характер. Свободное предпринимательство и Америка объявлялись по сути дела синонимами. Словосочетания «стопроцентный француз» или «стопроцентный швед» не несли и не несут никакой информации, кроме анкетно-формальной. «Стопроцентный американец», напротив, понятие, за которым определенное мироощущение, идеологическая позиция. Об американской политической и идеологической экспансии пишут и говорят давно. В этом процессе, затрагивающем сейчас и Западную Европу и некоторые страны «третьего мира», американское массовое искусство выполняет важнейшие рекламные и воспитательные функции, действуя иной раз вернее и безошибочнее, чем открытая политическая пропаганда. Разговор пойдет об американских изданиях, и это объясняется тем, что обмен массолитом между Новым и Старым Светом постоянно превращается в улицу с односторонним движением. Американцев переводят чаще и больше, чем они иностранцев. Практически книги, о которых пойдет у нас речь, переведены, как правило, на несколько языков и, будучи написанными в Америке, потребляются и за ее пределами.

Формулы, на которых строятся произведения массовой литературы, отнюдь не

вечны. Они видоизменяются под влиянием перемен в общественной жизни. Суть, однако, сохраняется: массовое искусство описывает мир не таким, каков он есть на самом деле, а таким, каким его должен видеть читатель. Эта литература по-своему фантастическая, весьма удаленная от реальности. Казалось бы, откуда взяться дистанции: ведь буквально на каждом шагу читателю уготовано узнавание родной повседневности. Фантастика, однако, возникает, когда авторы берутся за истолкование и осмысление жизни, внешние признаки которой очерчены вроде бы верно. Реально существующие проблемы по мере развития фабулы сплошь и рядом получают иллюзорное разрешение, а литератор, как будто прилежно срисовывавший с натуры, при ближайшем рассмотрении оказывается ничуть не ближе к объективной реальности, чем, скажем, авангардист, эту самую реальность лихо разрушающий. Разница лишь в том, что у мастеров массолита реальность, искажаясь по сути, внешне сохраняет фотографическое правдоподобие.

Было бы, наверное, наивно приписывать массовой литературе какую-то единую точку зрения, общую систему взглядов. И все же один ее «семейный» признак выделить можно: в целом это литература утверждающая. Другое дело, что с течением времени панегирики, отпускаемые массовой литературой в адрес буржуазного общества, отягощаются все большим числом оговорок. В массовой литературе начала века мир в основе своей был хорош, а отдельные его изъяны объяснялись происками злодеев-одиночек или недостаточной расторопностью и целеустремленностью тех, кто, желая преуспеть, потерпел неудачу. В нынешние же времена откровенная лакировка и безудержная апологетика считаются дурным тоном. Утверждать, что все в порядке, когда общезвестно, что порядка нет, а есть инфляция, рост цен, экономические застои и кризисы, политические скандалы и разоблачения крупнейших государственных деятелей, замешанных в уголовных махинациях, значит просто-напросто опозориться. Воспевать теперь приходится крайне осторожно, окольным путем, через «откровенный разговор» о недостатках и трудностях. В этом смысле массовому искусству отводится функция своеобразного предохранительного клапана, назначение которого — дать выход накопившемуся недовольству, преобразовать его в пар читательского удовольствия. Попробуем же проследить за некоторыми особенностями этого процесса.

Начнем с «Крестного отца» американца Марио Пьюзо. Роман не нов, но он являет собой отменную модель супербестселлера наших дней, в котором учтены страхи, надежды, иллюзии представителей «открытого» общества.

Рассказав историю Семьи, одного из крупнейших синдикатов нью-йоркской мафии, и ее главы Вито Корлеоне — Крестного отца, Пьюзо написал роман-сказку об объединении людей, связанных не слепой случайностью, не жесткой производственной или деловой необходимостью, а узлами братства и единства, чего так не хватает тем, кто составляет «толпу одиноких» современного западного общества. Герои Пьюзо — члены семьи более широкой, чем обычная ячейка общества, и более могущественной, чем само это общество. Идея такой семьи не случайно манила многих читателей романа. Философами и социологами Запада много написано о распаде традиционных ценностей и нравственных ориентиров западного человека (церковь, закон и порядок, брак, демократия, патриотизм, свободное предпринимательство), неуклонно терявших свое реальное вдохновляющее и направляющее содержание. Действующая в открытом пренебрежении этими видимостями, семья-синдикат Корлеоне добивалась своего быстро и эффективно, вызывая у читателей странное чувство злорадства и удовлетворения. Организованная преступность, воплощенная в клане Корлеоне, казалась им гораздо справедливее и человечнее, чем организованное общество с его бюрократией, коррупцией, равнодушием или продажнойностью закона.

В «Крестном отце» видели смелую критику в адрес буржуазной системы отношений, открытое признание несостоятельности американского социального порядка. Правда, часть читателей сердилась на писателя за романтизацию преступности, апологетику мафии. Сам Пьюзо, не без удовольствия внимавший разногласиям толкований романа, который был сочинен, по его собственному признанию, «исключительно ради денег», только добавил путаницы, заявив, что в «Крестном отце» есть ирония по отношению к изображаемому американскому образу жизни в целом, и выразил удивление, что на это никто не обратил внимания. Уже упоминавшийся Дж. Сазерленд заметил не без ехидства по этому поводу, что «ирония, да еще и антиамериканская, вряд ли смогла бы принести роману тираж в пятнадцать миллионов, так что если у автора и были иронические намерения, то у него хватило со-

образительности лучше спрятать их и от читателей и от критиков».

При том, что Сазерленд, в общем-то, прав, доля истины есть и в словах Пьюзо: ироническое начало в романе действительно присутствует, хотя и не совсем в том смысле, о котором объявил автор. Ироническое отношение к собственной — высокооплачиваемой — деятельности вовсе не редкость среди тех, кто изготавливает и сбывает культурную и идеологическую продукцию. Если раньше считалось, что художник пишет по внутренней необходимости, то профессионализация творческих областей, превращая талант в средство поддержания существования, все чаще заставляет пишущего согласовывать свой внутренний голос с привходящими обстоятельствами, ну а в области массолита трудятся не художники, а литературные техники-эксперты, нанятые бизнесменами, в том числе бизнесменами от идеологии. Циническая беспринципность, разрыв между тем, что думает автор как частный человек и что пропагандирует как писатель, — знаменательная родовая черта многих западных бестселлеров последних лет. Это немудрено: бестселлер всем призван угодить, всем понравиться, никого не отпугнуть.

В поисках возможно более широкой аудитории Пьюзо искусно лавирует между различными вкусами и желаниями потенциальных читателей. Он критикует положение дел в «американском доме», но так, что читатель, принявший эту критику всерьез, как-то незаметно для себя укрепляется в убеждении, что этот «дом» при всех его несовершенствах не самый плохой из существующих. Пьюзо воспекает Семью, рекламируя ее способность устанавливать «справедливость» (то, что выгодно ее членам), игнорируя слабые или порочные правовые и социальные институты Америки, утратившие демократичность. Но слабостям буржуазной демократии он противопоставит силу буржуазного тоталитаризма — слишком многое в семье Корлеоне и семьях братьев-соперников по мафии отдаст настоящим фашизмом. Порадовав читателей — поклонников сильной власти, Пьюзо не огорчит и читателей «широких взглядов», показав не только несправедливость в мире демократии, но и жестокость, обман, насилие в мире мафии. — Другое дело, что в качестве отрицательных примеров фигурируют все больше оппоненты Крестного отца из других семей: Семья Корлеоне — это как бы поэзия мафии, прочие же — низкая и отталкивающая проза.

Какова же авторская позиция и есть ли она вообще? Она в игре точками зрения, которые в ходу у носителей массового сознания, и в иронически-насмешливом отношении автора к тем, кто принимает их за чистую монету. Любопытно, что «разоблачительный» и «разрушающий иллюзии» роман Пьюзо в конечном счете оборачивается умело и нестандартно сочиненным панегириком в адрес американского и — шире — буржуазного образа жизни. Дискредитируя многие ценности «открытого» общества, Пьюзо довольно скоро их же потихоньку реабилитирует. Соблазняя личность выгодами членства в Семье, пренебрежительно третируя противостоящую ей Большую организацию — будь то армия, полиция, корпорация, судебные органы или любое другое легализованное объединение — институт, роман парадоксальным образом воспитывает возлюбивших Семью читателей в духе преданности этой Большой организации. Она станет ближе и человечнее, если попытаться разглядеть в ней милые черты Семьи. Это, кстати, нетрудно сделать, ибо Большая организация, рекламируя свои достоинства, все больше упирает на человеческие отношения, якобы культивируемые и укрепляемые ею.

Подчиняться спокойно и выгодно. Это окупается. И все же этот вывод здравого смысла, который можно при желании прочитать в романе, — для слабых. Главные герои Вито Корлеоне и его сын Майкл, сменяющий отца на посту руководителя клана, не из тех, что легко подчиняются. Они типичные стопроцентные американцы, упрямые, настойчивые, не пасующие перед трудностями, действующие из лучших побуждений, хоть и вынужденные время от времени прибегать к сомнительным средствам. Они вроде бы вполне укладываются в давний культурный стереотип благородного разбойника — врага сильных и богатых, защитника неимущих и угнетенных. Пьюзо ориентирует своих читателей на этот вечно обаятельный образ, подчеркивая в Майкле и Вито благородное, а в их оппонентах (да и соратниках) разбойничье начало. Но по сути дела, ускользающей за лихими перипетиями войны кланов, и благородные Вито и Майкл и дурные их соперники прежде всего деловые люди, делающие свой бизнес и взыскивающие не справедливости, а прибыли.

Расчет Пьюзо дать возможность каждому прочесть в романе то, что ему хочется, оказался безошибочным. Роман вздохл читали в Америке, переводили на другие языки, во Франции и Японии он долго ли-

дировал в списке бестселлеров, по нему был снят фильм — и тоже с успехом. Читателям «Крестного отца» казалось, что автор, не закрывая глаза на все сложности и противоречия, ведет их к какой-то важной и труднодоступной правде об Америке. Впечатление обманчивое. Пьюзо начинал со сложности мира, а кончил его двусмысленностью. Утверждение у него вело к отрицанию, отрицательное реабилитировалось, а потом снова развенчивалось — и так до бесконечности. Закрывая роман, читатель ощущал, что окружающая реальность становилась еще более загадочной, еще менее объяснимой. По ее поводу можно сколько угодно фантазировать, но пробиться к сути не получалось. В этом, пожалуй, и состояла главная услуга Пьюзо тому самому истеблишменту, который он вроде бы отважился критиковать: он оставлял читателя в недоумении. Если человек ощущает себя неспособным понять что к чему в обществе, где он живет и работает, тем с большей готовностью он схватится за то положительное и утверждающее, что преподнесут ему в нужный момент специалисты по изготовлению истин, из капризного и непослушного он становится доверчивым и легко манипулируемым. Там, где исчезает ясность, легко укореняется миф. Миф, нужный и выгодный существующему порядку.

«...буржуа теперь властвует неограниченно; он сила; а сочинителишки водевилей и мелодрам всегда лакеи и всегда льстят силе. Вот почему буржуа теперь торжествует, даже выставленный в смешном виде, и под конец ему всегда докладывают, что все обстоит благополучно. Надо думать, что подобные доклады серьезно успокаивают буржуа. У всякого малодушного человека, не совсем уверенного в успехе своего дела, является мучительная потребность разуверять себя, ободрять себя, успокаивать... Так точно и тут», — писал Ф. Достоевский в своих «Зимних заметках о летних впечатлениях», иронически пересказав ряд ходячих тогда фабул утешительно-утверждающего искусства. Времена, конечно, меняются, а с ними и интонации «докладов» — насчет патетики, как мы успели убедиться, приходится теперь быть осторожнее, но суть деятельности сочинителей (и надежд их заказчиков) все та же: одни «льстят силе», другие этой лестью успокаиваются, принимая ее за простые и суровые истины.

Среди популярных авторов 70-х годов немало таких, которые пришли в беллет-

ристику, имея опыт работы в сферах, обычно окруженных ореолом таинственности и загадочности. Романы, написанные бывшими полицейскими, политиками, спортсменами, охотно покупают в надежде получить правдивый вымысел, в корне отличный от того, что выбрасывают на книжный рынок поднаторевшие в сочинении разных небылиц беллетристы-профессионалы, которым, как подозревают их читатели, дела нет до истины.

В жанре политического детектива, например, в последние годы выступали бывшие политики Дж. Сафир, Дж. Эрлихман, П. Андерсон. Попробовал свои силы и бывший вице-президент США Спиро Агню, в свое время поддерживавший эскалацию во Вьетнаме, а впоследствии (в администрации Никсона) вынужденный уйти в отставку после скандала в связи с неуплатой налогов. В романе Агню «Решение Кэнфида» (1976) описывается недалекое будущее — год 1983. Времена тяжелые: нарастает экспансия Востока, а Запад, вместо того чтобы дать решительный отпор, идет на поводу у разных либералов и «коммунистических агентов». Попустительствующему проискам врагов демократии президенту США Херли противостоит вице-президент Кэнфид — персонаж сложной, прямо-таки трагической судьбы. Трагизм его ситуации в том, что он излишне доверчив и идеалистичен. А результат налицо — втянут в интриги разных проходимцев, стремящихся подорвать авторитет и безопасность США. В итоге Кэнфид вынужден уйти со своего поста — «поэтическое» переосмысление реального эпизода из жизни его создателя.

Любопытно, что хотя политические детективы пишут люди, вроде бы досконально изучившие коридоры власти, их сочинения в итоге ничуть не ближе к реальности, чем писания тех самых беллетристов-профессионалов, которые в жизни не имели доступа к секретной политической информации. В романах экс-политиков есть правда обстановки — если уж сказано, что в кабинете президента мебель расставлена так-то и так-то, то можно не сомневаться: автор видел это своими глазами. Что же касается обобщений, то они того же уровня, что и у пишущих «из воображения», только далеко не все читатели обращают на это внимание. Чтение — процесс интимный, и не просто избавиться от ощущения, что именно тебя одного сведущие люди посвящают в закулисные тайны политической кухни. Тем более что лидеров этого жанра вроде бы и не заподозрить в апо-

логетике. Так, в романе П. Андерсона «Любовница президента» (1976) много говорится о связях большой политики и большого бизнеса, об атмосфере интриг и шантажа, окутавших округ Колумбию. Но не странно ли, что эти «сверхсмелые» романы спокойно издаются и переиздаются, не вызывая никаких протестов со стороны правящей верхушки? То, что со стороны может показаться актом удивительной писательской отваги и торжеством свободы слова, даже при беглом знакомстве с американской культурной ситуацией выглядит вполне невинное, а порой и просто верно-подданническое содержание. Американское государство за многие годы «открытого» развития неплохо научилось интегрировать критику и разоблачения в систему официальной пропаганды, заставляя их лить воду на свою же мельницу. Взять хотя бы Уотергейтский скандал, породивший обширную документальную и недокументальную литературу. Среди наиболее популярных авторов оказались в первую очередь сами герои Уотергейта, отменно заработавшие на «честном признании» в махинациях. Позорное прошлое оказалось надежным способом обеспечить себе благополучное — во всяком случае в материальном отношении — будущее. Чем откровеннее признавались в неприглядных поступках сотрудники администрации Никсона, тем охотнее предоставляли им трибуну. Оказалось, такие признания истеблишменту не только не вредны, но и в какой-то степени даже выгодны. Псевдокритическая литература, где разоблачительство сведено до стилистического приема, создает скандально-шумовую завесу, в которой тонут даже самые искренние попытки разобраться в неблагоприятии той или иной стороны общественной жизни.

Массовая литература не просто обращена к особому типу аудитории, она сама активно формирует этот тип. Открывая читателям доступ к убийственным фактам и горьким истинам, она прилагает старания, чтобы эти факты сделать позанимательнее, а истины попоικантнее — одним словом, привить потребителю этой информации подсознательное отношение к ней только как к источнику развлечения. Этот метод взят на вооружение и теми, кто ведает средствами массовой информации: чем больше сенсационных фактов обрушивается на слушателя, читателя, зрителя, чем противоречивее их интерпретация, тем труднее для аудитория выработать собственное мнение. При умелом режиссировании выпуск последних извест-

тый или обзор событий превращаются в разновидность того же детектива, романа ужасов или мелодрамы, вызывая у тех, кто им внимает, эмоции любопытствующего наблюдателя, а не мыслящего, политически активного гражданина. Политическая апатия населения не вызывает расстройств у травящей элиты США. Не ходят на выборы — не беда, разочаровались в политике — прекрасно. Если в наши дни трудно внушить, что политикой занимаются лучшие люди, то пусть себе считают, что политика — штука грязная, что честному человеку в политику соваться не резон, а лучше наблюдать и комментировать со стороны. Кроме того, как отмечено социологами и социальными психологами, переизбыток сенсационно-разоблачительной продукции на нынешнем культурном рынке прессыщает потребителя, которому разнообразия ради начинает хотеться чего-нибудь положительного и утверждающего. Объединяющего.

Вот уже почти четыре десятилетия трудится на ниве «литературы утверждения» Слоуз Уилсон. Известность ему принес роман «Человек в сером фланелевом костюме» (1955), посвященный жизни средних нью-йоркских служащих, скромных и безотказных винтиков социальной машины. Люди «в серых фланелевых костюмах», «кочующие из романа в роман этого плодовитого автора, ведут размеренное существование законопослушных граждан и, хоть порой и ворчат на свое непосредственное начальство и на времена, в общем-то, уверены, что лучше Америки места не отыскать.

Трудолюбивый, исполнительный, не любящий жаловаться на трудности средний американец был недавно воспет Уилсоном на военном материале в романе «Ледовые братья» (1981). В романе множество подвобностей из службы военных моряков во время второй мировой войны. Не вызывающая у читателей никаких подозрений правда частных (Уилсон пишет из личного опыта, он сам служил во флоте там же и в те же годы) прокладывает дорогу главной неправде. Урок «Ледовых братьев» — в утверждении доблести подчинения начальству и готовности выполнить любой его приказ. В данном случае враг США — немецкий нацизм. Но нацизм берется Уилсоном не сам по себе а как некий знак, обобщение всякого вообще внешнего врага. Получается, что нацизм зло потому прежде всего, что он враг Америки в определенных конкретных обстоятельствах,

а в других может появиться новый враг, в новом обличье, и тогда, уверен автор, истинные американцы — немногословные, сдержанные, терпеливые, настоящие мужчины, не чета нытикам-интеллигентам — снова оправдают доверие начальства, которое порой и далеко от совершенства, но выполняет важнейшие функции по поддержанию и укреплению западной демократии.

Джозеф Уэмбо, как и Уилсон, верит в «маленького человека» — в оплот Америки и американских ценностей. Он служил в лос-анджелесской полиции, а в свободное время писал роман «Новые центурионы», который был посвящен нелегким будням американских полицейских. Книга стала бестселлером, но Уэмбо не оставил службы, предпочитая быть в глазах читателей не человеком, сменившим одну профессию на другую, более престижную и оплачиваемую, а писателем-любителем — полицейским, который пишет книги потому, что не может не писать, не может молчать о той несправедливости, что видит вокруг.

Решив воспеть блюстителей порядка, Уэмбо шел на риск: полицейский как персонаж массовой литературы заметно уступал в популярности частному расследователю, да и гангстеру тоже. Но взявшись за дело с толком, Уэмбо был услышан, более того — имел немалый успех. Из написанного им в последнее десятилетие остановимся лишь на одной — документальной — книге «Луковое поле», написанной по материалам нашумевшего в свое время процесса об убийстве полицейского. Документальная литература в наши дни пользуется повышенным спросом, что объясняется, с одной стороны, стремлением читателей узнать побольше о жизни как она есть, без посредничества беллетриста, а с другой стороны, потенциальной художественностью этой самой реальности. Но было бы наивно полагать, что документальная литература только в силу своей природы всегда говорит полную правду: беллетризация реальности, мистификация реальных проблем и конфликтов через умелую подачу фактов — отнюдь не новый прием у специалистов по изготовлению литширпотреба, давно использующих документ как весьма убедительный эквивалент вымысла.

Кто более виновен: два мелких уголовника, убивших полицейского при исполнении им служебных обязанностей, или система судопроизводства, когда любой мало-мальски сведущий адвокат может без труда

водить за нос суд и присяжных, поливать грязью свидетелей (в том числе и полицейского, чудом избежавшего участи своего напарника по патрулю) и наконец вообще добиться отмены приговора? Таков вопрос, положенный в основу «Лукового поля». Его, кстати, сравнивали с «Обыкновенным убийством» Т. Капоте — и совершенно напрасно. Если у Капоте история одного преступления вскрывала объективный социальный смысл многих процессов американской современности, то Уэмбо, напротив, использует документ не для исследования, а для подтверждения уже готовых суждений.

Изложение и интерпретация фактов в «Луковом поле» — на уровне представлений и эмоций рядового носителя обыденного сознания. Это не случайно: массовое искусство — зеркало, в котором отражаются не реальность, а представления о реальности в их массово-усредненном виде. Читателя приглашают на разговор о жизни, но ему невдомек, что выводы, к которым придет его собеседник и с которыми он не без удовольствия согласится, подслушаны у него же, читателя, и возвращены ему в слегка измененном виде. Разумеется, из массы различных мнений и представлений массовое искусство выбирает только те, что выгодны заказчику, и, наоборот, дискредитирует или оставляет без внимания остальные. Призыв не церемониться с нарушителями порядка, содержащийся в книге Уэмбо, рассчитан на положительный отклик у рядового американца, по газетам да и по собственному опыту знающего, как часто преступники выходят сухими из воды, если обладают достаточными средствами или связями. Через эмоционально убедительные образы — один полицейский погиб от пули преступников, другой, пройдя через унижительную систему многочисленных разбирательств, стал калекой в моральном отношении (убит, так сказать, системой) — проводится мысль о несостоятельности «демократического» судопроизводства. Но который раз уже в литературе массового потребления социальная система критикуется справа, вместо скомпрометировавшей себя «демократии» исподволь предлагается бодрая тирания, снисходительная к своим и беспощадная к ослушникам. А среди последних может оказаться не только мелкая уголовная сошка вроде отделившихся легким испугом убийц из «Лукового поля». Вызвав в читателе взрыв негодования по поводу спрятавшихся за букву закона уголовников, роман Уэмбо задно воспитывает свою аудиторию в духе

нетерпимости по отношению к любым разрушителям духа американского закона — смутьянам цветным, зарвавшимся забастовщикам, «коммунистическим агентам» и т. д.

Дороти Унак пришла в литературу, порабатыв, как и Уэмбо, в полиции. На суперобложках ее книг перечислены награды, полученные ею за безупречную службу по поддержанию «закона и порядка» в городе Нью-Йорке. Так, кстати, называется и один из наиболее известных ее романов, являющийся собой историю трех поколений семьи полицейских О'Мэлли. Первое впечатление от «Закона и порядка» — Унак стремится поведать всю правду без прикрас о полиции, не закрывая глаза и на неприглядные стороны трудов и дней нью-йоркских копов. Они грубоваты, не любят сантиментов, не долго думают, прежде чем пустить в ход дубинку или пистолет. Кое-кто из них беззастенчиво собирает дань с тех, кого по долгу службы обязан охранять безвозмездно. Кто-то, наконец, борясь с преступностью, сам встал на преступную стезю.

Но все это, оговаривается Унак, лишь часть правды, которую ни в коем случае нельзя принимать за всю правду. Если старший О'Мэлли воплощал собой все то, что несовместимо со званием блюстителя закона (похоть, жестокость, корыстолюбие), то его сын Брайен делает свое дело, стараясь ни в чем не нарушать если не букву, то уж во всяком случае дух закона. А это легко только в книгах про полицейских. «Закон и порядок» задуман Унак как антитеза мертвым вымыслам не знающих жизни беллетристов-профессионалов. Автор явно гордится своей абсолютной правдивостью, нежеланием обходить острые углы. Кульминацией романа становится эпизод, когда всплывают факты чудовищной коррупции среди подчиненных Брайена. Чтобы покарать зло, Брайен вынужден прибегнуть к не совсем законным мерам. Об этом узнает его сын Патрик, в свое время воевавший во Вьетнаме, а теперь вступивший в ряды блюстителей порядка. Разочаровавшись в новой профессии, где, как ему кажется, все проникнуто цинизмом корыстолюбием, жестокостью, он бросает отцу полицейский значок, разражаясь гневной речью, в ней предается анафеме все то, чему служит и во что верит О'Мэлли-старший. Патрика опровергнуть нелегко, и все-таки в их импровизированном диспуте побеждает отец. Да, сын прав, но в абстракции, правотой постороннего наблюдателя. Со стороны легко критиковать и поучать. Труднее делать дело, приносить реальную поль-

зу. «Такая уж наша жизнь, сынок,— говорит Брайен.— Я делаю все, что в моих силах. Я стараюсь. Может, я плохой человек, может, нет. Бывают ситуации, когда никто толком не знает, как поступать, а бездействовать нельзя. Я стараюсь найти выход. Постарайся и ты. Если найдешь — скажи мне. Я буду рад у тебя поучиться... Но нельзя сидеть сложа руки». Пристыженный Патрик берет обратно значок и, протянув отцу руку, говорит: «Договорились, отец. Будем искать выход. Может быть, что-то и отыщем!»

Речи Брайена — образец умелой агитации. Рекомендую отца и сына О'Мэлли в качестве своеобразных героев нашего времени. Унак настойчиво предлагает читателям принять и усвоить вместе с фабулой несколько вроде бы совсем незаметных, но важных поучений. Во-первых, если принять логику романа, то постоянные конфликты отцов и детей — не что иное, как болезнь роста последних, и как только дети избавятся от юношеской наивности и безапелляционности и начнут не рассуждать, а дело делать, все встанет на свои места. Во-вторых (намеренно или нет, сказать трудно, но объективно это так), роман Унак призывает быть снисходительным к тем, кто иногда вынужден нарушить букву закона: а вдруг они, как и Брайен, делают это, чтобы соблюсти его дух. И наконец, вряд ли случайно писательница заставила излишне категоричного, но в целом хорошего парня Патрика отвоевать во Вьетнаме.

Доблестное участие в позорной вьетнамской аванюре очень типично для отважных одиночек, сокрушающих зло на страницах популярных романов. Казалось бы, случайность, житейская подробность: ну воевали, и все тут, многих туда послали... Но совокупность таких случайностей рождает закономерность: один борец со злом — герой Вьетнама, другой, третий. Так складывается тип «настоящего мужчины», воюющего там, куда его посылают, умеющего подчинять свою волю интересам нации. А с другой стороны, и вьетнамская агрессия косвенно, без громких слов, но реабилитируется — если не в сознании, то на уровне смутных ощущений читателей: позвольте, дескать, почему же позорная аванюра, если мои любимые персонажи, защитники угнетенных, разоблачители лжи, все как на подбор ветераны Вьетнама? Раньше — до Вьетнама — такой герой совершал подвиги в Корее. Иногда у него в послужном списке есть участие во второй мировой войне и в кореysкой. Или, скажем, в одном романе какого-то писателя главный

герой воевал с фашистами, а в следующем уже другой персонаж — герой войны во Вьетнаме. Снова вроде бы случайность, но весьма выгодная для повышения престижа вьетнамской агрессии. На уровне все тех же смутных ощущений различия между войнами стираются, вот и перетекает в читательском сознании вторая мировая война в войну во Вьетнаме, отчасти «облагораживая» последнюю, отчасти не позволяя читателю проводить какие бы то ни было различия между войнами.

Болея душой за таких «борцов со злом», как Корлеоне-младший или О'Мэлли-старший, читатель, естественно, не всегда обращает внимание на знаменательные сдвиги в типологии «идеального героя». Если раньше таковой обладал не только полным набором достоинств, но и полным отсутствием недостатков, то теперь рыцаря без страха и упрека встретишь не часто. Наличие изъянов, естественных человеческих слабостей, все чаще становится обязательным атрибутом персонажа, с которым отождествляет себя читатель. Впрочем, изъяны изъянам рознь. Стопроцентный американец на страницах массовой литературы может ошибаться, попадать впросак, даже (вспомним роман Агно) вовлекаться в сомнительные махинации — разумеется, по причине излишней доверчивости и идеалистичности. Но это все недостатки извинительные. Главное, что он человек поступка, а не рефлексии, и уж тем более не рефлексии иронической. Ему позволено ругать отдельных представителей большого бизнеса и политики вплоть до президента и выводить их на чистую воду. Но обобщения насчет несостоятельности американского пути не приветствуются. Как отмечали многие наблюдатели, важной характерологической чертой американцев является нелюбовь к внешнему принуждению, недоверие к официальным версиям и точкам зрения, а отсюда традиционно невысокий престиж того, что открыто связано с идеей власти и государственности. И, напротив, всегда был высок авторитет частного мнения, независимого критического суждения. Отсюда парадокс: чтобы быть услышанной и одобренной, государственность нередко прибегает к услугам «вольных стрелков» — журналистов, писателей, философов, — от которых не только сносятся, а прямо-таки требуются критика, разоблачения. Умело направленная и отредактированная, эта критика может сослужить непохую государственную службу.

В американской массово-разоблачитель-

ной литературе критикуются не только отдельные негодные личности, как мы имели возможность убедиться, но и целые институты. Воспеваются же частный представитель общества, нередко человек со стороны, вторгающийся в интриги профессионалов — политиков, юристов, бизнесменов и прочих — и восстанавливающий справедливость. Но здесь-то и происходит незаметная подтасовка: самостоятельная и независимая личность добивается успеха именно потому, что воспеана американскими соками, среди которых не последнюю роль играют соки социальные. Государственность оправдывается и возвеличивается, но не прямо, а опосредованно, через триумф отдельной личности, внешне — но только внешне! — государственности противостоящей.

Любопытно и другое. Побеждают в массовой литературе те, кто действует лишь в одиночку. Если же персонажи и объединяются, то чаще всего чтобы замыслить и осуществить недоброе. «Крестный отец» Пьюзо не исключение. Отец и сын Корлоне в конечном счете пленяли не только тем, что шли вместе с Семейей наперекор дурному объединению под именем американская демократия, но и (прежде всего это относится к сыну Майклу) противостояли злу внутри своей Семьи и других семей. Мафии парадоксальным (а может, и не случайным) образом суждено остаться, пожалуй, единственным коллективом в массолите последних лет, обладающим хоть и двусмысленно-зловещим, но все-таки обаянием. Авторы нашумевших бестселлеров минувшего десятилетия не жалеют сил, чтобы доказать читателю невозможность или опасность коллективных побед. Но очередной триумф одинокого борца со злом иронически напоминает о том, что такие победы в наши дни возможны исключительно в литературном пространстве.

В 1979 году американский книжный рынок преподнес сенсацию. Гарольд Роббинс, король массовой литературы, написал... рабочий роман. Это походило на мистификацию, однако внешне все было без подвохов: Дэн Хаггинс, главный герой «Воспоминаний об одном дне», — крупнейший лидер профсоюзного движения, всю свою жизнь борющийся за права американских рабочих. Выбор Роббинсом такой темы был, разумеется, вполне продуман. Опытный ремесленник, он внимательно следит за тем, что на сегодняшний день волнует американцев, и спешит откликнуться. Тема социальной несправедливости и борьбы рядовых американцев за свои права становится

у Роббинса предметом жестокой эксплуатации. Социально-злободневное начало устраивает Роббинса по нескольким соображениям. Оно создает удачную фактуру, фон, на котором Роббинс складывает очередную миф про настоящего американца, вступающего в борьбу с неблагоприятными обстоятельствами и одерживающего победу. Кроме того, профсоюзное движение для Роббинса не только фон и фактура. У него есть вполне последовательная точка зрения на смысл и задачи движения, на то, кто его друзья и враги. Согласно Роббинсу враги бывают тайные и явные. Явные — это плохие капиталисты, ничем не брезгующие для достижения корыстных целей. С ними все ясно, и разоблачить их легче легкого. Куда коварнее враги тайные, прикидывающиеся друзьями. Среди них либеральные интеллигенты, «высококолые», самоутверждения ради выставляющие себя поборниками рабочих интересов, но при первой опасности убирающиеся в кусты. В их числе и продажные руководители профсоюзов — такие же дельцы, как и их оппоненты-предприниматели. Но главный враг для автора «Воспоминаний об одном дне» — американские коммунисты, которые науськивают рабочих на предпринимателей, ничего не имея против крови и жертв: тем нагляднее-де проявится истинное лицо капитализма.

Осудив нечестных капиталистов, а с ними и нечестных критиков капитализма, Роббинс закончил роман изрядно обветшавшим тезисом о необходимости гармонических отношений между предпринимателями и рабочими, когда доходы каждого определяются в строгом соответствии с реальным вкладом каждого в производство. Но, увы, реальность такого вклада определяется столь же произвольно, как и призыв соответствовать духу закона в книгах Уэмбо и Унак. Впрочем, тезис этот так, для порядка, а по сути дела это очередная сага об одиноком герое, идущем наперекор всевозможным коллективным заговорам (дурных капиталистов, трусливых и продажных профсоюзных боссов и т. д.).

Конечно, было бы в высшей степени наивно ожидать от литературного бизнесмена Роббинса, который сам давным-давно стал миллионером, сколько-нибудь искреннего и серьезного разбора взаимоотношений между трудом и капиталом. Но Роббинс знает, что делает: слишком многие его почитатели ждут именно такой критики — основ не затрагивающей, но зато рождающей иллюзию авторской независимости. У такой псевдокритики есть еще одна по-

лезная функция. Своим присутствием она служит неплохим оправданием сцен насилия и эротики, которыми издавна славился Роббинс. Не изменил он себе и в рабочем романе. Что и говорить, изображать, как калечат или убивают людей, нехорошо, а с благородным негодованием, с бескомпромиссным осуждением — даже очень похвально. Похожим образом обстоит дело и с эротикой. Одно дело, когда девица в постели с каким-нибудь уголовником или там с мелким клерком, и совсем другое, когда с почетным гостем — профсоюзным лидером, как у Роббинса, а то и президентом США, как у П. Андерсона.

Формулы Пьюзо, Роббинса и им подобных успешно потреблялись на западном книжном рынке и вместе с тем вызывали в читателях неосознанную жажду чего-то другого, всему этому противоположного. Перепроизводство литературной жестокости и вседозволенности — с идеологическими довесками и без оных — и привело к тому, что одной из самых читаемых книг 70-х годов стал роман Эрика Сигела «История любви». Ходил слух, что молодой преподаватель античной литературы написал роман как бы в шутку, на пари, в полной уверенности, что открыл формулу, способную безошибочно и бесповоротно очаровать массового читателя. Формулу Сигел не столько открыл, сколько вовремя вспомнил. Основные коллизии романа — печальная и трогательная история нежной любви двух молодых людей, оказавшихся жертвами всепильных обстоятельств, — являют собой вольный новоамериканский вариант шекспировских «Ромео и Джульетты». Перевод с учетом сложившейся конъюнктуры — раскованность, с какой изъясняются герои «Истории любви», сочеталась с прямо-таки пуританской по нынешним стандартам сдержанностью в смысле изображения интимных отношений. Уставшие от невротических, эротически эманипированных и разочарованных во всем на свете персонажей, заполнявших страницы американских романов, читатели с энтузиазмом приняли роман Сигела, поспешив увидеть в нем искреннее, правдивое и глубокое изображение окружающей реальности.

Формально героиню романа Джени Кавиллери убивала лейкемия, по сути дела, намекал автор и согласно кивали читатели — социально-кастовые предрассудки американского общества. Их воплощением стал отец возлюбленного Джени Оливер Барретт-старший, по происхождению ирландец, по вероисповеданию протестант, а по роду занятий финансовый магнат, не же-

лавший видеть сына-наследника женатым на дочке какого-то итальянца-лавочника, беднячке и католичке. Героиня умирала, гибли надежды на великое счастье, и безутешный Оливер гордо рвал с миром отцовских ценностей, отказываясь от блестящей карьеры, от денег.

В 1977 году Сигел решил продолжить рассказ про полюбившегося Америке Оливера. Новый роман — «История Оливера» — был посвящен старому конфликту чистой, непосредственной, романтической личности с меркантильным, все подчиняющим соображениям корысти обществом. И в этом романе зародившаяся было большая любовь рушится по соображениям идеологического свойства. Долго горевавший Оливер наконец-то влюбился в очаровательную девушку, о которой он знал лишь, что зовут ее Марси. И несмотря на все свои старания, не мог узнать ничего больше. Он полюбил ее. Она — его. А потом раскрылось вдруг «инкогнито проклятое», и оказалось, что прекрасная незнакомка — миллионерша, владелица сети магазинов готового платья с филиалами по всей стране. Почему же скромничала Марси? Потому что боялась, что Оливер полюбит не ее, а ее капиталы, как не раз уже случалось в ее жизни.

Новая подруга Оливера очаровывает всех подряд — его друзей, родителей. Дело идет к свадьбе, и тут-то разражается катастрофа. Отправившись с Марси в предсвадебное путешествие в Гонконг, Оливер с ужасом узнает, что его невеста владеет там фабрикой, где жестоко эксплуатируется детский труд. Оливер ставит Марси перед выбором: или детский труд, или свадьба. Марси мучается, страдает, но выбирает детский труд. Влюбленные расстаются. Счастливый конец, поманив своей близостью, оказался иллюзией. «Но вдруг является у Сесиль миллион, и Гюстав опять бунтуется, — читаем все у того же Достоевского в «Зимних заметках...» пересказ очередной мелодраматической модели. — Он не хочет жениться, Гюстав ломается, Гюстав ругается скверными словами. Надо непременно, чтоб Гюстав ругался скверными словами и плевал на миллион, иначе буржуа не простит ему; неизъяснимого благородства будет мало; пожалуйста, не думайте, чтоб буржуа противоречил себе. Не беспокойтесь: миллион не минует счастливую чету, он неизбежен и под конец всегда является в виде награды за добродетель. Буржуа себе не изменит. Гюстав берет под конец миллион Сесиль...» Стоп: это, кажется, уже не про наш роман? Но

нет, есть еще эпилог, где читателю сообщается, что Марси нашла свое счастье, выйдя замуж за окружного прокурора из Вашингтона, которому, судя по всему, плевать на нарушение законов о детском труде в далеком Гонконге. Оливер же сделал наконец то, о чем его тщетно просил на протяжении двух романов Барретт-старший: он сменил отца на посту руководителя крупного финансово-промышленного треста. Подойдя к делу с чувством социальной ответственности, Оливер добивается и прибылей и подлинных человеческих отношений с подчиненными, что, подсказывает Сигел, дороже всяких прибылей.

Не ошибся автор «Зимних заметок о летних впечатлениях». Миллион нашему герою все-таки достался, только не от Марси-Сесиль, а от отца. Но неужели, может задаться вопросом читатель, Сигел изменил свою писательскую и гражданскую позицию, прославив на страницах эпилога «Истории Оливера» то, что вместе с героем отвергал на протяжении двух книг? Да в том-то и дело, что не изменил. Не изменил хотя бы потому, что принципиальная гражданская позиция в этих книгах никак не проявилась. И о том, какова она и есть ли вообще, можно разве что строить догадки. Относясь к писательству как к ремеслу, работе по заказу, Сигел угадывает желания потенциальных читателей и стремится их порадовать — кого «бескомпромиссной критикой», кого проповедью «сотрудничества», «социальной ответственности» (читай — умением дело делать, а не поносить все на свете), и тех и других — старыми, как буржуазный мир, мелодраматическими эффектами слезоточивых фабул. В похожей слащаво-сентиментальной тональности выполнен и последний его роман «Мужчина, женщина и ребенок» (1981). Критике, содержащейся на страницах романов Сигела, малая цена. Не будем преувеличивать разоблачительный пыл тех или иных западных авторов, их внутреннюю и внешнюю свободу, задумаемся лучше над тем, кто и как заказывает, потребляет и одобряет такую критику. Уже шла речь о том, что, вроде бы развенчивая те или иные идеалы и ценности, массолит исподволь восстанавливает их окольным путем. Существует прием, безошибочно учитывающий некоторые важные особенности процесса восприятия искусства. Потребляя художественные произведения, люди нередко приветствуют в них понятия, идеи, ценности как раз противоположные тем, которыми они руководствуются в повседневности. В жизни, скажем, практической философией может

быть кредо — успех любой ценой, в искусстве такие герои вызовут безоговорочное осуждение и, напротив, симпатичными окажутся персонажи, которые позволяют себе вообще махнуть рукой на материальный успех. Возникает достаточно прочное, хоть и не стремящееся себя обнаружить разделение сфер между жизнью и искусством. Героинка и абсолюты на сцене, экране, в книгах позволяют читателям и слушателям лишний раз ощутить в себе верность всему высокому и прекрасному, с тем чтобы, насытившись ими на досуге, преспокойно обходиться без них в часы трудовой деятельности. Мелодрамы Сигела как раз обслуживают такую погребность массовой аудитории в «высоких чертах и высоких уроках», если опять воспользоваться словами Достоевского.

Высокое и прекрасное всегда было окружено почетом и уважением в массовой литературе, положительные герои которой были неисправимыми романтиками и идеалистами. В последнее время массолит, однако, заметно утрачивает свой идеализм, все больше демонстрируя читателям преимущество взгляда без предрассудков. Сигел как бы движется против течения, умело эксплуатируя уникальность своей позиции. Но кто знает, что сделает он, когда у него отыщутся способные последователи и подражатели, — не убавит ли он чистоты и сентиментальности и не подпустит ли взамен изюминок в стиле Жаклин Сюзан или Сиднея Шелдона, получившего у критиков прозвище мистер Бестселлер и специализирующегося как раз на цинической мелодраме, как нельзя более адекватной, на его взгляд, эпохе отрицания и утери идеалов.

В прежние времена герои популярных романов играючи побеждали зло и неблагоприятные обстоятельства. И немудрено: на их стороне был не только автор, но и общество, которое полагалось всеми — автором, читателями, персонажами — как в целом честное, справедливое, на правильном пути находящееся, где злодеи и жулики были лишь досадной случайностью. Мир романов-мелодрам Шелдона жесток, зол и порочен в самой своей основе.

Справедливость в популярных романах прошлого являлась всякий раз свидетельством торжества высоких идеалов, которыми вдохновляется человечество. В романах Шелдона вместо этих гуманных и расплывчатых понятий действует закономерность, которая — антоним прежней справедливости — складывается из весьма сомнительных в этическом и юридическом отноше-

нии компонентов. В недавнем романе Шелдона «Гнев ангелов» (1980) важное действующее лицо — мир закона. Но если его антагонист — мир мафии — персонаж отрицательный, то и сам закон у Шелдона симпатий не вызывает. Мафия — зло. Но кто и почему с ней борется? Окружной прокурор Нью-Йорка Ди Сильва, желающий «на костях мафии» сделать карьеру, став губернатором Нью-Йорка а может, и президентом. Это у героя мотив сознательный. Но за ним скрывается основной в понимании Шелдона импульс действий прокурора — ненависть к человечеству, вымещаемая законным путем на тех, кого общество разрешает преследовать. Ди Сильва преследует мафию. Он же преследует и юную Дженнифер Паркер, начинающего юриста: из-за ее неопытности срывается процесс по делу одного из главарей мафии, Майкла Моретти, а с ним и честолюбивые мечты Ди Сильвы.

Дженнифер Паркер, однако, не из тех, кого легко запугать. Начав с провала, она — истинная американка — основывает собственную юридическую контору и вскоре становится знаменитостью. Сталкиваясь в суде с Ди Сильвой как адвокат с прокурором, она раз за разом берет верх. Ненависть, по Шелдону, — отменный стимулятор профессиональных побед. Во всяком случае, куда более надежный, чем любовь. Любовь к Адаму Уорнеру, обаятельному честному сенатору, окрыляет героиню и в то же время становится причиной трагедии, о чем с нескрываемым злорадством рассказывает читателям Шелдон.

Сильный побеждает слабого. В «героическую эпоху» капитализма этот лозунг означал: более целеустремленный и одаренный побеждает. У Шелдона верх берут беспринципные, жестокие — и действительно самые целеустремленные. Если раньше зло вызывало у добрых людей (автора, читателей, положительных героев) естественное негодование, реакция Шелдона — смесь иронии и цинизма. «Это подлый прием!» — бросает своему оппоненту в суде его героиня, чтобы в ответ услышать: «Это подлый мир!» Если в прежние времена доброта и умение преданно любить побеждали невзгоды, то у Шелдона, наоборот, стоит начать внимать голосу сердца — пиши пропало.

В борьбе между чувством и делом — между любовью Адама к Дженнифер и политике — побеждает дело. Отныне Дженнифер будет жить и работать одна и одна растить ребенка, отец которого Адам.

Шелдоновский механизм мелодрамы работает на полных оборотах. Героине суждено

попасть в объятия того самого главаря мафии, из-за которого впервые пошатнулась вера Дженни в закон и справедливость, а потом стать штатным адвокатом мафии. Автор назначит Адама Уорнера руководителем комиссии по борьбе с преступностью и, завораживая читателя головокружительными поворотами фабулы, двинет повествование к развязке, исход которой, как и в предыдущих его романах — бестселлерах, угадать нелегко.

В массолите фабула обычно исправляет жизнь: сглаживает, улучшает, переставляет акценты и, попував читателя, чаще всего утешает, убаюкивает. Шелдон, в романе которого иронически обыгрываются популярные модели Пьюзо, Уэмбо, Роббинса, Сигела, вроде бы борется с этой искусственностью. В стереотипные ходы мелодраматической фабулы он время от времени позволяет вторгнуться реальности, но это жестокая реальность, обязательно развеивающая иллюзии, развенчивающая мифы. В финале честный, неподкупный Адам Уорнер, победивший-таки мафию (а заодно и своих конкурентов в борьбе за пост президента), входит с женой и дочерью в Белый дом. За церемонией наблюдает по телевизору скромный сотрудник адвокатской конторы американского захолустного городка Дженнифер Паркер. Потерявшая любовь, место среди нью-йоркской элиты, сына, погибшего от несчастного случая, она безучастно взирает на триумф справедливости и законности в столице США. Моральный урок вроде бы на поверхности: «гнев ангелов» обрушился на героиню за связь с Майклом Моретти, за измену тем высоким идеалам, с которыми она в свое время вошла в зал нью-йоркского суда. Но это лишь часть правды. А вся правда, по Шелдону, состоит в том, что плох сам мир — порочен, одержим похотью, честолюбием, жадной властью. Автор не питает никаких иллюзий насчет общества, в котором живет и пишет бестселлеры, но это отнюдь не является причиной его беспокойства. Высмеивание дурных законов, глупых условностей, порочных нравов этого общества делается им легко и с удовольствием: что толку огорчаться, суетиться и предлагать что-то изменить, ведь все упирается, по убеждению Шелдона, в изначальную и неискоренимую испорченность человеческой природы. Отсюда и плохо скрываемое злорадство по поводу наблюдаемого и изображаемого им расхождения низкой практики с высокими идеалами, отсюда циничное равнодушие к проблемам соотечественников и судьбе его страны.

Неблагополучная реальность Америки отменно устраивает Шелдона именно своим несовершенством, поставляющим обильный материал для «смелых разоблачений». Цинизма раньше популярные авторы стеснялись, он прорывался случайно, невзначай. Деятельность Шелдона — яркое свидетельство того, что в массолите утверждаются новые этические нормы, по которым приверженность абсолютам совсем не обязательна и является делом не совести, а стилистики автора. Шелдон работает с цинизмом так, как Сигел — с идеалами.

Сбывая потребителям то насилие и эротику, то чистоту и идеалы, то циническое осмеивание всего на свете — в том числе и естественного человеческого желания получить ответы на вопросы, выдвигаемые жизнью, — массовая литература размывает границы между реальностью и мифом, погружая острейшие проблемы в атмосферу дешевой сенсационности и все нарастающей несерьезности. Существование на подобной диете опасно для читателей тем, что любовь к массолиту постепенно вырабатывает в них опасную жизненную позицию — смесь наивности и цинизма, доверчивости и безразличия к миру и людям в нем. Упрощая сложное, массолит в то же время затемняет простое и очевидное, укрепляя свою аудиторию в убеждении, что лучше не ломать зря голову над «проклятыми вопросами», а предоставить их узким специалистам. А самим время от времени совершать занимательные, не требующие особого умственного напряжения путешествия в их сферы деятельности в сопровождении опытных гидов-беллетристов.

Конвейер массовой беллетристики на Западе наращивает темпы изготовления бестселлеров и супербестселлеров. Не остается в долгу и литературно-критическая индустрия. О массовом искусстве теперь стало модно писать — не то что прежде, когда оно, потребляемое миллионами, по сути дела, не замечалось искусствоведами. На частых теперь симпозиумах, в многочисленных статьях и монографиях, посвященных этому феномену, высказывается немало верных оценок и метких наблюдений. Много, однако,стораживает. И не попытки оправдать и расхвалить (их мало) — общий тон разборов, насмешливо-негативный. Но, ругая сочинителей массолита за ремесленничество, издателей за любовь к скорой прибыли, а читателей за дурной вкус, критики на Западе не часто пишут о том, как именно воспитывает массолит свою аудиторию в духе верности буржуазному образу мыслей (хотя при этом недостатка нет в

общих замечаниях о массовом искусстве как средстве манипуляции массовым сознанием). Обращает на себя внимание и другое. Иные критические разборы, как это ни парадоксально, удачно вписываются в саму систему функционирования массовой культуры. Совсем недавно, например, в 1981 году, вышла книга американца Джеффри Бокка «Бестселлер», в которой ностальгически вспоминаются-пересказываются популярные сюжеты знаменитых некогда «Тарзана», «Маленького лорда Фаунтлероя» и др. Сегодня читать эти книги всерьез, согласитесь, как-то неловко, ну а ознакомиться с пересказом иронического комментатора — вполне достойное занятие. Возникает как бы новый жанр — симбиоз беллетристики и критики. И развлечение, и поучение, и приятное ощущение собственного превосходства.

Нынешний бестселлер, спланированный в расчете на массовое потребление, вынужден описывать современность в ее внешнем подобии. Хотя бы для того, чтобы пустить в ход сюжетный механизм, способный увлечь читателя, а заодно научить его уму-разуму. Но, как известно, лучшая ложь — это почти правда. Почти правда создается разнообразными сюжетными средствами в процессе переработки правды — злободневной реальности — в популярный роман. Есть, однако, объективный смысл художественного произведения, не зависящий от установок и намерений его создателей и поставляющий вполне надежную информацию об обществе, которое описывает. В произведениях массолита последнего десятилетия реальность Запада — вопреки всем стараниям авторов — приобретает отчетливо угрожающие очертания. Чреватая социальными и политическими кризисами, проникнутая коррупцией, отмеченная ростом преступности и наркомании, эта реальность предстает окончательно утратившей прочные ориентиры и идеалы.

Вместо прежней наступательности в смысле утверждения своих ценностей Запад, похоже, уже думает только об обороне. Массовое искусство последних лет все больше оправдывается и извиняется. Не случайно наиболее устойчивой позицией в нынешних бестселлерах чаще и чаще оказывается нравственный релятивизм, этакое все позволено, а на героев-идеалистов смотрят как на диковинку, привыкая видеть на месте прежних рыцарей реалистов, которым поистине ничто человеческое не чуждо.

Западная система пропаганды — доста-

точно отлаженный механизм, но в последнее время он явно работает на износ, пуская в ход «неприкосновенный запас» приемов обработки и объяснения реальности. Когда-то ходовым товаром массового искусства был оптимизм, потом — признание частных трудностей, теперь — серьезных перебоев. Раньше плохи были отдельные представители рода человеческого, теперь вину за социальные невзгоды сваливают на человечество вообще. И все же массовое — по своим установкам охранительное — искусство волей-неволей движется в русле исторической неизбежности, то отставая, то

сворачивая в сторону, с тоской поглядывая назад, придумывая в виде объяснения своих задержек и отклонений очередные «правдивые вымыслы». Их полезно изучать, при правильном угле зрения они выбалтывают как раз то, о чем должны бы помалкивать, разоблачая действительность, которую подрядились защищать. Постоянное обращение их авторов к миру коррупции, насилия, несправедливости недвусмысленно указывает на криминальный характер общества, в котором создаются и потребляются сверхсенсационные и ультра-разоблачительные шедевры массолита.



ЖИ ИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Алексин. «А у нас сегодня гость. А у вас?» — Ирина Гитович. Навстречу самому себе.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Сергей Абрамов. Елка для всех.— Евгений Павлихин. Теоретик и пропагандист марксизма.

Литература и искусство

«А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ. А У ВАС?»

Сергей Михалков. Детям (Стихи, сказки, рассказы, басни, пьесы). «Библиотека мировой литературы для детей». М. «Детская литература» 1981. 590 стр.

Сергей Михалков. Собрание сочинений в шести томах. 1—4 тома. М. «Художественная литература» 1981—1982.

Собрание сочинений Сергея Михалкова открывается стихотворением «А что у вас?». Для меня это символично: именно «А что у вас?» было первым произведением поэта, которое я прочитал в пору своего далекого детства. Прочитал и запомнил, хотя и не заучивал наизусть, как запомнили, я думаю, дети моего поколения и поколений пришедших вослед. Ну кто, в самом деле не знает про тот вроде бы невзначай возникший разговор мальчишек и девочек («Дело было вечером, делать было нечего...»), который завершается столь важным для каждого нравственным выводом:

Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны!

Нет, речь идет не столько о маминих профессиях, сколько о великом и прекрасном материнском предназначении на земле. И когда через много десятилетий я услышал гуманнейший призыв «берегите матерей!», прозвучавший на всю страну сначала в поэме, а потом в публицистическом обращении к молодым Расула Гамзатова, я подумал, что тот же призыв, но адресованный к самым юным гражданам, а потому забавный по сюжету и форме, звучит и в стихотворении, полюбившемся мне с детских лет. М. Горький утверждал, что с детьми вообще надо разговаривать «забавно». Но забавно не значит легкомысленно, а значит увлекательно, интересно.

Прочитал и запомнил... Скажу сразу: за-

поминаемость стихов Сергея Михалкова удивительна. Это их загадочное, бесценное свойство. Где бы мне ни доводилось слышать выступления поэта — в Москве или Ленинграде, Хабаровске или Норильске, Киеве или Тбилиси, в сельской школе или рабочем поселке, — всегда юный зрительный зал хором подхватывал строки его стихов и читал наизусть от слова до слова. То это были восторженные детские исповеди:

Мы с приятелем вдвоем
Замечательно живем!

То детские откровения:

И я поставил стул на стол,
Залез как можно выше
И там рисунок приколол,
Хотя он плохо вышел.

То сатира для маленьких (и такой жанр существует в нашей детской поэзии!):

Он растет, боясь мороза,
У папы с мамой на виду.
Как растение мимоза
В ботаническом саду.

А то поучительные истории про людей, страдающих опасными нравственными недугами:

В одном переулке
Стояли дома.
В одном из домов
Жил упрямый Фома.

Или про животных, которые наказываются за скверные качества своего характера:

В этой речке утром рано
Утонули два барана.

Иногда это были стихотворения-песенки:

Мы едем, едем, едем
В далекие края,
Хорошие соседи,
Счастливые друзья.

«Сергей Михалков создал свои произведения для детей с такой щедрой полнотой ощущений, с такой веселой занимательностью, с такой образной изобретательностью, что они стали классическими для нашего времени»,— писал Н. Тихонов.

Случается, в рецензии хвалят писателя, а цитат избегают, потому что побаиваются: вдруг вступят в конфликт с высказанными оценками? Но большого поэта хочется цитировать: именно стихи — самый убедительный, самый неопровержимый аргумент в его пользу.

Иногда стоит лишь произнести фамилию Михалков, как слышишь в ответ: «О, дядя Степа!» Действительно, «дядю Степу знают все». К тому же поэт и сам похож на него: такой же высокий, добрый и безотказный, когда речь идет о необходимости спасти, помочь, поддержать. И все же... Мы знаем замечательных актеров, сыгравших в начале творческого пути какую-либо столь яркую роль, что она заслонила собой их другие, ничуть не менее яркие сценические или кинематографические творения. Дядя Степа, мне кажется, порой тоже помимо воли заслоняет могучим телосложением и необъятностью доброты, отзывчивости своей другие образы, другие характеры (не менее значительные!), созданные поэтом. Но это так, к слову...

В чем секрет такой удивительной запоминаемости поэтических строк С. Михалкова? Думаю, прежде всего в «запоминаемости» мыслей ей, высказанных поэтом, в их значительности, афористичности. Они всегда весомы и, словно нравственные витамины, необходимы для духовного здоровья юного растущего человека.

Прочитав стихотворение «А что у вас?», я в мальчишескую пору жизни со всей ясностью понял, почему матерью мы называем самое дорогое — свою отчизну. А великан дядя Степа поразил меня, помнится, не столько высотой, сколько шириной: широтой и щедростью души. И мне, в то время школьнику, открылась красота бескорыстной самоотверженности, готовности приходить на выручку, протягивать руку помощи, ничего не ожидая и не прося взамен:

Мне не нужно ничего —
Я задаром спас его!

Пожалуй, самое трудное в искусстве —

это воссоздание характеров-типов. «Дядя Степа», «упрямый Фома», «заяц во хмелю», «лиса и бобер» — говорим мы о реально существующих людях, хотя образы эти пришли к нам из стихов и басен Михалкова.

Залогом доходчивости, запоминаемости михалковских произведений является и их отточенный лаконизм. Чтобы вновь убедиться, что краткость не просто сестра, а, я бы сказал, родная сестра таланта, достаточно, к примеру, прочитать такое четверостишие, или, верней сказать, стихотворение:

— Где наш отец?—выспрашивал упрямо
Сын-Червячок у Мамы-Червячка.
— Он на рыбалке! — отвечала Мама...
Как Полуправда к Истине близка!

И еще один секрет запоминаемости — простота! Она, простота, бывает, как известно, двух видов. Одна — это та, что хуже воровства, что синоним примитивности. А другая — та, которая подвластна лишь таланту, лишь мастеру. «Воздуху милой, чарующей детскости, которым так радостно дышится в стихотворениях Михалкова», — писал Д. Благой, — гармонически соответствует их удивительно простая, народно-русская, кристально чистая поэтическая речь».

Особая грань михалковского дара — умение воссоздать характеры детей. Тут уж все работает на главную цель: предельно достоверная интонация, сюжет, юмор, благородная простота.

— На прививку! Первый класс!
— Вы слышали? Это нас!...—
Я прививки не боюсь!
Если надо — уколюсь!
Ну подумаешь, укол!
Укололи и — пошел.

Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

Я вхожу одним из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!

Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..

.

Почему я встал у стенки?
У меня... дрожат колени...

Иные думают, что писать для ребят — значит ограничивать сюжеты и конфликты заботами и делами самих детей. Меж тем мир юных и мир взрослых в реальной жизни абсолютно нерасторжимы. Ребенку в отличие от взрослого хочется казаться старше своего возраста, но вовсе не потому, что его привлекают морщины или седины. Нет, он жаждет поскорей приобщиться не к возрасту, а к делам старших друзей.

В книге С. Михалкова «Все начинается с детства» есть запись разговора, услышанного писателем (одному собеседнику лет семь, другому за сорок):

- Ты читал «Тома Сойера»?
 — Нет.
 — А «Вия»?
 — Нет.
 — А «Хижину дяди Тома»?
 — Не читал.
 — Счастливый...»

И действительно, мальчишке еще предстояла радость прочитать все это!

У детей, разумеется, главное впереди. И все же настоящий детский писатель хорошо понимает, что юный человек отличается от нас, взрослых, лишь меньшими знаниями, меньшим житейским опытом и меньшими физическими возможностями, но у него такая же, как у нас, способность радоваться и страдать, смеяться и плакать, восхищаться и разочаровываться. Конечно же, все у него впереди... Но, как писал С. Маршак, «вряд ли в жизни пригодится тот, кто, жить готовясь, в детстве не живет». Сергей Михалков видит в юных читателях полноценных и деятельных участников нашей жизни, он не только любит, но и уважает своих младших друзей.

Утверждая, что особенность детской литературы не в том, что написано, а в том, как написано, А. Макаренко боролся за право этой литературы рассказывать ребенку о самых значительных событиях в жизни человечества, раскрывать перед ним самые сложные проблемы — политические, международные, психологические. Никакого ограничения в жизненном материале, в темах, которые выдающийся педагог обозначал словом «что», быть не должно. Лишь форма повествования, разумеется, должна быть особой — чтобы ребенок понимал, о чем с ним толкуют. С позиций такого осознания долга литературы перед детством, а стало быть, перед будущим и создает стихи, поэмы, пьесы, сценарии фильмов для ребят Сергей Михалков.

Образцом политической поэзии для де-

тей можно назвать его стихотворные рассказы «На родине Ленина» и «В Музее В. И. Ленина». Простота и ясность михалковского стиля, народность его стиха оказались как нельзя более необходимы для создания произведений о человеке, который стал символом человечности, неподдельной демократичности, стал выразителем самых заветных чаяний и стремлений народных.

Уроки нравственности и гражданственности, которые Михалков дарит своим юным друзьям, лишены малейших примет назидательности, унылого менторства — это мудрые, но увлекательные, остроумные, веселые уроки. А порой и очень серьезные, наполненные драматичным и даже трагическим содержанием, хотя по духу неизменно оптимистические.

Один из разделов второго тома собрания сочинений называется «Тревога». Это была предвоенная тревога... И предвоенное воспитание юных читателей.

Часто я вспоминаю фронтовые письма своего лучшего и незабвенного школьного друга. Он принадлежал к тому поколению, которое прямо из школьного класса шагнуло в огонь невиданных за всю историю битв. Многие из этих мальчишек погибли, ничего не успев в жизни... Но одно они все же успели: спасли землю от фашистского мракобесия! Мой школьный товарищ писал с фронта о том и о тех, с кем сердцем, благодарной и бесстрашной душой своей ни на миг не расставался даже в окопах: о маме, о родном доме, о нашей любимой школьной учительнице Марии Федоровне... И о книгах Гайдара, и о стихах Михалкова, с которыми мы росли, делали первые шаги навстречу взрослости.

«Все начинается с детства» — назвал книгу своих писательских и педагогических размышлений, о которой я уже упоминал, С. Михалков. Ну а детство начинается с колыбельной и со стихов, которые читает нам мама. Недаром ведь первый гражданин Вселенной Ю. Гагарин, написав на листке, вырванном из тетрадки, строчку знаменитого стихотворения А. Барто про Мишку, которого уронили на пол, и подарив поэтессе такой необычный автограф, пояснил, что это были первые стихи, научившие его добру («Все равно его не брошу, потому что он хороший»!).

А сколько будущих воинов, космонавтов, рабочих-новаторов, ученых-первооткрывателей познавало азбуку гуманизма, мужества, верности по стихам Михалкова! Помню, как мой погибший в бою друг читал

на наших школьных вечерах михалковское стихотворение «Три товарища»:

Жили три друга-товарища
В маленьком городе Эн.
Были три друга-товарища
Взяты фашистами в плен.

Двое умерли, не выдержав пыток и не произнеся на допросе ни слова, а третий...

Третий товарищ не вытерпел,
Третий — язык развязал.
— Не о чем нам разговаривать! —
Он перед смертью сказал.

Стихотворение было написано в 1937 году и рассказывало об отваге испанских воинов-республиканцев. Но не такие ли произведения, по выражению Гайдара, «готовили краснозвездную гвардию» будущих борцов с гитлеровским нашествием. Да, многие из этих легендарных борцов были воспитаны советской школой, комсомолом, пионерией... И конечно, нашей детской и юношеской литературой. В стихотворении, посвященном правофланговому этой литературы, Михалков писал:

Страницы честных, чистых книг.
Стране оставил в дар
Боец, Писатель, Большевик
И Гражданин — Гайдар...

Строки о Гайдаре напечатаны в разделе «Война». Десятки произведений вошли в этот раздел. Война была мучительно долгой, поэтические залпы по врагу наша литература, как и наша армия, должна была наносить грозно и непрерывно. Такими залпами были и стихи Михалкова, и его патриотическая поэма о солдатской матери, и его атакующая сатира, и популярнейший в те годы фильм «Фронтовые подруги», снятый по его сценарию.

На фронте он в соавторстве с Г. Эль-Регистаном написал текст Государственного гимна Советского Союза. Работая над гимном, его авторы четко сознавали всю ответственность и сложность творческой задачи, понимали, что, как писал в воспоминаниях о том времени Михалков, «язык Гимна должен быть простым, ясным, таким, чтобы каждое слово было понятным любому советскому человеку — от школьника до академика». Эта цель была достигнута — и тогда, в 1943 году, и в новой редакции гимна, утвержденного Президиумом Верховного Совета СССР в мае 1977 года. Государственный гимн впервые зазвучал в блиндажах, на передовой и там, где кипели трудовые сражения. Он воодушевлял, звал к борьбе и победе.

Стихи в военной шинели... По их названиям можно подчас проследить и воин-

ский путь офицера Советской Армии С. Михалкова: «На Южном фронте», «Под Москвой», «По дороге в Севастополь»... Но и в то жестокое время поэт ни на день не забывал своих юных друзей. Именно в годы сражений начал он знаменитые «Были для детей», которыми создавал для них как бы поэтическую летопись битвы с фашизмом. А потом...

Спать легли однажды дети —
Окна все затемнены,
А проснулись на рассвете —
В окнах свет и нет войны!

А «Были для детей» продолжались... Но это уже была поэтическая летопись послевоенного возрождения и нашего пути в коммунистическое завтра.

«Скажи-ка, дядя...» — обращался к воину-ветерану юный герой лермонтовского стихотворения «Бородино». Юные хотят знать о подвигах отцов и дедов. И это не любопытство, а стремление вынужденно в романтическую суть героизма, всегда потрясающего молодые сердца. Удовлетворить духовную потребность молодости — значит закалить душу и волю завтрашних защитников мира, защитников социалистического отечества. С. Михалков никогда не изменяет этому патриотическому долгу воспитателя-коммуниста. К примеру, его пьеса «Эхо», с успехом идущая в Центральном театре Советской Армии, одухотворяет молодых примерами такой воинской беззаветности, которые достойны восхищения и подражания.

Все начинается с детства...

Писать красиво не легко:
«Да-ет ко-ро-ва мо-ло-ко».
За буквой буква,
к слогу слог.
Ну хоть бы кто-нибудь помог!

«Тяжело в ученье» — легче будет во всей предстоящей жизни. И вот упорно преодолевает первые трудности маленький герой михалковского стихотворения «Чистописание»:

Еще одну страничку вон!
А за окном со всех сторон:
И стук мяча, и лай щенка,
И звон какого-то звонка,—
А я сижу, в тетрадь гляжу —
За буквой букву вывожу:
«Да-ет ко-ро-ва мо-ло-ко...»
Да! Стать ученым не легко!

Нелегко стать и борцом, героем ратных или трудовых атак. Нелегко... Но благородно и необходимо! В этом убеждают растущего человека не только поэзия С. Михалкова, но и его проза (сказки, рассказы), его драматургия.

Драматургия поэта стала, я бы сказал, фундаментом репертуара советского детского театра. А это замечательный театр, подобного которому нет нигде в мире. Одна из михалковских пьес называется «Красный галстук». Но и остальные его пьесы для юных зрителей — произведения с красным галстуком на груди: «Особое задание», «Сомбреро» (эта пьеса вот уже четверть века не сходит со сцены Центрального детского театра), «Забывтый блиндаж», «Я хочу домой!». Последняя пьеса повествует о юном патриоте, которого международные гангстеры пытаются лишить родины. «Международное направление» в творчестве С. Михалкова — направление боевое, наступательное. В драматургии оно было продолжено недавно пьесой-памфлетом «Дорогой мальчик», которая изобличила продажность, оголтелую алчность заправил буржуазного общества и воспела нравственный облик юного человека, выросшего на советской земле, исповедующего мораль общества социалистического.

Общение с этим юным гражданином дарит писателю новые сюжеты, каких не изобретет, пожалуй, и самая пылкая фантазия. Вот одна из таких документальных историй. В калининском ГЮЗе шел спектакль «Хижина дяди Тома». На сцене друзья дяди Тома всеми силами старались освободить его, выкупить из рабства, но у них не хватало денег. И тогда на сцену из зрительного зала поднялась девочка... Она протянула добрым людям пятьдесят копеек, которые мама дала ей на лимонад и мороженое. На сцену поднялась юная интернационалистка.

И воцарилась тишина,
Согретая дыханьем зала.
И вся Советская страна
За этой девочкой стояла...

Творчество С. Михалкова, воспитывающее таких вот молодых гуманистов и интернационалистов, как и его борьба за счастье юных поколений, заслужило признание мировой прогрессивной общественности: писатель удостоен многих международных наград.

В последнее лето своей жизни С. Маршак, помнится, говорил мне и Д. Кугультинову примерно так: «Михалков — самый достойный продолжатель крыловской традиции. В современной литературе никто не владеет редчайшим басенным жанром так, как он». По словам того же С. Маршака, Михалков «не расстается со своими читателями и тогда, когда они достигают зрелости». Речь идет не только о «взрослых» пьесах, сценариях, баснях, но и о

поэтической лирике, которая тоже исполнена кристальной ясности, искренности и чистоты. Это стихи «взрослого» поэта, который сберег счастливый дар по-детски непосредственного восприятия мира и событий, в нем происходящих.

Но сейчас о баснях... Взяться за них Михалкову посоветовал Алексей Голстой. Народность михалковской поэзии, искусное владение жанрами юмора и сказки — все это предопределяло возможность рождения талантливых басен. И такая возможность, к счастью, осуществилась.

Лев Кассиль справедливо утверждал: «Михалков стал самым прославленным в нашей стране баснописцем, вернув этому, как казалось кое-кому, устаревшему жанру молодость, жгучую доходчивость, новое, современное звучание и всеобщую подлинную народную любовь».

Вот пишешь про зверей, про птиц и
насекомых,
А попадаешь все в знакомых...

В какие же знакомые нам отрицательные типы людей снайперски точно попадает сатирическое михалковское слово? В обывателей и циников, в низкопоклонников перед заграничной мишурой и бюрократов, в апологетов равнодушия и неприсоединения ко всему, что происходит за порогом их дома, в подхалимов («За Ваших львят! За Вашу Львицу! Ну как тут было не напиться?!»). Пьесой-басней назвал бы я и знаменитого «Зайку-заянку», который тоже не покидает сцену вот уже около двадцати пяти лет.

«Насмешки боится даже тот, кто ничего не боится», — утверждал Гоголь. Как-то у Михалкова спросили: «А как реагируют те, которые подверглись сатирическому обстрелу?» Он ответил подробно — и этот ответ, естественно, с некоторыми поправками, вошел в книгу его публицистики: «Сатира не может развиваться под всеобщие аплодисменты: кому-нибудь в ней что-то обязательно не понравится. Писатель должен быть к этому готовым. Он только должен быть, как и минер, твердо уверен в том, что сатирический запал сработал точно и в нужном направлении, что на мне подорвался не свой, а тот, против кого она была заряжена». И дальше: «Если зеркало правдиво показывает твое отображение — грязное, неумытое лицо, нечесаную голову, то оно как бы говорит тебе: «Посмотри на себя!» Можно, конечно, обидеться и разбить зеркало. Но это не будет выходом из положения. Лучше все-таки причесаться и умыться».

Будем надеяться, что те, которые как в

зеркале узрели себя в отрицательных персонажах басен С. Михалкова или его сатирических пьес «Памятник себе», «Раки», «Пена», «Пощечина», «Чужая роль», не станут разбивать зеркало, а примут разумное, справедливое решение умыться и причесться.

С особым гневом и особой непримиримостью Михалков-сатирик обличает наших идейных недругов, врагов мира и братства людей. Тут его перо не знает пощады. Бывший фронтовик испытал, что такое война, и потому столь одержимо отстаивает право народов, право юных граждан планеты на мирное небо, на счастье дружбы и созидания.

Собрание сочинений в шести томах... Оно открывается стихотворением «А что у вас?», в котором есть такие строки:

— А у меня в кармане гвоздь.

А у вас?

— А у нас сегодня гость.

А у вас?

А у нас сегодня — юбиляр! Сергею Михалкову — замечательному писателю, неустоимому общественному деятелю, Герою Социалистического Труда, депутату Верховного Совета СССР, лауреату Ленинской премии — исполняется семьдесят. И не гостем, а добрым другом входит он в каждый дом, где любят литературу, любят поэзию, любят детей.

А. АЛЕКСИН.



НАВСТРЕЧУ САМОМУ СЕБЕ

- Валерий Шевчук. Краски осеннего сада. Повести и рассказы. Авторизованный перевод с украинского Н. Дангуловой. М. «Советский писатель». 1980. 399 стр.
- Валерий Шевчук. Дім на горі. Роман-баллада. «Жовтень», 1982, №№ 2—3.
- Евген Гуцало. Шутили с Катериной. Рассказы. Авторизованный перевод с украинского Н. Дангуловой. М. «Молодая гвардия». 1982. 336 стр.
- Евген Гуцало. Из огня воскресли. Повести, рассказы. Перевод с украинского И. Карабутенно. М. «Советский писатель». 1982. 431 стр.

К каким простым и ясным кажется все, когда, открыв книгу, пробегаешь глазами издательскую аннотацию: «В книгу... вошли лирические рассказы о жителях современного украинского села. Автор исследует народный характер... Герои... произведения — люди обычные и одновременно необычные. Они задумываются над сложными явлениями действительности...» И как трудно дробиться к той болевой точке таланта, которая заставляет писать именно об этом, именно так.

Книги, о которых идет речь, принадлежат двум украинским прозаикам — Валерию Шевчуку и Евгению Гуцало. Имена их привычно вызывают в памяти и другие — Григоря Тютюнника, Владимира Дрозда, Юрия Щербака, Нины Бичуи... Все они, по мнению критики, еще каких-нибудь десять — пятнадцать лет назад составляли генерацию молодых писателей, самым временем и лотикой литературного процесса поставленных тогда перед кардинальным вопросом бытия: зачем живет человек? И хотя с тех пор утекло немало воды и молодые прозаики, перестав быть молодыми, далеко ушли от первоначального старта, о нем следует вспомнить. В частности, потому, что Валерий Шевчук впервые сейчас выходит к русскому читателю с повестями и рассказами, написанными именно в ту пору, а последние книги неоднократно издававшегося по-русски Евгения Гуцало стилистически и тематически связаны с его началом.

Вот так, как бы в двойной перспективе — от сегодняшнего дня с его заботами и проблемами к дням вчерашним и от них снова к сегодняшним — прочитываются эти книги.

...Кажется, что кинокамера с характерным для фильмов тех лет пристальным, даже несколько нарочитым вниманием к подробностям жизни фиксирует то первый, крупный план (толстый палец с черной полоской грязи под ногтем, движущийся по странице), то дальний — едва видные темные пятнышки у горизонта: это низенькие домики и люди у реки. Сама композиция двух повестей Шевчука — «Набережная, 12» и «Раздорожье», составляющих большую часть сборника, — в чем-то тоже от тех фильмов. От всех наплывов, перебивки планов, как бы вдруг открывшихся безграничных возможностей монтажа, которыми кино поражало тогда наше воображение. Может быть, это обостренное ощущение фактуры жизни, ее плотности, материальности было на первых порах воспитано в молодом писателе даже больше кинематографом, чем литературой. «Она заперла свою дверь и пошла по коридору. Элеонора кивнула ей навстречу, не отрывая глаз от вязанья, дочка мадам Цукровой с силой хлопнула дверью туалета, из комнаты сапожника выглянула жена, — учительница закрыла за собой входную дверь... Она пересекла двор; в пирожковом цеху снова люди, большой мужчина у окна, словно

автомат, месил тесто и напевал песенку. Он подмигнул учительнице, но она не заметила — смотрела вверх. Там, в четырехугольной рамке, светилось голубое небо» — это воспринимается скорее как сценарий с тщательно выписанным видовым рядом, чем традиционное повествование. Хотя, конечно, тут же приходят на память чеканные страницы прозы И. Франко, В. Стефанюка, М. Коцюбинского, без которых не было бы этих строк. Потому что у слова свои возможности и свои законы, и писатель это остро чувствует. И слово у Шевчука не просто движется в том или ином ритме, не просто описывает планы, называет подробности, выхваченные глазом, оно то терпко пахнет подгоревшим кофе, то обретает объем, случается в яркие цветные пятна или начинает звучать множественным тембром. «Жгло веки, губы сломались в уголках, но это была не улыбка. Ветер куда-то спрятался, только солнце плавало по льду. Голова тоже плавилась, и вся она словно растекалась в воздухе, наполняя его звоном, державшимся на одной высокой ноте». Все это надо увидеть, услышать, запомнить, но прежде всего суметь уловить внутренним слухом те душевные микродвижения, которыми человек каждое мгновение своего существования откликается на впечатления внешнего мира и из сложного взаимодействия которых складывается его собственный душевный мир. Так что вся эта «живопись словом», все эти неожиданные сцепления нужны писателю затем, чтобы передать острое ощущение того, как в се в этом мире связано со всем, — ощущение, которое принесли с собой в литературу молодые писатели 60-х годов.

В рассказах и повестях Шевчука много людей. Кажется, что герои их могли бы свободно переходить границы отпущенного им пространства, ибо начала и концы их судеб оказываются как бы за пределами повествования — в той бесконечной жизни, что идет вокруг. Люди появляются, исчезают, сталкиваются на обшарпанных лестницах старых домов, торопливо проходят по городским улицам, теряясь в толпе, сорются и тоскуют, громко шумят за свадебным столом и внезапно, бросив все, уезжают из родного дома, чтобы позже, растеряв иллюзии и приобретя взамен трудное знание жизни, снова вернуться к своим истокам... Вот идет молодой герой Шевчука — один из тех, кто, по издательской аннотации, «задумывается над сложными явлениями...». Отражаются, колеблясь, в лужах окна домов, тени от стен и крыши ложатся

на мокрый асфальт, и «в тонкой водяной пленке они... словно скорлупа». И когда, подняв голову, юноша смотрит на освещенные окна, со всех сторон наступает на него «невидимый мир людей». Какие они? — думает он. И какой ты сам? И что главное? Может быть, важнее всего лаять рядом живущего и быть понятым им? А что это значит? Таких вопросов много. Они переходят из рассказа в рассказ, из повести в повесть, создавая то внутреннее напряжение, которое сопутствует начинающейся душевной работе. Вопросы задаются друзьям, случайным попутчикам, самим себе, задаются с той решительностью и категоричностью формулировок, на какую способна только молодость, когда, усиленные до афоризмов, все они нужны для того, чтобы отважиться на самый главный — кто я и зачем живу?

Но вряд ли повести и рассказы Шевчука были бы интересны сегодня, если бы замыкались только на этих вопросах. Поиски твердых нравственных критериев добра, правды, человечности всегда связаны для писателя и его героев (как, кстати, вообще для всей молодой украинской прозы) с острой потребностью понять, что же такое время, в жестких пределах которого проходят наши жизни.

«Странно ощущать время, которое так быстро и незаметно исчезло в прошлом», — думает немолодой сапожник. «Очень просто понять: старое должно сменяться новым, но если этим старым являешься ты? Если это старое твоя боль, и слезы, и жизнь?» — размышляет женщина, у которой от короткого счастья осталась лишь вечно крошечная память. «Провел линию, что отделяла его от войны, грохота, стона и крови. И больше никогда туда не заглядывал», — говорится о другом герое. Но не заглядывать нельзя. Больше того — смертельно опасно для человека. Прошлое входит в настоящее, наполняет его тем или иным содержанием и в конечном счете определяет будущее. Но время можно повернуть и вспять — возвратит ли прошлому жизнь неизбывной болью памяти. В таком двойном измерении и видит мир взрослеющий герой Шевчука.

Есть два мира — большой и малый, вспоминает он однажды слова Сковороды. Большой — тот, что вне нас, малый — мы сами. Часто кажется, что они замкнуты, но в момент ощущения своей связи со временем, своего существования в потоке истории эти два мира сливаются в сознании в один нераздельный. К человеку рано или

поздно приходят «тени минувшего», думает герой «Раздорожья». Потому что каждый как бы несет в овоей жизни отражение прошлого, а его собственная судьба непременно отразится в чьей-то будущей жизни, подхватывают эту мысль герои рассказов «Отголосок» и «Долгий день без перерыва». Сама мысль о том, что человеку необходимо однажды — и это остается с ним навсегда — почувствовать себя соучастником всего сущего, оказывается как бы шире индивидуальной судьбы человека, она становится тем нравственным полем, от силы которого зависит в конечном счете величина человечности в человеке и мире, окружающем его. Так однажды начинается для героев Шевчука «долгий день без перерыва» — та напряженная душевная работа, когда человек, вырвавшийся из бездумности, беззаботности, стремительно, хотя и трудно растет вперед, в свое будущее, но одновременно врастает в прошлое. Это состояние писатель называет равновесием — вобретения его он видит предназначение человека и подступы к ответу на вопрос «кто я и зачем живу?».

Но если в рассказах и повестях сборника «Краски осеннего сада» мы видим, как с помощью юношески-максималистских формул добра и зла взрослеющие герои Шевчука ощутяю подходить к этой мысли, то в последнем его романе «Дом на горе» сама идея человеческого предназначения достигает такой степени концентрированности, когда для ее художественной реализации писателю понадобилась уже сквозная метафора-притча.

Не случайно Шевчук дал такое необычное определение жанра: роман-баллада. Только так, сочетая строгую реальность фактуры жизни с трепетностью легенды, которая наполняет суровый и будничныи бег дней высоким смыслом связи всего сущего, автор смог выразить главную для себя мысль. Время — это сложнейшая система зеркал, где изображения, множась, удаляясь, меняясь, тем не менее повторяются, образуя непрерывную цепь. И хотя каждый человек неповторим и неповторима его судьба, все-таки все в мире повторяется: молодость, весна, рождение нового, пусть чужого, но в чем-то так похожего на твое, счастье, и однажды наступающая зрелость, и даже самый итог жизни, горький в своей неизбежности... И в этом бесконечном отражении друг в друге судеб и характеров, вопросов и поисков, в вечном повторении самого пути проб и ошибок, которым заново идет каждый человек и каждое поколе-

ние, и заключено преодоление конечности одной человеческой жизни. Старая бабка из «Дома на горе», хранительница семейного предания, и козопас Иван — это не только реальные персонажи, занимающие в сюжете романа свое место и наделенные вполне реальными чертами, но и как бы символы двух противоположностей человеческого сознания, осмысляющего бытие в его трудной и жесткой диалектике.

Человек ищет понимания. Он хочет понять мир и понять себя самого. Хочет быть понятым другими. Родство душ — не пустая болтовня, говорит один из героев. Оно, это родство, одна из самых действенных форм преодоления одиночества, одна из самых действенных форм связи людей и поколений.

Рано или поздно возникнет необходимость поставить роман в ряд аналогичных явлений прозы в других национальных литературах, проанализировать оправданность тех или иных сюжетных ходов, тех или иных характеров. Но для самого Шевчука «Дом на горе» имеет значение некоторого «предварительного итога»: отделенный от начала пути писателя почти двумя десятилетиями, роман связан с ним не столько сюжетными совпадениями, сколько внутренней логикой. Реальные взаимоотношения с большим миром оказались в действительности много сложнее, чем представлялось героям тех ранних рассказов и повестей. Обуздать его трагическую дисгармонию одними лишь формулами добра и зла удается редко. Но рано или поздно человек делает выбор, и тогда он неминуемо возвращается к четким критериям добра и правды, которых так жаждала его юность. Так смыкаются поколения в непрерывном поиске смысла жизни, человеческого предназначения. И книги украинского прозаика еще раз напоминают нам, что связь эта вполне конкретна и осязаема, ибо осуществляется в наших собственных судьбах.

В иных стилистических формах эта же мысль о связи всего сущего определяет и поиски Другого украинского прозаика — Евгена Гуцало.

Как и большинство писателей его поколения, Гуцало начинал с коротких рассказов, которые принято называть лирическими новеллами. Без некоторых из них, таких, как, скажем, «Шутили с Катериной», «Вечер бабушки Горпины», «Олень Август», уже невозможно представить себе украинскую прозу последних двух десятилетий. Много работает Гуцало в жанре рассказа и теперь, не случайно именно он стал первым лауреатом республиканской премии

имени Юрия Яновского в области новеллистики.

Лет двадцать назад в предисловии к одному из своих ранних сборников он определил задачу своего поколения как «изучение скрытых импульсов, которые еще не скоро оформятся и не скоро станут мыслями». Они, эти импульсы, и были исходным материалом и темой его первых рассказов. Теперь, по прошествии лет, может быть, даже отчетливее видно, что изучение глубинных движений человеческой души значило для писателя гораздо больше, чем вменяла та категоричная формула. Вызванные к жизни разными впечатлениями, эти импульсы возвращали писателя к его детству — времени, когда человек незаметно, исподволь учится всему, что составит позже его нравственный облик.

Потому ли, что так требовала сама логика развития украинской прозы, или в равной мере потому, что опыт собственной жизни молодых прозаиков был прост в своих внешних проявлениях, сюжеты тех рассказов чаще всего оказывались нарочито будничными — привычная работа, каждодневные заботы о хате, хлебе, одежде. Но ощущение внутреннего достоинства, особой, духовной наполненности этой жизни при всей ее незатейливости — вот нравственный урок, который извлек из того опыта Гуцало.

И если теперь прочитать его рассказы разных лет под углом, который предлагает аннотация — «народный характер», — то из них действительно черточка к черточке складывается национальный характер в своих житейских простых, проверенных временем и закрепленных традицией проявлениях и одновременно в своей исторической обусловленности и психологической сложности. Вот один из таких характеров, открытых нам писателем, — Варвара Сухорадо («Песня про Варвару Сухорадо»). Она сама хозяйничает в хате и на огороде, сама справляется со всей мужской работой. «Понадобилось сбить корытце для свиньи — сбила... Нужно... вырыть яму под картошку или буряки — не зовет никого, сама берет лопату в руки... Знакома и с топором, не боится железа, а если что-то принести тяжелое потребует — сама звалит на плечо и принесет». Она так и не вышла замуж, потому что «парня, который мог стать ее мужем, убило на войне. И всех других, за кого она могла бы выйти, тоже убило. Вдовцы или калеки, которые могли бы подсаживать к ней, тоже обошли Варварину судьбу где-то стороной, и она, оставшись одинокой, в своем естестве как

бы совместила мужчину и женщину». Работа изо дня в день, монотонная в своей одинаковости, привычная и тяжелая, но необходимая ее душе как воздух, как хлеб, составляет ее жизнь. И лишь редкие праздники выпадают Варваре, когда в воскресный день, принарядившись, отправляется она на базар, и он становится для нее неким театральным действием, где она, Варвара Сухорадо, играет главную роль.

Есть у Гуцало в новом сборнике рассказ «Создан вечный двигатель». К поминальному столу собираются на сороковины сельские мужики, приятели умершего Василя Вихруца. Смахивая с восковых щек слезы, суетится вокруг стола закутанная до самых бровей в черный платок тетка Мотря, в задумчивости дымят cigарками подвыпившие мужчины, и блещит на их потных лицах заходящее солнце... Что же все-таки остается от человека? От целой прожитой жизни, которая вдруг обрывается и ее как будто и не было? — в который раз задают себе эти вопросы люди. Что о галосе от Василя? Неужели только груда железа в сарае от той машины, что он смастерил в свободные минуты, — что-то вроде вечного двигателя, в который он, наверное, хотел вложить свою душу? «Только дела и добрая память». — задумчиво подводит в конце концов кто-то итог.

Но мало сказать, сформулировать это. Важно нести память в себе, и в сохранении ее для Гуцало заключена основная нравственная обязанность человека. Сама способность человека помнить неразрывна для писателя со способностью в нужную минуту поставить себя на место другого, почувствовать как свою чужую боль или радость. Для Гуцало эти звенья нравственного опыта неразрывны.

Повесть «Из огня воскресли» продиктована долгом памяти. Продолжая тему его ранней повести «Мертвая зона», она строится не на собственных впечатлениях детства, а на сделанных уже взрослым человеком записях — рассказах чудом уцелевших от огня и смерти жителей сожженных немцами сел. Это своеобразная хроника, главная сила которой в суровой обнаженности самого факта. Прошли десятилетия, и кажется, что ничто не изменилось: и те же аисты вьют гнезда в старых осокорях, те же журавли-колодцы вздымают в небо свои длинные клювы, так же белеют в зелени садов хаты... Только рядом с колодцами — обелиски с красными звездочками да хаты давно уже другие... Когда в свое время вышла из печати «Мертвая зона», в критике раздались голоса, что уж очень

мрачен ее колорит. Что же можно было сказать в ответ? Что когда горят хаты, а земля превращается в мертвое пепелище, это навсегда остается в памяти выжженной полосой. И если бы человек был способен забыть это, не стало ли бы такое забвение страшнее самой смерти?

Это хорошо знают люди, чьи рассказы записал в полесских селах Евгений Гуцало. «Жить можно, лишь бы только душа так не болела», «Мне тогда было двенадцать лет, но я никогда не забуду, как горело Елвно», «Лучше и не вспоминать, такое не забывается» — вот голоса тех, кто прошел через это горькое, но необходимое человеку испытание памятью.

«Память прошлого над нами велика... — продолжает уже сам писатель. — То, что произошло вчера или позавчера, с течением времени обретает новые черты». И эти черты былого, силой памяти обретшего свою новую реальность, определяют самую тональность последних рассказов и повестей украинского прозаика. Как сохранить краски, звуки, запахи, восстановить в словах, которые так могучи и одновременно слабы, бытие, его плоть? И что отобрать из этого бытия, чтобы не казалось оно несущественным? «А может, в живой жизни вообще нет мелочей, несущественного... все имеет свое оправдание и назначение, все наделено смыслом, которого мы постоянно доискиваемся?» — вот круг вопросов, которые бесконечно волнуют писателя, направляют его поиски, оставаясь своеобразной нравственной доминантой всего написанного.

Под своими рассказами Гуцало редко ставит даты. В этом есть свой плюс и свой минус. Виднее внутренняя связь, единство всего, что было создано в разные годы. Но труднее определить движение мысли писателя. И не потому ли создается иной раз впечатление затянувшегося однообразия, повторемости (в который раз!) одних и тех же образов, мотивов, красок, какой-то нарочитой замкнутости содержания.

Странно было бы требовать от писателя, чтобы он ответил на все вопросы, которые могут возникнуть по прочтении его рассказов и повестей. Но все же, читая, например, много лет назад «Мертвую зону», позднее «Путников», а теперь «Из огня воскресли», я одинаково жду если не ответа, то хотя бы поставленного автором вопроса, который, казалось, вытекает из логики материала: почему в одном и том же селе, на одной и той же земле, где одинаков труд людей, цвет неба, язык, традиции, один становится героем, а другой полици-

ем? Почему один, рискуя жизнью, делает то, что обязан делать живой, пока он жив (хоронит недогоревшие останки односельчан), а другой стирает с лица земли собственный очаг, уничтожает свои собственные корни? К Гуцало (чаще, чем к другим писателям его поколения) предъявляют справедливые упреки в излишнем этнографизме. В том, что многие живописные подробности сельского быта в его произведениях, в какой-то мере уходящие в прошлое (вроде вышитых сорочек, которые вдруг стали городской модой в сочетании с фирменными джинсами, или белых мазанок, которых все меньше и меньше в современном селе), не выражают уже ни своеобразия национального характера, ни реальных противоречий сегодняшнего дня. Как выявить это национальное в реальной повседневности настоящего — вот вопрос, который должен стать перед писателем.

Правда, бросая упреки Гуцало и другим писателям этого поколения в чрезмерной орнаментальности языка, надо помнить о том, что особая метафоричность их письма, которая читателю, не владеющему украинским языком и воспитанному на строгости русской прозы, кажется искусственной, в какой-то степени связана с самим характером слова. В лексике украинского языка, в самих корнях слов, в его синтаксическом строе скрыты, спрессованы, словно невидимые временные напластования, отошедшие в прошлое, но некогда живые мысли и представления человека о себе самом, природе, мире. Обнажить в слове эти связи стало для молодых прозаиков 60-х годов задачей не просто лингвистической, а эстетической, нравственной. Вот почему слово у Валерия Шевчука или Евгения Гуцало, с одной стороны, точно и скупое фиксирует черты и приметы реальной действительности, так сказать, в измерениях самой жизни, а с другой — мгновенно переносит нас в какой-то иной, может быть, еще языческий мир, откуда именно через слово пришло ощущение органического, изначального родства человека и природы, которое воспринимается писателями не как условность, а как совершенно особая реальность мироощущения современного человека.

В прозе Гуцало идут свои стилиевые поиски. Далеко не всегда они продуктивны. То вдруг он обращается к открытым рассуждениям (это он-то, декларировавший импульсы!), то вдруг впадает в велеречивую риторику или излишнюю сентиментальность, граничащую с плохим вкусом. Все это следы той работы, которая у писателя,

реже печатающегося, остается обычно в черновиках. Но то, что Гуцало, как и Шевчук, подошел вплотную к необходимости расширения горизонтов своей прозы, к необходимости освоения нового материала, когда в поле его зрения вошли бы реальные противоречия наших дней, я думаю, очевидно и для него самого, и для его внимательного и заинтересованного читателя.

Начиная в 60-е годы свой путь в литературе, Е. Гуцало, В. Шевчук и другие их ровесники в полный голос заговорили от лица

своего поколения. Двадцать лет спустя задача их безмерно усложнилась.

Чтобы выйти сегодня на рубежи общечеловеческих проблем, не потеряв конкретности национального бытия, писатель должен пройти самый, наверное, длинный, самый сложный, но единственно возможный для себя путь к самому себе. Если он действительно хочет, чтобы из брошенных им семян проросли в будущее крепкие и надежные ростки правды.

Ирина ГИТОВИЧ.



Политика и наука

ЕЛКА ДЛЯ ВСЕХ

Александр Кривицкий. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года (Повесть-хроника). Ветер на перекрестке, или Памфлеты и рассказы из цикла «Кое-что...». М. «Советский писатель». 1980. 527 стр.

Александр Кривицкий. Елка для взрослого, или Повествование в различных жанрах. «Знамя», 1980, №№ 5, 6.

Александр Кривицкий. Мужские беседы (Повесть-хроника). «Москва», 1982, №№ 11, 12.

Александр Кривицкий. Белые скорпионы (Памфлет). «Правда», 15 февраля 1982 года; Предупреждение из прошлого. «Правда», 14 июня 1982 года.

«А вообще-то я ужасно нефотогеничен», — с некоторой грустью сказал Кривицкий, захлопывая свою книгу с авторским портретом перед титулом, новую свою толстую книгу, подаренную мне, судя по надписи, «как пособие в счастливой жизни». Так, бывает, кокетничают хорошенькие женщины, уверенные как раз в том, что на фотографиях они получают писаными раскрасавицами, лучше некуда — хоть выставляй в витринах модных ателье где-нибудь на улице Горького или на Кузнецком мосту.

Но Кривицкий вовсе не кокетничал, он искренне верил в сказанное и не подозревал даже, что обманывает и меня и, главное, себя, потому что — я все потом внимательнейшим образом рассмотрел — на черно-белом плохо пропечатанном портрете был именно Кривицкий со своеобразным, именно ему присущим обаянием. Не высокий, крепко сшитый, нахохлившийся и — странность! — одновременно расслабленно-вальжный, смотрел он, сощурившись, сквозь очки-лупы куда-то далеко-далеко в пространство. А может, не в пространство, а во время: скажем, в сорок первый год, чьи ночные чтения, ослабив его глаза, до предела обострили его художественное зрение, дали счастливую возможность увидеть сегодня то, мимо чего не останавливаясь проскочил его нетерпеливый молодой взгляд тогда — сорок с лихом лет назад.

Впрочем, проскочил ли? Как бы не так!..

В недавнем номере ведомственного журнала «Советская эстрада и цирк» неожиданно встретил я еще один, уже сорокалетней давности снимок, на котором Александр Юрьевич Кривицкий беседует с бойцами — защитниками московских рубежей. Казалось бы, воды с тех пор утекло — ну, Тихий океан, а Кривицкий со старой карточки смотрит столь же пронзительно-остро, как и ныне, и словно видит еще не явившийся в историю и еще не означенный в собственной биографии год, когда он, Кривицкий, сядет за письменный стол и чуть ли не залпом напишет странные и увлекательные, необычайные повести о необычайном времени, которое моему поколению пережить не пришлось — не успело оно родиться, поколение...

Не успело — к счастью?

Кривицкий, например, считает, что так. Однако почему же все-таки, подарив мне «Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года», он назвал книгу пособием в счастливой жизни? Автор не разъяснил этой своей надписи, набросал ее торопливой скорописью, поставил в конце восклицательный знак — понимай, мол, как хочешь.

А как я хочу?

О «...Ночных чтениях...» написано много рецензий, и я не собираюсь добавлять к ним свою. Я просто попробую без помощи фотокамеры нарисовать свой портрет

писателя и поставить его рядом с теми двумя вышеназванными и буду рад, если мне удастся хоть немного дополнить то представление о характере и творчестве Кривицкого, которое уже давно сложилось у его многочисленных читателей.

Описывая в «...Ночных чтениях...» дружеские отношения Тихонова и Павленко, писатель походя бросил красивую фразу: «Они делили пополам хлеб и фантазию». Бросил ее едва ли не в самом начале повести, рванул ее далее, забыв, похоже, о сказанном, потому что о многом следовало написать, воспоминания и мысли искали выхода на машинописных страницах, выстраиваясь именно в повесть (точнейшее обозначение жанра!), а не в ожидаемые мемуары, в мудрую, остро сюжетную повесть, где главным героем было Время, о котором погибший на фронте поэт сказал горделиво: «Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков. И будут жаловаться милым, что не родились в те года...»

А Кривицкий считает мое поколение счастливым. Куда счастливее своего!

И все же именно «они делили пополам хлеб и фантазию». Они — это не только Тихонов и Павленко. Это все мои старшие собратья по перу, мои учителя и наставники, мои командиры и комиссары. Потому что, обучая, воспитывая нас, пестуя и лелея наши маленькие творческие победы, искренне веря, что мы счастливее их, они, думаю, тем не менее втайне, даже себе в том не признаваясь, считают: «...в наши дни нам выпала такая участь, что пусть завидуют они».

В данном случае «они» — это мы. Мы счастливее своих учителей. Нам не надо делить пополам хлеб и фантазию, у нас на каждого вполне хватает и того и другого. Но — вот парадокс! — поэтому мы и беднее их. Быть может, кому-то, в том числе самому Кривицкому, такой вывод покажется весьма произвольным, даже надуманным, но я иного не вижу, не хочу видеть.

Тень друга, крылом своим осенившая Кривицкого, когда он вспоминал паразитические ночные чтения сорок первого года, и потом, позже, когда писал «Елку для взрослого...», и много раньше, когда первым открыл для миллионов советских людей подвиг двадцати восьми панфиловцев, — тень эта вольно или невольно осеняет и нас, читателей, ведет за собой в быстротечном и бурном времени, о котором, кстати, Кривицкий заметил:

«Все это было вчера, позавчера, недавно.

Но, оказывается, с той поры уже прошло... Не случилось ли какой путаницы в механизме времени?

За последние годы так много писали о разных принципах его отсчета. Для землян оно течет быстрее, чем для межпланетных путешественников. Справедливо ли это? Не натворил ли тут чего-либо Эйнштейн? Что-то с некоторых пор действительно время несетя вскачь...

Нет, все точно, как всегда. Просто стареет наше поколение и само же удивляется этому. То и другое естественно. Но в этой естественности есть все же извечная странность, которую каждый постигает в одиночку».

Не знаю кому как, а мне было чрезвычайно любопытно постигать ее вместе с Кривицким. Возможно, потом, лет эдак через тридцать, я пойму ее по-своему. И, возможно, лет через тридцать, постигая эту «извечную странность», я вспомню о том, например, как шел вместе с Кривицким под мелким и нудным дождем по мокрым аллеям старого парка в Архангельском, шел, пряча шею в воротник куртки, и тихо ненавидел своего спутника, который дождя не замечал вовсе. Кривицкий, чуть прихрамывая, аккуратно обходил лужи, не отпуская, однако, моего рукава, близоруко смотрел сквозь залитые водой линзы сильнейших очков и вспоминал, вспоминал не переставая. «Простужусь, — думал я. — Он сумасшедший...»

А «сумасшедший» Кривицкий не ведал о моих чувствах к нему, он был до краев переполнен мыслями, и плевать ему было на осеннюю подмосковную непогоду.

— Ничего нельзя забывать, — горячо и убежденно втолковывал он мне, промокшему и злому. — Ведь если хорошенько порыться в памяти, то легко выяснится: все уже сказано. Как в чьих-то стихах: «Все сказано на свете, несказанного нет». Знаете ли вы, мой молодой и сердитый (замечтал-таки!) друг, что еще в тридцатых годах некий всемирно знаменитый писатель предупредил мир о возможности общепланетной катастрофы?

Поскольку я не знал, то вопрос получился риторическим. И Кривицкий сам на него ответил:

— Синклер Льюис, «У нас это невозможно». Слыхали?

— Даже читал, — признался я, припоминая старые запыленные комплекты журнала «Интернациональная литература», хранящиеся у отца в одном из книжных шкафов.

— И забыли?!— полувопрос-полуутверждение.

— Забыл...

— То-то и оно... Ну ладно, вы молодой и сердитый, с вас спросу мало. Но сановные соотечественники Льюиса, те, для кого третья мировая не фантастика, а желанная реальность, им бы не стоило забывать...

— А вы напомните,— сказал я, чтобы что-то сказать.

Кривицкий усмехнулся.

— Не исключено, что придется...

Фраза для красоты? Так можно подумает лишь сгоряча. Годы два спустя, то есть совсем недавно, в «Правде» появилась статья Кривицкого, в которой он с присущей ему блистательной парадоксальностью мысли и формы проводит параллель между фантастической ситуацией, описанной американским прозаиком, и тем, что сегодня происходит в Соединенных Штатах Америки. И, насколько мне известно, статья эта вызвала немалый резонанс в западной прессе, особенно в той, которая, мягко скажем, не слишком дружелюбно настроена к Советскому Союзу.

Зачем я об этом написал? Для того, чтобы еще раз утвердить мастерство Кривицкого-публициста? Нет, конечно, оно, на мой взгляд, в лишнях утверждениях не нуждается. Я написал об этом для того, чтобы выделить одну из главнейших черт писателя: он ничего не вспоминает просто так, как говорится, для приятного отдохновения, для светской беседы о том о сем. Его память — объемистый систематический каталог, где все прочитанное, увиденное, услышанное аккуратно укладывается в определенный ящичек и лежит там нетронутое до поры, вроде бы даже полузабытое, задвинутое в дальний угол. Но приходит пора и...

Вот, скажем, съездил Кривицкий в Польшу. Съездил задолго до того, как мир узнал о существовании организации типа «Солидарности» или КОС-КОР. Бродил по варшавским улочкам, пил пиво в кафе на Старом Мясте, беседовал с самыми разными людьми. Наверное, что-то написал о своей поездке тогда — не знаю, не прочел. Но опять-таки недавно в «Правде» с восхищением и завистью я буквально проглотил его едкую и тонкую статью о той давней поездке, где он без пощады высмеивал услышанные им «тихие» (или, точнее, осторожные) обвинения некоторых его собеседников в адрес нашей книгоиздательской политики, обвинения, под которыми не было не просто твердой — вообще никакой почвы. Позже обвинения в адрес Совет-

ского Союза у тех же главарей «Солидарности» звучали куда как громко, но менее нелепыми они не стали. Почвы под ними по-прежнему нет. Старое — проходное — воспоминание выросло в статье Кривицкого до размеров серьезного обобщения. Впрочем, того и требует жанр политического памфлета, но приведенным примером я вновь хочу подчеркнуть не столько высокий профессионализм, сколько прихотливость памяти писателя.

В издательской аннотации к «Тени друга...» автор назван признанным мастером сюжетных памфлетов на международные темы. Да, в них он всегда был и остается остроумным и страстным обличителем, каковым и признан, что справедливо отметила аннотация. Но так ли уж она справедлива?

Критика (да и читатель) любит определенность. Такой-то — деревенщик. Этот — военный писатель. Тот — производственник. А Кривицкий — публицист с международным уклоном. И когда такой-то, этот или тот вдруг отходят от привычной (даже не для них — для критики) тематики, то отход сей либо вызывает удивление, либо его не очень-то и замечают.

Во вступительной главе «Ёлки для взрослого...» (вот уж ничего общего с международной публицистикой!) Кривицкий пишет: «Наряжу я елку (то есть повесть.— С. А.) в разные разности. На эту веточку — воспоминание, на ту — нечто, называемое модным словом «эссе», на третью — страничку прозы, на четвертую — статью с диалогом, на пятую — еще не знаю что, надо подумать...»

Честно говоря, я не очень понимаю, почему воспоминание или эссе не может быть страничкой прозы, зачем их выделять. Да ладно, не в этом дело. А дело в том, что Кривицкий всегда одинаково мастерски работал в любом прозаическом жанре, и, по моему, вовсе не обязательно числить его за ведомством международной публицистики.

Подчеркиваю: международной. Потому что Кривицкий по долгу, по призванию, по таланту именно публицист. Другое дело, что в понятие это мы вкладываем порой разный смысл. Один известный писатель как-то назвал публицистику прицепным вагоном, следующим за многосильным паровозом большой литературы: дескать, и нужна она, не обойтись без нее газете или журналу, да только публицистический жанр — второй сорт, уважающий себя прозаик души в него не вложит, для романа, скажем, побережет. В чем-то, наверное, прав писатель: немало еще появляется газетных и

журнальных статей, где вроде все слова на своих местах, все копья с треском ломаются, все стрелы в цель летят, а вот что души касается...

Но ведь книги «Тень друга...», «Елка для взрослого...» или «Мужские беседы» — публицистика? Вне всяких сомнений. В первой автор говорит о силе русского оружия, о его славной истории, а рядом воспоминания о друзьях, коллегах, о себе самом, давным-давно этой историей увлеченном. Во второй он тоже автобиографичен, вновь вспоминает близких ему людей, долгую дружбу с Константином Симоновым, журналистскую свою работу. Примерно так же ведет Кривицкий и свои «Мужские беседы». И везде даже личное и частное непременно сливается у Кривицкого с общим, с серьезной социальной проблемой. Но эти три вещи, по всем приметам публицистические, являют собой ту публицистику, которая и есть художественная проза — тонкая, точная, метафоричная, стилю коей позавидует иной романист. Можно, впрочем, позавидовать и ее философичности, ярчайшим характеристам героев, глубине мысли...

А кроме того — душе, в публицистику эту вложенной. Душе писателя, который ее никогда не берет и, если уж продолжать «железнодорожные» сравнения, еще раз (что отнюдь не лишне) показал *urbī et orbī*, городу и миру: вагон и паровоз — одно целое, настоящая публицистика и есть большая литература. И что бы ни вешал Кривицкий на свою елку, как бы это ни называл, все будет настоящей публицистикой. Или, другими словами, Литературой.

Вспоминаю один разговор с Александром Юрьевичем (оказывается, какая заразительная болезнь — воспоминания). О цирке был разговор. Выяснили, что любим цирк любовью детской — радостной, бескомпромиссной. Кривицкий удивился, узнав, что я

много пишу о цирке: читал он все мои статьи, только не знал, что за псевдонимом их автора стыдливо скрывался именно я.

— А я зато для самого цирка писал, — по-мальчишески похвастался Кривицкий. — Куллеты, репризы...

— И они исполнялись? — усомнился я.

— А то! — подтвердил Александр Юрьевич и для убедительности «дал зуб»: показал, что якобы вырвал его с корнем.

А летом в «Литературной газете» прочитал я чудесное, прямо-таки воздушное, окрашенное цветным флером мальчишеской романтики эссе (не любимое Кривицким слово) Александра Юрьевича о цирке, где он и программы двух московских цирков разобрал (вполне профессионально), и о воспоминаниях не забыл; все то, что мне рассказывал, уместил в статью. Именно уместил — к месту воспоминания пришлось, ни убавить, ни прибавить.

Сперва подумалось: неужто мои сомнительные лавры «цирковеда» его потревожили? Отогнал мысль — чушь, вздор, чепуха! Просто тот разговор наш вдруг напомнил ему о пятой веточке елки, на которую надо повесить «еще не знаю что». Вот и украшена она, пятая. А есть шестая, десятая, сотая... О чем напишет Кривицкий завтра? Уверен: о многом. Потому что велик и разнообразен его «систематический каталог» памяти, потому что многогранен его талант, потому что богата его жизнь. А она у него за плечами счастливая, позавидовать можно. Вот почему любая книга Кривицкого могла бы, по-моему, стать «пособием в счастливой жизни».

И жизнь Кривицкого — это тоже его елка. Он сам ее украшает. Вроде бы для себя — «для взрослого». Но я бы сказал: для взрослых. Потому что его елка — для всех.

Сергей АБРАМОВ.



ТЕОРЕТИК И ПРОПАГАНДИСТ МАРКСИЗМА

Валерий Осипов. Подснежник. Повесть о Георгии Плеханове. («Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1982. 527 стр.

Профессиональный революционер, не раз арестовывавшийся царской охранкой, крупный мыслитель; видный теоретик народничества, один из руководителей «Черного передела» и основатель первой заграничной организации русских марксистов «Освобождение труда», давший резкую и точную критику субъективизма народнической социологии; страстный пропагандист марксистских идей, первым теоретически обосновавший их применимость к условиям России и... не сумевший понять величай-

шего практического завоевания марксизма — Октябрьской революции; интеллектуал, энциклопедист и человек в высшей степени самолюбивый, импульсивный, с непредсказуемыми метаморфозами мысли и поведения — все это Плеханов.

Друзья Плеханова по группе «Освобождение труда» негодовали, когда он на втором съезде РСДРП поддержал ленинскую формулировку членства в партии, став на сторону большевиков. Однако уже через несколько месяцев Плеханов требовал ми-

ра с меньшевиками, а в конце 1903 года он, по точному определению Ленина, «меньшевик, и ярый». В вопросах стратегии и тактики политической борьбы Плеханов так часто и неожиданно менял курс, что с полным основанием его называли генералом от виляния, но:

Ленин всегда высоко ценил теоретические труды Плеханова, его громадные заслуги в борьбе с оппортунизмом, Бернштейном, философами антимарксизма, полагая, что все, написанное Плехановым по философии, надо изучать, ибо это лучшее в международной литературе марксизма;

работы Плеханова о гегелевской диалектике, о сущности научно-материалистического подхода к вопросам общественного развития заслужили превосходные отзывы Энгельса;

российские социал-демократы считали Плеханова высшим авторитетом в теории, своим марксистским первоучителем;

до сих пор не утратили своей силы и значимости исследования Плеханова в области таких сложных общественных явлений, как мораль, искусство, религия. Плехановская критика религиозно-мистических поветрий насыщена яркими красками, богатым конкретным материалом и по-прежнему захватывает читателей как содержанием, так и образным, ясным языком, остроумием, искренней увлеченностью автора...

При всей уникальной противоречивости личностных качеств Плеханова его можно рассматривать как типичного русского интеллигента, ушедшего в революцию. Причем если его родственник по матери В. Г. Белинский был предтечей революционных разночинцев в среде дворянских революционеров, то сам Плеханов — сын тамбовского дворянина, юнкер, студент-народник, затем убежденный марксист, теоретик международного рабочего движения — в сущности, стал провозвестником пролетарского этапа в российской революции. Характерно, что именно Плеханов впервые дал научную, подлинно марксистскую оценку деятельности и творчества великих своих предшественников, представителей русской революционной демократии — Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова.

Считая классовую психологию отражением и выражением социально-экономических условий бытия и тем самым важным источником многих особенностей идеологии того или иного класса или социальной группы, Плеханов с особенной тщательностью анализировал мировоззрение и идейные колебания в среде интеллигенции как западноевропейской, так и российской. Яр-

ко и эмоционально, с глубокой научной убедительностью классово-политический смысл этих колебаний вскрыт им в его труде «О так называемых религиозных исканиях в России». Рассматривая, в частности, религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого и М. Горького, Плеханов четко определил их философские слабости (при этом он неизменно подчеркивал огромную художественную ценность произведений великих русских писателей). Так же темпераментно и с научной обстоятельностью критикует Плеханов попытки А. В. Луначарского создать «религию социализма», назвав богоискательство «душегрейкой новейшего уныния», с нескрываемым сарказмом разоблачает философские теории Бердяева, С. Булгакова, Мережковского, Гиппиус, Минского и им подобных «интеллигентов», беря это слово в кавычки, ибо не считает интеллигентами образованных людей, «весьма расположенных к разного рода мистицизму», вообще бессознательно увлекающихся любым модным течением религиозного толка. «Современные увлечения всякими модными антиматериалистическими «измами» являются симптомом приспособления «миросозерцания» нашей интеллигенции к «комплексу» идей, свойственных современной буржуазии», — делает он вполне обоснованный вывод.

Было бы, конечно, преувеличением считать, что все философские работы самого Плеханова свободны от ошибок. Таких, скажем, как знак равенства между ощущениями и иероглифами (уравнять их пытался еще Гельмгольц, считавший ощущения лишь символами вещей). Как известно, Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм» поправил Плеханова, впоследствии признавшего неточность своего определения.

Вообще же слабость, особенно заметная теперь, плехановских философских взглядов коренится в том, что он недостаточно хорошо ориентировался в естествознании, не уловил и не оценил значения революции в физике. По складу своего ума, по научным интересам и пристрастиям Плеханов был, так сказать, явным гуманитарием, талантливейшим литературным критиком, много сделавшим для разоблачения идеалистического, антинаучного представления о литературе, о происхождении и сущности искусства. И все же плехановская критика неокантианства, махизма, религиозно-идеалистических концепций в науке и общественном сознании жива и сейчас, актуальна, интересна, представляет собою боевое оружие в нашей идейной борьбе за матери-

лизм, за чистоту и творческое развитие марксистской теории.

Все сказанное предопределяет особый интерес к первому в нашей литературе художественному произведению о Георгии Валентиновиче Плеханове, в котором прежде всего раскрывается личность и судьба Плеханова-философа. Конечно, автор, Валерий Осипов, отдавал себе отчет в том, насколько трудна задача воссоздания диалектики души, логики поступков и мыслей личности столь значительной и сложной.

Сама структура, архитектура повести не проста. Картины партийного съезда, совещаний по созданию «Искры», семейно-бытовые зарисовки, анализ философских положений, реминисценции, чередование авторской речи с внутренними монологами героя и других персонажей, диалогов Плеханова с его друзьями и врагами (например, Плеханова с Лениным и Плеханова с Савинковым) — все направлено на раскрытие богатейшего духовного мира главного героя книги. В эти монологи и воспоминания, в эти реально происходившие и воображаемые разговоры включаются отрывки из произведений, переводов, писем Плеханова. Авторская речь наполняется образами, терминологией, словосочетаниями и оборотами, типичными для героя, лексически и стилистически приближаясь к слогу произведений и писем Плеханова.

К сожалению, именно здесь автору не всегда сопутствует удача. «И это, как ничто другое, давало возможность осознать в себе предельно густую концентрацию конкретной, человеческой определенности и цельности». Примеров подобной невнятной многозначительности, искусственной приподнятости авторской речи, которую читатель должен принять за внутреннюю речь Плеханова, за характеристику его самоощущения, за его самооценку, в повести, увы, немало.

Или такая, например, сценка. Плеханов и Аксельрод приходят к Энгельсу. Подробности этой первой встречи российского первоучителя с одним из основоположников марксизма опущены, хотя сам Плеханов вспоминал, что сразу пошел серьезный разговор о Лассале и лассальянстве. В повести же Плеханов из беседы с Энгельсом выносит крайне мало: «Какой великолепный старик, а?.. Я с ним приготовился вести ученые разговоры — о прибавочной стоимости, например, а он мне пива предлагает... Пивка, говорит, не желаете, а?.. Нет, прекрасный, чудный, замечательный старик!»

Вот, в сущности, и все, и вряд ли читатель может в это поверить.

Разумеется, дело не в том, что гениальное учение о прибавочной стоимости просто соседствует с прозаическим пивком. Нам представляется, что одна из задач художественного произведения в серии «Пламенные революционеры» в отличие от научных и научно-популярных, документальных работ, посвященных деятельности революционеров — это воссоздание их целостного духовного мира, а оно, пожалуй, невозможно без реконструкции реалий бытия, повседневной жизни, даже быта. Но показывать человеческое в герое (без чего он, несомненно, останется схемой характера, а не характером), используя наивный прием упрощения, конечно же, антихудожественно. Тем более что в целом В. Осипов это человеческое в жизни и личности Плеханова раскрывает тоньше, убедительнее, ничуть не снижая, даже в известной мере объясняя высокий трагический пафос его судьбы. Тяжелейшая болезнь Плеханова, самоотверженность Веры Засулич, ухаживающей за больным своим другом и учителем, помощь товарищей по партии и по группе «Освобождение труда» беременной жене и двум дочкам Плеханова, когда он был выслан швейцарской полицией во Францию, поденная работа крупнейшего ученого ради пропитания семьи — эти страницы повести «Подснежник» трогают... Заслуживают читательского сопереживания и мучительные раздумья умирающего Плеханова о том, что он, почти всю сознательную жизнь проведший в эмиграции ради приближения пролетарской революции в России, вернувшись на родину, так и не был принят ею, ибо сам не принял ее революционной нови и потому был атакован, осажден контрреволюционными силами, стремившимися использовать его авторитет против Октября.

И все же наибольшая, на мой взгляд, удача книги В. Осипова в другом. Созданная средствами художественной литературы, повесть пробуждает интерес к литературе специальной, философской, к творческому наследию Плеханова, вызывая желание еще раз перечитать его труды, соотнести разбираемые им проблемы с нашей жизнью, с задачами, встающими перед нынешними участниками великих свершений социализма, о котором мечтал и которому посвятил весь свой талант, весь свой интеллект выдающийся марксист Георгий Валентинович Плеханов.

Евгений ПАВЛИХИН.

КОРОТКО О КНИГАХ



ИВАН ТРЕТЬЯКОВ. Цветы и мины. Баку. «Гянджалик». 1982. 502 стр.

Иван Третьяков пишет о войне. И повседневный подвиг, совершавшийся советскими людьми, ставший непреложной нормой на передовой и в тылу, запечатлен в каждом почти рассказе книги. Герои писателя-фронтовика раскрываются в коллизиях сложных, требующих мужества и гражданской зрелости. Дачкин из рассказа «Начфин», глубоко штатский человек, под огнем не бросил мешок с «денежным довольствием» батальона, да еще сумел вынести из-под обстрела тяжело раненного бойца. Медсестра Пчелкина из рассказа «Бывают минуты» сумела, проявив неженскую силу, спасти многих людей. Лейтенант Зубов, один из персонажей повести «Дорога длинная...», попал в плен, бесстрашно взглянул в лицо смерти, не унизился перед врагом...

Один раздел книги назван «Из цикла „Перекрестки судьбы“». Танковый полк прибыл на переформировку. Рядом развернут новый большой госпиталь, куда еще не начали поступать раненые. Персонал госпиталя чисто женский. Ненадолго отвлекшиеся от войны люди заняты строительством танцплощадки, завязываются отношения почти как в дофронтовом прошлом. Танкист Валя Полозков и медсестра Зина погибли от разрыва одной бомбы (рассказ «Уходил эшелон на восток»)...

Обращаясь к традиционной для наших писателей-баталистов теме «женщина на фронте», И. Третьяков откровенно любит-ся своими героинями, в их образах — теплота авторского отношения к героиням и убежденность, что любить они могли только горячо и непосредственно. Рядом с минами росли цветы, и писатель, возвращаясь к тем дням из дня сегодняшнего, убеждает нас, что под давлением суровых обстоятельств «несовместимое» нередко сближалось.

Эта книга, в которой самый ранний рассказ датирован концом 50-х годов. м о л о д а. Тут воюют молодые и любят молодые, они живут и умирают, чтобы жили другие.

У И. Третьякова есть свой сквозной герой, проходящий через большинство произведений. Это лейтенант Горячев — человек мужественный, честный, скромный. Горячев — зоркая и чуткая совесть этой книги. Он всегда там, где трудно. На многое автор смотрит словно бы его глазами и пишет о войне естественно, с суровой простотой — так же естествен и сурово-прост его Горячев.

Сборник военных рассказов и повестей И. Третьякова пополнил художественную летопись воинского подвига народа.

Игорь Тарасевич.



КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ. Кольца годовые. Стихотворения. М. «Советская Россия». 1981. 126 стр.

В стихах Кирилла Ковальджи ощущается резкий, напряженный пульс нашего времени. И все же их не отнесешь к громкой, декларативной поэзии. Можно говорить о внутреннем очаровании, мягкости, ненавязчивости, порой элегической грусти стихов, однако и к тихой поэзии их тоже причислить нельзя. Кирилл Ковальджи, как всякий настоящий поэт, ищет в поэзии свою собственную дорогу; поэтическая самобытность ему дороже любых модных веяний. Вот и в «Кольцах годовых» отчетлив поиск новых средств выражения в рамках отечественных поэтических традиций. По трем разделам книги, озаглавленным «Ранние строки», «География» и «После полудня», мы можем проследить путь возмужания и становления человека и поэта.

Если стихи из первого раздела экспрессивны, дышат юношеским жаром души, то последние годы являют нам зрелость, весомость поэтического слова. Весомость, хотя К. Ковальджи чужда назидательная поза вещателя громких истин. Поэт предпочитает простой и открытый разговор с читателем.

Что утверждают деревья?
На старом дереве листья
Так молода, как и на том
Соседнем. самом молодом.

У всех, пока любовь жива,
Под солнцем равные права.
Душа, как в первый день, нова,
Пока рождаются слова.

Простая правда такова.

В лирике последних лет у поэта заметно усилились философские тенденции. Он строже стал относиться к так называемым вечным темам, где от поэта требуется особое напряжение сил для самобытного решения старой поэтической идеи. В то же время Ковальджи удается сохранить молодую непосредственность восприятия мира, естественность поэтического словаря. Философская лирика — от глубокого жизненного опыта, умения в обыденной житейской ситуации увидеть подспудный, не лежащий на поверхности смысл. И при этом не избегать сложных, противоречивых моментов бытия, не поддаваться соблазну упроще-

ния, переноса цветного изображения мира в черно-белые тона...

Логика художественного образа Кирилла Ковальджи тем отличительна, что стихотворение строится как бы по законам драматургического жанра — с традиционными завязкой, развитием и кульминацией действия («День-деньской плясала, сияя...», «Ночь упрямо заводит пластинку...», «У Белорусского цыганки...», «Баллада о доме»). На последнем стихотворении стоит остановиться особо, ибо оно является ключевым для понимания жизненной позиции автора. Главная идея «Баллады о доме» заключается в том, что человек прежде всего творец, он пришел на землю, чтобы создать жизнь и красоту, несмотря на любые препятствия. По ходу стихотворения образ строящегося дома приобретает глубокий, неоднозначный философский смысл. Дом — это и крыша над головой, и наша вселенная, и круг человеческих отношений, и тот мир духовных ценностей, которые создает человек. И именно в этом целеустремленном созидании оправдание его жизни: «...но перед любым судом буду прав. Я строил дом».

Книга поэта предстает как срез, на котором отчетливо проступает канва его судьбы.

Александр Лаврин.



ПЕТЕРИС ЗИРНИТИС. Сентябрьская лирика. Рига. «Лиезма». 1981. 79 стр.

ПЕТЕРИС ЗИРНИТИС. Сон в тысячу колоколов. Перевел Дмитрий Цесельчук. «Даугава», 1981. № 7.

ПЕТЕРИС ЗИРНИТИС. С совой за окном. Перевел Дмитрий Цесельчук. «Даугава», 1982, № 10.

«Сентябрьская лирика» латышского поэта Петериса Зирнитиса в живом переводе Дмитрия Цесельчука — это прежде всего книга философских раздумий. Читатель ощущает зоркий взгляд художника, проникающий в суть вещей, запечатлевающий мгновение этого мира во всей его неохватности и неповторимости.

Единство прошлого и настоящего, невозможность жить сегодня, не помня того, что произошло вчера, сто, тысячу лет назад, остро чувствуется в стихах, богато насыщенных историческими образами и ассоциациями. Андрей Рублев и еретик на костре инквизиции, Гёте в Гейдельберге и поэты, павшие в сражениях сорок первого, святой Георгий и гамбургские хиппи — вот будничные герои его произведений, вместе с которыми нам жить и думать, «чтобы рука Каина не могла подняться и трижды не был убит Авель».

Горько и неизбежно входит в творчество Зирнитиса тема войны. Стихи о войне сдержанны, как бы спокойны, они почти лишены традиционной пафосности. Они даже и не о войне, а скорее о мире, в который вторгается война, вторгается всегда неожиданно, предательски, смертоносно. Сдержанность слога, «штатский покров» военных стихотворений Зирнитиса усиливает их трагическое звучание. Совсем недавно, харак-

теризуя творчество своего выдающегося земляка Ояра Вацietиса, Петерис Зирнитис писал, что для произведений Вацietиса характерен эффект присутствия, острого сопереживания, даже если речь в них идет о событиях, свидетелем которых он быть не мог («Литературная газета», 1982, № 16). То же самое можно с полным правом отнести и к творчеству самого Зирнитиса. И дело, собственно, не в пространственных и временных отношениях, не в эрудиции и богатстве фантазии, а в цельности, основательности личности самого автора, для которого и далекое и близкое — равный повод поговорить с читателем о времени и о себе. О времени найдем и вечном, в центре которого человек, наш современник, мужественный и чуткий. Ему есть что сказать людям, его слово люди могут положить. У Зирнитиса это особенно явлено в стихотворениях о самом близком. О любви к отчизне, созревающей, как озимые под снегом, которые «вырастают зелеными в пропитанной кровью земле», о тихом и задумчивом море и о лесе, над которым шелестят души всех птиц, о друге, к приходу которого «хозяйка развесит звезды на дубах, как свечи», о любимой женщине. В стихотворениях Петериса Зирнитиса, большинство из которых написано свободным стихом, широко использованы самые разнообразные художественные приемы, образы отмечены и точностью и неожиданностью.

Автор не случайно доверил перевод всей книги целиком одному человеку. Интонационное разнообразие «Сентябрьской лирики», прочная звуковая фактура и, самое главное, ясность поэтической мысли — все это свидетельствует, что молодой переводчик справился со своей задачей. Но «Сентябрьская лирика» — лишь первый этап на пути знакомства русского читателя с поэзией Петериса Зирнитиса. Интересны последовавшие за книгой публикации поэта. И среди них особенно цикл о братской Литве — зеленой сестре в речных излуках, дарящей «сон в тысячу колоколов». Что касается самых последних стихотворений, то они значительно отличаются от предыдущих не только тем, что почти все написаны в рифму. Они более созерцательны, более размыты в плане чисто художественном и в чем-то, пожалуй, обнаженнее, тоньше, психологичнее; может быть, именно потому, что образный строй становится менее густым и экзотичным. И все-таки философское напряжение в этих стихах несколько ослабевает по сравнению с предыдущими, хотя они по-прежнему полны социального звучания, отмечены четкой гражданской позицией автора.

Эдуард Проivioвер.



П. В. МОСКОВСКИЙ, В. Г. СЕМЕНОВ. Ленин во Франции, Бельгии и Дании. М. Политиздат. 1982. 199 стр.

Среди двенадцати стран, по которым пролегли заграничные маршруты В. И. Ленина, Франция, пожалуй, занимает особое место. Дело не только в том, что эмигрант Улья-

нов прожил здесь в общей сложности около четырех лет из пятнадцати на чужбине (а, скажем, в Дании и Бельгии — считанные дни). Как верно подчеркивают авторы книги, Владимира Ильича «неудержимо тянуло во Францию, давшую яркие примеры революционной борьбы», где «еще не остыли от крови рассрежанных камни Пер-Лашеза». В Париже, гостеприимно укрывшем от всевидящего глаза, от всеслышащих ушей царизма искровцев и «экономистов», народников и либералов, в начале века формировался мощный идейный центр будущих русских революций

Как и в прежних книгах этой серии Политиздата «Ленин в Мюнхене», «Ленин в Лондоне», «Ленин в Швеции», «Ленин в Финляндии» (последние две также написаны П. В. Московским и В. Г. Семеновым), в основе новой работы — воспоминания родных и соратников Ильича, труды историков, документально выверенный материал. Собранный воедино и выстроенный хронологически, он интересен и сам по себе. Но «Ленин во Франции...» не только сумма заново пересказанных фактов, уже известных из ряда публикаций (среди них, в частности, выделяется книга французского историка и публициста Ж. Фревиля «Ленин в Париже»).

Московский и Семенов детально изучили пребывание Ленина в Логиви, бретонской деревушке, где он недолго отдыхал летом 1902 года и остался в памяти дочерей хозяйки его дома. А ленинградка И. Л. Кюршнер, дочь русского художника Льва Левенсона, жившего в то время в Логиви, познакомила авторов с семейным альбомом, неизвестным историкам. В нем виды деревни,

фотографии ее жителей, с которыми Ленин, несомненно, общался. Главка о Ленине в Логиви, на мой взгляд, одна из бесспорных удач Московского и Семенова.

Среди лучших страниц книги — подробный рассказ о Русской высшей школе общественных наук, работавшей в Париже в 900-е годы. Слушатели-искровцы (а таких было немало), понимая, что либерально-буржуазное руководство школы не рискнет пригласить в качестве лектора В. И. Ленина, предложили устроить рефераты г-на Ильина, автора легальных книг «Развитие капитализма в России» и «Экономические этюды и статьи». Секрет раскрылся за час до первой лекции. Отменить поздно. А когда она закончилась триумфом, руководители школы и вовсе растерялись. На экстренном заседании совет школы признал «выдающиеся качества лектора Ильина», но попытался отказать от следующих его выступлений. Слушатели возмутились. Членам совета, отмечают авторы, пришлось отступить и самим незаметно посиживать на лекциях Ленина в задних рядах актового зала.

Так из города в город, из страны в страну ведут нас авторы вслед за В. И. Лениным — оратором, пропагандистом, воспитателем большевистских кадров. Издательская аннотация справедливо адресует книгу широкому читателю. Однако можно предположить, что она будет использована и как своеобразное справочное издание и как дополнительное чтение по курсу истории партии.

Б. Багряцкий.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. Гришин. Москва — столица Советского Союза. 143 стр. Цена 20 к.

М. Дальцева. Так затихает Везувий. Повесть о К. Рылееве. («Пламенные революционеры») 318 стр. Цена 1 р. 20 к.

О. Кравченко. Иду к людям. 184 стр. Цена 35 к.

А. Лауринчюнас. Врата страха. 287 стр. Цена 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Павловский. Память и судьба. Статьи и очерки. 367 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Сикорский. Капля в океане. Повесть, роман, рассказы. 328 стр. Цена 1 р. 40 к.

Л. Тимофеев. Слово в стихе. 343 стр. Цена 1 р. 40 к.

С. Щипачев. У горизонта. Стихи. Предисловие К. Ваншенкина. 112 стр. Цена 35 к

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Балзан. Шагреневая кожа. Полковник Шабер. Отец Горио. Обедня безбожника. Романы. Перевод с французского. 336 стр. Цена 2 р. 60 к.

Индийская современная повесть. Перевод с санскрита. 399 стр. Цена 2 р.

Поэты Перу. Сборник стихотворений. Перевод с испанского. 351 стр. Цена 1 р. 20 к.

Али Сабахаттин. Дьявол внутри нас. Роман. Мадонна в меховом манто. Повесть. Перевод с турецкого. 367 стр. Цена 1 р. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Р. Брэдбери. Передай добро по кругу. Рассказы, повесть. Перевод с английского. 414 стр. Цена 2 р. 80 к.

А. Гулыга. Шеллинг. («Жизнь замечательных людей») 317 стр. Цена 1 р. 50 к.

У. Умарбеков. Две весны Дамира Усманова. Повесть. Перевод с узбекского. 255 стр. Цена 85 к

В. Шекспир. Гамлет. Ромео и Джульетта. Союеты. 328 стр. Цена 8 р. 60 к.

А. Эбонаидзе. ...Где отчий дом. Романы. 479 стр. Цена 1 р. 90 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Дубрава. Играют зарницы. Рассказы о природе. 46 стр. Цена 15 к

Г. Кублицкий. Чтобы приблизить век грядущий. 143 стр. Цена 65 к.

Н. Михайлов. Люди страны Советов. Очерки. 190 стр. Цена 75 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Е. Баратынский. Стихотворения и поэмы. 222 стр. Цена 1 р. 30 к.

Г. Рахим. Напевы курая. Стихи. Перевод с татарского. 64 стр. Цена 35 к.

М. Рошин. Южная ветка. Повесть, рассказы. 447 стр. Цена 1 р. 80 к.

Г. Семенов. Утренние слезы. Рассказы. 335 стр. Цена 1 р. 50 к.

«РАДУГА»

К. Абэ. Чужое лицо. Сожженная карта. Человек-ящик. Романы. Перевод с японского. 429 стр. Цена 3 р. 50 к.

Испанская новелла. 70-е годы. Сборник. Переводы с испанского, каталанского, галисийского. 394 стр. Цена 2 р. 20 к.

Г. Носсак. Спираль. Дело Д'Артева. Романы. Рассказы и повесть. Перевод с немецкого. 624 стр. Цена 4 р. 10 к.

В. Сассин. Вирьяму. Молодой человек из песка. Романы. Перевод с французского. 303 стр. Цена 2 р.

К. Уотерхаус. Билли-враль. Повесть. Конторские будни. Роман. Перевод с английского. 431 стр. Цена 2 р. 60 к.

«ПРОГРЕСС»

А. Аль-Хамиси. Мятежная надежда. Стихи и поэмы. Перевод с арабского. 287 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ч. Павезе. Прекрасное лето. Дьявол на холмах. Луна и костры. Повести. Товарищ. Роман. Перевод с итальянского. 487 стр. Цена 3 р. 30 к.

«ИСКУССТВО»

Г. Козинцев. Собрание сочинений в 5-ти тт. Т. 1. Глубокий экран. О своей работе в кино и театре. 558 стр. Цена 2 р. 80 к.

М. Молодцова. Луиджи Пиранделло. 215 стр. Цена 1 р. 40 к.

«НАУКА»

История литературы ГДР. 543 стр. Цена 5 р. 70 к.

История русской драматургии. XVII — первая половина XIX века. 532 стр. Цена 2 р. 80 к.

Н. Утехин. Жанры эпической прозы. 184 стр. Цена 95 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 23.11.82 г. Подписано к печати 21.01.83 г. А 04010.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.печ. л.)
27,82 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз. (1-й завод 1—183.000 экз.) Зак. 4181.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 2, 1—272